ISSN 0130-6545

4.1997

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

В номере:

МИХАЛ ВИВЕГ
Лучшие годы — псу под хвост

РАЙМОН КЕНО
С ними по-хорошему нельзя

ПОРТРЕТ В ЗЕРКАЛАХ
Антонен Арто

近江八景
矢橋帰帆

Где бы вы ни жили,
подписавшись на «ИЛ»,
вы окажетесь в самом центре
литературной жизни современного мира

НАШИ ПЛАНЫ
на вторую половину 1997 года

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПРОЗА

На сей раз редакция сознательно отводит главное место в своем портфеле романам и повестям писателей, которые прежде на русский язык не переводились. Прочтя эти произведения, вы поймете, что мы просто не имели права поступить иначе:

Грэм Свифт «ПОСЛЕДНИЕ РАСПОРЯЖЕНИЯ» (*перевод В. Бабкова*) — Букеровская премия 1996 г.

Агота Кристоф «ТОЛСТАЯ ТЕТРАДЬ» (*перевод П. Вязникова*) — возможно, самое яркое произведение французской литературы за минувшее десятилетие

Майкл Каннингем «ДОМ НА КРАЮ ЗЕМЛИ» (*перевод Д. Веденяпина*) — блестящий образец нового американского романа

Ян Муакс «ПРАЗДНИКИ ЛЮБВИ» (*перевод И. Волевич*) — Гонкуровская премия 1996 г. за первый роман.

Алан Айслер «ПРИНЦ ВЕСТ-ЭНДСКИЙ» (*перевод В. Голышева*) — приз наших редакторских симпатий

Ждет вас и встреча с нашими постоянными авторами:

Эмилем Ажаром — роман «ПЕЧАЛЬ ЦАРЯ СОЛОМОНА» (*перевод Л. Лунгиной*)

Милорадом Павичем — повесть «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ В КОНСТАНТИНОПОЛЕ» (*перевод Л. Савельевой*)

ЭССЕИСТИКА

Хотим обратить ваше внимание на новую рубрику ***«Мастер-класс»***,
в которой мы будем большими блоками представлять программные эссеистические и литературоведческие тексты ведущих писателей века:

Владимир Набоков «ЛЕКЦИИ ПО ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ»

Иосиф Бродский «О СКОРБИ И РАЗУМЕ» (*перевод Е. Касаткиной*)

Умберто Эко «ШЕСТЬ ПРОГУЛОК ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЛЕСУ» (*перевод Е. Костюкович*)

А также:

Книга интервью **Федерико Феллини** «РАССКАЗЫВАЯ О СЕБЕ» (*перевод Е. Дмитриевой*)

Беседы с **Эженом Ионеско** в книге «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И МЕЧТОЙ» (*перевод И. Кузнецовой*)

Лучшее из сборника «ЛУЧШИЕ АМЕРИКАНСКИЕ ЭССЕ 1996 ГОДА»

В рубрике **Бориса Дубина** ***«Портрет в зеркалах»*** — **Фернандо Пессоа** и **Вальтер Беньямин**

Новые главы из книги **Петра Вайля** ***«Гений места»***

ЗАОЧНАЯ ШКОЛА
г. ЛЕНИНГРАДА

И многое другое — сколько вместит журнальная площадь.

**ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР — КОНВЕРСБАНК А.О.
(АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК КОНВЕРСИИ)**

Из общего тиража в 15 350 экз. Институт «Открытое общество» ежемесячно выписывает и направляет в библиотеки России и ряда стран СНГ 2051 экз. журнала.

Главный редактор
А.Н. СЛОВЕСНЫЙ

Редакционная коллегия:

О.Г. БАСИНСКАЯ — ответственный секретарь
Л.Н. ВАСИЛЬЕВА — заведующая отделом художественной литературы
А.В. МИХЕЕВ — заведующий отделом критики и публицистики
Г.Ш. ЧХАРТИШВИЛИ — заместитель главного редактора

Общественный редакционный совет:

С.С. АВЕРИНЦЕВ, В.П. АКСЕНОВ, С.К. АПТ, А.Г. БИТОВ,
П.Л. ВАЙЛЬ, М.Л. ГАСПАРОВ, Е.Ю. ГЕНИЕВА, А.А. ГЕНИС, В.П. ГОЛЫШЕВ, Т.П. ГРИГОРЬЕВА,
Б.В. ДУБИН, А.Н. ЕРМОНСКИЙ, В.В. ЕРОФЕЕВ, Д.В. ЗАТОНСКИЙ, А.М. ЗВЕРЕВ,
Вяч.Вс. ИВАНОВ, В.Б. ИОРДАНСКИЙ, Т.П. КАРПОВА, Л.З. КОПЕЛЕВ, А.С. МУЛЯРЧИК,
Д.Б. РЮРИКОВ, М.Л. САЛГАНИК, Е.М. СОЛОНОВИЧ, П.М. ТОПЕР, Н.Л. ТРАУБЕРГ,
М.А. ФЕДОТОВ, Б.Н.ХЛЕБНИКОВ

Международный совет:

ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ, ЖОРЖИ АМАДУ,
МАЛЬКОЛЬМ БРЭДБЕРИ, КРИСТА ВОЛЬФ, ЯНУШ ГЛОВАЦКИЙ,
ТОНИНО ГУЭРРА, МОРИС ДРЮОН, МИЛАН КУНДЕРА, ЗИГФРИД ЛЕНЦ,
АРТУР МИЛЛЕР, АНАНТА МУРТИ,
МИЛОРАД ПАВИЧ, КЭНДЗАБУРО ОЭ, УМБЕРТО ЭКО

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ИЗДАЕТСЯ С ИЮЛЯ 1955 ГОДА
УЧРЕДИТЕЛЬ — ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ

4 апрель 1997

СОДЕРЖАНИЕ

МИХАЛ ВИВЕГ — Лучшие годы — псу под хвост (*Роман. Перевод с чешского и вступление Нины Шульгиной*)) 5

РАЙМОН КЕНО — С ними по-хорошему нельзя (*Ирландский роман Сэлли Мара. Перевел на французский Мишель Прель. Перевод с французского В.Кислова*) 108

Литературное наследие

Из древней японской поэзии (*Перевод с японского и вступление А.Вялых*)) 171

Документальная проза

НОРМАН МЕЙЛЕР — Портрет Пикассо в юности (*Версия биографии. Главы из книги. Окончание. Перевод с английского А.Богдановского*) 178

Портрет в зеркалах

АНТОНЕН АРТО
От составителя 226
АНТОНЕН АРТО — Два письма (*Перевод с французского Бориса Дубина)* 228
МОРИС БЛАНШО — Арто (*Перевод с французского Бориса Дубина)*..... 229
АНДРЕ БРЕТОН — Говоря об Арто. *Интервью для журнала «Огненная башня» (Перевод с французского Екатерины Дюшен)*..... 233
АНДРЕ МАССОН — Отблески воспоминаний (*Перевод с французского Екатерины Дюшен)*..... 235
ЖОРЖ БАТАЙ — Сюрреализм день за днем (*Перевод с французского Сергея Дубина)* 236
АРТЮР АДАМОВ — Высочайшая вершина бездны (*Перевод с французского Екатерины Дюшен)* 239
ПОЛЬ ТЕВНЕН — Автопортрет Арто (*Перевод с французского Бориса Дубина)* 241
СЬЮЗЕН СОНТАГ — На пути к Арто (*Перевод с английского Бориса Дубина)* 243
ФИЛИПП СУПО — Воспоминание об Антонене Арто (*Перевод с французского Сергея Дубина)* 249

У книжной витрины 250

Авторы этого номера 253

© «Иностранная литература», 1997

В следующем, ПЯТИСОТОМ, номере «ИЛ»

Новый роман английского писателя **Питера Акройда** «ПРОЦЕСС ЭЛИЗАБЕТ КРИ» — увлекательный, леденящий душу виктории**а**нский триллер и вместе с тем, как всегда у Акройда, тщательная реконструкция минувшей эпохи и серьезное размышление о человеке и о культуре.

Три эссе **Марио Варгаса Льосы**, посвященные романам, ставшим классикой XX века.

«БРОДСКИЙ В НЬЮ-ЙОРКЕ» — фотографии **Марианны Волковой** и эссе **Александра Гениса**.

«ПОЭТ И МИР» — Нобелевская лекция польской поэтессы **Вислав**ы **Шимборской**.

Юбилейный обзор старых номеров журнала, анкета и конкурс для читателей.

Цветные иллюстрации номера — работы японских художников.

На 1-й стр. обложки — УТАГАВА ЁСИМУНЭ II. «Чудесное предзнаменование». (Из книги «Каталог японского искусства в Государственном музее изобразительных искусств им. А.С.Пушкина», Киото, 1993 г.)
На 2-й стр. обложки — УТАГАВА ХИРОСИГЭ. Из серии «8 видов Оми». (Из книги «Искусство укиёэ, возвратившееся домой», каталог выставки, Осака — Токио, 1993 — 1994 гг.)
На 3-й стр. обложки — КЭЙСЁ. Рисунки на веерах. (Из книги «Каталог японского искусства в Государственном музее изобразительных искусств им. А.С.Пушкина», Киото, 1993 г.)

Книги любезно предоставлены ГМИИ им. А. С. Пушкина.

В Москве журнал можно приобрести в редакции, а также в следующих книжных магазинах:

«Ad Marginem» — 1-й Новокузнецкий пер., д.5/7
«Анжелика» — Коровинское ш., д.20
«Гилея» — ул. Знаменка, д.10
«Графоман» — ул. Бахрушина, д.28
Книжная лавка «19 Октября» — 1-й Казачий пер, д.8
«Книга Замоскворечье» — ул. Пятницкая, д.6
МКЦ «Надежда» — ул. Сретенка, д.9
«Эйдос» — Чистый пер., д.6

В INTERNET электронный дайджест журнала находится по адресу: http://russia.agama.com/r_club/journals/inostran/soderj.htm

Художественное и техническое оформление **С.В. Бейлезон**

✉109017, Москва, Пятницкая ул., 41. ☎ 233-51-47; факс 233-50-61, E-mail edit@inolit.msk.ru

Журнал выходит один раз в месяц.

Оригинал-макет номера подготовлен в редакции.

Подписано в печать 25.03.97. Формат 70x108 1/16. Печать офсетная.
Бумага газетная. Усл. печ. л. 25,2. Усл. кр.-отт. 31,0. Уч.-изд. л. 26,71. Заказ №2424.

Тираж 15 350 экз.

Полиграфическая фирма «Красный пролетарий»,
103473, Москва, Краснопролетарская, 16.

МИХАЛ ВИВЕГ

Лучшие годы — псу под хвост

РОМАН

Перевод с чешского НИНЫ ШУЛЬГИНОЙ

От переводчика

Михал Вивег — самое яркое явление в чешской литературе постреволюционной волны. О нем пишут, говорят по радио и телевидению, его романы переводят на язык театра и кино. Действие романа «Лучшие годы — псу под хвост» обрамлено двумя событиями, потрясшими страну, — это оккупация 1968 года и «бархатная» революция 1989-го. В тот трагический 68-й Вивегу было пять лет, и его взросление пришлось на годы, последовавшие за разгромом «пражской весны» — этой мечты о синей птице «социализма с человеческим лицом». Роман Вивега именно о времени, названном периодом «нормализации», когда чешский народ и прежде всего его интеллигенция были нравственно раздавлены и унижены, когда врачи и юристы вынуждены были работать мойщиками окон, истопниками и ночными сторожами, а кое-кто, приспособившись, стал служить режиму. Судьбы героев этой во многом автобиографичной книги многогранно отражают атмосферу тогдашней Чехии: с одной стороны — те, кто переживает полный жизненный крах, с другой — те, для кого этот режим родная стихия, фигуры из недавнего, еще не забытого прошлого. Символично, что роман удостоен премии Иржи Ортена, чешского поэта, творившего и погибшего в оккупированной немецкими фашистами Праге. Казалось бы, тема оккупации 68 года, разработанная во многих книгах и фильмах молодых чешских художников, уже порядком приелась, и порой мелькает кощунственная мысль, что, не будь этих драматических событий, им не о чем было бы писать, но у Вивега свой особый почерк: в его богатой палитре юмора и сарказма воскресают неподражаемо чешские — гашековские — интонации, когда об очень важном и печальном говорится как бы невзначай, с легкой иронией и смешком. Ноябрьская «бархатная» революция перекраивает судьбы не только персонажей книги, но и ее автора: благодаря событиям на Вацлавской площади молодой писатель получает возможность наконец напечатать свой роман. И вот у нас в руках уже не однажды переизданный роман Вивега, а в руках у него и его поколения — судьба Чехии и ее новой культуры.

Этот роман — как и большинство романов — являет собой обычную смесь так называемой правды и так называемого вымысла. Но каково бы ни было соотношение этих частей, нет никаких оснований утверждать — как это часто делают иные читатели, — что герои романа живут на самом деле и что изображенные в нем события действительно происходили. Столь же неверным было бы утверждать — как в подобных случаях убеждают нас многие авторы, — что «лица и события описываемой истории целиком вымышлены».

I

1) По Зитиным прогнозам, Квидо должен был появиться на свет в первую неделю сентября тысяча девятьсот шестьдесят второго года в родильном доме в Подоли[1].

К этому времени за плечами его матери было двенадцать театральных сезонов, однако большую часть своих, преимущественно детских, ролей в пьесах Ирасека,

[1] Подоли — район Праги. (*Здесь и далее — прим. перев.*)

© Michal Viwegh, 1992
© Нина Шульгина. Перевод, 1997

Тыла, Когоута и Макаренко́ она считала слегка компрометирующими грехами мо́лодости. Она, кстати, изучала право, была уже на четвертом курсе юридического факультета и свое нынешнее амплуа статистки в театре Чехословацкой Армии воспринимала уже как необязательное занятие (что, впрочем, не мешало ей срок родов — обстоятельство, совершенно случайно падающее на конец театрального сезона, — изображать перед своими более удачливыми коллегами как факт само собой разумеющейся профессиональной дисциплины). Как ни парадоксально, но при всей своей любительской восторженности мать Квидо — бывшая звезда школьных спектаклей — в сущности была чрезвычайно застенчивой и, кроме Зиты, никому другому не позволяла себя осматривать. Пани Зита, главный врач Подольского родильного дома и давняя подруга бабушки Либы, знавшая мать Квидо с пеленок, старалась терпеливо сносить ее причуды и обещала ей организовать родовспоможение таким образом, чтобы в этот критический день в отделении не дежурил ни один врач мужского пола.

У Зиты в Подоли
роды без боли, —

рифмовала за столом бабушка Либа, и даже дедушка Йозеф, отец Квидова отца, априорно скептичный по отношению ко всему коммунистическому, в том числе, естественно, и к здравоохранению, готов был допустить, что вероятность размозжения головки новорожденного акушерскими клещами на этот раз все-таки несколько меньше, чем когда-либо прежде.

Единственной никем не учитываемой неожиданностью была мокрая черная овчарка, что двадцать седьмого июня появилась в красноватом свете заката на Влтавской набережной как раз в тот момент, когда мать Квидо грузно выползала из такси, и в коротком бесшумном прыжке прижала женщину к теплой штукатурке дома на углу Аненской площади. Нельзя утверждать, что помыслы этого бродячего пса были явно враждебными — он и не думал кусать ее; однако достаточно было и того, что пес всей своей тяжестью повис на ее хрупких плечах и дохнул ей в лицо — как позднее не совсем удачно выразилась она сама — «прогорклой вонью давно не чищенного рта».

— Аа-аа-аа! — завизжала мать Квидо, слегка опомнившись от внезапного испуга.

Отец Квидо, поджидавший жену у входа в театр «На забрадли», услыхал крик и опрометью бросился на помощь. Хотя он и не был уверен, кому принадлежал этот искаженный страхом голос, однако у него вдруг зародилось странное подозрение, которое необходимо было тотчас развеять.

— Ааа-ааа-ааа! — завизжала мать Квидо еще пронзительнее, так как пес передними лапами буквально молотил ее по хрупким ключицам. Подозрение отца Квидо, к сожалению, подтвердилось. На миг он застыл, парализованный какой-то неведомой силой, но затем, опамятовавшись, кинулся на самый что ни есть дорогой для него голос. Исполненный любви и гнева, он несся по гранитной мостовой площади, полагая, что его жена подверглась нападению одного из тех выпивох, которых она — с тех пор как сыграла официантку Гетти в уэскеровской «Кухне»[1], — вместо того чтобы осторожно обходить, старалась в чем-то переубеждать. Однако он тут же увидел, как его жена пытается из последних сил стряхнуть с себя огромную черную тяжесть, навалившуюся на ее слабые плечи, и, не долго думая, совершил поступок, вследствие которого в глазах Квидо раз и навсегда перерос свои сто семьдесят два сантиметра: он схватил на бегу ближайшую урну, высоко вскинул ее и, ударив собаку раз-другой днищем, уложил на месте.

Позже мать Квидо утверждала, что урна была полной, хотя это, пожалуй, довольно легко можно и опровергнуть. Занятнее другое: на *сознательное* участие во всей этой истории претендовал и сам Квидо.

— Разумеется, я не отрицаю, что был тогда, как и любой другой плод, вероятнее всего, слепым, — рассуждал он позднее, — однако каким-то образом я, несомненно, воспринимал мир, а иначе как объяснить ту особую растроганность, какая охватывает меня, когда я наблюдаю за работой мусорщиков?

---

[1] Пьеса «Кухня» английского драматурга Арнольда Уэскера (р.1932) написана в 1957 г.

Очевидно, в стремлении превзойти Льва Толстого, чья память, по некоторым свидетельствам, простиралась до первых младенческих лет, Квидо заходил еще дальше: своему младшему брату, например, спустя годы он стремился внушить — с серьезностью, в которой было нечто поистине леденящее, — что способен отчетливо представить себе этот «по-рембрандтовски потемневший образ материнского яйца, прилепившегося к слизистой оболочке матки наподобие ласточкина гнезда».

— Господи, Квидо, ну ты и ловок трепаться.

— За исключением этого инцидента с собакой, период беременности, надо сказать, для любого мало-мальски *интеллигентного плода* — немыслимая тягомотина, — невозмутимо продолжал Квидо. — Особо подчеркиваю — для *интеллигентного плода*, а уж конечно не для голых, оцепенелых пещерных протеев, каким, кстати, был ты, причем даже спустя несколько дней после своего рождения, когда мне, увы, пришлось-таки взглянуть на твою гнусную фиолетовую физиономию. Ты хотя бы можешь *представить себе*, какая дикая скукота эти примерно двести семьдесят сплошь одинаковых дней, на протяжении которых уже *пробудившееся* сознание осуждено безучастно глазеть в околоплодные воды и время от времени вяло пинать брюшную стенку, чтобы те, снаружи, зря не паниковали? Двести семьдесят долгих дней, которые молодой интеллигентный человек гуманитарного склада вынужден, как мастера синхронного плавания, тратить на то, чтобы сосредоточиться перед олимпиадой! Двести семьдесят дней без единой приличной книги, без единого печатного слова, если, конечно, не принимать во внимание эту ничуть не оригинальную выгравированную надпись на Зитином перстне! Девять месяцев в погруженном во тьму аквариуме! Последние три месяца я только и молился, чтобы мать наконец нарушила хоть одно из этих дурацких табу и прокатила меня на мотоцикле по ухабистой дороге либо угостила меня двумя-тремя изрядными сигаретными затяжками, если уж не бокальчиком белого вермута. Братишка, поверь мне: этого пса ниспослало мне само небо!

Впервые самым решительным образом Квидо выразил свое нетерпение минуту спустя после того, как его мать с истеричным плачем бросилась в объятия отца. Сам по себе мертвый пес уже не возбуждал интереса столпившихся зрителей, и лишь мысль о возможном скандале, на сей раз в виде преждевременных родов, была нестерпима для матери. Поэтому она, быстро осушив слезы и расточая мужественные улыбки, на все заботливо-трогательные вопросы отвечала, что она в полном, абсолютно полном порядке.

— Моя мать, — рассказывал впоследствии Квидо, — никогда при людях не уходила в туалет, если ей не удавалось это сделать абсолютно незаметно. Более того, достаточно было кому-то просто высморкаться, как она уже приходила в явное смущение.

Этой своей необычной застенчивости, в которой сквозило что-то девическое, мать Квидо была обязана хроническим гайморитом, воспалением мочевого пузыря и привычными запорами, а с двадцать седьмого июня тысяча девятьсот шестьдесят второго года еще и родами «на театре». Первые схватки начались у нее уже тогда, когда она в гардеробе снимала легкую клетчатую размахайку; и все же — загипнотизированная умоляющими взглядами мужа — она сумела противостоять напористости Квидо до самой заключительной сцены — но ни на минуту дольше. А точнее: как только Эстрагон и Владимир обменялись последними репликами и наступил привычный миг коротенькой тишины, предшествующей буре аплодисментов, у матери Квидо вырвался первый мучительный крик, за которым последовала целая серия столь же душераздирающих стонов. Отец Квидо вскочил со своего кресла и, пройдя вдоль ряда оторопевших зрителей, протиснулся в фойе, откуда вылетел в ночь, чтобы — как он, очевидно, полагал — спокойно и рассудительно предпринять все необходимое. По счастью, сидевшая справа от матери Квидо некая пожилая дама тотчас спохватилась: она поручила двум своим соседям вызвать по телефону «скорую», а сама попыталась вывести роженицу из переполненного и душного зала. Мать Квидо всячески старалась унять женщину — она не допускала и мысли о том, что роды могут случиться перед столькими зрителями мужского пола, и к тому же — как она утверждала позднее — ей представлялось бестактным нарушить беккетовскую атмосферу экзис-

тенциальной безнадежности чем-то столь оптимистичным, как рождение здорового ребенка. Однако, несмотря на свое упорство, она рухнула к ногам своей провожатой, когда они продвигались по проходу вдоль авансцены — куда в конце концов и вознесли ее двое мужчин, причем чуть ли не к самым ногам Вацлава Слоупа и Яна Либичка[1], выходивших кланяться и в эту минуту застывших как истуканы. Зрители —за исключением двух-трех десятков женщин, что, позабыв про свои вечерние туалеты, возбужденно вскакивали на подмостки в желании поделиться с молодой мамочкой хотя бы малой толикой своего опыта, — преимущественно оставались на своих местах, по-видимому полагая, что сцена родов, к которым явно клонилось дело, является не чем иным, как частью нетрадиционной трактовки пьесы.

— Воды! Горячей воды! — деловито выкрикивал кто-то. — И чистых простыней!

— Покиньте зал! — распоряжался один из двух присутствующих врачей, которому наконец удалось протиснуться к роженице.

— Выйдите отсюда! — настоятельно просил он, но никто не трогался с места.

— Аа-аа-аааааа! — надрывно кричала мать Квидо.

А уже через несколько минут по залу прокатилось верезжание новорожденного мужского пола.

— Он пришел! — воскликнул Ян Либичек во внезапном вдохновении, которое чуть было не стало для Квидо роковым.

— Годо! Годо! — восторженно скандировала публика, в то время как оба врача скромно выражали свою благодарность. (По счастью, прозвище не привилось.)

— Мы спасены! — восклицал Вацлав Слоуп.

— Имя ему будет Квидо! — прошептала мать, но никто ее не слышал. С набережной донеслась сирена подъезжавшей машины «скорой помощи».

2) — Для ясности,— спустя годы сказал Квидо редактору,— я решительно не собираюсь рисовать так называемое родословное древо и трясти его раскидистые ветви, покуда не упадет с них какой-нибудь давно почивший в бозе советник — строитель или управляющий владениями Тунов[2], — и мне не скажут, кто я, откуда родом и что Масарик[3] стрелял в рабочих.

— Масарика, — примирительно заметил редактор, — лучше не будем касаться. Дедушка ваш по отцовской линии был горняк?

— Да, вы умеете сделать правильный выбор, — засмеялся Квидо. — Ему хотелось содержать гостиницу. Послушали бы вы его! Когда в Тухловицы нежданно нагрянула делегация, товарищи, не успевшие сменить дедушку, так и не дали ему подняться наверх. В то время как горняки беседовали с партийной делегацией, покинутый в глубоком подземелье дедушка чертыхался и бешено колотил по трубам. Шахтеры прозвали его Золушкой.

— Это хорошо, — сказал редактор. — Только что из этого...

— Вот именно, — сказал Квидо. — Что из этого...

Отец Квидо родился с богатым интеллектом, но в убогом антураже. На протяжении двадцати одного года он наталкивался на него каждодневно: вечно раскиданные пуховики, запах газа и подгоревшей еды, пустые бутылки и разбросанный птичий корм. Прямо под окнами их однокомнатной квартиры на первом этаже по Сезимовой улице что ни вечер блевали пьянчуги, выходившие из ближнего трактира «У Бансетов». Замызганная штукатурка нередко окрашивалась кровью нусленских[4] цыган. Рано утром или сразу после обеда дедушка отправлялся на шахтерском автобусе в Кладно; а когда бывал дома, обычно курил и расхаживал по комнате, растаптывая птичий корм.

— Жизнь-подлянка, — говаривал он.

---

[1] В те годы — ведущие актеры пражского театра «На забрадли» («На перилах»).
[2] Туны — старинный аристократический род.
[3] Томаш Гарриг Масарик (1850—1937) — первый президент Чехословацкой республики с 1918 по 1935 г.
[4] Нусле — район Праги.

А то целыми часами кормил попугайчиков или на всю катушку запускал пластинки Луи Армстронга и Эллы Фицджеральд. Бабушка занималась скорняжным ремеслом и постоянно находилась дома — с утра до вечера шила. С полным ртом булавок она тяжело — так, что скрипели половицы, — топталась вокруг старого манекена. Отец Квидо старался бывать дома поменьше: с приятелем Зварой они лазали по вышеградским крепостным стенам или прятались в запасных вагонах на вршовицком вокзале. Случалось, ночевали в гимназии. А позже — по желанию отца Квидо — просиживали в актовом зале факультета или же — по желанию Звары — в кафе «Деминка». Нередко ходили на заработки, но два вечера в неделю отец Квидо проводил в языковой школе. Возвратившись ночью домой, он читал при свете маленькой настольной лампы учебник английского языка, прислоненный к загаженной птичьей клетке, и нередко испытывал чувство, будто произносит слова какой-то таинственной молитвы.

Как-то в начале четвертого курса Звара принес отцу Квидо билет в театр. По выражению его лица было ясно, что та, кому исходно предназначался билет, по какой-то причине отвергла его.

— А на что? — спросил отец Квидо. — Кто автор? — В театр он не ходил и вряд ли мог полагать, что название пьесы что-то скажет ему, и спросил лишь из желания оставить для себя лазейку на случай, если билет окажется слишком дорогим.

— На что? На какое-нибудь говно, — сказал Звара, словно рассчитывал на сочувствие окружающих. — Наверное, Шекспир, кто же еще.

Но он ошибся. Давали «Чудесную башмачницу» Лорки. В антракте друзья встретили бывшую подружку Звары, которая представила им свою знакомую — стройную девушку в очках и синем бархатном платье с белым кружевным воротником.

— Причем не загаженным попугайчиками, — никогда не забывал присовокупить Квидо.

Это была его мать.

Спустя три месяца отец Квидо был впервые введен в квартиру на площади Парижской коммуны. Разумеется, он отметил величину обеих комнат, высокие потолки, полированный рояль и множество картин, но самое неизгладимое впечатление произвел на него кабинет дедушки Иржи: по всей длине дальней стены стоял книжный шкаф красного дерева по меньшей мере с тысячью томов, а перед ним так называемый американский письменный стол, такого же темного дерева, с раздвижными дугообразными створками, за которыми прятались пишущая машинка и уйма всяческих канцелярских принадлежностей, в том числе семейная печатка, воск для нее и нож для разрезания бумаги.

— Садитесь,— кивнул дедушка Иржи, указывая на кожаное кресло.

— Вы едите морковный паштет? — поспешила спросить бабушка Либа из кухни.

— Уже более двадцати лет, — мрачно сказал дедушка Иржи и закурил сигарету марки «Дукс».

— Я не тебя спрашиваю, — насмешливо улыбнулась бабушка. — Я спрашиваю пана инженера.

— Я ем все, — с неподдельной искренностью ответил отец Квидо. — Не утруждайте себя.

— Не беспокойся, — несколько загадочно сказала мать Квидо. — Мама не утруждает себя.

Несмотря на некоторую, можно сказать минимальную, настороженность, не покидавшую дедушку и бабушку (в конце концов, мать Квидо была их единственной дочерью), визит получился удачным. Отец Квидо нисколько не выламывался, разумно взвешивал каждое свое слово и потому показался дедушке Иржи гораздо симпатичнее тех молодых актеров, поэтов и сценаристов, что ходили в дом читать свои собственные творения, обвиняли дедушку во всех ужасах пятидесятых годов и заливали его стол красным вином.

— Заходи, — довольно лаконично сказал он ему на прощание, но мать Квидо в эту минуту поняла: отец Квидо экзамен выдержал.

3) — Таким образом, я был недоношенным ребенком,— рассказывал Квидо. — Обе бабушки просто сходили с ума. В год я весил четырнадцать кило, но они не щадя сил старались сохранить мне жизнь. Даже в мои пять лет они все еще продолжали бороться за мое существование посредством бананов в шоколаде.

Квидо был первым внуком в обеих семьях, и его буквально рвали на части. Все (за исключением дедушки Иржи) отчаянно соперничали друг с другом — кто, к примеру, большее число раз поведет Квидо в зоопарк. Бегемотов, страусов и кенгуру Квидо довольно долгое время считал домашними животными.

Из зоопарка они, естественно, отправлялись в кондитерскую.

— Чем тут пахнет, Квидушка? — спрашивала бабушка Вера.

— Кофейком, — отвечал маленький упитанный Квидо так сладенько, что присутствующих в кондитерской охватывало чувство труднообъяснимого отвращения.

Когда мать Квидо представляла своего сына кому-нибудь в театре, в ее голос закрадывались вызывающе-предупредительные нотки.

— Особенно после того, как один довольно известный режиссер короткометражных фильмов попросил у нее позволения снять меня в их научно-популярном ролике, посвященном преимуществам гормональных контрацептивов, — рассказывал Квидо. — Тем не менее, насколько я понимаю, это был единственный период в моей жизни, когда я был максимально любим, подавая для этого абсолютно минимальный повод. Меня любили просто за то, что я *был*. О, где вы, эти времена?

Дедушка Йозеф брал Квидо на рыбалку, на футбол или кормить чаек.

— Ура-а! Приехали! — кричал дедушка, сходя в Эдене близ спортивного комплекса.

— Ну лопай, лопай! — подзывал он на берегу Влтавы чаек.

— Цыц! Шкуру порву! — сердился он, когда дождевой червь, извиваясь, никак не желал насаживаться на крючок.

Все это совершалось в бешеной и непонятной тогда для Квидо спешке. Когда они были дома, дедушка стремился поскорее попасть на футбол; еще до конца первого тайма он уже рвался к проходу за пирожками; не успев их прожевать, они торопились назад, чтобы никто не занял их место; а минут за двадцать до конца матча уже пробирались сквозь галдящих зрителей домой. Дедушка спешил на рыбалку и спешил с рыбалки, спешил на работу и с работы, в трактир и из трактира. Стоило ему куда-нибудь заявиться, как что-то уже гнало его прочь. Прошло немало времени, покуда Квидо понял причину этого внутреннего беспокойства: его дедушка потому торопился, что хотел поскорее покончить с этой жизнью-подлянкой.

Квидо — в отличие от своего отца и дедушки — любил маленькую квартирку на Сезимовой улице. Здесь он не жил, но, чтоб мальчику не ходить в детский сад, бабушка Вера часто оставляла его у себя. Здесь он мог играть с ласковыми меховыми лоскутками, здесь летали три прекрасных голубых попугайчика. И Квидо не без злорадства сознавал: в то время как его сверстники выполняют какую-то нудную воспитательную программу, он нежится на подушках из овечьих шкурок и глазеет, как попугайчики карабкаются по прокуренным занавескам. Бабушка настолько приручила их, что спокойно могла оставлять окна открытыми — попугайчики никуда не улетали. Они прохаживались по подоконнику, и лишь когда к ним шумно слетал один из тысяч нусленских голубей, они всполошенно впархивали назад в комнату к своей заступнице и усаживались к ней на голову и на плечи. Чтобы летом их коготки не царапали плечи, бабушка прикрепляла к бретелькам комбинации два пустых игольника.

— Когда все три птички садились на нее, — рассказывал Квидо, — две на плечи и одна на голову, бабушка достигала поистине алтарной симметрии.

Но чего не выносил Квидо, так это отвратительной дедушкиной привычки делиться с попугайчиками пищей: подходящую еду он сперва тщательно разжевывал, а потом широко разевал рот — птички тотчас слетались к нему и, стуча клювиками по его пожелтевшим зубным протезам, требовали своей доли.

— Никогда в жизни, ни в одном порнофильме, какой мне когда-либо доводилось смотреть, — рассказывал Квидо, — я не видел ничего отвратительнее этих трех обслюнявленных хохлатых головок, поочередно совавшихся в дедушкин рот, полный мясной подливки.

Если дедушка Иржи относился к Квидо чуть сдержаннее остальных, то вовсе не потому, что недостаточно любил его: с одной стороны, работая в канцелярии президента, он был занят больше других членов семьи, с другой — не опускался, по его же выражению, до какого-либо *соперничества* в борьбе за благосклонность внука, не говоря уже о тайных его похищениях у кого-то из близких — чем с азартом занимались обе бабушки. Но если мальчик все же оставался на его попечении, он до мельчайших деталей продумывал для Квидо программу, так что тот не скучал ни минуты: они летали в Карловы Вары, на пароходике плыли на Слапы, взбирались на десятки Пражских башен, посещали музеи, Петршин, Вышеград, планетарий и, разумеется, Пражский Град. У дедушки был пропуск, открывавший перед ним все двери, а посему, к примеру, королевские регалии Квидо увидел на несколько лет раньше прочих смертных. И потом, у дедушки было редкое качество уловить момент, когда внимание этого обычно любознательного малыша начинало ослабевать: тогда он сразу же заканчивал просмотр, нырял с внуком в какой-то заманчивый проход или пробегал с ним по незнакомой улочке — и они вдруг оказывались на остановке трамвая, увозившего их куда-то, где они пили лимонад и съедали по большому куску мяса с очень маленькой порцией гарнира.

Во время этих прогулок дедушка бывал немногословен, но то, что он говорил, маленький Квидо с достаточной точностью запоминал.

— Все важно, — поучал он однажды из ванны свою мать, — но нет ничего, что было бы важнее всего.

— Кто тебе это сказал? — спросила мать с улыбкой.

— Дедушка Иржи, — сказал Квидо и склонил голову к красно-белому плавающему пароходику — на шее у него образовались три округлых, как трубки орга́на, подбородка.

Восхищенная подобными эскападами Квидо, его мать — как, впрочем, большинство матерей — полагала, что под жировыми складками сына скрывается недюжинный талант, который рано или поздно проявит себя. А потому еще двухлетнему Квидо она с чувством декламировала отрывки из пьес, причем не только детских и не только тех, в которых играла сама.

Да, мой отец убит; Родриго дерзновенный
Омыл свой первый меч в крови его священной.
Пролейтесь, токи слез, над злейшей из кончин!

Увы! Моей души одна из половин
Другою сражена, и страшен долг, велевший,
Чтоб за погибшую я мстила уцелевшей[1], —

часто, например, читала она Квидо. Конечно, она была далека от мысли, что мальчик хотя бы отчасти понимает, скажем, стихи Корнеля, однако надеялась, что с их помощью сын станет немного другим, чем все эти дети, воспитанные на чешских сказочных персонажах Ферды-Муравья и Спаличка.

— В конце концов ей это действительно удалось, — спустя годы рассказывал Квидо. — Мы с моим психиатром так и не смогли ей этого простить.

Но первые результаты ее воспитания посредством искусства были настолько неубедительны, что в какой-то момент у нее возникли сомнения: уж не передались ли Квидо исключительно отцовские гены. А посему она окружила сына еще и «импульсами технического характера», едва не лишившими его жизни. Кроме прочего, она преподнесла Квидо старый разбитый приемник, который, по ее словам, должен был стать «индикатором склонности мальчика к электронике». В одно ненастное воскресное утро Квидо украдкой включил приемник в сеть, оторвал заднюю крышку и просунул внутрь руку в поисках несомненно самого сильного импульса для всего своего онтогенеза. Вид выпученных остекленевших глаз почти бездыханного сына, лежавшего под столом на персидском ковре, настолько ужаснул мать, что долгие годы по-

[1] *Шекспир*, «Гамлет». Перевод М. Лозинского.

том она довольствовалась лишь абсолютно классическими и — как она выразилась — «интеллектуально совершенно стерильными» карандашами и пластилином. Но Квидо принял это — особенно цветные карандаши — с большой благодарностью: среди самых больших его удач была картинка «Парашютисты под дождем».

— Вы только взгляните, как он нарисовал грибы в ельнике! — восторженно восклицала мать Квидо, невольно предвосхищая картину многих его позднейших бесед с редакторами издательств.

Но одним талантом маленький Квидо обладал бесспорно, а именно — читательским. При том, что никто из родни не прилагал к этому ни малейших усилий (ибо каждый считал это делом преждевременным), в свои четыре года мальчик знал весь алфавит. Со всей очевидностью это обнаружилось в начале сентября тысяча девятьсот шестьдесят шестого года, на одной из первых репетиций пьесы Когоута «Август Август август»[1]. Правда, уже до этого Квидо дважды бляснул дома, прочитав несколько коротеньких заголовков из «Пламена» и «Литерарних новин», но оба его подвига потонули в суматохе, вызванной экзаменами матери Квидо на соискание докторской степени. В то памятное утро ее внимание сосредоточивалось не столько на двух-трех коротеньких репликах роли, сколько на штудируемом ею за кулисами объемистом курсе лекций по экономическому праву. Тем временем ее сын лазал по красным бархатным креслам, оглаживал позолоченную лепку лож и — поскольку не раз прерываемая репетиция тянулась уже добрых два часа — порядком скучал. В конце концов костюмерша, пани Бажантова, сжалилась над ним и принесла ему большую стопку театральных программок. Квидо шепотом вежливо поблагодарил ее и продвинулся ближе к сцене, чтобы лучше видеть буквы. Как раз в тот момент, когда он с полной охапкой цветных программок усаживался в кресло, режиссер Дудек обернулся и слегка улыбнулся ему. Квидо расценил эту улыбку как поощрительный жест.

— «Странная история, или Как не выдать дочь замуж», — полушепотом прочел он строчку из зеленой программки, лежавшей сверху.

— Тссс, — одернул его режиссер.

Павел Когоут, сидевший на репетиции по левую сторону от Квидо, подозрительно посмотрел на него.

— Послушай, Павел, — прошептал Квидо и со знанием дела лизнул указательный палец, дабы легче было листать страницы. — «О мать людей, мать сущего, о мать букашек, дай силу им вернуться в мир сей страшный», — бегло прочел он.

— Боже правый! — воскликнул Павел Когоут. — Неужто этот малец умеет читать?

Репетиция на миг была прервана. Актеры Властимил Бродский и Владимир Шмераль с любопытством смотрели на тучного мальчика.

— Простите, пожалуйста, — извинилась, пылая румянцем, мать Квидо и поспешила увести сына. — Павел, прости.

— Постой, — сказал Когоут, — пусть дочитает.

Он пальцем ткнул в соответствующую строку в тексте.

— «...они ведь так хрупки и их так много нужно в том мире, где лишь чудища гогочут дружно», — дочитал Квидо.

— Браво! — одобрительно закричал Владимир Шмераль. Многие актеры зааплодировали. Сомнений не было: Квидо умел читать.

4) Комната родителей Квидо. Вечер. Квидо спит.

Отец (*откладывая «Правила дорожного движения»*). Главное, чтоб в январе не было гололедицы. Для меня это верная смерть.

Мать (*гладит*). Хоть убей, не могу понять, как ты умудрился намотать три часа вождения, не отъезжая от бензоколонки.

---

[1] Павел Когоут (р. 1928) — известный чешский драматург, прозаик, сценарист. За свои политические убеждения и участие в «Хартии 77» был изгнан из страны в конце 70-х годов. Пьеса «Август Август август» тематически связана с событиями 1968 г.

Отец. Меня дико раздражал инструктор. Он пристрастен ко мне. Еще во дворе автошколы орал, что экзамена у меня не примет — не иначе как из-за этой сумки с мясом, которую надо было кинуть в багажник...

Мать (*замирает*). А ты куда ее кинул?

Отец. Под капот. Я дико волновался.

Мать (*смеясь*). Когда же это обнаружилось?

Отец. На Чернокостелецкой. Мент, что сидел позади, знай твердил, что пахнет подгоревшим шашлыком.

Мать. Ты этого мне не рассказывал.

Отец. Забыл. Понимаешь, я просто представить себе не могу, что когда я проезжаю мимо встречной машины, то от верной смерти отделяет меня одно-единственное едва заметное движение руки. В этом вся проблема. Несколько сантиметров — и капут. Отделение интенсивной терапии в лучшем случае. Представь себе: там нет дня посещений.

Мать. Нельзя так к этому относиться. Ты должен больше верить в себя.

Отец. Я верю только в одностороннее движение. Обожаю одностороннее движение. Мой стиль езды там совершенно меняется.

Мать. Как у бензоколонки. Или как тогда на шоссе.

Отец. Шоссе — это совсем другое дело. Никогда в жизни больше на него не въеду. Я не космонавт.

Мать. Почему ты вообще сдаешь на права?

Отец. Потому что ты этого хочешь.

— Современный человек, — сказал Квидо редактору,— не может обойтись без машины. Кстати, это мясо мне кое-что напоминает.

5) — Бабушка,— нередко говаривал за столом дедушка Иржи, — спору нет, опытная, отличная повариха. Жаль только, что в девяти случаях из десяти она тратит свой несомненный талант на приготовление немясных блюд.

Он говорил правду: шесть раз в неделю на обед подавались картофельные клецки «шкубанки», блинчики, макароны с творогом, картофельная запеканка, жареная картошка с яйцом и шарлотка.

— Пока дедушка дает мне так мало на расходы, я, право, не могу покупать мясо, — со слезами на глазах защищалась бабушка Либа, поливая при этом сиротливые кнедлики знаменитой укропной подливкой. — С такими деньгами не выкрутишься.

Конечно, все члены семьи отлично знали, что бабушка Либа не только «выкручивается» с такими деньгами, но их у нее остается еще столько, чтобы каждый год с Зитой и другими подружками отправляться в заграничные путешествия.

— В этом году хотим с девочками поехать в Ялту, — объявила бабушка весной тысяча девятьсот шестьдесят седьмого года семье, и ее лицо залил восхитительный девичий румянец. — Я вам уже говорила?

(— В Ялту?! — вскричал дедушка Йозеф, узнав об этом. — Она будет преспокойненько отдыхать именно там, где нас на веки вечные продали большевикам?!)

— Кажется, не говорила, — напротив, очень вежливо сказал дедушка Иржи и с поистине восточной невозмутимостью доел последний кусочек сельдерейного рагу.

Уже много лет спустя, когда после трехчасовой супружеской ссоры Квидо ледяной водой обливал одетую Ярушку, он вдруг во внезапном озарении вспомнил это выражение непостижимого для него понимания, которое светилось тогда на дедушкином лице.

— Бабушка Либа была заядлой туристкой, — рассказывал Квидо. — С самого детства она все праздники проводила в лучших французских и английских домах. Позднее она ездила на Сильвестра[1] в Швейцарские Альпы. Теперешняя жизнь не устраивала ее: для нее это был непомерно затянувшийся вояж в родные пенаты, а она любила, как нередко сама выражалась, скорее познавательно-тематические маршру-

[1] В канун Нового года.

ты. Дедушка при всей его внимательности был, однако, тяжелым на подъем спутником.

Из Ялты, как, впрочем, из всех поездок, бабушка прислала черно-белую открытку с собственными стихами.

Под Ялтой на солнечном пляже
Сидим мы, болтаем и вяжем!
И в теплой, уютной компании
Предаемся воспоминаниям! —

было написано там, а затем следовало обычное «Всем привет! Вы — Либин свет!».

Квидо, пребывая в этот день в отличнейшем расположении духа, ибо дедушка после бабушкиного отъезда набил холодильник копчеными языками, телячьей печенкой и свиными отбивными, попытался пошутить.

— Всем привет — от наших бед! — выкрикнул он вполне находчиво.

У его отца вырвался короткий смешок, но дедушка Иржи не улыбнулся. Мать размахнулась и влепила Квидо пощечину — это был один из тех неудачных ударов, которые наносятся с некоторым опозданием, а потому не могут считаться импульсивными.

У Квидо опустились уголки губ, но он был полон решимости отстаивать свою правоту.

— Всем привет — от наших бед! — упрямо повторил он и схлопотал вторую пощечину.

Его лицо тотчас сморщилось в двойном усилии: он старался, с одной стороны, не расхлюпаться, с другой — придумать еще более дерзкую рифму.

Дедушка, отец и мать, не спуская с него глаз, наблюдали, как его пухлый подбородочек начинает все заметнее вибрировать.

— Всем привет — а мяса нет! — выкрикнул наконец Квидо.

Мать, поджав губы, замахнулась в третий раз, но дедушка перехватил ее руку.

— Человеку не подобает быть невежливым, — сказал он Квидо. — И даже тогда, когда, возможно, он прав. Ты постараешься это запомнить?

Квидо еще успел покивать головой, но следом его сотряс взрыв облегчающего плача.

— В этот день, — позднее рассказывал он, — я в первый раз — но отнюдь не в последний — познал драматичные последствия того обстоятельства, когда неумолимый закон творчества обращается против семьи самого же творца.

Кстати, первым, кто в прямой связи с Квидо провидчески обмолвился о словесном искусстве, был его отец. (Конечно, говорил он это с немалой долей иронии, ибо даже ему — хотя вслух он не высказывался — весь этот сонм молодых поэтов, драматургов и бардов, постоянно крутившихся вокруг его жены, все больше действовал на нервы.)

— Думаешь, он проявил хоть малейший интерес к этим зверушкам? — жаловалась на Квидо его отцу бабушка Вера после весенней премьеры в зоопарке. — Ничуть не бывало. Он все время читал о них в той книжке, что купил ему дед у входа.

— Ну что ж, — сказал отец Квидо. — Сейчас он помешан на чтении.

— Но мы-то ходим туда, чтобы посмотреть на них живых, — настаивала бабушка.

И она ничуть не сгущала краски: в то время как настоящие, живые звери прыгали, ползали и летали перед ними так близко, что они могли ощутить их запах и видеть каждую их шерстинку, каждую блестящую чешуйку, каждое яркое перышко, Квидо, поставив упомянутую книжку на парапет перед клетками, читал тексты под не очень качественными фотографиями. Бабушка не знала, что делать. Квидо настолько ошеломил ее своим поведением, что на сей раз — в отличие от прошлого — она готова была вопреки своим педагогическим установкам показать ему даже спаривающихся обезьян, однако те спали.

— Ну что это за ребенок? — допытывалась бабушка у отца Квидо. — Скажи мне, что из него выйдет?

Отец Квидо на минуту представил себе, как в местах, где желто-черные жирафы обгладывают самые высокие макушки деревьев, где львы рвут тридцатикилограммовые куски кровавой говядины, а орлы своими крыльями образуют бóльшую тень, чем все зонты в соседнем летнем ресторане, его сын невозмутимо читает книжку о животных.

— Наверное, писатель, — сказал он весело.

— А знаешь, где он не читал? — задумчиво добавила бабушка. — Когда мы стояли у вольера с собаками.

6) В канун Рождества шестьдесят седьмого года бабушка Либа вместе с матерью Квидо готовили традиционный картофельный салат. Отец Квидо сидел за кухонным столом и полушепотом читал английский текст на последней странице «Пламена»:

— «We would like to call our readers' attention to the following contributions in the December edition of Plamen...»[1]

— А я вот думаю, — сказала мать Квидо, — нормально ли, что чешский читатель в чешских журналах читает по-английски *одно* резюме?

— Нет, ненормально, — сказала бабушка Либа.

— Почему? Я люблю лаконичные обобщения. В них — вся суть. Как ты думаешь, почему мне удалось доучиться?

— Когда же мы будем украшать елку? — не выдержал Квидо. — Только время тянем. Вы не можете представить себе, как это действует мне на нервы.

— Как только папе удастся укрепить елку в подставке, — объяснила ему мать.

— Ну же, папка, — приставал к отцу мальчик, пытаясь отнять у него журнал.

— Только после того, как ты мне что-нибудь почитаешь.

— Постой, — вспомнила что-то мать, вытерла полотенцем руки и, полистав журнал, нашла страницу с отчеркнутым текстом: — Прочти вот это.

— Такой длинный? — протянул Квидо, казалось бы, разочарованно, но в действительности был рад, что сможет еще раз продемонстрировать свое мастерство на сколько-нибудь связном тексте.

— «Одной из духовных примет коммунизма было сужение русла творчества до авторитарно регулируемых и де-юре непреодолимых берегов единственно «правильного» и «прогрессивного» метода, для которого общепринятой стала формула «социалистический реализм», — надрывался что есть сил Квидо. — Эстетические нормы и принципы этой концепции по сути своей восходят к прозе девятнадцатого века, которая якобы сумела объективно отобразить реальность жизни и в особенности то, что для марксистского понимания функции искусства было первостепенным: движение и конфликты общественных классов».

— Молодец, Квидо, — одобрила мать. — Ты колбасы нарезал?— обратилась она к отцу.

Отец уже долгое время следил за кулинарными манипуляциями тещи.

— Не положить ли туда колбасы? — спросил он.

— В картофельный салат? — ужаснулась бабушка Либа.

— Тебе все до лампочки, — сказала мать Квидо. — Единственное, что тебя волнует, это колбаса в салате.

— Колбаса в салате меня не волнует. Меня занимает лишь вопрос возможности ее *отсутствия*.

— Колбаса — в картофельный салат! — качала головой бабушка Либа. — Вот это идея!

— Мы будем наконец украшать елку? — просто уже изнемогал Квидо.

— Поди сюда, — сказал ему отец.

Квидо подержал подставку, а отец, сравнив диаметр ствола с отверстием в подставке, попросил нож и аккуратно, чуть ли не с нежностью, стал снимать часть коры.

— Аромат-то какой! — сказал отец. — Люблю дерево.

---

[1] Мы хотели бы обратить внимание читателей на следующие статьи в декабрьском номере журнала «Пламен» (*англ.*).

— Больше лаконичных резюме? — спросила мать.

— Больше.

— Но меньше одностороннего движения?

— Несомненно, — засмеялся отец. — И меньше, чем тебя, разумеется.

В замке загремел ключ.

— Дедушка! — воскликнул Квидо.

— Добрый всем вечер, — сказал дедушка Иржи, когда семья вышла в коридор встретить его. На полях шляпы и плечах шубы лежал слой мокрого снега. — Франтишек задержал меня. Затащил поужинать.

— На ужин у меня котлеты, — укоризненно сказала бабушка Либа.

— *Капустные* котлеты, — уточнила мать.

— Сполосну руки, — сказал дедушка, — и с удовольствием с вами поем.

— *Одну* котлетку, — весело вставила мать.

— А что он говорил? — поинтересовался отец, когда дедушка вернулся из ванной.

— Франтишек? Что люди, дескать, нам верят, — ответил дедушка с несколько загадочной улыбкой. — Ты имеешь в виду людей здесь, на Викарке? — подтрунил я еще над ним. Нет, отвечает, я имею в виду людей в республике. Мы, дескать, не должны упустить свой исторический шанс.

— Я ему верю, — сказала мать Квидо. — И люблю его. Всем вам верю, правда. И все вы, кого я люблю, теперь у власти и оздоровите нашу страну.

— А ты что ему на это сказал? — спросил отец Квидо.

— Что можно сказать на политические прогнозы? — проговорил дедушка с сомнением. — Ничего. Сказал, что я юрист и что никакого шанса лично у меня нет, а стало быть, никому ничего не обещаю. Что я, конечно, тоже буду рад, если нам удастся задуманное, и потому попытаюсь сделать максимум того, что могу.

— Это ты хорошо сказал, — одобрила бабушка Либа. — О визах он ничего не говорил?

— Нет, — ответил дедушка несколько недоуменно. — К визам он не имеет никакого касательства.

— Будь любезен, скажи, — вдруг спохватилась бабушка. — В *картофельный* салат кладется колбаса?

— Ну, — потянул дедушка и быстрым взглядом окинул кухонной стол, — это зависит от характера поварихи.

— Нет уж, не кладется, — отрезала бабушка Либа.

— У нас в Академии, — торопливо сказал отец Квидо, — тоже творятся небывалые вещи: знаете, что Шик[1] велел написать на двери? ПРОДАЖА ИНДУЛЬГЕНЦИЙ ЗА ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОШИБКИ. Мне вчера Звара это показывал.

— Господи! — воскликнул Квидо. — Будем мы наконец украшать елку?!

7) Когда двадцать первого августа тысяча девятьсот шестьдесят восьмого года дедушка Йозеф, собираясь на работу, проснулся в кухне в половине пятого утра, то услышал странный незнакомый шум, проникавший в квартиру через окно откуда-то с темного неба. Он тихо поставил на газовую плиту чайник, но его предосторожность оказалась излишней, ибо бабушка по причине упомянутого шума уже долгое время не спала.

— Что это? — с укоризной спросила она из комнаты.

— А я знаю? — взорвался дедушка. — Мусорщики, должно быть.

И вдруг он замер, осознав, что до сих пор не видел ни одного из попугайчиков. Он заглянул в комнату, зажег свет, потушил его и, вернувшись в кухню, посмотрел на шкаф, на карниз, отогнул занавеску — птичек нет как нет.

— Где попки? — крикнул он, глядя в открытое окно. — Их здесь нет.

— Ты что, ослеп? — крикнула бабушка. — Где ж им быть?

---

[1] Ота Шик (р. 1919) — теоретик-экономист, один из активных деятелей «пражской весны», директор Экономического института Академии наук, министр экономики. После 1968 г. эмигрировал.

— Откуда мне знать! — испуганно вскричал дедушка, озираясь кругом. — Если ты такая умная, найди их.

Увы, он был прав: попугайчики улетели.

Квидо проснулся около восьми. Сощурив глаза, он удивленно поглядел на дедушку, который уже давно должен был уйти на шахту, а вместо этого сидел в пижаме у окна и слушал радио.

— Улетели наши пташечки, — грустно сказала бабушка. — Верно, что-то напугало их.

Квидо обратил глаза к потолку, потом приподнялся в кровати, чтобы взглянуть на клетку. Она была пуста.

— А что? — спросил он.

Однако никакой жалости он не испытывал. Его огорчало, конечно, что он не увидит, как попугайчики лазают по занавескам, как садятся бабушке на голову, но при этом не мог и не радоваться, что никто не будет больше садиться на край его тарелки и совать коготки в картофельное пюре.

— Как что? — крикнул дедушка. — Как что? Да то, что товарищ Брежнев объявил нам войну!

— Прекрати, слышишь! — завизжала бабушка так, как она на памяти Квидо еще никогда не визжала. — Прекрати! Это никакая не война, заруби себе на носу!

Она сразила дедушку взглядом и присела к внуку на кровать.

— Дед с ума сходит, — сказала она и поцеловала Квидо в щеку. — Здесь фильм про войну снимают, а он думает, что и вправду война.

Квидо встал и с любопытством подошел к окну, но ни кинокамер, ни солдат не увидел. Бабушка насыпала на подоконник немного птичьего корму.

— Иди завтракать, — сказала она внуку. — Булка на холодильнике.

Она вычистила клетку, поменяла воду в мисочке и, усевшись в кухне на диван, устремила взгляд в пустое окно.

При виде бабушкиной печали Квидо устыдился и попытался заставить себя тоже грустить по птичкам: за завтраком он старался сосредоточенно думать об их чудесном голубом оперении, об их бархатных перышках и глазах-бусинках. Думал так усердно, что даже расплакался.

— Не хлюпай, — растроганно сказала бабушка. — Пойдете вместе с дедушкой расклеивать объявления.

Дедушка вынул изо рта сигарету:

— Какие еще объявления?

— Такие! — отрубила бабушка. — Что они у нас улетели.

— Сейчас? — вскричал дедушка. — В такой момент я буду думать о птичках?

— А когда же еще? Я что, виновата, что они улетели именно в такой момент?

— Я сам расклею; — сказал Квидо. — Если смогу ...

— Цыц! Шкуру порву! — кричал дедушка Йозеф всякий раз, когда какая-нибудь из нарезанных карточек с объявлением о пропаже трех попугайчиков с Сезимовой улицы, 2, никак не хотела приклеиваться. Глаза у него пылали, и серебряная прядка волос то и дело падала на вспотевший лоб.

(— Еще до сравнительно недавнего времени, пока я не вспомнил про бабушкино скорняжье ремесло, — рассказывал Квидо редактору, — в этой излюбленной дедушкиной поговорке я не улавливал никакого дополнительного смысла...

— Э, полноте, — сказал редактор. — Давайте без натурализма. Эту главку мы все равно выбросим.)

Сперва они обклеили фонарные столбы на своей улице, а потом и на площади. По одному объявлению налепили на телефонную будку, на табачную лавку и на столб у трамвайной остановки.

— Господи! И вы сейчас думаете о попугайчиках?! — закричал позади них какой-то мужчина, прочитав объявление. — Тоже мне патриоты!

Дедушка, даже не обернувшись, широко махнул рукой и пробубнил какое-то невнятное проклятье. Упрека мужчины Квидо не понял, но задумываться над этим не

было времени — он старательно водил взглядом по небу, по деревьям и по карнизам домов: попугайчиков как ветром сдуло. Они перешли Ботич, прошли под виадуком и по Нусленской лестнице поднялись наверх.

— Будем здесь расклеивать? — поинтересовался Квидо.

— Ясное дело, — сказал дедушка и закурил.

Они расклеили оставшиеся объявления и в парке на Тыловой площади ненадолго присели на лавочку. Мимо шли толпы людей, причем не только по тротуарам, но и по мостовой, а кто и по трамвайным путям.

— Смотри! — вдруг закричал Квидо: от Карловой площади подъезжали два зелено-коричневых бронетранспортера — по сравнению с припаркованными автомобилями они показались мальчику угрожающе огромными. Дедушка продолжал оценело сидеть, но Квидо, с малых лет считавший актеров театра и кино своими добрыми друзьями, вскочил и весело замахал им рукой.

— Словом, я был одним из тех восьми или девяти человек в Праге, что улыбались интервентам, — сказал Квидо редактору.

— Не переводите бумагу, — качал головой редактор. — Пощадите леса!

Дедушка увлек Квидо в сторону и, ничего толком не объясняя, запретил махать киношникам. Квидо пообещал, как и подобало, но тем не менее был полон желания смотреть съемку дальше. Однако дедушка решительно отверг его предложение и сказал, что перво-наперво должен смыть с языка гнусный привкус клейкой ленты. И как сказал, так и сделал.

— Ну, крепыш, что ты про это скажешь? — окликнула Квидо какая-то пожилая светловолосая женщина и тем помешала ему смотреть со смешанным чувством отвращения и интереса на дедушкины передние зубы, увеличенные сквозь стекло полулитровой пивной кружки.

— Не знаю, — ответил он. — Такого я еще не видел.

— Ясно, — сказала женщина. — Зато мы видели! Правда, Пепик? В марте тридцать девятого!

— Еще бы! — сказал дедушка Йозеф. — Повесить бы всех! На их же березах!

— Дело говоришь! — сказала женщина.

Когда они часа полтора спустя снова вышли на улицу, Квидо приметил, что походка у дедушки на удивление неуверенная. Он уже знал, что это значит, но из приличия старался делать вид, что ничего не замечает, и стал рассказывать всякие забавные истории, связанные с переименованием команды «Динамо» (Прага) на «Славию», которые слышал когда-то от Павла Когоута в театральном клубе.

— Об этом комсомольце ты мне лучше не говори, — сказал дедушка с невыразимым презрением.

К немалому изумлению Квидо, в квартире на Сезимовой улице, помимо бабушки Веры, их ждала вся семья в полном составе. Было просто невероятно, как в столь тесном пространстве все ее члены сумели не только поместиться, но и рассесться — не пренебрегая, как, например, отец Квидо, даже корзиной с грязным бельем. Дедушка Иржи и мать Квидо курили, и все помещение полнилось серовато-голубым дымом.

— Наконец! — воскликнула бабушка Либа, которая первая услышала голос внука на лестничной площадке и побежала открывать. — Бог мой, где вы были? — напустилась она на дедушку еще в дверях.

— Ходили прикладываться, — сказала мать Квидо голосом официантки Гетти. — Не ошибаюсь, правда?

— Господи, папа, — сказал в отчаянии отец Квидо. — Мы здесь три часа трясемся от страха.

— Где?! — закричал дедушка Йозеф и выпятил подбородок в сторону бабушки Либы. — Где?! Ходили смотреть на них — на этих ваших дружков-приятелей из Ялты.

— Прекрати, слышишь! — зашипела бабушка Вера.

— Ну уж извини, — защищалась бабушка Либа. — Если я, возможно, и говорила, что это были милые, приветливые люди, то это вовсе не значит, что я во всем с ними соглашалась. Целыми вечерами — спросите у Зиты — мы вели с ними долгие и весьма острые споры. Особенно Григорий — я, кажется, вам о нем рассказывала — был ужасно неуступчив во взглядах. Представьте, он протестовал даже против...

— Овощей? — спросила мать Квидо.

— Что ж, — вздохнула бабушка. — Такого я не заслужила. Это, наверное, за то...

— Дайте Йозефу выспаться, — сказал дедушка Иржи. — Пора нам разойтись по домам. И я был бы очень рад, — добавил он с упором, — если бы вы *все* там отсиделись.

Откуда-то из центра города донеслась стрельба.

— Какой ужас! — воскликнула бабушка. — Что теперь будем делать? Ты звонил Франтишеку?

— Горевать, — сказала мать Квидо и продекламировала: — «Всеобщий траур теперь задача наша. За стенами тюрьмы мы переждем могучих сил отлив-прилив, рождаемый луной».

— Франтишек, — сказал дедушка Иржи слегка раздраженно, — нам теперь не поможет, и, очевидно, нам не поможет даже Шекспир.

— Повесить их, — сказал дедушка Йозеф. — Это бы помогло.

— Мама, — воскликнул отец Квидо, — пусть он наконец уляжется! Мы уходим. Пусть он ляжет в кухне.

— В том, что они так припозднились, и Квидо виноват! — воскликнула его мать. — В часах он с трех лет разбирается.

— Она ревнует к киношникам, — шепнул Квидо дедушке Иржи.

— Что-что? — услышав, крикнула мать.

— Что ты ревнуешь к киношникам, — пропищал Квидо и спрятался от замахнувшейся на него матери за дедушкины ноги.

— Бог ты мой! Я всегда думала, что он гений, — сказала мать разочарованно. — А сегодня вижу, что он идиот.

— Оставь ребенка в покое! — загремел дедушка Иржи. — Ведешь себя по-дурацки. Как долго, по-твоему, он будет это терпеть?

— Привязать к березе, согнуть — и отпустить! — гудел дедушка Йозеф из глубин своего мрачного воображения.

— Вы видите, какой он? — раскричалась бабушка Вера. — Вы видите?

— Это еще не самое страшное, — сказал отец Квидо примирительно. — Куда хуже, что мы слышим его.

— Простите меня, — сказала вдруг мать. — Прости, Квидо. Вы все простите меня. Правда, простите, — расплакалась она. — Нервы сдали.

— Не извиняйся, — сказала бабушка Либа. — Я уже все тебе простила. Сейчас не самый подходящий момент для всяких личных раздоров. Нас ждут нелегкие времена. Всем придется сжать зубы и экономить. Впрочем, кто знает, как будут обстоять дела с турпоездками?

— Боже святый, — сказал дедушка Иржи, — идете вы наконец или нет?

— Идем, — уже тише сказала мать Квидо. — Но куда?

II

Из дневника Квидо

20 сентября 1968

Переезжаем в какую-то Сазаву! Так никто и не сумел мне вразумительно объяснить почему. Сказали только, что в Сазаве буду еще один год ходить в детский сад. Просто ужас! Кроме того, никто не знает, где эта Сазава. На карте ЧССР мы ее не нашли. Папа сказал, что завтра принесет другую, побольше. Он все время поет «Катюшу». Мама молчит.

21 сентября 1968

Сазавы нет и на той, что побольше. Папа сказал, что принесет еще одну, совсем большую. Мама истерически засмеялась и предложила ему взять карту у солдат. Если, конечно, у них вообще какая-нибудь еще имеется, добавила она. Я спросил папу, почему я должен одним махом разорвать все душевные связи с Прагой, которые я развил в себе. Потому что я не хотел ждать, пока меня выбросят с работы, ответил папа. А если я, мол, люблю Брунцвика[1], то он создаст мне все условия по выходным навещать его. Мне показалось, что он подтрунивает надо мной.

22 сентября 1968

Папа и мама будут работать на сазавском стекольном заводе, где производится якобы всемирно известное огнеупорное стекло для домашнего обихода и лабораторий. Жить мы будем якобы в заводской вилле с большой застекленной верандой и после работы купаться в реке, которая шумит прямо под окнами, говорил папа. Завтра, мол, съездим туда посмотреть. Мама состроила скептическую мину и назвала отца Франтишеком Грубином[2]. А потом сказала мне, что тогда это была никакая не съемка, а нормальная оккупация. Бабушка сказала, что это была не оккупация, а настоящее бедствие для туристов.

23 сентября 1968

Сегодня мы впервые были в Сазаве. Монастырь еще сойдет, но когда я увидел окрестности, мне стало абсолютно ясно, что монахи ушли отсюда по своей воле. Осмотрели мы с папой и заводскую виллу. Мне понравилось, что у нее в штукатурке разноцветные стеклышки. Мама все время оставалась в машине. Я сказал ей, что вилла называется «КАРАУЛКА». Она сказала, что это приятное название. Потом пошел дождь. Когда я покупал шоколад в магазине, меня поразило, что на прилавках шоколад лежит рядом с мылом и тому подобным. Папа объяснил мне, что это магазин со всевозможным товаром, в котором практически осуществляется идея, во многом опережающая свое время, хотя политура для мебели в морозильную камеру скорее всего попала по ошибке. Дождь шел все сильнее, и мы побежали прятаться в ближайший ресторан. Бежали мы с полчаса. Мама кричала, что водитель, который боится ездить под дождем, должен обратиться к психиатру. В ресторане было много туристов. За голенища сапог у них были засунуты ложки, что показалось мне явно негигиеничным. Отец с мамой поспорили: имеет ли вывеска «СКУПКА ШКУРОК» прямой смысл или переносный? Когда мы съели сосиски, дождь перестал. Я собрался уходить, но отец настойчиво просил нас подождать, пока высохнет дорога. Мама заказала ром. Потом попела с туристами, но на четвертой песне расплакалась. Когда я спросил ее почему, сказала, что ее расстроил трогательный припев «А НУ-КА ДВИНЬ ПО ЯЩИКУ». В Праге отец заставил нас проторчать в парке битый час, чтобы мама не выглядела заплаканной. Дедушке она потом сказала, что Присазавье — край теплый, полный своеобразных милых людей, но тем не менее она лично с нынешнего дня будет считать его чешской Сибирью.

29 сентября 1968

Сегодня после обеда мы переезжали. Под окнами «Караулки» собралась толпа незнакомых людей. Мама сказала, что оба грузчика наверняка наклюкались, раз несут ее кровать на застекленную веранду. Отец сказал, что она обвиняет их совершенно несправедливо, потому что эта веранда действительно будет нашим временным жильем. Мама села перед виллой в плетеное кресло и примерно час наблюдала оттуда за речной рябью. Потом взяла меня за руку и сказала отцу, что мы уезжаем в Прагу. Отец

---

[1] Имеется в виду скульптура у Карлова моста в Праге, олицетворяющая образ легендарного рыцаря Брунцвика, героя чешского фольклора.

[2] Франтишек Грубин (1910—1971) — чешский лирический поэт со склонностью к спиритуализму. Бытует мнение, что его ранняя смерть была спровоцирована событиями 1968 г.

сказал, что он всегда мечтал жениться на девушке, которая пойдет за ним в огонь и в воду, но, как теперь видит, скорее всего взял в жены принцессу на горошине. А каково инженеру Зваре, спросил отец, ведь он уже третью неделю живет со своей невестой в трансформаторной будке? Когда стемнело, мама сказала мне, что жизнь с моим отцом все больше похожа на дурной сон.

30 сентября 1968

Веранда застеклена с трех сторон. Мама вчера стеснялась надеть пижаму. Говорила, что за этими стеклами следят за ней сотни глаз. Мне было немножко ее жалко. Я забрался к ней под перину и прижался к ее плащу-болонье. Отец читал книжки про стекло.

1 октября 1968

Начался октябрь. Я спросил отца, что он будет делать, если ледяной северный ветер надует сюда снежные языки, — он мне ответил, что пропылесосит их. Иногда я спрашиваю себя, может ли он вообще быть маме или мне хоть чуточку опорой. Он либо читает про стекло, либо вырезает красивые трости. Обыкновенная дудочка, которую я уже не раз просил его сделать, скорее всего, ему не под силу. Послезавтра они впервые идут на работу, я — в детский сад. Метафора — ключ к реальности. Читаю книжку о писательстве и помогаю маме. Когда ей нужно переодеться, сооружаю для нее бункер из матрасов.

2 октября 1968

Сегодня мы с папой ходили к реке. Он сказал, что ему нужно подыскать какое-нибудь дерево для вырезания. Я спросил его, что ему надо от этого дерева. Он сказал, что дерево — материал с потрясающими психогигиеническими качествами, какие в странах восточного блока трудно переоценить. Вечером наконец он сделал для меня дудочку. Тянулось это целую вечность!

3 октября 1968

Детский сад, за исключением учительницы Гайковой и творога с малиной, отражает плачевное состояние нашего дошкольного воспитания. Я им это тоже сказал. Учительница Конечная, которая пришла из младшей группы поглядеть на меня, сказала, что для детского сада я буду настоящим сокровищем. Я сижу рядом с Ярушкой Мацковой. Это довольно хорошенькая деревенская девочка, до отказа набитая наивными предрассудками относительно метафорических выражений и жирноты. Мама принесла с работы четыре сумки бумаг. Я продудел ей в качестве приветствия «Сон любви», но она подскочила ко мне и выбросила дудку в окно. Я кричал, что прыгну за ней, но мама засомневалась, смогу ли я при моей толщине вскарабкаться хотя бы на стул, чтобы с него потом перелезть на подоконник. Отчуждение между мной и мамой растет, как мухомор после обильного дождя. С завтрашнего дня отказываюсь от всех сладостей.

4 октября 1968

Вчера ночью была гроза. Я забрался к маме в постель, но отец втерся между нами. Мы смотрели, как синеет и белеет небо, а потом снова гаснет. Отец сказал, что это лучше, чем полнометражный фильм в кинотеатре «Альфа». Дождь стучал по крыше, как толпа бешеных кровельщиков. Отец гладил маму, что по отношению ко мне было явно бестактно.

5 октября 1968

Сегодня в детском саду я отказался от пирожного в пользу Ярушки Мацковой. (Вчера был апельсин.) Во время мертвого часа она в награду показала мне свою пипку.

6 октября 1968

Мацковой захотелось посмотреть и на мою пипку! Я сказал ей, что завтра отдам ей пирожное. Мама с каждым днем все больше нервничает. Вечером отец предложил ей пойти прогуляться, но через четверть часа они вернулись, потому что в темноте упали в сточную канаву у польского общежития. Воняли, как давно не мытые хорьки. Я им это тоже сказал.

14 ноября 1968

Сегодня я пишу при страшном гвалте, так как отец с мамой затащили к нам домой инженера Звару и его невесту. Мою кровать загородили метровой баррикадой из коробок, до сих пор так и не распакованных после переезда, пытаясь создать у меня впечатление, что таким манером получилась отдельная детская комната. Потом они пели советские военные песни и распивали водку из керамических изоляторов, которые украл инж. Звара из своего трансформатора.

15 ноября 1968

Сегодня я попросил учительницу Гайкову разрешить мне — в виде исключения — перенести послеобеденный сон на дообеденный. Она согласилась, но захотела узнать причину, так что мне пришлось вкратце рассказать ей, до которого часа ночи я вынужден был слушать думки и частушки. Хотя она и изображала на лице сочувствие, но, пожалуй, по-настоящему поверила мне, только когда я показал ей свою майку, которой отец в темноте вытер пролитую водку. Она положила меня спать на диване в директорской! Я дрых без задних ног, в то время как мои деревенские сверстники должны были играть в свои дебильные тематические игры.

16 ноября 1968

Ни отец, ни мама со мной не разговаривают. Мне приказано ложиться спать ровно в 19 часов, как какой-нибудь сонной курице. С наступлением этого часа оба родителя начинают демонстративно перешептываться. Что касается мамы, так это все равно зря — еще со времен своей театральной карьеры она привыкла шептать чудовищно громко. Я ей это тоже сказал.

17 ноября 1968
18 ноября 1968

Все выходные я провел за коробками. Никто со мной не разговаривает, и я тоже ни с кем. Читаю эссе Монтеня. В ряде случаев должен с ним согласиться на все сто. Но когда я прочел, что «кто научит людей умирать, тот научит их жить», у меня создалось твердое впечатление, что у него тоже сильно поехала крыша.

19 ноября 1968

Мама и отец наконец снова стали со мной разговаривать. Мама только немножко, потому что своим театральным шепотом она заработала воспаление связок. Когда я спросил ее, почему она шепчет так громко и оттого сильно напрягает связки, она ответила мне, что таким образом — как, мол, и каждый уважающий себя актер — солидаризируется с бедными студентами на третьей галерке. Отец утверждает, что мою майку использовал по ошибке — он, мол, наполовину ослеп, из-за того что мать сигаретой прижгла ему роговицу. Я сказал, что завтра объясню это учительнице Конечной. «Лучше уж ничего не объясняй!» — просипела мама. У нее были такие выпученные глаза, что я подумал даже, что скоро повезем ее в психушку в Богнице.

20 ноября 1968

Мне удалось найти для отца два больших куска редкостного эбенового дерева, которые кто-то совершенно непростительно выбросил на свалку под Белым Камнем. Когда я притащил дерево домой, там никого еще не было. Родители приходят с работы все

позже и позже. Я сказал им, что нечего было браться за работу, которая им явно не по зубам. Все нормальные люди приходят домой в половине третьего.

21 ноября 1968

Отец объявил, что это не эбен, а обгорелый бакелит, но что, несмотря на это, он все равно мне благодарен. Он вел себя со мной немного холодно. Но мама похвалила меня и сказала, что у меня островная ментальность. А вообще-то они, конечно, разговаривают исключительно о работе, хотя еще два месяца назад про огнеупорное стекло не знали ни фига. Я им это тоже сказал.

22 ноября 1968

Детсад буквально разрывается от проблем: утром светило солнце, так что нас погнали в сад, словно каких-то телят. Учительница Конечная заставляла меня идти играть в один из этих ужасных жестяных домиков. Я спросил ее, во что, по ее мнению, я должен там играть. Она сказала, что я мог бы там, к примеру, принимать гостей. Я сказал ей, что идиотский обычай, каким в этой стране является прием гостей, особая тема, тем более что домик скорее напоминает тесное купе в поезде, а то и вовсе обгорелый макет на танковом полигоне, и что я с бóльшим удовольствием — разумеется, с ее согласия — дочитал бы на какой-нибудь не очень отдаленной скамейке Генриха Бёлля. Она сказала, что она, разумеется, не согласна, потому что мы занимаемся не каким-то там Бёллем, а играми на развитие коммуникабельности. Тогда я спросил ее, хочет ли она действительно развивать мою развивающуюся личность, как указано у нее в рабочем плане, или, скорее, подавлять ее. Она сказала мне, что единственное, что она в данный момент хочет, так это спокойно дожить до пенсии. Мне показалось, что учительница вот-вот расплачется, и, чтобы развеселить ее, я послушно пошел общаться с Ярушкой Мацковой. Общались мы в красном домике. Довольно интересно было видеть Ярушкину пипку при совсем другом свете!

23 ноября 1968

Сегодня у нас была учительница Гайкова, и повсюду царила тишина и спокойствие. Утром, играя в кегли, я сшиб портрет президента Людвика Свободы, стекло разбилось и прорезало пану президенту верхнюю губу, так что он немного стал похож на старого зайца. Ярушка Мацкова над этим очень смеялась. Учительница Гайкова спросила меня, собираюсь ли я танцевать с Ярушкой на рождественском утреннике. Я сказал, что, наверное, да, хотя, с другой стороны, не очень-то хочется заранее связывать себя с одной-единственной деревенской девочкой. Когда я пришел домой, меня буквально затрясло от холода. Я открыл окно и набросал на кровать и на мебель несколько горстей мокрых листьев, собранных в саду, чтобы отец воочию осознал, что на дворе действительно кончается осень. Когда отец вечером это увидел, он запустил в меня рейкой, заготовленной для цветочной подставки, но вместо меня попал в маму. Когда наконец все успокоились, отец с мамой уселись спиной к электрообогревателю и стали расспрашивать меня, как было дело с этим портретом. Отец не хотел верить, что сделал я это нечаянно, и утверждал, что портрет можно сбросить, только играя в футбол или в баскетбол, но уж никак не в кегли. «Кеглей сбросить портрет может только идиот!» — кричал он. Мама сказала, чтобы я не сердился на отца, потому что сегодня на работе он проходил проверку в отделе кадров.

25 ноября 1968

Вчера была суббота. Мы собирались ехать в Чешский Штернберк[1]*, но отец вместо этого целый час вдалбливал мне, что у него есть два свидетеля, которые подтвердят, что я, угодив в портрет, якобы крикнул: «Попал! Попал!» Я признался, что действительно это крикнул, но только для того, чтобы скрыть от детей свой промах. Отец*

[1] Чешский Штернберк — исторический центр в окрестностях Оломоуца, где сохранились с XII в. многие архитектурные памятники.

вздохнул и пошел в подвал доделывать свою подставку под цветы. Мама сообщила мне, что отцу явно нужен психиатр и что в Штернберк мы поедем после обеда. Но еще до обеда отец рассек себе полукруглой стамеской бедро, и пришлось ехать к врачу в Углиржске Яновице. Вез нас инженер Звара, потому что в таком состоянии отец категорически отказался вести машину. Он всю дорогу как-то странно смеялся и без конца говорил о каком-то Шперке из завкома. Мне было холодно, и я грустил по Праге. Пойду напишу дедушке.

III

1) Мать Квидо была твердо убеждена, что зачала Пацо в первую июльскую субботу одна тысяча девятьсот семидесятого года, этак за четверть часа до полуночи. Она утверждает, что произошло это в нескольких метрах от догорающего костра, в спальном мешке военного образца, под звуки песни Крила[1] «Саломея», которую неподалеку, наигрывая на гитаре, пел инж. Звара своей новоиспеченной супруге (наконец-то он с ней переселился из трансформаторной будки в семейное общежитие). Эта уверенность позволяла ей позднее объяснять с кажущейся рациональностью страсть Пацо к бродяжничеству. Однако отец Квидо с самого начала заявлял, что подобные умозаключения навеяны вульгарной наукой о влияниях, и полностью отрицал гипотезу жены относительно зачатия, доказывая это сравнительно хорошим знанием ее циклов.

— Но ты должен учесть,— возражала мать Квидо, — что в ту теплую ночь, а тем более у костра, я впервые после десяти или невесть скольких месяцев на этой ледяной террасе как следует согрелась!

Это давно не испытываемое тепло, объясняла она серьезно, с одной стороны, пробудило в ней былой витализм, благодаря чему она смирилась даже со столь *бродяжническим* образом жизни в тот субботний вечер, а с другой — явно ускорило и время ее овуляции.

— Вот уж бред сивой кобылы! — смеялся отец.

Как ни верти, а беременность жены была неоспорима.

— Никаких сомнений, девочка, — сказала ей в Подоли в августе месяце Зита. Выглядела она уставшей, но глаза, как всегда, ярко синели. — Рожать будешь в своей губернии?

— Придется, — сказала мать Квидо, одеваясь. — Ты же знаешь, я всегда хотела рожать у тебя.

— И могла! — сказала Зита с заметным укором. — Но в тот раз ты предпочла доктора Либичка.

— Признаю, это отменный портач, — сказала мать Квидо. — Представь себе, он не сумел даже перекусить пуповину.

— Настоящая катастрофа.

— Прощаешь меня?

— Нет, — сказала Зита с улыбкой.

Они расположились в бежевых креслах. Мать Квидо вдруг вспомнила, как в этих самых креслах Зита утешала ее, когда она однажды, еще девочкой, прибежала к ней в ужасе от первых месячных. Сейчас она испытывала какую-то ностальгическую жалость. Что за необыкновенная женщина, думала она.

— Зита?

— Да?

— А сейчас уже поздно?

Главный врач, глубоко вздохнув, чуть приподняла брови — над переносицей прорезалась горькая морщинка. Погрустнела улыбка.

— В январе? — сказала она не очень уверенно. — В январе семьдесят первого?

---

[1] Карел Крил (1944—1994) — бард-диссидент, резко осуждавший события 1968 г. Вскоре после них эмигрировал, вернулся на родину в 1986 г.

— Формально я могла бы прописаться в Нусле, — сказала мать Квидо.

— Не о том речь, — сказала Зита. — Поздно, девочка моя.

— Поздно? — недопоняла мать Квидо.

Главный врач, наклонившись к ней, взяла ее за подбородок, пошлепала по щеке. Глаза ее заметно увлажнились.

— В январе я уже буду билетершей в «Реалистическом»[1], — сказала она. — Тебе ясно?

— Она ошибалась, — рассказывал Квидо впоследствии. — Она стала гардеробщицей в кинотеатре «Ялта».

— Дедушка! — крикнул Квидо.

— Здравствуй, Квидо! — обрадованно воскликнул дедушка Иржи, но на сей раз не заключил внука в объятия — уже долгое время он чувствовал недомогание. Он вынужден был расстаться со своей многолетней должностью в президентской канцелярии и, хотя, по счастью, профессию менять не пришлось, с новым местом свыкался трудно. Даже знаменитая укропная подливка с куском настоящего мяса, а не с дежурным яйцом, приготовленная бабушкой Либой для гостей, не смогла вернуть ему привычного настроения.

— Что поделывает пан Франтишек? — спросил отец Квидо с неподдельным интересом, когда семья расселась в кухне.

— Точно не знаю, — сказал дедушка. — Где-то под Прагой, в лесном хозяйстве.

— Ужасно! — вздохнула мать Квидо.

— Напротив, — возразил дедушка с какой-то смиренной иронией. — Он на воздухе, на природе... Другим пришлось куда хуже.

— Карлу не пустили в Швейцарию, — сказала бабушка Либа. — Ну можно в это поверить?

— И не говори, — сказала мать Квидо. — В самом деле?

Когда мать Квидо отказалась от сигареты к чашечке кофе и сообщила наконец дедушке Иржи свою сногсшибательную новость, тот немного ожил.

— Это точно? — спросил он с улыбкой.

— Я была у Зиты, — сказала мать, покраснев, ибо такие слова, как гинекологическое обследование, она не в силах была произнести в кругу даже самых близких. — Думаю, опять мальчик.

— Мальчик? — обрадовался дедушка. — Как же вы его назовете?

— Пацо, — сказала мать Квидо. — По отцу, — кивнула она на мужа.

— Да? — промычал дедушка нейтрально.

— Меня отроду зовут Йозеф, — сказал отец Квидо сдержанно.

— Никогда не слыхала, чтобы кого-нибудь звали Пацо, — сказала бабушка Либа.

— Я тоже, — с надеждой в голосе сказал отец Квидо. — Будто мало нам одного Квидо.

— Ну-ну, потише! — вскинулся Квидо.

— Квидо — очень красивое имя, — сказал дедушка.

— Пацо — тоже интересное, — сказала мать Квидо. — По крайней мере не менее интересное, чем «Караулка».

— Какая тут связь? — запротестовал отец Квидо.

— Прямая!

— Пацо, — повторял раздумчиво дедушка Иржи. — Пацо... Звучит не так уж плохо. Пацо.

— Пацо. С Пацо, — сказала мать Квидо. — Хорошо, что его не надо будет склонять.

— Так же, как и Квидо, — сказал дедушка. — Да, это хорошо.

— Если вы выбираете имя по тому, склоняется оно или не склоняется, его можно было бы назвать, допустим, Филе, — сказал Квидо. — Оно-то уж точно не склоняется.

---

[1] «Реалистический театр» в Праге, основанный в 1945 г. режиссером Яном Шкодой.

— Как видите, пан редактор, — сказал Квидо, — в грамматике я всегда был силен.

— Второй ребенок? — возмутился дедушка Йозеф. — Сейчас?

Проходя по комнате, он шлепанцами растаптывал рассыпанный птичий корм. На карнизе уже опять сидели три попугайчика, на этот раз зеленые. Квидо заметил, что окно закрыто.

— В такое время — ребенок?! — гудел дедушка. — Хотите, чтобы какой-то большевик пристрелил его?

— Ради всего святого, прекрати! — взвилась бабушка Вера. — Прекрати сию же минуту!

— Мне — прекратить, а им стрелять в людей?!

— Папа, прошу тебя, не кричи, — подал голос отец Квидо. — Крики нам не помогут.

Дедушка жадно затянулся сигаретой.

— Ладно, молчу, — сказал он, с трудом овладевая собой. — Ну а что нам поможет, на твой взгляд?

— Откуда мне знать, папа, — беспомощно сказал отец Квидо.

— Ну так я тебе скажу! — Дедушка Йозеф снова повысил голос. — Повесить их, оно и поможет!

— Не поможет, — сказал отец Квидо. — Но психиатр тебе явно помог бы.

2) В последующие месяцы отец Квидо не раз испытывал ощущение, что психиатр нужен ему самому, — несмотря на все посулы, он до сих пор не получил для своей жены и детей квартиру. В сентябре ему выделили трехкомнатную квартиру на первом этаже «Караулки», но в конце концов она досталась другой семье. Отец Квидо был на грани отчаяния. Прошлогодняя зима, проведенная на веранде, оказалась тяжким испытанием, о котором было страшно и вспомнить. В морозные дни термометр показывал не более тринадцати градусов, хотя электрокамин и обогреватель работали на полную мощность. Стулья, стол и кровать неприятно холодили руку, а ночами, когда за окном мороз крепчал, дыхание мгновенно превращалось в беловатый пар. Квидо и его мать без конца простуживались, а он сам, хотя и не признавался в этом, мучился от ревматических болей в суставах.

— Я обещала делить с тобой и радость и горе, — сказала ему жена на исходе лета, — но при температуре ниже восемнадцати градусов жить не буду. Поступай как знаешь.

Отец Квидо лез из кожи вон: ходатайство о квартире он дополнил справкой о беременности жены, сам лично следил за продвижением очередников, затем и устно и письменно без конца напоминал о своем ходатайстве, отвечал на десятки предложений, написал даже жалобу, но все впустую. Незаметно начался сентябрь, река сплошь покрылась листьями, и по утрам с ее глади поднимался все более холодный туман. Мать Квидо, придя с работы, тотчас забиралась в постель, и он неизменно направлял оранжевое сияние обогревателя на тот самый холмик под периной, каким обозначался ее животик. Квидо ревниво смотрел на этот освещенный маленький бугорок, под которым в тепле нежился Пацо, и нарочито громко стучал зубами. В середине сентября он, естественно, подхватил грипп, и мать оставалась с ним дома в течение целых десяти дней. Лежали они вместе, пили горячий чай и ели в больших количествах витамины. Когда у Квидо спала температура, мама позволила ему читать ей пьесы Дюрренматта — а сама читала ему сказки Андерсена. Порой они лежали просто молча, рассматривая сквозь шестьдесят маленьких оконных стеклышек, окружавших их с трех сторон, разные формы и краски облаков, и мечтали.

Однажды в такую минуту Квидо представил себе некую неведомую экзотическую страну. Естественно, посреди нее стоял Пражский Град и Старый город, а потом — каскадом белых скал — вся эта страна полого спускалась к морю. Песок на тамошних пляжах был горячим и серебристо-золотым. В тени ближних пальм сидели учительница Гайкова, дедушка Иржи, Павел Когоут и пани Бажантова из костюмерной.

Они читали разные пьесы, смеялись и пили кокосовое молоко прямо из орехов. Вокруг них кружились лазурно-голубые попугайчики, порой они садились к Квидо и Ярушке Мацковой на загорелые плечи — на лапках у них были маленькие бархатные подушечки, так что их коготки не царапали ни Квидо, ни Ярушку. Квидо и Ярушка собирали ракушки, купались, а потом ложились на большие бобровые и норковые шкуры, чтобы погреться на солнце; когда Квидо хотелось, Ярушка показывала ему пипку. Видение этого края настолько захватило Квидо, что он часто вызывал его в своем воображении и в последующие дни. Опасаясь забыть все эти волшебные образы, он решил запечатлеть их навсегда: как-то вечером он взял в постель блокнот и ручку и все, что он, зажмуривая глаза, пока еще отчетливо видел, старательно записал.

— Сегодня, разумеется, это не может быть напечатано, — саркастически сказал Квидо редактор. — Даже без Когоута. Это попахивает сюрреализмом и детской порнографией, а эта группа под пальмами начисто выпадает из структуры классовых отношений.

— Ребенок мечтает о тепле, — сказала мать Квидо своему мужу, прочтя тайком сочинение сына. — Сделай что-нибудь.

— Сделай что-нибудь! — взорвался отец, до этой минуты молчавший после прихода с работы, для молчания у него и вправду был достаточный повод. — Но что делать? Если ты такая умная, подскажи мне, что я мог сделать и не сделал. Насколько было возможно, — добавил он раздраженно. — Разве что не вступил в коммунистическую партию!

— Не кричи! — Мать Квидо обернулась к спящему сыну. — Ты, к примеру, не ходил к Шперку. Говорят, это самое главное.

— *Был я* у Шперка. Даже дважды. Разве я виноват, что он меня ни разу не принял?

— Звару, говорят, принял...

— Да, Звару принял. Вероятно, у Звары было для него интересное сообщение...

— Что? — Мать Квидо присела в постели. — Уж не хочешь ли ты сказать, что Звара...

— Вот именно, — сказал отец с каким-то странным смирением. — Звара.

— Я не могу... не могу в это поверить.

— Он говорит, что несчастненькие наводят на него тоску, — сказал отец Квидо. — Он смекнул, что путь к справедливости лежит через хитрость. Такое время. Они, мол, наши недруги, а против недругов надо применять определенную тактику. Иначе это донкихотство. Животное выживает благодаря тому, что сливается с окружением. Весь этот красный цвет — лишь защитная окраска. Человек должен идти в ногу со временем — тем более что он, Звара, в своей трансформаторной будке простудил почки.

— Все ясно, — сказала мать Квидо.

— У меня, на его взгляд, нет ни малейшего инстинкта самосохранения...

— Это правда, — сказала мать Квидо и, внезапно осознав ситуацию, добавила: — Значит, они получат квартиру, хотя ждут только первого ребенка!

Отец Квидо замялся на миг, а потом сказал, отводя взгляд в сторону:

— Не получат, а уже получили.

Мать Квидо, засмеявшись коротким смешком, снова легла и уставилась в потрескавшийся потолок.

— А их комната в общежитии?.. — тихо спросила она.

— Уже отдали...

— Гавелковым?

— Нет.

— Тондловым?

— Нет.

— Третьи в списке мы... — сказала мать Квидо.

— Тех, кому дали, вообще не было в списке.

— Гадость, — сказала мать Квидо. — Гадость, гадость и еще раз гадость.
— Да, ты права. Гадость.
— А ты сидишь сложа руки. Ну скажи, как я могу уважать тебя после этого?

— Прочту вам, что говорит профессор Михаил Бедны: «Девушка, выходящая замуж, должна помнить, что самый короткий путь к вдовству и сиротству ее детей лежит через постоянное давление на супруга: ты должен, ты должен! Я слабая женщина, я не могу. Психологи знают, что обычно такие слабые женщины, как правило, самые требовательные». Что вы на это скажете?

— Что мы теряем драгоценное время. Мы договорились, что это будет юмористический роман, а вы вместо этого подробно изображаете, как вам в детстве было холодно, не говоря уже о том, что невесть почему обвиняете в этом членов партии.

— Я знаю почему, — сказал Квидо. — Мы с Господом Богом оба это знаем.

— Тогда не морочьте мне голову со своим романом! — взорвался редактор. — Большинство главок, что вы мне пока принесли, никогда здесь не выйдут, вы что, действительно не понимаете этого? Если же вы и вправду не способны написать два абзаца, чтобы при этом пять раз не лягнуть коммунистов, скажите прямо и мы распрощаемся. Пошлите меня подальше, пишите в стол или обратитесь в «Sixty Eight Publisher»[1]. А иначе нечего дурака валять...

3) Декабрь шестьдесят девятого года был даже не слишком холодным, но мать Квидо, невзирая на это, все уик-энды и, конечно, рождественские праздники провела у родителей в Праге. В связи с известными обстоятельствами отец Квидо сперва опасался этих визитов, однако вскоре с удивлением убедился, что его жена ни словом не пожаловалась; напротив, была в веселом настроении, не скупилась на цитаты из самого разного театрального репертуара и лишь часто, но ни для кого, кроме него одного, не приметно, прижималась спиной к большой изразцовой печи в дедушкином кабинете.

Вскоре после их возвращения в Сазаву выпал первый снег. Не много, да и был он достаточно мокрый, но его хватало на то, чтобы кататься на санках, и местная горка Жаворонок после уроков всегда бывала обсыпана детьми. Квидо и Ярушка тоже ходили кататься. Квидо хотел, чтобы Ярушка садилась на санки *впереди* — он был немного выше ее, но Ярущке страшно было смотреть, как быстро на спуске приближаются к ней деревья у подножья Жаворонка, и потому предпочитала садиться *сзади*. Когда они спускались, она, смеясь, прижималась лицом к его плечу и закрывала глаза, слепо доверяя его отнюдь не блестящим водительским способностям.

— Самое ужасное, — говорил уже после свадьбы Квидо с какой-то смесью гордости и ужаса, — что именно так она со мной и живет.

Ярушка носила тогда шерстяной белый пуловер, черные гамаши и красные сапожки, доставшиеся ей от старшей сестры. Они были немного велики ей и то и дело при спуске спадали. Квидо нравилось, что Ярушка горячо дышит ему в шею, но и немало огорчало, что она поневоле дотрагивается до его жирного живота: во все последующие дни он прежде всего стал туго затягивать себя эластичным бинтом. Теперь уже ничто не омрачало его настроения и он мог кататься на санках каждый день дотемна!

Однако в ближайшую субботу Квидо вернулся с Жаворонка неожиданно рано. Был весь мокрый, дрожал от холода. Мать уложила его в постель, заварила чай, измерила температуру: было тридцать девять. К вечеру температура и вовсе подскочила к сорока, но более всего ее ужасал надсадный, прерывистый кашель сына. Отец пошел звонить в «скорую».

— Дозвонился? — с тревогой спросила мать Квидо.
— Через час они здесь.

---

[1] Издательство, основанное Йозефом Шкворецким и его женой в Торонто. В основном выпускало произведения чешских писателей, оказавшихся в эмиграции.

Мать Квидо, которую последний месяц беременности вместе с четырьмя надетыми свитерами практически сделали неподвижной, с трудом уселась в кресло напротив сына.

— Мы здесь все перемрем, я это всегда тебе говорила.

Минут через сорок на щебеночной дороге перед «Караулкой» заскрипели колеса «скорой». Отец Квидо выбежал навстречу доктору и, к ужасу того, провел его на застекленную веранду.

— Ну и дела! — пробормотал врач, окинув взглядом помещение, и склонился над обессиленно лежавшим мальчиком. — Возможно, воспаление легких, — сказал он наконец, — но в любом случае мы увезем его отсюда. — Не веря своим глазам, он еще раз огляделся.

— Если вас не затруднит, — сказала мать, — может, вы и меня прихватите. Все равно через несколько дней мне ехать в Кутна-Гору.

— Как, уже? — воскликнул отец Квидо.

— Разумеется, — сказал врач. — А вы не хотели бы с нами? Мы и для вас что-нибудь придумаем.

— Нет, не получится, — засмеялся отец Квидо после недолгого колебания.

Мать Квидо стала собираться в путь, достав из шкафа кожаную сумку. Пришел водитель, он же санитар.

— Мамаша едет с нами, — сказал врач.

— Тем лучше, — засмеялся водитель-санитар. — Двух мух — одним ударом!

— Удачное сравнение, — сказала мама и захлопнула сумку.

Больничные корпуса, в которых лежали Квидо и его мать, разделялись примерно тридцатиметровой полосой заснеженного сада. Волей судьбы их палаты оказались напротив, но на разных этажах (Квидо — на четвертом, его мать — на втором), и лишь хвойная рощица мешала им видеть друг друга. Одна милая сестричка помогала им каждый день обмениваться записками, но, когда Квидо хотел видеть мать, ему приходилось идти в соседнюю палату.

— Добрый день, — всякий раз говорил он взрослым пациентам. — Скажите, пожалуйста, могу я из вашей палаты помахать маме?

— Помахиванию, — объяснял Квидо впоследствии, — в нашей семье придавалось особое значение.

— Разумеется, молодой человек, разумеется, — хрипел пан Главатый, пенсионер-астматик, которого очаровывала вежливость мальчика.

Квидо благодарил и несколько неуклюже взбирался на радиатор центрального отопления — иначе сквозь молочно-белые стекла окна ничего было не разглядеть. В таком весьма неудобном положении ему приходилось поначалу выстаивать довольно долго, пока мать наконец не устремляла взгляд в правильном направлении, но потом они условились на десять утром и на четыре после обеда, и несколько дней подряд у них это превосходно получалось.

Однажды утром мать Квидо в окне не появилась, не появилась она и после обеда. На следующее утро он пришел в соседнюю палату уже в половине десятого и под прозрачным предлогом побеседовать с паном Главатым простоял на радиаторе до половины одиннадцатого. Но маму так и не увидел. Разочарованный, он вернулся в свою постель и стал листать альбом Карла Плисецкого «Прáжский Град», подаренный дедушкой Иржи. Вошла сестра, он спросил ее, не прислала ли мама записку.

— Какая мама? Какая записка?

Квидо понял, что сестра торопится, и, чтобы окончательно не оттолкнуть ее, он, максимально сосредоточившись, изложил ей всю ситуацию в одной-единственной, логически и стилистически совершенной фразе. Вид у него был настолько серьезный, что сестре стало жалко его. И она присела к нему на кровать.

— Если твоя мама там, — она указала на окна родильного отделения, — то, наверное, ей некогда с тобой переписываться, теперь у нее другие заботы.

Сестра не ошиблась. Когда наконец, к неописуемой радости Квидо, его мама появилась в окне, в руках у нее была большая белая подушка.

— Почему она показывает мне эту подушку? — кричал Квидо, нервничая оттого, что не понимает смысла всей сцены на противоположной стороне.

— Какая еще подушка? — прохрипел пан Главатый, которого уже начинало утомлять частое присутствие Квидо. Врач, что как раз осматривал астматика, подошел к Квидо и поглядел в указанном направлении.

— Так это не подушка, а ребенок! Ты что, паршиво видишь?

Врач как в воду глядел: на свет появился Пацо, а Квидо начал носить очки.

4) Двумя днями позже в парке перед родильным отделением. Ночь.

Отец (*бросает в окно камушки*). Фьюю! Фьюю!

За окном возникают белесые тени ночных рубашек и лица улыбающихся женщин. Потом тени исчезают, окно открывается, и появляется мать Квидо.

Мать. Ах, кто же ты, что под покровом ночи
Подслушал тайну сердца?[1]

Отец. Не сходи с ума!

Мать. Смерть ждет тебя, когда хоть кто-нибудь
Тебя здесь встретит. Как ты попал сюда?
Скажи, зачем пришел?

Отец (*гордо*). Я не пришел. Приехал.

Мать (*изумленно*). Что, ночью? Ты? А где машина?

Отец. Оставил за городом. Ты же знаешь, я не выношу стоянок.

Мать. Значит, ты ехал ночью? Ты же всегда утверждал, что в темноте у тебя куриная слепота.

Отец. Решил рискнуть. Ночь ясная.

Над хвойной рощицей взошла большая яркая луна.

Мать (*польщенная*). И все ради меня?

Отец. Наибольшие опасения внушали мне лесные звери: вдруг из леса ни с того ни с сего выскочит большущая косуля! Ты можешь представить себе это кровавое месиво? Кошмар! Всю дорогу сигналил на всякий случай!

Мать. Ты ехал лесом? Каким путем ты сюда ехал?

Отец. Лесом я не ехал. Но где написано, что косули не могут быть и на поле? Во всяком случае, не думаю, что лесник привязывает их в лесу за ноги.

Мать. И то правда. Ты мой герой. Это я серьезно. Честное слово.

Отец. Пожалуй, в автошколе слишком мало часов отводят ночной езде. При том, что ночная езда имеет массу совершенно специфических...

Мать (*перебивает его*). Люблю тебя!

Отец (*оторопело*). Я...

Мать. Меня ты любишь? (*Мечтательно декламирует.*)
Знаю, скажешь: «Да».
Тебе я верю. Но, хоть и поклявшись,
Ты можешь обмануть: ведь сам Юпитер
Над клятвами любовников смеется.
О милый мой Ромео, если любишь —
Скажи мне честно.

Отец. Не сходи с ума! Как дела с мочой?

Мать (*растерянно*). Не кричи. Потом скажу. Нас могут услышать.

Отец. Кто?

Мать (*показывает на этаж выше*). Мужчины из урологии.

Отец. Ну и что? Разве я не могу спросить, в порядке ли у тебя моча?

Мать (*краснеет*). Тссс! (*Шепчет едва слышно.*) В порядке.

Отец. Что? Совсем не понимаю тебя!

---

[1] Здесь и далее: *Шекспир*, «Ромео и Джульетта». Перевод Т. Щепкиной-Куперник.

Мать (*краснеет еще сильнее, продолжает шептать*). Моча в порядке.
Отец. Что? Черт подери, ничего не понимаю!
Мать (*взрывается*). О таких вещах на людях вообще меня не спрашивай!
Отец. А кровь? Про кровь я все-таки могу спросить?
Мать. В порядке.
Отец. Серьезно?
Мать. Серьезно. Кровь в порядке.
Отец (*шепчет*). А моча?
Мать (*взрывается*). Черт возьми! Говорю же, что...
Отец (*успокаивающе*). Ну хорошо, хорошо. Спокойно... Что делает Пацо?
Мать. Сейчас? Спит.
Отец. А Квидо?
Мать. Очевидно, тоже спит. (*Иронично.*) Это тебя удивляет?
Отец. Он чистил вечером зубы?
Мать (*иронично*). К сожалению, не знаю, но завтра спрошу главного врача.
Отец. Будем надеяться, что чистил. Ты ведь знаешь его.
Мать (*все с той же иронией*). Будем надеяться.

Оба молчат.

Мать (*преднамеренно очень громко*). Должна ли я думать, что ты ехал ночью тридцать пять километров сквозь табуны косуль лишь ради того, чтобы спросить, чистил ли твой старший сын зубы? В таком случае школьный врач обязан тебе купить коробку конфет.

В палате раздается взрыв смеха.

Отец (*с улыбкой*). Не для того. (*Принимает серьезный вид.*) Я приехал сообщить тебе нечто важное.

Мать. Что случилось? (*Испуганно.*) Ты разбил обогреватель?

Отец. Да нет же. Я ни в коем случае не хочу драматизировать ситуацию, но тебе лучше сесть.

Мать. О господи! (*Она садится и теряет из виду отца.*) Надеюсь, ты не вступил в партию?! (*Вполголоса к женщинам в палате.*) Из-за этого человека у меня прекратится лактация! (*Громко.*) Ты там?

Отец (*громко*). Да.

Мать (*резко встает*). Ты вступил в партию?!

Отец. Нет, что ты дуришь? Спятила ты, что ли? Что ты все время со своей партией?

Мать. Ну так что, скажи наконец?

Отец (*торжественно*). Я поступил в УМЛ[1].

Мать. Ты с ума сошел? Почему в УМЛ?

Отец (*с улыбкой вынимает связку ключей*). Чтобы нам дали квартиру.

Мать (*потрясенная*). Квартиру?

Женщины (*столь же потрясенные*). Квартиру?

Занавес.

— Заходи, товарищ, — встретил Шперк отца Квидо в тот памятный день в своем кабинете. — Приветствую тебя в Сазаве.

Отец Квидо несколько растерянно прошел по красному ковру и взял руку, протянутую ему улыбающимся Шперком.

— Живу уж тут более года, — заметил он. — Вернее, мерзну.

— И даже летом? — засмеялся Шперк.

— Летом, разумеется, нет, — сказал отец Квидо и поднял глаза к дипломам и плакатам на стене, скользнул взглядом по книжному шкафу темного полированного дерева, где на полках, кроме нескольких брошюр в красных обложках, были в основном образцы огнеупорного стекла. Он выжидал. Шперк наблюдал за ним.

[1] Университет марксизма-ленинизма.

— Я решил, — сказал он наконец, — что мы дадим тебе еще одну возможность. Поэтому я и пригласил тебя.

— Еще одну? Разве какую-то я уже получил?

— А разве не получил? Разве ты не получил место в торговом отделе? — улыбался Шперк.

— Получил. Но...

— Что «но»?

— Но поскольку я пять лет изучал торговлю и три года занимался ею в Академии, то, конечно, логично, что получил место *референта* в торговом отделе, во всяком случае более логично, чем если бы получил место референта в бухгалтерии.

— Невзирая на то, что в той же самой Академии работал и некий господин Шик? — ухмыльнулся Шперк.

— О боже, — вздохнул отец Квидо. — Разве я виноват в этом?

— А я разве виноват, что здесь дача того самого Когоута? — засмеялся Шперк. — И что Прага это видит? И я за это в ответе. Ты знаком с ним?

— Я? — несколько опешил отец Квидо. — Нет. Лично нет. Разве что по телевидению видел, — солгал он.

— Та еще контра — такого поискать надо! А раньше не был таким — помню, у жены в кружке ребятки его стишки декламировали. Кстати, жена говорила, что твой паренек тоже классно читает. На виду мальчонка!

— Квидо? — польщенно сказал его отец. — Да, старается.

— А ты вот тушуешься, тебя не видать!

— Меня? Десять часов кряду можете видеть меня на одном и том же стуле в конторе. А то и двенадцать. Приходите, пожалуйста, посмотрите.

— Не о том речь, — улыбался Шперк. — Я не про контору, я имею в виду — среди людей, в *политическом* смысле.

— В политическом?

— В УМЛ ты не поступил, на собрания носу не кажешь, общественную работу не ведешь, все тебе до лампочки, словом — пустое место!

Отец Квидо пожал плечами.

— Никакого чуда я от тебя не жду. Достаточно, если будешь в Народном фронте. Или, может, в пожарники подашься?

— В пожарники?

— Ну да, в пожарники — ты же огня не боишься?

— В зависимости от высоты пламени, — сказал отец Квидо.

— Н-да, — сказал Шперк. — А как насчет футбола, играешь? Команда «Б» продулась, знаешь про это?

— Слыхал, — снова приврал отец. — Но в футбол не играю. Куда! Честно говоря, я не очень спортивный тип.

— Значит, футбол исключается?

— Пожалуй, да.

— В Свазарме[1] не состоишь?

— Нет.

— Ну вот что, — неожиданно сказал Шперк. — Поступишь в этот самый УМЛ, и я дам тебе квартиру.

Отец Квидо почувствовал слабое покалывание за грудиной.

— Хорошо, — сказал он. — На веранде мы в самом деле замерзаем.

— А знаешь где? Вот тебе, без дальних слов! — засмеялся Шперк и вытащил из ящика стола связку ключей. — Держи, это та самая заводская вилла под Жаворонком. Подгребай туда, сразу же протопи, не то трубы у тебя лопнут! С тех пор как мы выселили оттуда Питору, там не отапливалось. С неделю, должно, будет.

— Виллу? — недоуменно сказал отец Квидо.

— Ага, ее самую, — смеялся Шперк. — Да еще с садом. Тебе тоже даю ее на время.

— Не ожидал, — искренно сказал отец Квидо. — Спасибо вам.

---

[1] Свазарм — общество содействия армии.

— Надеюсь, не подведешь. И упаси тебя бог не вывесить флаги — у нас проводятся шествия с фонариками, так вот как раз там мы мимо проходим.

— Флаги? — придурковато спросил отец Квидо.

Только сейчас стали до него доходить слова Шперка. Чувствуя несказанную радость и несказанное облегчение, он не в силах был даже сосредоточиться.

— Флаги! — хохотал Шперк. — Не забывай вывешивать!

— Сегодня?

— Рехнулся ты, что ли? Знаешь, какая бы это была провокация? Я имел в виду вообще вешать, а не то чтобы вывесить сразу!

— Непременно буду их вешать, — опамятовался отец Квидо. В общем-то, что в этом плохого?

— Питора тоже так говорил, — скалился Шперк. — А как кончил! Да, вот еще что, — сказал он отцу Квидо уже под завязку. — Тебе нужна собака — теперь, когда у тебя сад.

— Собака? Дело в том, что...

— Продам тебе щенка, — авторитетно сказал Шперк. — Причем с родословной. У меня собаководческая ферма, слыхал, наверно?

— Да, но я...

— За три тыщи. Заходи!

— Не выйдет, — сопротивлялся отец Квидо. — Дело не в деньгах, но жена с ума сойдет. Она до ужаса боится собак!

— Ничего, привыкнет. Моя тоже привыкла. Да и вообще овчарки — что твои телята.

— Овчарки? — опешил отец Квидо. — Только этого не хватало! Жена умрет со страху. Как раз с овчаркой когда-то у нее случилась довольно скверная история. Она и собака — это просто немыслимо!

— Какая собака?! — сказал Шперк с улыбкой. — Говорю же тебе — щенок!

IV

1) Небольшая вилла у подножья Жаворонка, куда семья окончательно переселилась после возвращения матери Квидо из родильного дома, напоминала бабушке Либе прелестный женский пансион в Лозанне, где она бывала не раз. Тот же цоколь красного песчаника, те же оконные рамы цвета охры, та же заросшая диким виноградом веранда и так же расположенные ели и туи в саду — все это рождало в ней весьма сентиментальные воспоминания.

Весной этого года она с двумя приятельницами отправилась в Германскую Демократическую Республику. Почти неделю они жили среди чудесной пробуждающейся природы Гарцкого леса, и тем больше удручало бабушку скорое возвращение в грязный, задымленный город. В последнее время она страдала расстройством дыхания, целиком относя это за счет пражского воздуха, и так же, как обе ее приятельницы, не исключала для себя возможности заболеть раком легких.

. В ресторане, в пуще Гарцкой,
Подают на стол нам яства.
А съедим все подчистую,
«Noch einmal!» — звучит повсюду, —

по традиции изъяснялась она стихами на черно-белой открытке, правда, далее на сей раз следовало непривычное добавление в прозе: «Кислородом дышим про запас— авось хватит его и на Прагу!»

— Что ты об этом думаешь? — спросила мужа мать Квидо, держа открытку в одной руке, а маленького Пацо — в другой.

Отец Квидо перечитал открытку еще раз.

— Бредятина какая-то! — заявил он.

— Если бы, — сказала его жена, печально улыбнувшись.

Апрельское солнце нагревало кафельный пол на веранде так, что на нем было

приятно даже сидеть. Слышалось жужжание пчел, а в кроне ближней яблони под розоватыми цветами уже набухали будущие летние яблоки.

Лицо матери Квидо отражало большое счастье, но и не меньшую настороженность.

И она была вполне оправданна, хотя ни к чему путному так и не привела: уже в середине мая бабушка Либа заявилась с двумя чемоданами в полной решимости помочь своей дочери нянчить маленького Пацо. Приехала она совсем неожиданно, както в пятницу, после обеда, что, однако, не помешало ей уже с порога отчитать отца Квидо за то, что не пришел ее встретить.

— Ты решилась оставить папу одного в Праге? — недоумевала мать Квидо.

— А он что, маленький? — аргументированно оправдывалась бабушка. — По крайней мере, сможет покупать себе мясо.

В Праге, утверждала она, оставаться ей больше нельзя ни минуты, она, мол, задыхается от тамошнего смога — и в доказательство своих слов она продемонстрировала семье забитый мокротой фильтр ручного респиратора, которым пользовалась теперь на всех оживленных перекрестках.

— Смог, — заявила она, — канцерогенный!

Слово «канцерогенный» она произнесла с каким-то благоговейным трепетом.

Что ж, матери Квидо пришлось смириться, а его отцу приложить все свое столярное мастерство, чтобы соорудить для тещи в пока еще нежилой мансарде *уютный летний уголок*.

— Вопреки отчаянному упору, который отец делал на слове «летний», — рассказывал впоследствии Квидо, — бабушка оставалась в Сазаве не только всю будущую зиму, но и до самой своей смерти в восемьдесят седьмом году.

— Эта комната зимой практически не отапливается! — предупреждал бабушку отец Квидо.

— На сей раз ты должна ему верить, — убеждала ее мать Квидо.— С неотапливаемыми помещениями у него большой опыт.

Но бабушку было не застращать, и, к ужасу отца Квидо, она, забрав к себе электрокамин и старый обогреватель еще времен житья на веранде «Караулки», делала вид, что любой холод ей нипочем. Оба электроприбора способны были раскрутить счетчик, точно граммофонную пластинку, и от мысли, что придется оплачивать не только дорогую нефть, но еще и электричество, у отца Квидо голова шла кругом.

В морозные зимние ночи он нередко выбирался на лестницу, чтобы осветить фонариком счетчик.

— Он был похож на призрак отца Гамлета, только очень расчетливого, — описывая позднее эту картину, воспользовалась мать Квидо столь экстравагантным сравнением.

Бабушкина неожиданная боязнь рака, как ни странно, не покидала ее и в чистом сазавском воздухе. Поначалу бабушка отказывалась лишь готовить в алюминиевых кастрюлях, есть канцерогенных цыплят, которых, невзирая на все ее предупреждения, постоянно покупал отец Квидо, и мыть посуду «сапонатом», в результате чего тарелки стали вскоре такими жирными, что выскальзывали у всех из рук. Постепенно круг объявленных бабушкой запретов все более расширялся.

Двадцатого мая семья отмечала тридцатилетие отца Квидо. Жарко припекало солнце, но свод барвинка над верандой дарил желанную тень, так что Квидо решил накрыть стол к обеду там. У него для отца был припасен набор стамесок, и он нетерпеливо ждал минуты, когда можно будет вручить их.

— Идите к столу! — нетерпеливо кричал он.

Первым пришел сам отец, принес бутылку шампанского. Мать шла следом за ним с большой кастрюлей супа, зажав под мышкой газету.

— Ты только послушай, — смеялась она. — Надеюсь, он не думает так всерьез.

— Наверное, нет, — сказал отец, — раз у меня сегодня день рождения.

Бабушка Вера кивнула на дедушкину рюмку.

— Ему не наливайте! — потребовала она.

— Нет, вы только послушайте ее! — выкрикнул дедушка Йозеф, взывая к сочувствию всех сидящих за столом. — Мне что, уж и с собственным сыном нельзя чокнуться?

— Прочту тебе только кусочек, — настаивала мама, — дорогого стоит.

— Иди же к столу, дедушка! — звал Квидо.

— Иду, иду, — крикнул дедушка Иржи, что был на обязательном осмотре овощных грядок бабушки Либы и сейчас возвращался, чуть задыхаясь. Квидо заметил, что дедушка немного похудел.

— Что скажешь на это? — крикнула ему бабушка Либа.

— Красота! — вздохнул дедушка и обвел взглядом все вокруг — до самого леса вдоль речной долины, так что было не совсем ясно, относится ли его восторг к сельдерею, цветной капусте и ревеню или же к окрестностям.

— Еще бы! Сазава принадлежит к числу наиболее популярных туристических объектов, — сказала мать Квидо по-русски.

— У тебя есть чем похвастаться! — сказал с презрением дедушка Йозеф. — У тебя отличный русский...

— Прекрати! — сказала бабушка Вера. — Вот дом у тебя отличный, девочка, правду говорю тебе...

— Одна беда — здесь жутко узкий гараж, — сказал отец Квидо. — Тот, кто строил дом, был явно полный идиот. На нашей «октавии» задом никак не выедешь...

— Попытаемся поменять его на ангар, — сказала мать Квидо. — А не удастся, придется ему учиться давать задний ход, минуя ворота.

— Не сгущай краски, — сказал отец Квидо. — Ну, давайте выпьем!

— Не разбуди Пацо, ради бога!

Наконец вся семья собралась вокруг стола. Отец Квидо выстрелил пробкой и стал разливать шампанское в бокалы.

— Боже! — воскликнула бабушка Либа. — Хрусталь?! Ты что, хочешь нас всех отравить?

— Ей-богу, не хочу, — улыбался отец Квидо. — Уверяю вас, если жена не будет читать нам «Руде право», мы все переживем этот тост в полном здравии!

— Я не собираюсь облизывать этот свинец! — кричала бабушка Либа, брезгливо отстраняясь от хрустального бокала.

Все подозрительно склонились над своими бокалами.

— Что за чушь? — удивился дедушка Йозеф.

— Свинец, — с чувством своего превосходства отчеканил отец Квидо, — в свинцовом стекле *молекулярно* связан. Так что возможность слизать, как вы изволили выразиться, даже один его микрограмм абсолютно исключена.

— Знаете, кого я вчера встретила? — Мать Квидо попыталась свернуть разговор на другую тему. — Павла Когоута.

Бабушка Либа обернула бокал бумажной салфеткой.

— За здоровье, — сказала она с вызовом.

— За *ваше*, — поднял бокал отец Квидо. — За ваше.

— Экология, притом оригинально, — сказал редактор. — Это пойдет. Разумеется, без Когоута. Вот видите, получается, если хотите....

2) Мы знаем, что Квидо бегло читал еще до того, как стал ходить в первый класс. И конечно, можно было предполагать, что первые фразы букваря — как обычно бывает с детьми в подобных случаях — будут скучны ему, однако его проблема заключалась в другом: поскольку он соединял слоги, как и любой искушенный читатель, совершенно автоматически, подсознательно, то он не совсем хорошо постигал смысл слов, приводимых в учебнике лишь с целью усвоения тех или иных сочетаний. Квидо не мог поверить, что все эти слова напечатаны просто так, без всякого умысла, и, читая их, напряженно старался докопаться до их тайного значения. Да, зная уже,

что все слова в книгах или театральных пьесах отнюдь не случайны, он отказывался допустить, что слова на первых страницах букваря подбираются по другому принципу. Поэтому такие слова, как МАМА, КОЛЕСО, МОЛОКО, Квидо произносил со странно настойчивой, драматической интонацией, какую слушатели сразу же улавливали, но не могли объяснить.

— Совершенно банальная фраза типа ЭММА РЕЖЕТ МЯСО звучала в моей интерпретации, — рассказывал впоследствии Квидо, — как суггестивное, экзистенциальное сообщение или даже как короткая цитата из неизвестного готического романа. Все от этого были в полном отпаде!

Слава Квидо вскоре докатилась и до товарища Шперковой, руководительницы школьного кружка художественного чтения, и она тут же пришла его послушать.

— Встаньте, дети! — воскликнула товарищ учительница Елинкова, когда ее коллега из старших классов появилась в дверях.

— Садитесь, дети! — улыбнулась товарищ учительница Шперкова. — Я пришла послушать, как хорошо вы читаете.

Когда вроде бы случайно дошла очередь до Квидо, ему достались три короткие фразы о зеленой горошине. Непроизвольно имитируя Владимира Шмераля в роли Пия XIII, он вдумчиво прочел их.

Учительницы переглянулись.

— Не хотел бы ты со старшими детьми читать хорошие стихи? — спросила Квидо товарищ учительница Шперкова.

— По правде говоря, не знаю, — ответил Квидо. — В конце концов, это исполнительское искусство, а я хочу попробовать написать что-то свое.

— Писать ты можешь и после выступлений, — несколько опешив, сказала товарищ Шперкова. Хотя она и была уже о нем наслышана, все же личная встреча с ним — нечто другое.

— Не знаю, — сказал Квидо. — Еще подумаю.

— Ну хорошо, подумай, — сказала учительница Шперкова несколько чопорно.

Ее коллега заговорщицки подмигнула ей.

— Вы могли бы выступать на пару с Ярушкой, — предложила она Квидо. — Ярушка тоже прекрасно читает.

Интерес Квидо к декламации — как справедливо предположила учительница — несколько возрос.

— Может, она не захочет.

— Как это — не захочет? — засмеялась учительница, порадовавшись своей педагогической удаче. — Ярушка, поди сюда!

Ярушка, послушно подбежав, остановилась перед учительницами. Ее косички еще с минуту раскачивались. Квидо улыбнулся, но Ярушка на него не смотрела.

— Ярушка, ты хотела бы читать хорошие стихи?

Ярушка робко кивнула и опустила глаза.

— Хотя ангажемент двух первоклассников в истории кружка был беспрецедентным, Шперкова не колебалась, — рассказывал впоследствии Квидо. — Ярушка и я в тот же день были приняты.

Когда Квидо еще на веранде «Караулки» немного смущенно напяливал на себя голубую рубашку с октябрятским значком, мать его даже не улыбнулась, напротив, выглядела весьма серьезной.

— Это будет в школе? — спросила она.

— На собрании, — сообщил Квидо.

— Ну-ну.

Отец Квидо зашел на веранду с целой охапкой плашек, из которых задумал смастерить ящик для обуви.

— Почет и уважение красному флагу! — сказал он, заметив приготовления Квидо.

Жена окинула его выразительным взглядом.
— А что вы будете читать? — поинтересовалась она.
— Разное, — сказал Квидо не очень охотно.

— Естественно, в суть проблемы я тогда еще не вдавался, — рассказывал спустя годы Квидо, — но уже чувствовал, что в этой декламации есть какая-то лажа.

— А ты что прочтешь?
— «И гордым будь!»[1]
— «И гордым будь, что выстоял, что ложью не осквернил уста и грудь свою», так ведь? — вспомнила мать Квидо собственное детство, наполовину проведенное на радио в ансамбле Дисмана[2]. — Н-да, — задумчиво сказала мать Квидо. — А кто прочтет «Ленин — маяк, Ленин — набат»?[3]
— Ярушка, — сказал Квидо и покраснел.

Для всех присутствующих на собрании, а стало быть, не только для коммунистов, участие пионеров — поющих и декламирующих — столь самоочевидно, как лимонад на столах, но маленький Квидо, который в революционных стихах Неймана и Скалы находил столь же мало смысла, как и в простых фразах букваря, читал их с таким вдохновенным проникновением, какого до сей поры они не знали.
— Кто этот чокнутый малец?
— Да это отпрыск адвокатши и того инженера.
— Чешет как по писаному!
— Во дает!
— Вы только поглядите на этого шпингалета!
— Ну и навострился, паршивец!
Пусть иные реплики и были весьма нелицеприятными, одно было несомненно: люди заметили вдохновенного чтеца и запомнили.
— С этого собрания меня и запомнили, — объяснял потом Квидо брату. — Так сказать — в благоприятном контексте. Благоприятном — для отца! Оба они делали ужасно снисходительный вид, какой напускают на себя родители, когда их чадо выбирает безвкусную игрушку, — им самим она ни капли не нравится, но, коль скоро он выбрал ее, не хотят ему в ней отказывать. Однако отцу это пришлось весьма кстати — и потому он мне не мешал, да, слово найдено: они просто *не мешали мне*. Я, братишка, выполнял за них грязную работу: один раз «И гордым будь!» для коммунистов завода, два раза «Песнь мира»[4] на уличном комитете — и папаша мог лететь в Лондон!

— Перегибаете палку, — сказал редактор Квидо. — Как всегда, перегибаете палку. Да и есть ли вообще смысл терять на это время, — присовокупил он.

— Ясно, перегибаю, — сказал Квидо.— Но этим хочу вам показать, какие компоненты могли взаимодействовать тут наряду со всем прочим. Для вас это, возможно, прозвучит бессмысленно, но я по-прежнему убежден, что моя декламация стихов для коммунистов, покупка собаки у Шперка и отцовский футбол были, я бы сказал, тремя источниками и тремя условиями его последующей короткой карьеры.

3) — Так как живется-можется, товарищ?— смеялся Шперк, подсев на минутку к отцу Квидо в заводской столовой.
— Хорошо, спасибо,— сказал отец Квидо.— В самом деле, несравнимые вещи — прежняя веранда и теперешнее жилье.

---

[1] Стихотворение Станислава Костки Неймана (1875—1947) — чешского поэта и общественного деятеля-коммуниста.
[2] Мирослав Дисман (1904—1981) — чешский педагог, прозаик и драматург, основатель молодежного ансамбля художественного чтения.
[3] Стихотворение Ивана Скалы (р. 1922) — чешского поэта и общественного деятеля-коммуниста.
[4] Поэма Витезслава Незвала (1900—1958) — чешского поэта и общественного деятеля-коммуниста.

Хотя он и был искренно благодарен Шперку, ему, однако, неприятно было показывать людям, что он с ним на дружеской ноге.

— Флаги были у тебя, видел,— ухмылялся Шперк.

— Были, — сказал отец Квидо.

— Но вообще-то тебя не видно, — напомнил ему Шперк.— В футбол играешь? Мне нужен кто-нибудь в «Б».

— Я уж вам говорил, что никогда не играл, — пожал плечами отец Квидо. — Разве что в армии, но об этом лучше не вспоминать.

— Ну ладно, — улыбался Шперк, — значит, футбол исключается?

— Разумеется. Упаси бог!

— Ну, будь по-твоему, — сказал Шперк. — Нет так нет. Но собаку ты должен у меня купить — уговор дороже денег.

— Ну что вы! — испугался отец Квидо. — Я же вам говорил: жена травмирована собаками.

— Да брось ты! — хохотнул Шперк. — За три тыщи такую овчарку! Деньги не к спеху, не бойся!

— Не о том речь. Жена как огня боится собак. Это я серьезно. Как-то одна искусала ее, она даже в больницу попала, кошмар какой-то! — в отчаянии импровизировал отец Квидо. — Какая там еще собака!

— Говорю же тебе — не собака это! — сказал Шперк несколько раздосадованно. — Щенок! Завтра зайди ко мне!

— Значит, ты считаешь, — сказала в тот вечер мать Квидо своему мужу, — что я, у которой при виде непривязанной собаки любой породы преждевременно начинается мензис, горю желанием приобрести собаку для нас, причем именно овчарку?

— Нет, я далек от этой мысли, — удрученно сказал отец Квидо.

— Или ты считаешь, что наш Квидо мечтает об этом? Квидо, у которого при неожиданном собачьем лае начинается непроизвольное мочеиспускание, а то и хуже того?

— Нет, я и этого не считаю, — вздохнув, сказал отец Квидо.

— Или, может, о здоровенной овчарке мечтает маленький Пацо? Он что, выразил тебе свое желание в какой-нибудь форме?

— Нет, совсем нет!

— Стало быть, в нашей семье о собаке мечтаешь ты один!

— Да не мечтаю я о собаке, — возразил отец. — Я хочу лишь получить приличную работу.

— Постой, — удивилась жена, — объясни мне, пожалуйста. Значит, ты *не хочешь* эту собаку? Ты тоже не хочешь ее? Выходит, никто из нас не хочет ее, но, несмотря на это, она будет у нас? Несмотря на это ты завтра пойдешь за ней? Почему?

— Я же объясняю тебе: чтобы я мог делать свое дело!

— И чтобы ты мог делать свое дело, ты должен купить у Шперка за три тысячи это косматое дозволение?!

— О боже! — простонал отец Квидо. — Разве я виноват в этом?

Сразу было ясно, что редактора осенила какая-то мысль.

— Так его перетак! — воскликнул он. — Только теперь до меня дошло! — Он громко хлопнул себя по бедрам и энергично поднялся с кресла. — Я все время вас журю за минимальную самоцензуру, возмущаюсь, что вы придерживаетесь лишь минимальных ограничений, но на самом-то деле для вас не существует вообще *никаких* ограничений. Вы вообще не признаете никакой цензуры!

— Да, — вынужден был согласиться Квидо, — пока действительно я не очень, но...

— Стало быть, — перебил его редактор, — вы как бы бьете наотмашь, режете правду-матку, ни с кем и ни с чем не церемонитесь и даже готовы смириться с тем — ибо не так уж вы наивны, чтобы не понимать этого, — что я буду потом по-иезуитски вычеркивать из вашего текста все эти штучки, не так ли? Что вы на это скажете?

— Да вроде бы так, — сказал Квидо, идя на попятную.

— То-то же! — воскликнул редактор и драматически понизил голос: — Однако *потом*, потом черкать уже не придется!

— Не придется?! — испугался для виду Квидо. — Вот те на! Что же делать? Я тут бьюсь над правдивой историей, а в конце концов выясняется, что из нее нельзя ничего вычеркнуть!

— Вам кажется это забавным? — холодно сказал редактор. — Я думал, вы хотите *издать* свой роман. И в таком случае вам надо порядком из него повычеркивать. А это вряд ли получится, ибо он весь построен так, что, если слишком много из него вычеркнуть, он сразу развалится и рухнет вам на голову.

Редактор победно подошел к открытому окну, забарабанил пальцами по подоконнику и рассеянно выглянул на улицу. По Народному проспекту проехал трамвай.

— Ничего не поделаешь, — сказал Квидо. — Пусть рухнет!

Отец Квидо, заплатив Шперку три тысячи крон, получил полугодовалую суку по кличке Тера. Кличка с самого начала ему не понравилась: звучала она резко, холодно, а главное, напоминала фильм «Торра! Торра! Торра!» — известную драму времен войны. Всю дорогу от Шперка домой он говорил себе, что неплохо бы назвать сучонку как-нибудь совсем по-другому, более мягко и ласково, что выражало бы — как он надеялся — ее миролюбие, преданность и привязчивость и произвело бы на жену и на Квидо исключительно успокаивающее впечатление. И даже зная, что переименование собаки, привыкшей уже в течение нескольких месяцев к своей первоначальной кличке, считается в кинологии немалым прегрешением, он все же решил пойти на это, ибо, с одной стороны, опасался реакции семьи на кличку Тера, а с другой — несколько утешался мыслью, что, так и не сумев повлиять на выбор имени для своих сыновей, по крайней мере выберет его для своей собаки.

С минуту им владело искушение дать собачке женский вариант своего имени, назвав ее Йозефино, но, к счастью, он тут же отверг эту тщеславную идею, хотя мысль о переименовании собаки по-прежнему не оставляла его.

— Мила. Вилла. Ванилька, — проговаривал он вполголоса. — Милка? — произнес он, но это имя почему-то сразу вызвало в нем картину собачьей случки, и он тотчас от него отказался.

В таких раздумьях он быстро одолел дорогу и вот уже оказался вместе с собакой, которую все еще звали Терой, у красных песчаниковых столбиков садовой калитки. Мобилизуя весь свой интеллект, находчивость и остроумие, отец Квидо двинулся к дому. В голове его в течение этих десяти-двадцати секунд пронеслось добрых пятьдесят существительных женского рода, но ни одно из них — он это чувствовал всей душой — не было тем искомым. Он завернул за угол и увидел на веранде жену, выметавшую опавшие листья барвинка. Из-под кремового свитера выглядывал белый воротничок. Ура, имя найдено!

— Вот она! — выкрикнул он весело. — Зовут ее Нега!

Как ни странно, но лучше всех в семье принял Негу Квидо: несмотря на некоторую настороженность, все еще сквозившую в его движениях, он брал ее на руки, гладил, играл и всячески возился с ней. Бабушка Либа встретила ее разве что как лишнего едока, которого знай корми мясом, а Пацо был слишком мал, чтобы щенок мог доставить ему радость. Мать Квидо решила игнорировать щенка — отсюда возникла серьезная опасность, что во время своих стремительных и гневных перебежек из комнаты в комнату она попросту затопчет его. Когда эта беготня слишком затянулась, отец Квидо не выдержал.

— Плохо играешь, — остановил он жену. — Неправдоподобно! Взгляни на Квидо. Не смешно ли делать вид, что ты боишься щенка?

— Я не боюсь. Пока! — сказала она. — Но я была против, ты это знал.

Для начала отцу Квидо хватало и того, что она не боится.

— Ну что ж! — сказал он с облегчением. — Да и как можно бояться такого игривого, ласкового, доверчивого шарика? Почему, думаешь, ее назвали Негой?

— Что до меня, так это всегда будет черный, злой, зубастый, жуткий и вонючий пес! А назвать ее можно хоть Мирославой.

— Оставь! — смеялся отец Квидо. — Поди лучше погладь ее. Посмотри, какая она мягкая, нежная.

— Ни за что! И наконец привяжи ее где-нибудь.

— Ты что, в своем уме? Щенков не привязывают.

Отец Квидо недоуменно покачал головой и нагнулся к Неге. Сучонка подняла мордочку и посмотрела на него темными блестящими глазами.

— Ну погладь ее. Пожалуйста!

Мать Квидо заколебалась.

Потом протянула руку и положила ладонь ей на голову.

Нега обернулась.

Мать Квидо отдернула руку.

— Вот видишь!— ублаготворенно смеялся отец. — Ничего не случилось. — Только сейчас мать Квидо открыла глаза. — Что ты чувствовала?

— Будто я погладила дохлую крысу, — сказала она.

— Пока Нега была щенком, особых трудностей она не создавала. Естественно, она сгрызла не одну ножку у стола, объела не одну книжку, мочилась на ковер, но серьезных проблем с ней не было,— рассказывал спустя годы Квидо. Однако по мере ее роста проблем прибавлялось. Отец Квидо, пытавшийся дрессировать ее по системе классика немецкой кинологии Хегендорфа, с беспокойством убеждался, что сучка, которая должна была бы по идее становиться «более спокойной, услужливой и сдержанной, чем кобель», на самом деле являла собой полную противоположность: Нега была дикой, упрямой и очень непослушной. В другом пособии он прочел, что речь, видимо, идет «о собаке сурового нрава с преобладающим лидерским инстинктом, которая в стае собака — человек уступает человеку лидерство очень и очень неохотно».

— Вот те на! — ужасался отец.

Затем он прочел, что надежным критерием для распознания собак сурового или мягкого нрава служит их реакция на строгий ошейник: злая собака якобы переносит его хорошо. Стало быть, он без особого труда мог бы установить, к какому типу собак относится Нега, но он блаженное неведение предпочитал устрашающей правде и покупку строгого ошейника постоянно откладывал. Тем большее внимание он уделял дрессировке. Поначалу он долго сомневался: применить ли в воспитании принудительный метод, рекомендуемый Хегендорфом для собак сурового нрава, или же метод подражательный, что больше соответствовало его собственному характеру.

— Подражательный метод? — воскликнула его жена.— Я не ослышалась? Значит, ты обладаешь какими-то качествами, способностями и умением, которым собака должна подражать?

Отец Квидо, конечно, к нападкам своей жены был уже давно невосприимчив и продолжал терпеливо дрессировать Негу, комбинируя оба упомянутых метода. Он отказался от мысли принудить ее ползать, не говоря уже об апортировке, и был бы предельно доволен, если бы Нега всего лишь садилась или ложилась на его команды, если бы не тащила его на поводке, а спущенная с него, прибегала бы на его зов обратно. Даже эти цели казались ему подчас слишком недостижимыми, и он постепенно утрачивал былой энтузиазм.

Тем сильнее возмущался он, ежели кто-то, возможно по неведению, сводил на нет единичные результаты его дрессировки.

— Что за команды ты ей даешь? — напустился он однажды на жену, услышав целую «серию» ее приказов. — «Давай ложись!» или даже «Укладывайся здесь!»? Тысячу раз говорил тебе, что надо дать команду «Down!».

— Ну так будь любезен, скажи своей бестии, чтоб не кусала меня в лицо! — развизжалась мать Квидо.

— Она никогда тебя не кусала! Она тебя только лижет, — горячо возражал он. — Надо радоваться, ведь так она выражает свое послушание. Если бы ты наконец про-

чла Хегендорфа, ты бы знала! Когда члены стаи лижут лапу вождя, они тем самым проявляют свое послушание и подчиненность, — цитировал отец Квидо.

— Мою лапу она лизать не будет! — кричала мать Квидо. — Плевать я хотела на такое послушание! Для меня послушна та собака, которая меня не облизывает!

— О боже! — вздыхал отец.

Он бы и рад был отучить Негу лизать лицо жены — как и от множества других вредных привычек, — но был далек от уверенности в успехе своей дрессировки. Его инструкторский апломб испарялся день ото дня. Спустя несколько месяцев он сделал наконец то, чего так долго избегал: купил в Праге строгий ошейник. Надевая его Неге на шею и проводя по острию шипов подушечками пальцев, он с надеждой думал, что ему уже не придется изо всех сил удерживать ее на поводке. Но как только он сошел с веранды на камушки садовой дорожки, Нега припустила вперед в полном равнодушии и к его надеждам, и к острым шипам ошейника. Она тащила его всю дорогу с прежним упорством.

— К сожалению, теперь все ясно, — сказал он своей жене, когда, вконец измотанный, вернулся с прогулки. — Эта собака так называемого сурового нрава.

— Так что же из этого вытекает?

— Трудно сказать. Она не всегда нас слушается. Наверное, часто будет настаивать на своем.

— Не всегда! — повторила жена. — Что ты донимаешь меня своими эвфемизмами? Что эта собака никогда не будет нас слушаться — это я знала с самого начала и без твоего Хегендорфа!

— Конечно, я буду по-прежнему ее дрессировать, — уверил жену отец Квидо.

— Что? Ты? — удивилась мать Квидо. — Ты со своим инстинктом подчиненности хочешь дрессировать собаку лидерского типа? Не кажется ли тебе это абсурдом?

— Кажется, — признал отец Квидо свое поражение.

4) Отец Квидо впал в мрачное настроение, но неудачи в дрессировке Неги были не единственной тому причиной; напротив, сейчас ему казалось, что причин таких у него более чем достаточно.

Замзавом предприятия стал его давний друг, инж. Звара, — отец Квидо и раньше предполагал эту передвижку, но понять ее смысл никак не мог. Внешне они продолжали оставаться друзьями, но оба, словно договорившись, избегали слишком пристальных воспоминаний о прошлом, в частности о том, кто из них окончил вуз с красным дипломом, кто кому написал дипломную работу и кто в совершенстве владеет двумя европейскими языками. Правда, однажды сам Звара сделал косвенный намек на эти достойные внимания обстоятельства.

Произошло это в один из октябрьских дней семьдесят второго года, когда его впервые послали в командировку на Запад — на Франкфуртскую промышленную ярмарку.

Всю неделю до своего отлета Звара только тем и занимался, что подсчитывал выданные ему и каким-то иным путем приобретенные марки, сосредоточенно рассматривал свой авиабилет, беспрестанно раскладывал и складывал план города и тщетно вспоминал забытые немецкие слова.

— Послушай, как сказать «Вы замужем?»? — спрашивал он, не поднимая глаз от разговорника.

— Sind Sie verheiratet? — сказал отец Квидо.

— А «Разденьтесь!»? — продолжал Звара, подмигивая секретарше.

— Ziehen Sie sich aus.

— А «Откройте рот!»? — спрашивал Звара с похотливой улыбочкой.

— Öffnen Sie den Mund, — вздохнул отец Квидо.— А знаешь, что такое «Ich habe einen Ausschlag, Herr Doktor. Es juckt»?

— Нет. А что это?

— У меня сыпь, господин доктор. Зудит.

Секретарша хихикнула.

— За меня будь спок! — смеялся Звара. — Я не дам маху.

— Daran zweifle ich nicht.

— Что это?

— Я в этом не сомневаюсь, — перевел отец Квидо уже с некоторым раздражением.

Он не завидовал ему, по крайней мере в обычном смысле этого слова, и не хотел, чтобы Звара думал, что он завидует ему. Однако разделять с ним его радость — радость человека, отъезжающего в загранкомандировку, — ему было трудно. И его лицо выражало это. А посему он повернулся к своему столу и сделал вид, что загружен срочной и важной работой. Естественно, Звара это заметил.

— Я знаю, ты стоишь больше меня.

— Что? Что? — вроде не понимая, спросил отец Квидо.

— Ты знаешь, почему туда еду я, а не ты, хотя ты и лучше меня?

Отец Квидо ощутил привычное покалывание за грудиной.

— Оставь меня в покое, — сказал он как можно равнодушнее.

— Я серьезно, — сказал Звара. — Знаешь почему?

— Не знаю, шеф. Может, ты объяснишь мне? — Отец Квидо попробовал перейти на более легкий тон, но внезапно возникшее напряжение от этого не уменьшилось.

— Потому что ты осел!

— Вот как, — сказал отец Квидо чуть приглушённо, — а я-то, дурак, все время думал, что я никуда не езжу, потому что не состою в коммунистической партии.

— Правильно думал. Именно потому ты и есть осел!

На какой-то миг отцом Квидо овладело неодолимое искушение ударить друга, но он раз-другой вздохнул, и какая-то внутренняя волна смыла его ярость.

— Знаешь что, шеф? — сказал он миролюбиво. Глаза его вновь стали чистыми. — Может, положим на это с прибором?

— Фи, пан инженер! — возмутилась для вида секретарша.

— Сержант Звара! — выкрикнул спустя какое-то время отец Квидо.

— Я! — рявкнул по уставу Звара. Казалось, он напрочь забыл о предыдущем разговоре.

— Смотри, не выкинь чего на Западе.

— Слушаюсь! — по-военному отрапортовал Звара.

Все трое рассмеялись.

— И так бывало всегда,— рассказывал спустя годы Квидо. — Отвращение отца к конфликтам, его физическая неспособность переносить их брали свое. Мысль, что ему придется сорок часов в неделю проводить с тем, с кем он вздорит, была для него настолько невыносима, что со Зварой он ни разу так и не поссорился. Как только он почувствовал, что их расхождения во взглядах стали приобретать более глубокий характер, он уступил. Вряд ли какая-нибудь истина стоила того, чтобы портить себе нервы!

— Неужто ты так и не скажешь ему, что ты о нем думаешь? — напирала на него жена.

— А зачем? Мы непременно поссоримся. Или ты думаешь, что я открою ему глаза и он изменится? Я собак не умею воспитывать — тем более людей!

— И то правда, — в порядке исключения согласилась с ним жена, но тему продолжила: — Стало быть, тебе не важно, что ты живешь во лжи?

— Важно, — сказал отец. — Но это для меня чуточку менее важно, чем восемь часов кряду сидеть в конторе с кем-то, кто оскорбленно швыряет на стол что попадает под руку. А я всякий раз вздрагиваю. От этого у меня выступает лихорадка.

— Так что ты живешь во лжи из-за лихорадки!

— А ты не живешь во лжи?

— Естественно, живу. Мы все живем во лжи. Но я борюсь против нее! По-своему, внешне неприметно, но борюсь!

— Юридическим способом, — бросил отец.

— Да, именно так. Я правовед, значит, с помощью права.

— В стране, где нет права, — уточнил отец Квидо. — Тебе не кажется, что в этом есть нечто неразрешимое?

Он коснулся явно чего-то болезненного для жены, ибо она отреагировала весьма раздраженно:

— Зато ты борешься за правду в столярной мастерской!

— Нет, не борюсь. И никогда не утверждал ничего подобного. Я лечу там нервы. Не представляешь, как это меня успокаивает. Мастерю какую-нибудь полочку и напрочь забываю обо всем на свете.

— Полочку! — вскричала мать Квидо. — Лучше найди ЛСД. Тогда забудешь о мире гораздо быстрее и по крайней мере это обретет какую-то *форму*!

— Чего там ЛСД! Лучше попробую найти какое-нибудь дерево!

Отец Квидо говорил правду: он купил по дешевке старый токарный станок, расширивший его столярные возможности, но найти подходящий материал ему не удавалось, и он долгое время довольствовался лишь какими-то обрезками. Из них он вытачивал рыболовные поплавки, хотя сам не рыбачил, или разные подвески, которые никто не носил, — и все лишь для того, чтобы подольше находиться в мастерской.

— Когда у него не осталось ни одного куска дерева, который можно было бы закрепить в станке, он начал вручную вырезать всякие миниатюры с глубоким символическим смыслом, — рассказывал Квидо. — Самым значительным творением этого периода, несомненно, был уменьшенный макет пограничного шлагбаума в Розвадове.

— Дружище, вы никак дурака из меня делаете! — сказал редактор. — Жизнь во лжи, государство без права... Договорились мы о чем-нибудь или не договорились?

— Но ведь против правды не попрешь, — упрямо сказал Квидо. — Какой смысл, если это будет неправда?

— Смысл?! — сказал редактор. — Вы в самом деле еще ребенок! С каких это пор, скажите на милость, мы в Чехии можем спрашивать, имеет ли наша литература смысл? Такую роскошь наша страна никогда не могла себе позволить! Здесь всегда только и спрашивают, существует ли вообще литература. *Есть ли* она у нас. Разве вы этого не понимаете?

— Нет, — сказал Квидо. — Не понимаю.

Как только отец Квидо раздобыл нужный материал и в мастерской появились ровные сосновые и еловые доски, светлые дубовые многогранники, фанера, короткие и подлиннее планки, красноватые чурбачки дикой сливы и прочее, он с упоением, долго подавляемым, принялся за новую работу. Для затравки он выстругал несколько мисок, подсвечник и раму для зеркала, затем взялся за карниз для занавесок, о которых так мечтала мать Квидо, обшил деревом радиатор центрального отопления в детской, смастерил для Квидо простую книжную полку и покрыл лаком лавку на веранде. Но он постоянно чувствовал, что его поделкам чего-то недостает. Во всем, что он выносил из мастерской, при свете дня всегда было нечто, накладывавшее на его изделия черты дилетантства: в сочленении чуть расходились углы или же вдруг обнаруживалась узкая щель, в лаковом покрытии — несколько вздувшихся пузырьков. А если изделие с точки зрения ремесла было в полном порядке, то с точки зрения эстетики обычно оставляло желать лучшего.

— В этом плане стоит сказать о журнальной этажерке, — рассказывал Квидо. — Отцу она удалась, но он сделал ее такой массивной, что все гости уже с порога обычно спрашивали, почему у нас в гостиной стоит кормушка.

Отец Квидо не выносил дилетантства. Все свое детство и юность он провел среди расшатанных, расклеенных, разваливающихся вещей, которые опять же по-дилетантски ремонтировал его отец, дедушка Йозеф. Даже сейчас, стоило ему только вспомнить все эти дверцы шкафа, закрепленные сложенными бумажками, электрические шнуры, обмотанные лейкопластырем, и расшатанные паркетины, залепленные жвачкой, его бросало в дрожь. Уж коль его работа в торговом отделе подчас бессмысленна и неэффективна, так пусть хоть работа по дереву будет на уровне, с надеждой

рассуждал отец Квидо, но, как он ни старался и каким бы качественным ни был материал, эта надежда всегда оказывалась тщетной. Видимо, ему не хватало какого-то врожденного чутья, которое он пытался возместить временем, проведенным в мастерской.

— Мой отец, — утверждал Квидо, — силился преодолеть собственные гены.

Крупный, хотя и несколько своеобразный заказ получил он в это время от бабушки Либы, которую последовательная профилактика в отношении канцерогенных веществ побудила не только собирать различные лекарственные травы, но и привела ко всяким мистическим заморочкам. Однажды приглашенный за определенное вознаграждение корзинщик подтвердил ее предположение, что всепроникающие электромагнитные волны проходят через ее мансарду *по диагонали*, и с легкостью убедил ее, что кровать всенепременно должна учитывать это направление. Таким образом, классический прямоугольный комод сразу же стал неприемлемым, и возникла потребность в шкафчике совершенно иной формы — *трехгранной*.

— *Угловые* диваны я видел,— сказал отец Квидо, ознакомившись с бабушкиными требованиями, — но угловой шкафчик для перин, вероятно, будет первым и единственным в республике. Мы еще дождемся того, что я буду сколачивать для нее ложе факира, — мрачно сказал он жене, но про себя был рад, что у него нашелся вполне легальный повод пропадать в мастерской до поздней ночи.

Пожалуй, еще более впечатляющим, чем вера в силу электромагнитных волн, было убеждение бабушки в том, что походы с подругами на восток, то бишь в направлении, противоположном вращению Земли, способствуют ее физическому омоложению. Отец Квидо не раз и не два пытался доказать ей — однажды даже с помощью круглой кухонной люстры, цветных фломастеров и ручного фонаря,— что эти ее теории, мягко говоря, иррациональны, но доводы его ни к чему не привели — он только сорвал с крюка на потолке люстру. Поистине с галилеевским упорством бабушка утверждала, что с каждым поворотом шоссе или лесной тропы на восток она-де *однозначно* ощущает, как своими ногами буквально раскручивает Землю, примерно так, как медведь в цирке лихо раскручивает цилиндр или шар.

— А на поверку получается, что я иду против времени, — объясняла она.

Мать Квидо не верила бабушке, считала, что та играет с ними какую-то глупую шутку, цель которой, возможно, заставить семью более сочувственно относиться к ее солидному возрасту. Но как-то раз Зита убедила мать Квидо, что бабушка к своим теориям относится абсолютно серьезно.

— Она идет в нескольких шагах впереди нас, в руке компас, и вдруг бросается вперед как безумная, — с грустью описывала Зита эту картину.

— Куда ты летишь, Либушка, — кричат ей вдогонку подруги, но бабушка их не слышит: своими ногами она раскручивает планету и летит сквозь время. С ее икр исчезают варикозные вены, дряблые мышцы становятся упругими, каждый шаг легче и пружинистей предыдущего. Сгорбленные плечи расправляются, крепкие, полные груди натягивают ткань клетчатой рубашки. Седые волосы обретают цвет и блеск, густеют, пряди, выбиваясь из пучка, при каждом шаге подпрыгивают вокруг гладкого, молодого лица. Воздух чистый и свежий, дышать им — одно наслаждение. Деревья так и мелькают кругом, а там впереди, на опушке леса, ждет, возможно, красивый, умный юноша, что куда симпатичнее всех этих незнакомых старушек, выкрикивающих что-то у нее за спиной. Сердце ее бьется спокойно, ритмично, белозубой улыбкой она улыбается миру. На дворе — тысяча девятьсот тридцатый год, и бабушке восемнадцать лет.

— За ближним поворотом все равно догоним ее, — успокаивает Зита запыхавшихся подруг.

И в самом деле: когда дорога сворачивает на север, бабушка Либа останавливается и ждет. Прислонясь к дереву, она с трудом переводит дыхание, глаза ее источают какую-то нечеловеческую усталость.

— Все будет хорошо, девочка, — говорит ей Зита с тревогой и дает таблетку. — Вот мы и опять здесь.

5) Наступило Рождество. Дедушке Иржи предстояла операция, и, стало быть, приехать он не смог. Поэтому Квидо, его мать и бабушка Либа привезли ему подарки в больницу, за день до праздника. Дедушка был бледен, но улыбался. На столике у его кровати Квидо увидел маленькую, довольно толстую книгу; обложки не было, так что ни названия, ни автора не определить.

— Что ты читаешь? — спросил деда Квидо, ибо книги возбуждали в нем все большее любопытство.

— И не спрашивай! Сонеты Шекспира! — засмеялся дедушка. — Иными словами: теряю разум. Знаешь, что значит, когда юрист начинает читать Шекспира? — весело обратился он к дочери.

— Не знаю, — ответила она.

— Притвора, знаешь! — сказал дедушка. — А как поживает Пацо?

Сочельник с утра проходил в умиротворенной обстановке; не нарушила ее даже Нега, которая еще утром сожрала половину приготовленного на ужин индюка, ни мать Квидо, сделавшая из его остатков отбивные и поджарившая их на канцерогенной тефлоновой сковороде, ни даже бабушка Либа, с отвращением спустившая эти отбивные в унитаз. Ибо непривычное отсутствие дедушки делало всех чрезвычайно терпимыми. Частично нарушил эту умиротворенность Квидо.

— Что это за дребедень? — спросил он без околичностей, не обнаружив даже в последней коробке своих подарков ни желанной черной шляпы с широкими полями, ни черно-белого кожаного футбольного мяча. Он нимало не старался скрыть своего разочарования, тем паче симулировать какую-то радость. Родители загадочно улыбались. Маленький Пацо увлеченно возился со своими подарками.

— Вы в самом деле купили это для меня? — спросил Квидо ломающимся голосом. — Наверное, это шутка? Если да, то плохая.

— Погоди... — Мать Квидо откашлялась, но он не дал ей договорить.

— Раз уж я не отказался от участия в этой унылой церемонии с воображаемым посланием младенцу Иисусу и совершенно недвусмысленно сказал, что мне позарез нужна черная шляпа с широкими полями, то я ожидал, что вы хотя бы учтете мое желание! — раздраженно заявил Квидо.

— Квидо!— с укором сказал отец.

— Я мог бы понять, — продолжал Квидо, повысив голос,— если бы не получил ничего... Бог свидетель — ваше экономическое положение я всегда максимально учитываю и, естественно, простил бы вас, получи я в подарок темно-синюю или коричневую шляпу, хотя в таких цветах на трезвую голову и выйти стыдно на улицу, но тут по крайней мере было бы явное стремление удовлетворить мое желание! Однако этот *фиго́вый* футбольный мяч я вам ни за что не прощу...

Пацо испуганно взглянул на брата.

— На Целетной я видела море черных шляп, — сказала бабушка Либа. — И дешевых.

— Ради бога, мама! — сказала мать Квидо.

— Подожди, Квидо... — сказал отец.

— Не подожду, — заблеял Квидо, — я *знаю*, я и сам прекрасно *знаю*, что я не спортивный, очкастый, неловкий, толстый и интровертный тип, а значит, излишне, совершенно излишне делать на это такие дорогостоящие намеки!

Воцарилась тишина, нарушаемая лишь шумным сопением Квидо. Его отец возвел глаза к потолку и из коробки за спиной вытащил черную шляпу с широкими полями.

— Это действительно была шутка! — сказал он, растерянно разводя руками.

— У тебя нет чувства юмора? — сказала мать Квидо. — Бабушка, например, смеялась, когда получила компас.

— А теперь не смеюсь. Дурацкий компас!— сказала бабушка Либа.

— Тебе же понравился, — возразила мать Квидо.

— А теперь разонравился! — решительно заявила бабушка.

— А кому же этот мяч? — осторожно спросил Квидо.

— Мне! — сказал отец Квидо и, нагнувшись, ухватил мяч ладонями. Протянув руки вперед, он уставился на мяч очень странным взглядом.

— Как так? — сказал Квидо.

— Именно так, — сказала его мать.— Он уж, верно, забыл, что именно из-за футбола ему пришлось в армии, в Опатовице, бегать ночью в пижаме по спортивной дорожке.

Что муж купил футбольный мяч действительно для себя, она узнала только вчера и до сих пор не могла понять этого.

— *Без* пижамы, — уточнил отец Квидо, и взор его обратился куда-то в темное прошлое.

— Без пижамы?! Бедненький! Этого ты мне не говорил!

— А причина? — робко спросил Квидо, стыдясь своего недавнего выпада.

— Игра рукой, — коротко сказал отец.

— А теперь расскажи,— продолжала развлекаться мать Квидо,— как солдаты из твоего взвода отняли у тебя очки и после учений на стрельбище прикрепили их к жестяному манекену...

— *Перед* учениями, — неохотно сказал отец Квидо. — По счастью, никто не попал. Пришлось потом проехать по ним походной кухней...

— Ты мне этого не говорил, — смеялась мать. — Ты вообще многое от меня утаил!

— Игра рукой? — участливо спросил Квидо.

— Это тоже. И в свои ворота!

— Так что ты купил мяч, чтобы, так сказать, повспоминать прошлое! — сквозь слезы смеялась мать Квидо. — Но, учитывая характер воспоминаний, это, боюсь, будет скорее походить на психоанализ.

— Компас, конечно, лучше, — сказала бабушка Либа, очнувшись на мгновение от полусна.

Отец Квидо поднял мяч на уровень лица.

— Возможно, это даже не мяч, — сказал он загадочно.

— Конечно! — воскликнула мать Квидо. — Это ключ к твоей личности!

— Нет, не то. Знаете, что это? Моя последняя жертва богам карьеры.

— Что?

— Реальность есть шифр. Видимость обманчива. Пусть тебя не смущают размеры, — сказал отец Квидо без улыбки. — Возможно, это та пуля, которая сразит Голема.

— Возможно, — смеялась мать. — Если, конечно, это не дух твоего армейского командира.

Отец Квидо поднял мяч еще выше. Язычки елочных свечей изогнулись, взвихренные воздухом.

— Примите мою жертву, боги, — сказал он.

Квидо с матерью переглянулись. Бабушка спала.

— Прошу вас, — настойчиво сказал отец.

— Все! Точка, — сказала мать Квидо. — Что бабушка навязывает нам всякую мистику, дело известное. Однако я не ждала, что ею вдохновится самый убежденный рационалист в семье.

— Этому рационалисту не остается ничего другого, — сказал отец Квидо. — Он пять лет выполняет работу на уровне средней школы и получает за нее менее двух тысяч крон.

Пацо поднял голову от игрушек.

— Дай мяч! — потребовал он. Отец бросил ему мяч.

— У меня красный диплом, сданы госэкзамены по английскому и немецкому, рекомендация Академии, пятилетняя практика, УМЛ, собака и сын, прекрасно декламирующий, — сказал он. — Еще я научусь играть в футбол и на этом поставлю точку.

— Он и вправду принял ЛСД! — воскликнула мать Квидо.

Не обращая внимания на ее реплику, отец Квидо обратился к старшему сыну:

— Ты хоть знаешь правила игры? Игра рукой, офсайды и прочее...

— Правила в основном я знаю, — сказал Квидо в некотором недоумении, пони-

мая, однако, что отец говорит все это всерьез. — Я смотрел, как играют мальчики в школе.

— Отлично. У тебя найдется завтра минутка-другая?

— Конечно! — гордо кивнул Квидо.

В первый день Пасхи мы пошли тренироваться, — рассказывал Квидо. — У отца не было, как, впрочем, и никогда в жизни, за исключением разве что школы и армии, ни тренировочного костюма, ни спортивной обуви, так что ему пришлось надеть свитер, вельветовые брюки и старые полуботинки, каблуки которых все время увязали на мягкой лужайке.

Нелегко было найти и подходящее место для тренировок: отец Квидо пытался отыскать — из понятных соображений — наиболее отдаленное место, каким было то, где он когда-то безрезультатно натаскивал Негу и куда из какого-то суеверного страха не хотел возвращаться. В конце концов они нашли такой уголок — повыше сада, у самого подножья Жаворонка. Отец Квидо прежде всего решил повторить элементарные короткие пасы, но поскольку они с Квидо все ближе и ближе придвигались друг к другу, то большую часть времени проводили в поисках мяча, отлетавшего в кусты орешника.

— Тут одни кротовые кочки, — объявил отец Квидо, словно извиняясь перед кем-то третьим. — Тоже мне спортивная площадка! — Он принес мяч и долго устанавливал его на воображаемой отметке.

— Бери! — крикнул он наконец, резко ударив по мячу, но мяч остановился в слежавшейся траве прежде, чем Квидо успел подбежать.

— Тут высокая трава!— крикнул отец как бы в оправдание.

— А там ее нет! — крикнул Квидо, чтобы немного взбодрить его, хотя оба прекрасно понимали, что даже на ровном, выкошенном газоне вся эта картина выглядела бы ничуть не лучше.

С каждой последующей тренировкой отец Квидо убеждался в непреложной истине: движения игроков, что кажутся на телеэкране столь легкими, плавными и естественными, на практике таковыми отнюдь не являются. Его движения были, напротив, порывистыми, судорожными и совершенно нескоординированными. Бегал он неуклюже, а пробежав немногим более двухсот метров, и вовсе выдыхался. Пасуя, он посылал мяч либо слишком далеко от себя, либо спотыкался о него. Обойти с мячом противника, которого самоотверженно представлял его сын, ему удавалось лишь тогда, когда Квидо стоял на месте как вкопанный; но стоило тому отбежать в сторону, избранную отцом для нападения, как они зачастую небезопасно сшибались. Пасы по земле отец проделывал способом, обычно применяемым при затаптывании горящей спички или назойливой осы. Мяч чаще всего выскальзывал у него из-под ноги, занесенной для удара, а если он и попадал ею в мяч, то делал это так резко, что тут же растягивался на земле. Мячи в воздухе отец Квидо вскоре вообще перестал брать: головой он не мог брать их из-за очков, рукой — не дозволяли правила игры, грудью — из-за реальной опасности потерять дыхание. Его ударам недоставало ни силы, ни точности, но самым худшим было то, что при приближении мяча отец Квидо от чрезмерного усилия высовывал язык — это придавало его лицу абсолютно дебильное выражение.

— Не удар, а бомба! — тем не менее хвалил его Квидо.

— Человеку априорно не идут его движения, — впоследствии утверждал Квидо. — Чтобы они по-настоящему ему шли, он должен обстоятельно вжиться в них, проникнуться ими. К примеру, мой отец, который провел тысячи и тысячи часов за рабочим столом, чрезвычайно ловко протягивал левую руку к книжной полке, в то время как правая с импонирующей самостоятельностью продолжала что-то писать или считать на калькуляторе. Кроме того, он делал — как и каждый из нас — миллион других более или менее подходящих, будничных движений, а также движения определенно неловкие: так, например, когда он, изображая в профсоюзном доме отдыха в Крконоше белого медведя, поскользнулся на мокрых ступенях и упал или когда в Сазаве играл в футбол...

Несмотря на то что некоторые успехи отца Квидо сводились лишь к частичному устранению самых кричащих его недостатков, он ходил тренироваться по нескольку раз в неделю на протяжении всей зимы. Купив себе скромный, черного цвета тренировочный костюм, желто-черные матерчатые футбольные бутсы, он наконец получил возможность выбегать из укрытия орешниковых кустов на маленькую спортивную площадку, не привлекая к своему наряду изумленных взглядов прохожих. Практически он перестал спускаться в свою мастерскую, утром принимал холодный душ и стал читать спортивную страничку газет. Прочел он также воспоминания Бикана[1] «Пять тысяч голов» и «Дуклу среди небоскребов» Оты Павела[2], хотя, разумеется, ничто из прочитанного не отразилось на его спортивных успехах. И Квидо, по большей части верно сопровождавший отца на спортивное поле, сосредоточивал свое внимание прежде всего на том, не видит ли их кто из соседей.

— Это был тихий ужас, но кое-какую пользу из этого я извлек, — рассказывал Квидо позднее. — Во-первых, я сбросил несколько кило, а во-вторых, понял, что если и буду чем-то импонировать Ярушке, то определенно не своим самоотверженным участием в разработке стремительных контратак.

В начале марта отец Квидо как бы случайно забрел на первую тренировку сазавской команды «Б». Товарищ Шперк, традиционно присутствовавший на открытии весеннего сезона, приветствовал его с непритворной радостью, чего нельзя сказать про игроков, принявших новичка, непрестанно распространявшегося о Йозефе Бикане, с нескрываемым недоверием.

Последующие два часа, к сожалению, подтвердили справедливость такого отношения: отец Квидо нисколько не устраивал их ни своей технической, ни физической подготовкой. Получая мяч, он тотчас терял его, да и вообще повторял большинство из своих прежних ошибок. Раза два он упал, причем всякий раз ближайший противник находился слишком далеко от него, чтобы можно было говорить о постороннем вмешательстве. Его два удара, неожиданно удачно направленных в ворота, вратарь отбил кулаком с явным презрением.

— Инженер, а говно! — выразился он достаточно громко.

— Ну вот, вы сами видели! — сказал отец после тренировки Шперку.

— Что делать! — засмеялся тот. — Зато ты был на виду.

Однажды — в двадцатых числах мая — к отцу Квидо, доедавшему в заводской столовой говядину с рисом, подсел со своим алюминиевым подносом Шперк.

— Честь труду! — засмеялся он. — Чего ж не взял себе кнедликов?

— Предпочитаю рис, — сказал отец Квидо. — Добрый день!

Шперк принялся за кнедлики.

— Как поживает Тера? — спросил он с полным ртом.

— Тера? — не понял поначалу отец Квидо. — Ах да... Хорошо поживает!

Сразу было заметно, что ответ не очень-то и волнует Шперка.

— Наши едут в Англию, знаешь про это? — спросил он.

— Вроде бы слышал, — уклончиво сказал отец Квидо.

— Видишь ли, я тут подумал, а не стоит ли иной раз съездить и тому, кто понимает толк в деле да еще балакает на языках, — затрясся от смеха над своей тарелкой Шперк.

Цинизм такого откровенного признания в первую минуту каким-то извращенным образом позабавил отца Квидо, и он уж было хотел засмеяться, но вдруг засомневался, не говорит ли Шперк об этом всерьез.

— Наверное, стоит, — сказал он с осторожностью.

— Вот то-то, — смущенно заулыбался Шперк. — Все подумываю о подходящих кандидатурах.

---

[1] Йозеф Бикан (р.1913) — знаменитый чешский форвард.

[2] Ота Павел (1930—1973) — чешский спортивный журналист, прозаик, репортер, автор лирических рассказов, в том числе и известного по экранизации 60-х годов рассказа «Смерть прекрасных косуль».

Отца Квидо привычно кольнуло за грудиной.

— Да? — сказал он с напускной заинтересованностью.

— Пожалуй, поедешь ты, — весело сообщил ему Шперк. — Дорогу молодым, не так ли? Естественно, мне пришлось за тебя поручиться.

V

1) Отцу Квидо предстояло лететь в Англию в начале июля.

Бабушка Либа, благодаря последовательному чередованию в еженедельном семейном рационе шарлотки, тыквенных блинчиков, капустных котлеток, морковных оладий, картофельных клецек «шкубанок», фасоли с рисом и печеного черного корня, скопила наконец денег на желанную поездку по Италии и улетала уже в конце мая.

Обстоятельство, что она улетает раньше отца Квидо, стало для нее источником поистине детской радости. Не меньшая радость просыпалась в ней и тогда, когда она получала возможность эти обе страны не без издевки сравнивать; совершенно ясно, что страна на Апеннинском полуострове неизменно выходила из этого сравнения победительницей: бабушка с наслаждением говорила о сырых лондонских туманах, холодном море и британской спеси, и в глазах у нее мелькали веселые искорки. Отец Квидо, поневоле уязвленный бабушкиными восторгами, в свою очередь нажимал на душную жару, карманных воров и итальянскую кухню, большинство блюд которой готовится, мол, на алюминии и тефлоне. Бабушка, до сей поры споривша с ним практически непрестанно, теперь принимала отцовские провокации весьма великодушно, простив ему даже совершенно неуместный вопрос, как по-итальянски будет звучать «злокачественная опухоль». Мать Квидо, которая, как и ее сын, никогда не бывала дальше Высоких Татр, выслушивала их взаимные подковырки со все растущим неудовольствием, хотя при этом каждому из них искренно желала приятного вояжа. Зачастую после ужина она не успевала даже убрать со стола — оба путешественника нетерпеливо раскладывали карты и проспекты прямо поверх грязных тарелок.

— Ну вас к дьяволу! — сердилась она. — Кому охота все время выслушивать вас!

Двадцатого мая бабушка уехала в Прагу, и дедушка Иржи проводил ее в аэропорт. Через девять дней в Сазаву пришла черно-белая открытка с интерьером храма S. Maria Gloriosa dei Frari в Венеции.

В автобусе мы катим
Гаремом на закате.
Потом ногами ходим
Под синим небосводом.
А коли захромаем,
Гондолу подзываем! —

было на открытке, и, как всегда, следовала приписка в прозе: «Я ужасно усовершенствовалась в итальянском и английском! Всем привет — вы мой свет! Бабушка Либа».

— Что ж, вполне возможно, — комментировал написанное отец Квидо. — Только вот со стихами у нее что-то не ладится. «Ногами ходим»! Вероятно, иной раз она и на руках ходит!

— На почте опять отлепили марку! — рассерженно сказал Квидо.

— Я, дура, что-то никак не пойму, — сказала мать Квидо, — «...ужасно усовершенствовалась в итальянском и английском». Любопытно, что поэт хотел этим сказать?

По мере приближения бабушкиного возвращения нервозность в семье возрастала: все более экономной с годами бабушке и самые дешевые сувениры казались несносно дорогими, а потому неизбежные подарки для своих самых близких она нередко добывала своим, причем несколько обескураживающим способом. Ее приезды становились для семьи сущим конфузом. Правда, родители Квидо уже научились принимать все эти красивые вазы и скатерти с названиями отелей, где бабушка останавливалась, с каким-то сочувственным юмором, но Квидо в подобных ситуациях испытывал немалые муки. Обычно — как, например, в тот раз, когда по возвращении бабушки из ГДР он получил от нее охотничий нож с коряво нацарапанным пос-

вящением Хельги П. Гюнтеру К., — он говорил «спасибо», краснел и на несколько часов скрывался в своей комнате.

— Что она нам теперь привезет? — язвительно бросил отец Квидо накануне бабушкиного приезда. — Любопытно.

Квидо захохотал.

Его мать для виду попрекнула обоих, но в действительности обрадовалась, ибо в саркастическом смехе Квидо усмотрела гарантию того, что на сей раз он воспримет приезд бабушки гораздо легче.

И она не обманулась: когда на следующий день бабушка открыла свой знаменитый серый чемодан и с виноватым выражением неисправимо расточительной женщины одарила маленького Пацо растекшимся шоколадом, а Квидо — мертвым крабом, тот и бровью не повел.

— Grazie, — сказал он серьезно, — именно такой мне и нужен был.

Слава богу, пронесло, подумала мать Квидо. Но на сей раз — в порядке исключения — она ошиблась: худшее было впереди.

— Обратите внимание, — сказал Квидо редактору, — на этот достаточно ключевой момент: вместо того чтобы как следует *всыпать* взрослым, я иду с ними на первые компромиссы.

— Первые, но никоим образом не последние, — многозначительно сказал редактор. — Читайте.

Да, бабушкины традиционно трудные возвраты в будни на сей раз переросли в нечто более серьезное. Она, точно ребенок, съевший свои конфеты и ревниво наблюдающий за тем, у кого они еще есть, начала ужасно завидовать отцу Квидо. В первые дни по возвращении она еще пыталась шутить на тему «лондонских туманов», но это ни у кого уже не вызывало улыбки, да и сама она чувствовала, что этим никого не проймешь: в конце концов, и вероятный туман в Лондоне лучше, чем солнце в Сазаве. Когда ни на кого не подействовали даже «тараканы во всех отелях на левом берегу Темзы», она, окончательно разобидевшись, заперлась в своей мансарде и выходила оттуда лишь по ночам, чтобы разжиться чем-нибудь съестным из холодильника. Ибо когда мать Квидо звала ее к обеду или к ужину, она решительно отказывалась.

— Он едет, а я нет! — добавляла она плаксиво.

— Мама! — укоризненно кричала мать Квидо. — Ты ведешь себя как девчонка!

И в самом деле: бабушка Либа возвращалась в детство. Все говорило о том, что она переживает рецидив периода *первой строптивости*.

— Несправедливо! — временами доносилось из ее комнатушки. — Нет и еще раз нет!

В такие минуты все члены семьи, чем бы ни были они заняты, замирали как вкопанные и устремляли завороженные взоры к потолку. Судя по тому, как потолок время от времени дрожал, Квидо был убежден на все сто, что бабушка одновременно с криками еще и злобно топала ногами.

— Пресвятая Дева Мария, — шептал отец Квидо, — уж лучше я никуда не поеду!

Когда бабушка просидела в своей комнате три дня кряду, мать Квидо, собравшись с духом, предприняла последнюю попытку «все толком объяснить». За час до обеда она закурила сигарету, сварила кофе и поднялась к матери в мансарду. Отец Квидо во избежание лишней нервотрепки увел детей в сад якобы для короткой футбольной разминки. Однако старания его оказались тщетными — из открытого окна бабушкиной комнатки до них долетало каждое слово.

— Несправедливо! Нет, тысячу раз нет!

— Мама, ты ведь уже *была*!

— Ну и пусть! Что из того!

— Подавай! — крикнул отец старшему сыну.

— Тогда запри собаку! — кричал Квидо. — Из-за твоего футбола она еще прокусит мне ногу!

— Мама, опомнись! Ты же не умеешь заключать контракты!

— Пасуй сюда!

— Запри собаку, черт бы ее побрал!

— Да, мама, я знаю, что ты владеешь английским и немецким!

— Отдай мяч, отдай мяч! — завывал Пацо.

— Пасуй сюда! — орал отец Квидо голосом настоящего психа.

— Прошу тебя, поднимись сюда! — Мать Квидо, стараясь не терять самообладания, высунулась из окна. — Объясни ей, что не можешь взять ее с собой.

— С собой?!— сказал отец Квидо, испуганно взбежав в мансарду.

— Известно, что супруги президентов подчас сопровождают своих мужей в поездках. Но чтобы... чтобы президент, тем паче рядовой чешский чиновник, мог взять с собой свою *старую тещу*, такого я еще не слыхал!

— Не ругайтесь! — кричал из сада Квидо. — Я отказываюсь расти в такой обстановке!

— Ты слышала? — визжала бабушка. — Ну хорошо. Эта *старая теща* не останется тут ни минуты!

Отец Квидо уже не владел собой.

— Не пробуждайте в людях напрасных надежд!

— Уезжаю! Не желаю жить под одной крышей с таким эгоистом!

— Значит, вы без зазрения совести уезжаете? — кричал отец Квидо. — Сперва вы регулярно приучаете нас к тыквенным оладьям, а потом берете и уезжаете? Это подло! Неужто вы не оставите нам даже рецепта?

— Мамочка! — ревел в саду Пацо, которого сшибла с ног Нега.

— Уезжаю! Ни минуты здесь не останусь!

— Излишне говорить вам, как вас будет не хватать в доме! — сказал отец и оглядел систему бабушкиных отопительных приборов: к центральному отоплению, электрокамину и обогревателю в прошлую зиму прибавились еще электрогрелка и электробашмак.— А наша электростанция и вовсе без вас пропадет! Представьте, сколько людей из-за вашего отъезда останется без работы!

— Ничтожество! — с ненавистью кричала бабушка. — Какое ничтожество!

Отец Квидо отогнал от себя мимолетное желание крепко сдавить пальцами ее загорелую шею.

— Мамочка! — истошно вопил Пацо.

— Пошли обедать, — спокойно сказала мать Квидо. — Иду, иду, птенчик мой!— нежно крикнула она Пацо.

— Я пойду к нему, — сказал отец Квидо. Покачал головой и, вздохнув, улыбнулся.

Мать Квидо догнала его на лестнице.

— Она не злая. Она просто старая. — Что-то в ее голосе заставило отца Квидо оглянуться: в глазах жены стояли слезы. — Если бы я могла, я оплатила бы ей круиз вокруг света, — сказала она.

2) Запад поразил отца Квидо так же, как и многих до и после него.

— Запад напомнил мне матушку из эрбеновского «Клада»[1], — живописал он позднее свои впечатления Павлу Когоуту.

Хотя его шутливое сравнение и пришлось драматургу по нраву, оно было не совсем точным: отца Квидо потрясла красочность и чистота улиц, великолепие старой и современной архитектуры, роскошь витрин и так далее и так далее, но всем этим он не был даже временно ослеплен, как это случилось с горемыкой Эрбена. А кроме прочего, сравнение не отражало того, что завораживало отца Квидо на Западе более всего: нисколько не преувеличенное, но неизменное и естественное уважение к его образованию, его работе и знаниям. Он чувствовал это постоянно: и когда проводил совещания, и когда за ним присылали из фирмы машину, и когда в его номере установили телефон, и когда приглашали осмотреть Лондон или поужинать, хотя контракт был уже заключен. Перед ним открывались все двери: если они не были автоматизированы соответствующим образом, их открывал швейцар, лифтер, специальный служа-

[1] Карел Яромир Эрбен (1811—1870) — чешский поэт, фольклорист.

щий. Телефоны-автоматы работали. Такси по требованию останавливались. Полицейские улыбались. Водители роскошных лимузинов на переходах притормаживали, уступая ему дорогу. В туалетах стоял приятный аромат. Ручка на почте, которую пока еще никто не свистнул, не текла и красиво, тонко писала. Ему весело предлагали газеты, билеты на скачки, посещение храма, разноцветное мороженое, дома на продажу, массаж, обувь, путешествие на Филиппины. Женщины в Сохо с готовностью предлагали ему свою любовь. Вещи, на которых он стоял, сидел, лежал или писал, сияли чистотой, не шатались и уж тем паче не были загажены попугайчиками. Шампунь, который он купил, не вытек в портфель, а вымыв им два раза волосы, он совершенно избавился от перхоти, что сыпалась ему на плечи тридцать лет кряду. Впервые в жизни он не стесняясь пошел к парикмахеру, а тот впервые в жизни подстриг его так, что прическа соответствовала форме его лица. Он сразу показался себе красивее.

Он показался себе удачливее.

Продавец в магазине с товарами для собак не осмеял его, когда он попросил антиблошиный ошейник, и предложил ему сразу четыре вида. Блюда в ресторане не были ни пережаренными, ни остывшими. Официанты были бесконечно любезны.

— Без овощей! — обычно просил он.

Его унизительно-подобострастное отношение к официантам, заставлявшее его глотать пирожное с прокисшими взбитыми сливками и при этом корчить благодарную мину, осталось в прошлом. Он вел себя энергичнее и увереннее. Бросая нищему на Парк-Лейн пять пенни, он забывал, что в игре с футбольным клубом «Белокозлы» он был сменен уже на восьмой минуте.

Однако испытываемое им довольство — и когда гостиничный служащий относил ему чемодан в номер, и когда он стоял перед зданием парламента — не было тщеславием: это была радость пациента, у которого успешно затягивается рана.

— Подобно тому как бабушка, дабы чувствовать себя моложе, направляла свои стопы на восток, отец, дабы чувствовать себя человеком, должен был ездить на Запад, — сказал Квидо редактору. — Это было между ними строго разграничено.

Ввиду позднего прибытия самолета компании British Airways в Прагу, семья, как и было условлено, ждала отца Квидо дома, в Сазаве, а в аэропорту встречал его лишь водитель служебной машины.

Когда часом позже он высадил отца Квидо недалеко от ворот его дома, было уже совсем темно. Отец Квидо очень тихо открыл калитку и, пройдя по темному саду, подошел к кухонному окну. Подтянувшись за подоконник, заглянул в кухню — первое, что он увидел, была какая-то старуха арабка, чье лицо до самых глаз закрывал черный платок. Старуха решала кроссворд. Правда, секунду спустя он уже осознал, что это его теща. Никого другого в кухне не было.

— Well, — засмеялся он. — Let's go[1].

Как только он открыл дверь в прихожую, с лестничной площадки кинулась к нему Нега: приветствуя его, она высоко подпрыгивала, подвывала и лизала ему лицо. Несколько раз потрепав и погладив Негу, он посмотрел ей строго в глаза и на пробу скомандовал:

— Down!

Нега послушно прижалась к полу и, положив голову между передними лапами, радостно стала подметать хвостом кафельный пол.

«Чудеса!» — подумал отец Квидо и великодушно выпустил ее в сад. Ручка двери в гостиную повернулась, дверь приоткрылась, и в нижней части проема возник маленький Пацо.

— Ку-ку! — сказал ему отец.

— Папка! — закричал Пацо и кинулся в раскрытые объятия отца.

Из гостиной донеслись торопливые шаги.

— Привет, отец, — с хрипотцой сказал Квидо, оглядев отца. — Ты стал похож на Йозефа Абргама из «Драматического».

---

[1] Ну, пошли (*англ.*).

— Ну здравствуй, — сказала мать Квидо несколько удивленно. — Где собака?

— Hallo, boys. Hallo everybody[1]. — Отец Квидо широко улыбался. — Собака в саду. Ничего вам, мальчики, не привез, I'm sorry. Краба я просто не смог убить — вы бы не поверили, с каким укором он смотрел на меня. Добрый вечер! — громко крикнул он бабушке в кухню.— Приветствую вас!

Ответа он не удостоился. Поставив Пацо на пол, привлек к себе жену.

— Здравствуй, — сказала она, поцеловав его.— Ты отлично выглядишь.

— Эта исламская сепаратистка все еще сопротивляется? — шепнул отец.

— Не обращай внимания. — Мать закрыла дверь в кухню. — Она не хочет дышать испарениями того бесцветного лака, которым ты покрыл обшивку, — объясняла она мужу с напускной серьезностью, не сводя с него глаз: нестоптанные каблуки новых светлых мокасин, купленных в Праге еще до отлета, заставляли его держаться непривычно прямо. Пиджак был старый, но сегодня он сидел на нем, как ей казалось, гораздо лучше.

— Что за чушь! Это было два года назад! — ужаснулся отец.

Мать Квидо пожала плечами. В глазах у нее сверкали веселые искорки, и, несмотря на первые морщинки, появившиеся на лбу и вокруг глаз, она все еще выглядела девочкой.

— Но мама знает одного человека, который также покрыл у себя вагонку бесцветным лаком. А когда его вскрыли, в животе была опухоль с кокосовый орех.

— Когда вскроют меня, там будет опухоль с тыквенную оладью!

— Оставь, пожалуйста. У тебя новые часы?

— Покажи! Покажи! — закричал Пацо.

— Подарок от фирмы, — сказал отец Квидо жене. — Потом покажу тебе, как они светятся.

Он опустил руку, чтобы сыновья смогли разглядеть часы. Пацо прикрыл их своей ладошкой.

— Ничего не светятся! — разочарованно крикнул он.

Отец Квидо посмотрел на жену и сказал:

— Они светятся только под периной.

— Боже!— воскликнула мать Квидо. — С каких это пор ты делаешь эротические намеки? Ты что, соблазнил стюардессу?

— Отложите эти штучки на другое время, хорошо? — попросил с явным неудовольствием Квидо. — Здесь ребенок, да будет вам известно.

— Never mind, boy![2] О таких вещах надо говорить абсолютно открыто.

— Только не в моем присутствии, — попросила мать Квидо. — Уж не заскочил ли ты в Сохо? Что-то у тебя прибавилось самомнения. Помни, это первый шаг к аварии!

— Take it easy[3],— смеялся отец Квидо.— Ужин будет? Я голоден как волк. В последний раз я ел где-то над каналом. Разумеется, я имею в виду канал Ла-Манш, — предвосхитил он вопрос Пацо. — Квидо покажет тебе это на карте. Что у нас?

— Суп из черного корня и омлет с кресс-салатом, — сказала мать робко.

— Это шутка?

— К сожалению, нет.

— Вы хотите принудить меня к эмиграции?

— Нет, — засмеялась мать. — Это, конечно, шутка. У нас отбивные и салат.

— Я ни минуты не сомневался в тебе, — сказал отец Квидо.— Так что же нам делать с сушеным мясом, которое я купил у лапландцев в самолете?

— Отдадим собаке, — весело сказала мать Квидо и обняла мужа с небывалой преданностью. — Я рада, что ты уже дома, — добавила она. — Я ужасно боялась этой суки.

---

[1] Привет, мальчики. Привет всем (*англ.*).
[2] Не имеет значения, мальчик! (*англ.*)
[3] Не обращайте внимания (*англ.*).

3) Отец Квидо, вернувшись из Лондона, действительно несколько изменился. Квидо и его мать были не единственными, кто это заметил. И многим на предприятии, знавшим его раньше, теперь он казался более энергичным и решительным. Он стал более разговорчивым и даже склонным временами пошутить. Его традиционно частые выступления на совещаниях теперь стали критичнее, ироничнее и при этом концептуальнее. Разумеется, по большей части он ничего ими не добивался и, потерпев поражение, обычно предавался какому-то упрямому молчанию, которое теперь, однако, не производило прежнего впечатления подавленности. Люди теперь не без удивления замечали, что он способен и повысить голос, который наряду с его походкой и жестами приобрел определенную уверенность.

— Take it easy! — часто с улыбкой говорил он.

Небольшие изменения происходили и дома. Торговый отдел, скованный тысячью предписаний, не предоставлял достаточного простора для энтузиазма отца Квидо, поэтому некоторые идеи или хотя бы частицу их он пытался осуществить в собственной семье.

— Разве в семье действуют другие законы? Что представляет собой хорошая семья, как не отлично слаженную команду? Не является ли хорошая семья прежде всего группой сработавшихся друг с другом профессионалов? — восклицал он.

— Он перестал быть отцом, — рассказывал впоследствии Квидо. — Он стал семейным менеджером.

Однажды отец Квидо принес домой большой настольный календарь от фирмы IBM; на каждой странице было по семь столбцов, соответствующих дням недели; в каждом столбце — по четыре прямоугольных поля, отличавшихся сочностью зеленого цвета. Именно количество этих прямоугольников и подсказало отцу Квидо оригинальную идею. Воскресным вечером он надписал все понедельничные поля именами членов семьи, естественно, исключая бабушку Либу, и за каждым закрепил определенные задачи: убрать игрушки и полить цветы (Пацо), вымыть посуду, вынести мусор и решить несколько примеров из «Сборника математических задач» (Квидо), прополоть альпийскую горку под верандой (мать Квидо). В его же поле стояло: поужинать с группой бельгийских коммерсантов, посетивших стекольный с торговыми целями, причем указывался и телефон, по которому можно будет ему дозвониться в экстренном случае.

— Пусть это кажется вам чересчур педантичным, но со временем вы несомненно убедитесь, что это чрезвычайно полезная штука, — уверял он в среду утром свою жену, усиленно стирая при этом ее дополнительную приписку «убить Негу (отец Квидо)», — так что не превращайте все это в пустую забаву.

— От тебя несет бельгийской водкой, — парировала его жена, — если это не бельгийские духи, конечно.

— Что ты! Это обыкновенная русская водка.

— Вот-вот, — сказала мать Квидо. — Именно поэтому. Этим все и объясняется. А то всю ночь я не могла отгадать...

— Что?

— Почему ты относишься ко мне, как Александр Васильевич Суворов.

— Да что ты? — удивился отец Квидо. — Серьезно? В таком случае извини. Прости. Не знаю, что на меня нашло. Эти бельгийцы лакали что твои датчане!

— Отличное сравнение! — сказала мать Квидо.

Другим нововведением была стенгазета в прихожей. Отец постепенно сосредоточил в ней любого рода информацию, которую считал в семейном обиходе незаменимой: телефоны скорой медицинской помощи, пожарной команды, охраны общественного порядка, школы и детского сада, часы приема в поликлинике, часы работы магазинов и различных мастерских, а также школьное расписание Квидо и расписание движения поездов и автобусов по маршруту Прага — Сазава и обратно. Стенгазета содержала, кроме прочего, важный раздел «Финансы», куда он кнопками прикалывал неоплаченные счета и денежные переводы, раздел «Потери и находки», раздел

«Разное», в котором со временем остался лишь перечень дней рождения в семье и праздников, и, наконец, раздел «Долгосрочные задачи», куда он вносил — в отличие от календаря IBM — цели более отдаленные, как-то: изучение английского по программе языковых школ (Квидо), подготовка к сдаче адвокатских экзаменов (мать Квидо) или обшивка потолка в кухне деревом (отец Квидо). И это нововведение также подвигло Квидо и его мать к разного рода инсинуациям: так, они расширили приведенную информацию, указав время работы собачьей площадки, к расписанию местных поездов добавили расписание вылетов в США, а в список перспективных задач включили и такие, как, например, «отучиться от игры рукой (отец Квидо)».

Иной раз, прочтя какую-нибудь газетную передовицу, мать Квидо в ту же колонку вписывала и обязанности семьи: например, и в дальнейшем способствовать успешной «нормализации» (все).

— Это намек на меня? — спросил отец Квидо.

В качестве автора стенгазеты он начинал слишком личностно воспринимать весь этот мелкий саботаж.

— На всех нас, — сказала мать Квидо. — Ты разве не умеешь читать? Там же стоит «все».

— В том-то и дело, что я никакой нормализации не способствую, — продолжал отец Квидо несколько агрессивно.

— В самом деле?

— Нет и нет! У меня чистые руки. Я ни разу в жизни не совершил ни одной подлости!

Мать Квидо помрачнела. Она уж пожалела, что поддалась минутному искушению написать эту фразу, отражавшую ее теперешнюю депрессию, вызванную ситуацией в стране. Зачем усугублять ее бесплодными разговорами, что кончаются еще большей безнадежностью? Однако напускная уверенность отца Квидо вывела ее из себя.

— Но ни разу в жизни и не помешал ни одной. Даже не попытался это сделать, — сказала она.

— Ни о каких подлостях я не знаю!

— Ну, раз ты о них не знаешь, значит, они не совершаются. Значит, все в порядке. Их нет в природе. Папу не выбросили с работы. Юристы не работают садоводами. Опытные врачи не стали билетершами в кинотеатрах. История, как положено, продолжается. Крестьяне, как положено, собирают урожай, колеса на заводах, как положено, вертятся, а через так называемый железный занавес преспокойно летают наши перспективные инженеры, чтобы с помощью замечательных контрактов обеспечить нам замечательное будущее.

— Не изводи меня! Я, естественно, имел в виду, что не знаю ни о чем таком, чему я мог бы помешать и не помешал. А что касается рассуждений на тему, остановилась ли наша история или нет, — пусть этим занимаются твои пражские интеллектуалы. Я боюсь, что мое мнение было бы несколько искажено обстоятельством, что я работаю от звонка до звонка и, к сожалению, перемен не предвидится.

— Оставим этот разговор, — попросила мужа мать Квидо.

— Что ты от меня хочешь? Скажи, что я мог или могу сделать и не делаю?! Писать на стенах? Сфотографировать министерство внутренних дел? Жаловаться в ООН? Или отправиться в Миловице и из лука застрелить советского офицера? Если кого я и не переношу, так это абстрактных моралистов.

— Оставим этот разговор! Ты лжешь сам себе.

— К чертям собачьим! — вскричал Квидо. — Еще из-за них будем ссориться!

В конце года многоопытный заведующий торговым отделом по состоянию здоровья ушел на пенсию; на его место с первого января был назначен инж. Звара, а его заместителем стал отец Квидо.

— Мы с тобой покажем этим мужланам, где раки зимуют! — кричал Звара, когда они вместе отмечали свое назначение.

В апреле месяце их обоих послали в командировку на Пулский стекольный за-

вод в Югославию. Отец Квидо, узнав, что в Пулу они не летят, а отправляются на служебной машине, вести которую им придется по очереди, слегка опешил.

— Мы поедем по автостраде?

— А как же еще? — сказал Звара. — Что за дурацкий вопрос?

— Окольным путем было бы романтичнее, — прощупал почву отец Квидо.

— Не валяй дурака! — одернул его Звара.

В конце концов отец Квидо освоил езду не только по автостраде, но и по горным альпийским дорогам, где в метре от колес машины нередко зияла скалистая пропасть. Но однажды они неожиданно задержались, и с приближением сумерек отец Квидо не без опаски вспомнил про свою возможную куриную слепоту.

— Предупреждаю тебя — в темноте я ни черта не вижу, — сказал он Зваре, садясь за руль перед последней стокилометровкой.

— Я тоже, это нормально, — сказал Звара. — Надо включить фары.

Он приглушил радио и уснул.

Когда часа через два отец Квидо разбудил его, они стояли у самого начала какого-то широкого бетонного мола, о который шумно плескалось море.

— Мы в Пуле! — кричал отец Квидо, тормоша коллегу. — Мы в Пуле!

— А где ж нам еще быть? — спросонья сказал Звара и глянул вправо от себя, где в сиянии фонарей автострады в море качались десятки яхт. — Куда ты заехал? Идиот, можно ли вообще тут стоять?

— Знаешь, сколько я за эту неделю наездил? Свыше тысячи километров! — хвастался отец Квидо. — Жить можно, не так ли?

Жить можно, не так ли? — говорил он и когда ему повысили жалованье.

Жить можно, не так ли? — говорил он, когда описывал дома уютный гостиничный номер.

Жить можно, не так ли? — говорил он, когда подсчитывал, сколько всего ему удалось съесть на халяву в самолете.

— Видите ли, — сказал спустя годы Квидо редактору, — он уверовал в то, что из мира, загаженного попугайчиками, действительно шагнул в мир, где жить можно. Когда за тобой посылают машину и когда в самолете можно есть на халяву бифштексы. Короче, он уверовал в непреложность своей трансцендентности.

Теперь практически было исключено, чтобы какое-либо ироническое замечание Квидо или его матери в разделе «Долгосрочные задачи» могло уязвить отца Квидо. С великодушной улыбкой он пренебрегал ими. Успех второй служебной командировки означал для него примерно то же, что для начинающего писателя — успех второй книги, а именно: самоутверждение. Он сыпал остротами и был полон энтузиазма. Жизнь — длинная, но простая математическая задача, которую можно, как утверждал отец Квидо, решить, и весьма элегантным способом. Все, за что он ни брался, удавалось ему. Он не читал никаких инструкций, не пользовался никакими пособиями. Он уверовал в себя и в свою интуицию.

— Я рискую не больше, чем если бы вычистил зубы кремом для бритья.

Нет, теперь уж было немыслимо представить себе, чтобы, въезжая в гараж, он выходил из машины и складным метром измерял с обеих сторон расстояние от нее до дверных косяков. Большинство проблем решалось по телефону, он меньше просил, больше требовал. И все шло как по маслу.

— Take it easy! — постоянно повторял он.

Он умел быть твердым и беспощадным. Он перестал осторожничать, мерить пульс и смазывать крайнюю плоть фрамикоином. Мать Квидо впервые познала оргазм. Отец Квидо впервые понял, что книги, которые она читала, не только основаны на мистификации — он стал изобличать их авторов в туманности, сентиментальности и в элементарной оторванности от реальной жизни.

— Все это мура собачья! — говаривал он теперь без излишнего пиетета.

Кое-каких успехов добился он и на футбольном поле. Его спортивная форма и техника по-прежнему оставляли желать лучшего, однако он приобрел нечто не менее важное: взгляд свысока. На его лице надолго поселилась симпатичная ироническая усмешка, которая любую его промашку в игре, как, впрочем, и всю игру в целом, заранее ставила на должное место.

— Кто мыл руки в фонтане на площади Пиккадилли и собственной спиной прислонялся к Вестминстерскому аббатству, тот не станет делать проблему из встречи команды «Б» с клубом «Славое-Черчаны», — пояснял он.

4) Головокружительные успехи отца Квидо требовали постоянных почитателей. С этим, правда, возникали трудности: Квидо и его мать уже отказывались внимать ему, Пацо был слишком мал, бабушка Либа по известным причинам вообще не принималась в расчет, а время от времени навещавший семью дедушка Иржи, к похвалам которого отец Квидо отнесся бы с восторгом, был слишком утомлен жизнью, чтобы стать благодарным слушателем всех этих бесконечных баек о Западе. Оставался дедушка Йозеф, чье некритично-восторженное отношение к этой части света было общеизвестно, и еще бабушка Вера.

Они приезжали в Сазаву раз в месяц, в одну из суббот, прямым поездом с Вршовицкого вокзала. Дедушке запрещалось в поезде читать газету, чтобы понапрасну не нервничать, но поскольку он не мог еще и курить, то все равно бывал раздражителен и на все, что бабушка ему говорила, реагировал очень бурно.

— Вы ее слышите? Нет, вы только послушайте ее! — призывал он к участию перепуганных пассажиров, дробя зубами мундштук незажженной трубки так же, как эпилептик — свой деревянный шпахтель.

— Прекрати! — в отчаянии кричала бабушка.

Рано или поздно она изрекала фразу, которая окончательно и бесповоротно подбрасывала дедушку с зеленого кожимитового сиденья и гнала его по тамбурам вагонов все дальше от нее, словно затравленного зверя. Его подпрыгивающий бег через рюкзаки негодующих пассажиров обрывался лишь в конце или начале состава — там, дико блуждая взглядом по буферам локомотива или по убегающим назад шпалам, он стоял, едва переводя дыхание, и старался отогнать прочь «налетевший шквал безумья», как назойливую муху.

Все эти эскапады кончались тем, что по прибытии в Сазаву каждый из них выходил из другого вагона. Это, естественно, прежде всего сбивало с толку Негу, ходившую в сопровождении отца Квидо встречать их. В своем строгом ошейнике она дергала его из стороны в сторону и растерянно выла.

— Папа, — укоризненно говорил отец Квидо, — что вы здесь опять комедию ломаете?

Квидо их приезд, вернее заключительную его часть, предпочитал наблюдать из-за занавески своего окна: на повороте дорожки сначала показывался дедушка — выброшенный злобой на передовую линию, он вышагивал, искрясь яростью, и издавал невразумительные проклятья. И лишь в тридцати — сорока метрах за ним плелись бабушка Вера, отец и Нега. Отец Квидо нес бабушкину сумку и улыбался, как внимательный и преуспевающий сын.

— Идут, — говорил Квидо, что было для его матери косвенным сигналом к тому, чтобы потушить сигарету.

— Что ж, добро пожаловать! — говорила она решительно.

В то время дедушка был уже на пенсии и работал вахтером в одном из крупных пражских учреждений Внешторга. Немалую часть своего рабочего времени он проводил в сравнениях зарплаты и положения тамошних коммунистов с положением и зарплатой тех, кто в партии не состоял.

— Результат подобных сравнений, казалось, с настойчивым постоянством неприятно поражал дедушку, однако выводы, к которым он приходил, в середине семидесятых годов ни для кого не были откровением, — заключал впоследствии Квидо.

И все же ничто не мешало дедушке возмущенно разоблачать с угодной ему регулярностью несправедливость, совершаемую по отношению к беспартийным.

— Как только все перевернется, всех их повесим! — объявил он и на сей раз во время обеда.

— Кого? — полюбопытствовал Пацо, единственный, кто еще не знал надлежащего ответа.

— Ешь, — сказала мать Квидо. — Дедушка шутит.

— Вы слышите его? — кричала бабушка. — Вы его слышите?

— Не горячись, папа, — с улыбкой успокаивал его сын. — Кое-что покажу тебе, — добавил он таинственно, имея привычку утихомиривать своих мальчиков тем, что переводил их внимание с одной вещи на другую, и вынул из нагрудного кармана рубашки серебряную самописку с электронным указателем времени.

Трюк удался: дедушка, которого минуту назад пластмассовый столовый прибор так и не сумел привести в состояние, близкое к религиозному экстазу, на этот раз вынул трубку изо рта и спросил:

— Английская?

— Итальянская, — небрежно бросил отец Квидо.

— Ну-ну, — сказал дедушка утвердительно. — Толковая вещь.

Он положил трубку на стол и осторожно, боясь неловким движением как-то повредить самописку, взял ее пожелтевшими от табака пальцами и стал неспешно рассматривать.

Отец Квидо окинул взглядом лица остальных сидевших за столом: все они, казалось, были целиком заняты помешиванием своего кофе и не замечали его педагогического триумфа.

— Красивая вещь! — авторитетно сказал дедушка. — Как есть красивая!

— А, просто пустячок! — польщенно отмахнулся отец Квидо.

— Пустячок? — повысив голос, сказал дедушка. — Пустячок, говоришь? Тогда скажи мне, почему такой красивый пустячок эти паскуды коммунисты не привезут сюда к нам?!

5) В начале сентября с Пулского стекольного в Сазаву прилетела торговая делегация из трех человек — двое мужчин и одна женщина — для продолжения переговоров, первый раунд которых был успешно завершен еще весной.

Естественно, всех троих экономистов отец Квидо хорошо знал, и если не мог создать им условия, сравнимые с его комфортным пребыванием в Пуле, то по крайней мере пытался сделать для них все возможное. Безрадостный вид выделенных для гостей комнат в заводском общежитии поверг его в отчаяние.

— Одноместный номер особенно ужасен, — делился он с женой. — Чего стоит один шкаф и ковер. Видела бы ты этот кошмар!

— А тараканы? — с улыбкой спросила мать Квидо, почувствовавшая, куда он клонит. — Тараканов там нет?

— Тараканов? — Отец Квидо секунду колебался, может ли он сослаться и на тараканов. — Кто знает. Но одна стена вся в плесени.

— В плесени? Ну ясно. А как обстоят дела в этом одноместном номере с клопами?

Отец Квидо понял, что его раскусили.

— Нет, я серьезно. Это был бы международный скандал, если бы бедной Миряне пришлось в нем жить.

И наконец, сославшись на традиционное славянское гостеприимство, которым он-де чувствует себя связанным, он, как и предполагалось, спросил, нельзя ли им на несколько дней приютить молодую инженершу в бабушкиной мансарде.

— А бабушка? — удивилась мать Квидо. — Впрочем, я уже знаю: она перейдет к детям.

— Она и сама много раз жила за границей в частных домах, — веско аргументировал свое предложение отец Квидо. — Я уверен, она войдет в наше положение.

— Сегодня это еще детская комната, — объявила бабушка, узнав о предстоящем переселении, — но завтра это будет концлагерь для престарелых!

Оскорбленная, она все же подчинилась решению, и Миряна смогла поселиться в ее комнатушке.

В первый же вечер молодая югославка приготовила для всей семьи (конечно, за исключением бабушки, не выходившей из детской) какое-то национальное блюдо вроде местного лечо. Оно было несколько непривычно на вкус, и маленький Пацо весь ужин тотчас выдал обратно. Зато отец Квидо при всем своем холодном отношении к овощам потребовал добавки и обстоятельно расспрашивал Миряну о способе его приготовления. Говорили они по-английски, что напомнило Квидо и его матери, практически не понимавших их, о временах, когда отец с бабушкой предавались беседам на тему географии туманного Альбиона.

После ужина зашла речь о работе.

— Миряна говорит, что во внешней торговле ее прежде всего привлекает возможность постоянного общения с интересными людьми, — переводил отец Квидо жене.

— Замечательно! — сказала мать Квидо и мило улыбнулась Миряне.

— Ну а дальше? Что ты на это скажешь? — судорожно улыбался отец Квидо. — Я же должен что-то перевести.

— На это я ничего не скажу.

— Как так «ничего»?

— А так. Ничего. Nothing.

Миряна, обнажив в улыбке белоснежные зубы, вопросительно подняла брови. Отец Квидо чертыхнулся про себя и что-то произнес по-английски. Квидо показалось, что он услыхал слово «interesting».

— Обычный треп, — бросил он матери.

— Меня удивило бы обратное, — сказала его мать.

— Миряна хочет, чтобы ты рассказала ей что-нибудь о себе, — снова начал отец Квидо. — Ей кажется, что в тебе есть какая-то необычная мудрость и уравновешенность.

— Скажи ей, что это старость и апатия.

Отец Квидо пронзил жену взглядом.

— А дальше? Что делаешь, что делала... Ну открой же рот! — наседал отец Квидо.

— Не устаю удивляться — вот что делаю, — сказала мать, широко улыбаясь. — А что делала? Да что могла. По большей части что-то, чтоб не замерзнуть. Еще детей делала. А языки не учила. Папа говорил мне, чтобы учила, а я его не послушалась. Ходила на балет, в театр, на лодке кататься, в кино, но учить языки — ни в какую! Послушайся я его...

— Ты что, не можешь остановиться? — оборвал жену отец Квидо и что-то перевел Миряне.

— Не выглядела бы я сейчас дура дурой, — докончила мать.

— Пусть она выучит чешский, — сказал Квидо матери, — если хочет нас понимать.

— Что, спрашивает она, ты любишь? — снова сказал за Миряну отец Квидо.

— Иди в задницу! — сказала мать Квидо.

— А не можешь ли ты сказать Миряне, что ты любишь в жизни?

— О господи! Вишневый мармелад. Театр. Теплый ветер. Интимную жизнь. Карлов мост. Пододеяльники и наволочки из модротиска[1]. Семью. Якуба Шиканедера[2]. Вкус, ум и терпеливость. Американскую пасту для курильщиков. И тебя. Иногда. Переведи ей это, размазня ты эдакая!

— Пусть Квидо тоже что-нибудь скажет. — Отец Квидо улыбнулся Миряне. — Уже два года учит язык.

— Ничего говорить я не стану, — сказал Квидо.

— Если не будешь знать языки, Европа, — отец Квидо указал на Миряну, — никогда для тебя не откроется.

— Потрясающая метафора, — сказала мать Квидо и с улыбкой зевнула. — Я иду

---

[1] Модротиск — синяя хлопчатобумажная ткань с белым узором.
[2] Якуб Шиканедер (1855—1924) — чешский художник, портретист и автор пражских пейзажей.

спать, — обратилась она к мужу. — И была бы очень рада, если бы Европа на этой неделе не открылась даже для тех, кто знает язык. Good night everybody![1]

Получасом позже к матери в спальню пришел Квидо. Мать читала.

— Ты преспокойно оставляешь их вдвоем? — недоумевал Квидо. — Тебе это безразлично?

— Любить, — сказала она, — не значит владеть. Не будь таким старомодным, Квидо. Тебе ведь всего четырнадцать.

Однако ни одного из них эти слова особенно не убедили.

— Что в дому, то не возьму, — упреждал отца Квидо инж. Звара не без следа зависти в голосе. — Это же вековая мудрость, болван ты эдакий!

— Не беспокойся за меня, — смеялся отец Квидо. — Я малый не промах!

— О, пан инженер! — сделала большие глаза секретарша. — Вы, право, меня потрясаете!

То, что они с Миряной *близкие друзья*, отец Квидо ничуть не старался утаить; напротив, подчас казалось, что он как раз хочет обратить на эту дружбу внимание окружающих. Так же как и в апреле в Пуле, он и сейчас позволял себе не больше чем раз-другой с упоением поцеловать Миряну, и, пожалуй, сильнее самой красивой югославки его возбуждала мысль, что коллеги считают ее тайной его любовницей. На все вопросы он отвечал лишь притворно-возмущенными улыбками, и шепотом произнесенные реплики, которые он там-сям улавливал, доставляли ему удовольствие. Авторитет его рос, и секретарши заглядывались на него.

— Take it easy! — смеялся отец Квидо.

После двух очень дождливых дней началось сказочное бабье лето. Отец Квидо, очевидно страдающий от мысли, что поречье Сазавы не может предоставить Миряне столько же радости, сколько ему Пула, устремил очарованный взор в безоблачное небо и предложил ей прогулку на семейном каноэ.

— Возьму с собой Пацо,— сказал он жене.

— И не думай, — решительно сказала жена. — Пацо не умеет плавать. Он может выпасть из лодки, а я не уверена, что ты заметишь это.

Взгляды их встретились. Отец Квидо сдался первым.

— Тогда пусть Квидо, — сказал он.

— Ты что, совсем сбрендил? — сказал Квидо.— Что я тебе, Джек Лондон? С меня хватит твоего футбола!

— Тебе, уверен, понравится. Ты же как-то сказал, что хочешь тоже попробовать.

— Да, но не с внучкой Иосипа Броз Тито!

— Не болтай глупости! Идешь или нет?

В прихожей воцарилось напряженное молчание.

— Ступай, Квидо, — сказала мать.

Квидо вдруг понял, что ее непринужденность стоит ей немалых усилий.

Мать улыбнулась ему.

— Впрочем, я люблю летние виды спорта, — сказал Квидо. — Let's go!

— Возвращайтесь засветло! — сказала мать Квидо мужу. — Не забудь, что у тебя куриная слепота.

— Если мать думала, что мое присутствие будет достаточной гарантией целомудренности мероприятия, то она ошибалась, — спустя годы рассказывал Квидо.

Как только они скрылись из поля зрения матери, отец Квидо стал все чаще обнимать Миряну за плечи, при этом заговорщицки подмигивая Квидо. Квидо покрылся краской.

— Да брось ты! — смеялся отец. — Мужчина ты, в конце концов, или нет?

Миряна весело поглядывала на них, а потом побежала на луг собирать цветы.

Когда они добрели до деревянного сарая, где стояла лодка, отец Квидо сам — жилы на его шее, казалось, вот-вот лопнут — отнес ее на воду. Квидо прикинул, не стоит ли кроме спасательного жилета взять еще и какой-нибудь из лежавших на пол-

---

[1] Всем спокойной ночи! (*Англ.*)

ке желтых шлемов, но потом сообразил, что в местах, где нет ни волн, ни скал, это будет выглядеть несколько преувеличенной мерой предосторожности. Миряна сняла полотняную юбку, разулась и на цыпочках — в одних полосатых трусиках и майке — последовала за отцом в воду. Отец Квидо, чьи движения с ее приходом приобрели грациозность танцовщика, помог ей сесть в лодку, дважды при этом коснувшись ее груди. Затем вскочил в лодку сам, чем угрожающе раскачал ее.

— Oh, my God![1] — смеясь, воскликнула Миряна.

Квидо, мрачно наблюдая за ними, проклинал свою слабость, помешавшую ему отказаться от прогулки. Отец его, свесившись наполовину из лодки, схватил весло так, словно собирался углубить им речное дно.

— Come on, boy![2] — крикнул он Квидо. — Залезай!

— Не высовывай язык, ты похож на идиота! — сказал Квидо и, прежде чем сесть, подумал о том, чей вид будет для него более переносим — вид токующего отца или его потенциальной любовницы. В конце концов свой выбор он решил в пользу Миряны, хотя и предпочел бы сидеть спиной к обоим.

— Шапки долой, мы выплываем! — закричал отец Квидо.

Но прежде чем по-настоящему начать грести, он показал своей гостье еще технику трех видов гребли, правильную посадку и чету уток на вывороченном стволе ольхи.

— What a nice day! — кричал он радостно, несколько раз при этом мощно взмахнув веслами.

— Какой прекрасный день, — раздраженно сказал Квидо, отчасти и для того, чтобы дать понять отцу, что отдельные слова он все-таки понимает.

Погода явно удалась: подувал свежий ветер, тихо шелестел тростник, из последних сил палило солнце. Когда они преодолели первую излучину, Миряна, видимо желая позволить себе то, что в Пуле позволяют себе лишь иностранные туристки, стянула с себя майку. Положив весло, она осторожно повернулась и уселась на нос, лицом к солнцу и обоим членам экипажа. Она запрокинула голову, прищурила глаза и тихо замурлыкала по-хорватски песенку, слова которой Квидо — в связи с обстоятельствами — запомнил навсегда:

Расцветали розы и фиалки,
травушка-муравушка цвела,
расцвели калина и малина,
вишня и черешня зацвела...

Если Квидо при виде ее больших обнаженных грудей почувствовал лишь сильное смущение, тотчас вылившееся в непреодолимое желание лечь ничком на дно лодки, то отец его тем же самым зрелищем был низвергнут в пучину истерии.

— Жить можно, не правда ли? — как безумный кричал он Квидо, то и дело многозначительно подталкивал его, кивая в сторону Миряны, дико хохотал, говорил на двух языках и кружил лодку на одном месте.

— Are you crazy?[3] — смеялась Миряна, повизгивая от восторга.

— Yes, I'm![4] — гоготал отец Квидо, которому для полного счастья не хватало лишь самой малости: чтобы мимо медленно прошел прогулочный катер, до отказа забитый служащими национального предприятия «Сазавский кавалер».

— Перевернешь нас! — орал Квидо. — Ты что, рехнулся?

— Take it easy! — кричал отец Квидо.

В следующую минуту весло угодило глубоко под самую лодку, и она плавно перевернулась вверх днищем. Но прежде чем Квидо своим телом прорвал вздувшуюся речную гладь, он еще успел подумать, что отец, скорей всего, сделал это нарочно.

— Help me![5] — крикнула Миряна, захлебываясь водой и смехом, как только убедилась, что ногами достигает каменистого дна. Отец, перевернув тем временем лодку, добился лишь того, что она снова зачерпнула воды, и мигом кинулся к Миряне.

---

[1] О боже! (*Англ.*)
[2] Давай, мальчик! (*Англ.*)
[3] Ты с ума сошел? (*Англ.*)
[4] Да! (*Англ.*)
[5] Помоги мне! (*Англ.*)

Квидо, которого спасательный жилет надежно держал на поверхности, отрешенно смотрел, как семейное каноэ быстро наполняется водой. Совершенно незамеченным проплыло оно мимо весла.

Отцовская помощь только щекотала Миряну.

Лодка безнадежно уходила под воду.

Квидо увидел еще, как течение чуть повернуло ее в зеленовато-желтой воде, а затем окончательно поглотило.

Он опустил голову на высокий воротник жилета, прищурил глаза и отдался медленному течению.

Отец что-то кричал ему вслед, но он не понимал.

— Расцветали розы и фиалки, — повторял он, — травушка-муравушка цвела...

А назавтра в соответствующем зеленом поле календаря IBM появилась запись: «Немедленно подавить в себе склонность к полигамии (отец)».

— И купить новую лодку, — подсказал матери Квидо.

6) Квидо перешел в восьмой класс, и его ожидали немалые трудности. Ярушка на добрых три сантиметра переросла его и на переменах общалась — как ему казалось — лишь с несколькими преждевременно созревшими одноклассниками, которые все как один были на голову выше его. Пусть практически он и избавился от прежней толщины (малость лишнего жира на бедрах, конечно, останется у него навсегда) и его мать вместо роговых очков достала ему модную оправу из тонкого позолоченного металла, он все равно выглядел неказистым и уродливым. Квидо проводил долгие минуты перед зеркалом, и отцовское «Take it easy!» не улучшало его настроения. Разговаривать с Ярушкой становилось как никогда трудно.

— Пошли кататься на санках?— решился он однажды хрипло задать вопрос.

— Ты что, спятил? — покачала головой Ярушка. — Не рано ли ты спрашиваешь? Сентябрь ведь на дворе!

— Я имел в виду, когда выпадет ...

— Что?

Нет, она смеялась над ним. И это совсем убивало его.

Снег, хотел он сказать, но голос захлебнулся в горле.

А тут еще родители Квидо вздумали перевести его в Бенешевскую гимназию уже на следующий год.

— Все-таки год не потеряешь, — убеждал его отец, считавший про себя всю девятилетнюю школу лишь бездарным препятствием на пути Квидо к карьере.— В двадцать два сможешь получить диплом, а в двадцать три обскачешь всех остальных на целый год!

Но пока что Квидо терзало одно: рядом с Ярушкой, решившей, напротив, окончить девятый, после каникул может оказаться какой-нибудь из ее высоких, мускулистых одноклассников. Эту картину Квидо по-всякому рисовал себе и домысливал, так что вскоре она стала для него источником невыносимой муки. Все эти сильные, хвастливые, прыщавые мальчики с пробивающимися усиками были ему заранее ненавистны. И когда бы Квидо ни сравнивал свои редкие, а на пижаме с рисунком и вовсе неприметные следы эякуляции с истинным половодьем, которое якобы еженощно переживали они, он с немалой яростью вспоминал бабушкину немясную, а стало быть, как он полагал, *неполноценную* кухню.

«Всем привет — мяса нет!» — кипятился он втихомолку.

— Скажи еще спасибо, что Ярушка вообще собирается в гимназию, — успокаивала его мать. — Через год там встретитесь... А что бы ты делал, вздумай она идти в медучилище?

— Не знаю, — уныло признался Квидо.

С приближением срока подачи заявления о приеме в гимназию отец Квидо стремился усилить воспитательное воздействие на сына. Он полагал, что его бесспорные и многими восторженно принятые трудовые успехи, увенчанные недавней командировкой в экзотическую Японию, дают ему все основания для применения подража-

тельного метода; однако Квидо в силу своей пубертатной критичности отказывался признать даже такую очевидную и жизнью подтвержденную истину, гласящую, что счастье человека прямо пропорционально выраженной в километрах длине его служебных командировок, и отец вынужден был прибегать, как и в отношении Неги, к принудительному методу.

— Гав! Гав!— провокационно тявкал Квидо всякий раз, когда отец приходил заниматься с ним. А однажды, когда тот принес уже заполненный бланк о приеме в гимназию, он и вовсе в знак протеста надел на себя строгий ошейник.

Отец несомненно желал Квидо добра, более того, желал самого прекрасного, что только мог представить себе. В конце концов, речь шла не о том, начнет ли Квидо учиться в гимназии годом раньше или позже, и даже не о том, что в дальнейшем он успешнее остальных займется математикой или химией; речь шла о гораздо большем: отец хотел — по крайней мере отчасти — сократить для сына изнурительно извилистый путь Познания Жизни, изобразив ему этот путь в пока непостижимых для Квидо подробностях и с той труднодоступной отдаленной точки, откуда он, сын, уже отчетливо виден и куда он, отец, спустя долгие годы наконец-то добрался. А поскольку это Познание он решил преподнести сыну совершенно безвозмездно, из самых добрых отцовских побуждений, он никак не мог взять в толк, почему Квидо от такого рода *благодеяния* упорно отказывается.

— Он еще не однажды возмущался такой моей тупостью, — рассказывал впоследствии Квидо. — Не преуспев в своих педагогических потугах на суше, он отправился с нами летом в Болгарию и прожужжал мне все уши наставлениями в воздухе, в самолете, а затем в воде, в море, словно искал особые физические условия, в которых можно-таки передавать свой опыт.

Примерно в то же время Квидо написал свою первую повесть, назвав ее «Лавка «Жестокость».

Действие ее происходит в некоем вымышленном магазине, где на низеньких, но просторных прилавках расположен один-единственный товар: живые мальчики, помещенные в прозрачные, частично приоткрытые коробки. К правой руке у них привязаны товарные ярлыки с именем, размером и ценой. Говорить они, естественно, не могут.

Покупательницы, напротив, одни девушки, и среди них, конечно, Ярушка. Они с трудом толкают вдоль полок огромные коляски и тщательно выбирают товар, осматривая не только одежду мальчиков, но и их глаза, рот, зубы, изучают цвет волос и чистоту кожи, слой подкожного жира и объем мускулов, рост, фигуру, форму ног и, наконец, их половые органы, проверяя, покрылись ли они растительностью или еще нет. Качество выставленных мальчиков они, естественно, сравнивают и во всеуслышание оценивают. При выборе иной раз им на помощь приходят продавщицы, сильно накрашенные взрослые женщины с огромными грудями.

— А черноволосых, высоких и загорелых у вас уже нет? — спрашивает у одной из них Ярушка.

— Нет, остались только незагорелые, загорелые были утром, — отвечает продавщица вполне любезно. — Их сразу же разобрали.

В одной из коробок стоял, разумеется, Квидо. Девушки, в том числе и Ярушка, более или менее равнодушно проходили мимо. Порой отпускали то или иное замечание.

— Купи этого маленького очкарика! — подначивали они друг друга.

— Спасибо, даром не надо! Купи его сама!

Квидо переписал повесть красивым почерком и в один прекрасный день вручил ее Ярушке.

— Странная, — сказала, прочтя повесть, Ярушка. — Странная и глупая.

Квидо, покраснев, криво ухмыльнулся.

— Что ж, вы их так выбираете! — сказал он с вызовом.

— Не я! — сказала Ярушка. — И вообще я не хочу, чтобы ты писал про меня!

VI

1) Карьера отца Квидо кончилась на склоне лета тысяча девятьсот семьдесят седьмого года, причем так же внезапно, как и началась.

Правда, уже прошлой осенью случилась одна, казалось бы, пустяковая история, в которой иной, у кого на такие вещи особый нюх, мог бы углядеть некую увертюру, некий первый симптом будущего кризиса: маленький Пацо — точно таким же образом, как когда-то его старший брат — сбросил, играя в детском саду в кегли, застекленный портрет президента, но на сей раз уже, конечно, не Людвика Свободы, а Густава Гусака.

Падающая рама и длинные острые осколки стекла и на сей раз, по счастью, никого не задели. Однако нельзя было бы утверждать, что сброшенный портрет никому не навредил: одна из старших воспитательниц мгновенно вспомнила подобный случай с Квидо и каждому встречному и поперечному рассказывала об этом как о некоей *невероятной случайности.* И потому упомянутый эпизод вскоре получил широкую огласку и далеко не каждому представлялся всего лишь забавным.

— Будь внимательным к таким вещам, — сказал отцу Квидо Шперк. — Люди могут усмотреть в этом взаимосвязь.

— Он же ребенок... — растерянно оправдывал младшего сына отец.

— То-то и оно! — сказал Шперк. — Недооцениваешь!

— Ставлю доллар против спички, что наш балбес сделал это нарочно, дабы сравняться с Квидо, — кричал дома отец, в чьей фразеологии в то время сквозила подсознательная мечта отправиться в служебную командировку еще и в Соединенные Штаты.

— А почему ты кричишь на меня? — спрашивала мать Квидо вполне обоснованно.

— Нормальные дети, когда катят по полу шар, не сбрасывают портрета, что висит в двух с половиной метрах над полом, — не уставал кричать отец. — Нет, нормальные дети портретов не сбрасывают!

— Уж не винишь ли ты меня в том, что я родила двух ужасно бездарных игроков в кегли? — спокойно сказала мать.

— Нет, не виню! — орал отец и в приступе слепой злобы влепил Пацо пощечину.

Пацо расплакался.

Квидо встал перед братом, чтобы защитить его собственным телом.

— Ты что, в своем уме? — закричала возмущенно мать. — Ты почему его бьешь? Совсем ополоумел!

Она с усилием подняла Пацо на руки.

— Это ему и за папу и за маму — из-за него мы теперь ссоримся, — сказал отец растерянно.

Мать вытерла мальчику слезы и выставила за дверь.

— Тебе надо было влепить ему еще одну, — насмешливо сказала она. — За Гусака.

— Это была первая *политическая* пощечина, которую получил Пацо, — рассказывал впоследствии Квидо.

2) Итак, отец Квидо старался *быть внимательным к таким вещам.* И было это вовсе не просто, кроме прочего еще и потому, что в Сазаву после высылки из Праги переселился на постоянное проживание Павел Когоут, с января подписант «Хартии 77»[1]. Если родители Квидо видели его и раньше, когда он лишь изредка наезжал сюда, то было в высшей степени невероятно не встретить его сейчас.

Случилось это одним субботним утром в местном универмаге. Позднее, пытаясь восстановить в памяти эту встречу, они никак не могли прийти к единому мнению: кто из них первым увидел преследуемого драматурга, а следовательно, обязан был

[1] «Хартия 77» — документ, подписанный в 1977 г. группой чешских правозащитников (среди них Вацлав Гавел, Людвик Вацулик, Иржи Гаек, Зденек Млынарж и другие), требовавших соблюдения прав человека в соответствии с Хельсинкскими договоренностями.

подать сигнал к отступлению. Мать Квидо утверждала, что заметила его только в тот момент, когда он — *лицом к ней* — склонялся к голубым молочным пакетам; а поскольку она как раз направлялась к полкам (отец наверняка это помнит) за хрустящим картофелем и за маслом, то избежать встречи можно было только в том случае, если как-то неловко развернуть тележку с продуктами и улизнуть. Хотя отец и допускал мысль, что она заметила Павла Когоута лишь у молочных пакетов, тем не менее он настаивал на том, что драматург стоял *лицом к пакетам* — что, впрочем, весьма логично, — а следовательно, *спиной к ней,* и посему у нее было достаточно времени вполне спокойно и ловко развернуть тележку и уйти, как сделал бы любой покупатель, вспомнивший вдруг, что с предыдущей полки забыл взять — ну, предположим, овсяные хлопья.

— Короче говоря, твое утверждение, что ты не могла избежать встречи, довольно сомнительно, — заключил отец.

— Не более сомнительно, чем и твое утверждение, что все то время, пока я стояла у этой полки, ты рассматривал дату на консервной банке с мясным завтраком, хотя никогда этого не делаешь, ибо отлично знаешь о своей фантастической способности есть без всяких последствий даже самое тухлое мясо — это ты неоднократно мне доказывал, в последний раз в позапрошлом году на берегу Лужнице.

— Какая демагогия! — защищался отец. — Если на берегу Лужнице я и съел колбасу, которая в хмуром утреннем свете показалась вам почему-то позеленевшей, то вовсе не потому, что я был уверен в своем вполне возможном иммунитете против ботулотоксина, а потому, что *по определенным причинам* даже старое мясо предпочитаю свежим овощам.

— За исключением югославского лечо, — вскользь заметила мать Квидо.

— Но уж коль ты упомянула о нашем спортивном прошлом, — продолжал отец, как бы пропуская мимо ушей ее реплику, — я должен заметить, пусть мне и не хотелось бы копаться в таких смешных мелочах, что каждый мало-мальски опытный спортсмен, занимающийся греблей, угадывает направление лодки по движению носа, а он — говоря о твоей тележке с покупками — направлялся не к полкам, а прямо к молочным пакетам.

—Кто-нибудь мне может сказать, о чем идет речь? — спросил Квидо.

— Оставь, — осадила его мать, — ни о чем.

— Напротив, — провидчески сказал отец, — обо всем.

— В определенном смысле он не ошибся, — утверждал впоследствии Квидо.

— Привет, Павел, — сказала тогда с сияющей улыбкой мать Квидо Павлу Когоуту, давая тем самым понять продавцам, покупателям и не в последнюю очередь самой себе, что не боится заговорить на таком бойком месте со столь знаменитым теперь диссидентом.

Отец Квидо, который несколько изменился в лице, в последнюю минуту решил сделать веселую мину.

Павел Когоут, естественно, мгновенно узнал незабываемую Яну из своей пьесы «Хорошие песни», а впоследствии свою приятельницу по театру — впрочем, не прошло и двух лет, как в последний раз они виделись в Сазаве, — и в его глазах появился проблеск неподдельной радости:

— Привет!

Но потом он как-то смешался и вернулся к тому сдержанно-любезному тону, который уже давно выработал в себе для подобных встреч и который имел лишь одну цель: относиться с особой настороженностью к тем, с кем в данный момент он разговаривает. Однако и по прошествии нескольких минут улыбка на лице матери Квидо не увяла, и посему он решился произнести столь расхожую вежливую фразу, какую в последнее время произносил весьма редко, ибо понимал, что в его устах она тотчас оборачивается жестким психологическим нажимом.

— Заходите как-нибудь — когда вам будет удобно, — сказал он с некоторой оглядкой.

Не желая показаться невежливым, он, видимо, при этом пытался оставить им некий необходимый простор для отступательного маневра, который был бы вполне понятен ему.

— И случилось то, что случилось. Роковая минута, — сказал Квидо редактору.

Никто, конечно, и не подозревал о ее приближении. Ни отец Квидо, ни мать Квидо, ни соотечественники, проходившие мимо, ни даже жужжащие над пахучими сырами мухи. Родители Квидо, как и большинство супружеских пар, вращающихся в обществе, в течение долгих лет непроизвольно разрабатывали целую систему бессловесного общения: от знакомых, как бы случайных жестов, взглядов и экивоков вплоть до столь маловыразительных знаков, как-то: быстрый вздох, едва слышное причмокивание или практически неприметное топтание на месте, — однако эта обычно безотказно действующая система на сей раз не сработала, причем совершенно неожиданно, ибо раньше они с успехом уклонялись (даже не без определенной элегантности) от приглашений весьма настойчивых.

— Если бы речь шла о письменном приглашении, я на все сто уверен, что они не приняли бы его, — утверждал Квидо. — Для этого у них было бесконечно много веских аргументов. Но так, лицом к лицу... Это было достаточно сложно. Для этого они были слишком воспитанны.

— А что, если сегодня вечером? — с восторгом предложила тогда мать Квидо и возвела затуманенные очи к мужу.

— Что ж, я — за! — просиял отец Квидо и почувствовал резкое покалывание за грудиной.

— Сегодня? —Павел Когоут был приятно поражен столь спонтанным ответом. — Ну и отлично!

— А может, зажарим цыпленка? — превозмогая боль, мужественно спросил отец Квидо и кивнул в сторону холодильной полки. — Вот я сразу двух и куплю!

Мать Квидо одарила мужа восхищенным взглядом.

— Одного, — весело сказал Павел Когоут.— Второго куплю я.

3) Нам покорятся бури, ненастья и тоска,
Пусть жизнь взлетает вольной птицей,
И пусть любовь вся в песню превратится,
Что радостно взмывает в облака! —

декламировала мать Квидо со смесью иронии и сентиментальности, когда в тот знаменательный день, собираясь на условленный пикник, прихорашивалась перед зеркалом.

— Если бы я хотел водить дружбу с оппонентами режима, я мог бы остаться в Праге, — для вида сетовал отец Квидо, но на самом деле был весьма восхищен собственным мужеством. — Не для того я бежал в деревню, чтобы поджаривать с ними цыплят!

— Цыплята — это твоя идея, — с улыбкой заметила мать Квидо, не отрывая взгляда от зеркала.

— Под цыплят я запросто подведу базу, но мне любопытно, как ты будешь объяснять встречу с этими оппонентами?

— Что цыпленок, что петух[1] один черт, — пошутила мать Квидо. — Впрочем, нам вовсе не обязательно идти туда...

— Именно обязательно, — вздохнул отец. — Из-за твоей картошки и масла нам придется туда идти!

— Нет, из-за твоего мясного завтрака! — Мать Квидо в последний раз взглянула на себя в зеркало. — Ну, как я выгляжу?

---

[1] Когоут (Kohout) — по-чешски «петух».

— Бог ты мой! Она меня еще спрашивает, как она выглядит!

— Послушай, может, детям пойти с нами? — вдруг спросила мать Квидо. — Квидо мог бы прочесть свой рассказ.

В ее предложении — как правильно понял отец Квидо — смешивались здоровая материнская гордость с несколько менее здоровой перестраховкой: если наряду с цыплятами будут еще и дети, наверное, рассуждала она, встреча может выглядеть не столь конспиративной.

— А почему бы нет? — сказал отец Квидо.

Лишь после того как Павел Когоут и его жена Елена ввели своих гостей в курс последних внутриполитических событий и ознакомили их, в частности, еще и с фактом, что они постоянно находятся под колпаком Госбезопасности, отец Квидо понял, в какой серьезной пьесе — пусть в роли зрителя — ему предстоит участвовать. Чтобы чем-то занять руки, он возложил на себя обязанность переворачивать шампуры, но изображаемый им при этом восторг гурмана не мог до конца скрыть его нервозности. Его причмокивания, которыми он сопровождал свои замечания по поводу золотисто-хрустящей корочки, никого не могли ввести в заблуждение — тем более что он поминутно смотрел на часы и на небо, словно никак не мог дождаться наступления темноты. А один-единственный кусочек куриной грудинки, который он в кричащем противоречии со своими гастрономическими восторгами проглотил, чуть позже с не очень убедительным объяснением срыгнул в живую изгородь.

Да и мать Квидо вскоре осознала, что риск, связанный с этим визитом, пожалуй, несколько больший, чем она еще час назад могла предположить. Однако сильнее опасений возможных последствий был ее ужас перед таксой Когоута. Стоило той в темноте коснуться ее ног — визгу, пугавшему хозяев, не было конца.

— Я могу вполне допустить, что женщина боится собак, пауков и мышей, — полушутя-полусерьезно сказал Павел Когоут, не имевший понятия о глубине ее фобии, — но я терпеть не могу, если женщина преподносит свой страх как некое достоинство...

Пацо и Квидо спасали положение: они не боялись не только маленькой таксы, но и тайного сыска и потому вели себя совершенно естественно. Правда, Павел Когоут поначалу сомневался, уж не из тех ли Квидо бойких юношей, что после двух-трех рюмок вина станет резко осуждать его, Павла, комсомольское творчество; однако многолетнее увлечение Квидо трескучей декламацией, которое теперь вызывало в нем чувство стыда и в общем-то мало отличалось от когоутовских «интеллектуальных проколов», было достаточной порукой тому, что до язвительного исполнения стихов о Сталине дело на сей раз не дойдет. Оба мальчика нравились драматургу, и он без конца шутил с ними.

Когда очередь дошла до чтения рассказа Квидо, Павел Когоут, несколько оробев, стал было придумывать какие-то щадящие оговорки с непременным, как водится, одобрением. Однако рассказ, пусть и начинающего автора, приятно удивил драматурга, хотя он и был не согласен с его пессимистическим звучанием, причину которого он правильно усматривал в том, что мальчики, которые продавались в «Лавке «Жестокость», не могли говорить.

— Зато мы можем говорить, и это наше единственное спасение! — сказал он Квидо и, смеясь, продемонстрировал прослойку своего подкожного жира. — К тому же любой женщине можно запудрить мозги.

— Вы уверены? — с любопытством спросил Квидо.

Вскоре после десяти они услыхали, как на дороге притормозила машина.

— Ну-ну, — тихо сказал Павел Когоут. — Наша охрана!

Он обошел гараж и выглянул в ворота.

Отец Квидо почувствовал резкое покалывание за грудиной.

— Местные, — сказал драматург. — Вам надо пройти задами через колею. Они могут узнать вас.

Визит закончился.

Квидо и Пацо велено было молчать.

Семья стала торопливо прощаться.

Они прошли в конец сада, стараясь не задеть ветви яблонь. Трава была мокрая. Из сада вышли сквозь лаз в проволочной сетке.

— Держитесь! — прошептала мать Квидо.

— До свидания! — прошептал отец Квидо.

Темнота милосердно скрывала его бледность.

Они спустились на узкую тропу над железнодорожными путями. В нескольких метрах от них засветились глаза собаки.

Мать Квидо пронзительно завизжала в последний раз.

— Вечер добрый! — сказал кто-то. — Попрошу ваши документы!

— Что случилось? — испуганно крикнул Павел Когоут, вернувшись к забору.

Никто ему не ответил.

— В гости ходили? — сказал Шперк с мерзкой улыбочкой. — Все в порядке, — бросил он двум мужчинам, стоявшим сбоку.

Отец Квидо ответить не смог.

Мать Квидо схватила обоих сыновей за руки.

— Ну идите, — сказал Шперк. — Идите, идите.

VII

Размышляя над тем, что могло так сломить отца и заставить его при переходе на другую работу из пяти предложенных мест, в том числе и трех чиновничьих, выбрать должность вахтера, Квидо думал не о загадочном разговоре в органах, о котором отец отказывался рассказать ему, и даже не о той передаче по радио под названием «Дело Когоута», где об организованной группе врагов социалистического строя среди прочих высказывался и товарищ Шперк, — причину этого он усматривал прежде всего в инженере Зваре.

— Бред собачий, дружище! — сказал отец Квидо Зваре на следующее же утро после инцидента со Шперком.

— Бред, дружище, какой-то дикий бред! — сказал он ему также, вернувшись с допроса на Бартоломеевской.

Он говорил это с явно уловимым вопросом в голосе, надеясь, что коллега одернет его, скажет, чтобы он не делал из мухи слона, что все это выеденного яйца не стоит, что он не совершил ничего предосудительного и что с ним ничего не может случиться. Однако Звара его не одернул. Не одернул он его и тогда, когда в один прекрасный день отец Квидо пришел в отдел со списком упомянутых пяти мест и сказал несколько приглушенно, но с тем же явно уловимым вопросом:

— Придется, видно, работать вахтером, дурак ты эдакий!

— Вахтером?! — искренно ужаснулся Звара.

— Ага. Взгляни, что мне предлагают ... — смеялся отец Квидо, но бледность его лица резко контрастировала с этой деланной беззаботностью. Он был рад, что Звару также огорошила эта новость, и надеялся, что теперь-то уж его друг наверняка стукнет кулаком по столу и, вскочив, побежит к кадровику выяснять, что же это за бредятина, с каких это пор инженеры, свободно изъясняющиеся на двух европейских языках и имеющие ценные коммерческие связи в Лондоне, Пуле, Дюссельдорфе и Токио, с каких это пор такие люди должны работать на предприятии вахтерами?! Однако Звара не стукнул кулаком по столу, не вскочил, а сказал лишь, что нечто подобное и вправду может случиться только у нас.

— Это и решило дело, — утверждал Квидо впоследствии.

Не отвергая гипотезы Квидо, доктор Лир какое-то время спустя высказал вместе с тем убеждение, что отец Квидо своим добровольным выбором *самой низовой* должности стремился — сознательно или нет — угодить карающей власти, ибо просто боялся разгневать эту власть, спустившись всего лишь на одну-две ступеньки ниже, ну, скажем, на место референта отдела по ценообразованию. В этой связи доктор Лир

указывал даже на выразительную символику случившегося: прежняя контора отца Квидо располагалась на девятом этаже, а проходная была, естественно, на первом, стало быть, речь шла о полном *социальном падении*, что напрямую соответствовало его склонности к мученичеству.

Мать Квидо — вопреки подобным теоретическим комментариям— решение мужа так и не смогла понять или, точнее, отказывалась понимать.

— Но почему, скажи на милость, именно вахтер? — кричала она на мужа утром в тот исторический понедельник. — Почему ты не согласился на референта? Ты хочешь сказать, что проведешь сегодня восемь часов в этом завшивленном курятнике?

— Вахтер, — вздохнул отец Квидо, — проводит свое рабочее время в проходной. А завшивлена она или нет, точно сказать не могу, хотя и сомневаюсь в этом.

— Значит, ты запросто снимешь свой твидовый пиджак и кремовую рубашку и наденешь этот клоунский костюм с серебряными пуговицами величиной в пудреницу и встанешь на входе?

— Именно так.

Негодование матери Квидо возрастало соразмерно с осознанием ею самых различных последствий этой перемены:

— И на голову напялишь фуражку со значком?

— Да.

— А на руку натянешь эту отвратительную красную повязку?

— Да, — сказал отец Квидо несколько рассеянно, ибо не нашел ни одного висячего замочка, на который можно было бы запереть шкафчик в раздевалке.

— О господи! — ахнула мать Квидо. — Ты, видно, и вправду чокнулся.

Итак, отец Квидо стал вахтером. В его кожаном портфеле, еще несколько дней тому назад набитом густо исписанными блокнотами, календарями, заметками с заседаний, разными докладными, результатами экспертиз, зарубежными специальными журналами, записными книжками и десятками визитных карточек, помещались сейчас баночка с небольшой порцией кофе, кусок булки, ручка и два-три вырезанных из газет кроссворда.

Если у него бывало утреннее дежурство, он приходил на работу в начале шестого, чтобы вовремя сменить коллегу после ночной смены, переодевался, расписывался в получении оружия, тщательно разлиновывал графы в тетради посещений и становился на положенное место у главного входа. В его движениях и выражении лица не было ничего, кроме деловой сосредоточенности новичка и еще, пожалуй, какого-то извинения за то, что он в такую рань шокирует едва очухавшихся от сна людей тем, что предстает перед ними в столь неожиданной роли, в неловко сидящем сероватоголубом костюме и фуражке, то и дело съезжавшей на самые очки. Порой он скашивал взгляд в сторону шефа, желая лишний раз убедиться, что способ, каким он приветствует приходящих и проверяет их документы, не вызывает у того никаких возражений. И шеф, чувствуя себя не совсем в своей тарелке, кивал ему с преувеличенным одобрением.

В понедельник утром оба родителя Квидо пришли на работу вместе; мать, не попрощавшись, торопливо покинула отца. А добравшись до своей канцелярии и закурив сигарету, вся отдалась мысли о том, что уже завтра ей придется, как и всем остальным, предъявить мужу удостоверение личности. Целый день она только и думала об этом, а уходя в пятом часу с работы, уже твердо знала, что эти пятнадцать-двадцать шагов перед тем, как запустить руку в сумку за документом, станут, наверное, самой сложной выходной ролью в ее театральной карьере.

Утро в среду целиком подтвердило ее опасения. Первая репетиция окончилась полным провалом: широко раскрытые глаза, рука, судорожно протягивающая удостоверение, словно ее муж — некий страшный призрак, которого можно припугнуть предъявляемым документом, — так пересекла мать Квидо проходную, пошатываясь и натыкаясь на красную перегородку.

— Привыкнет, — сказал отцу Квидо начальник.

Отец Квидо, по счастью, дежурил и ночью, так что его жена была избавлена от

половины подобных испытаний, да и ему самому удавалось избежать многих встреч с бывшими коллегами, чьи утренние бодренькие фразочки, брошенные, разумеется, на лету, а потому, как правило, недоговоренные, каким-то странным образом повергали его в уныние. По ночам у него оставалось больше времени на чтение, хотя, по правде сказать, он не всегда был способен сосредоточиться; частенько в такие дежурства он убивал время на многократные и с точки зрения его обязанностей излишние обходы всего административного здания: медленно плетясь по темным коридорам, он читал таблички на дверях, заглядывал в знакомые помещения и лучиком фонаря обшаривал семейные фотографии под стеклами рабочих столов. А случалось, забавлялся и тем, что заходил в свой бывший отдел и изучал пометки в блокнотах своих продолжателей — Звары и его нового заместителя.

— Ну и балбесы, — хихикал он потихоньку. — Ну и кретины!

2) Если на службе отец Квидо делал вид, что он вполне удовлетворен новой должностью, что по крайней мере с ее помощью обрел неведомый до сей поры покой, то дома он оставался самим собой и целиком погружался в уныние. Он устало бродил по дому, равнодушно проходя мимо утративших свою актуальность предписаний как в настольном календаре фирмы IBM, так и в стенгазете в прихожей.

— Теперь в семье всем заправляла мать, — рассказывал впоследствии Квидо. — Патриархат рухнул.

Бóльшую часть времени отец Квидо проводил в подвальной мастерской: он вернулся, как и всегда в тяжкие времена, к своим поделкам по дереву. С трогательным умилением он осматривал запыленный, но еще приятно пахнущий стройматериал, оглаживал сосновую фанеру, брал в руки светлые липовые многогранники и темные сливовые планки, как бы извиняясь перед ними, что мог забыть о них в угоду чему-то столь эфемерно нелепому, как служебные командировки. Он тщательно убрал и подмел в мастерской, наточил на дисковом шлифовальном станке все шведские резцы, а затем с помощью керосина любовно направил их на арканзасском камне. И потихоньку принялся за работу: резал, шлифовал, строгал, клеил и покрывал лаком. При этом нередко забывал о времени: случалось, Квидо, плетясь под утро в полусне в туалет, видел, как отец, собираясь на боковую, в ванной смывает с запястий остатки опилок. Однажды, когда Квидо с матерью смотрели ночью телевизор, из глубин дома донесся высокий звук пилы — оба испуганно вздрогнули. Спустя минуту Квидо заметил в глазах у матери слезы.

— Мама? — спросил он глухо.

В слабом мерцании экрана высвечивались ее морщинки.

— Отец *морил* мать подобно дереву, чем еще выразительнее очерчивал рисунок ее возраста, — рассказывал впоследствии Квидо.

Да и чему удивляться: он в основном находился в проходной или в подвале, вылезая оттуда лишь по мере надобности: когда шел спать, хотел есть или изредка посмотреть телевизионные новости, все более его огорчавшие. Не раз он уходил, так и не дослушав их, чтобы, спустившись в подвал и сделав несколько точных зарубок по ореховому дереву, чуть-чуть прийти в себя.

Мать Квидо была на пределе сил: все заводское делопроизводство, которое она вела, по существу, одна, занимало у нее столько времени, что она часто приходила домой затемно. Дома стоял дикий кавардак, и это никого не волновало. Квидо тратил все свое время исключительно на сочинение рассказов и изучение сексологических пособий; Пацо, чей врожденный мальчишеский интерес к играм в индейцев и разбойников перерос в странное равнодушие ко всему прочему, целыми днями вместе со старшим другом по кличке Медвежья Шкура скитался по лесам. Только бабушку Либу, продолжавшую дышать сквозь мокрые платки, с которых повсюду капала вода, этот кавардак возмущал до такой степени, что она отказывалась жить в нем и — подобно Квидо — запиралась в своей комнате. И дом день ото дня разрушался.

Дом действительно рушился, ибо он гораздо больше, чем в выточенных столбиках к лестничным перилам, нуждался в каждодневном уходе и ремонте. Сад зарос сорняками. Калитку, забор и оконные рамы давно надо было покрасить. От кухонного окна, которое Пацо разбил кожаным лассо, несло холодом. Кучу неубранного угля мочил дождь. Комнатные цветы, до которых мать не могла дотянуться, увяли, а в миксере, который она не смогла развинтить, уже несколько месяцев гнили остатки молочного коктейля. Входная дверь с обеих сторон была ободрана собакой, о которой отец стал забывать. Из кранов капало, а лед в холодильнике достиг такой толщины, что не закрывалась дверца. Зеркало в ванной было забрызгано зубной пастой настолько, что в нем ничего не было видно, а стульчак, некогда сияющий белизной, теперь был покрыт желтыми пятнами засохшей мочи.

— Писáлось мне плохо, — спустя время рассказывал Квидо. — Царил невообразимый хаос! А я люблю гармонию и симметрию!

3) В пятницу вечером. Кухня. Мать Квидо с большим трудом расставляет тарелки на кухонном столе, и без того заваленном грязной посудой, остатками еды, старыми газетами и журналами, футбольными наколенниками, жестяными банками с «люксолем», обрезками дерева и сосновой коры. Она выключает плиту, на которой варятся сосиски. Выходит из кухни и останавливается в прихожей. Долгая пауза.

Мать (*громко, устало*). Ужинать!

Никто не отзывается.

Мать (*громче*). Ужинать!!

Никто не отзывается.

Квидо (*из комнаты*). Уже иду!

Отец (*из мастерской*). Уже иду!

Бабушка (*из комнаты, приглушенно сквозь мокрый платок*). Горит, что ли?

Все постепенно собираются.

Отец (*бабушке*). Вы не видели моей маленькой стамески?

Бабушка (*открывает лицо из-под платка*). Я?! (*Закрывает лицо платком.*)

Отец. Такой полукруглой...

Бабушка (*открывает лицо из-под платка*). А что мне с ней делать? (*Закрывает лицо платком.*)

Квидо. Скорее, может, полукруглой булки?

Мать (*Квидо*). Где опять Пацо?

Квидо. У меня в комнате его не было.

Мать (*отцу*). Где Пацо?

Отец. У меня в мастерской его не было.

Мать (*возмущенно*). Так... А вообще-то ты помнишь, когда видел его в последний раз?

Бабушка (*открывает лицо из-под платка*). Пожалуй, очень давно! (*Снимает платок с лица*).

Отец (*раздраженно — бабушке*). У меня нет времени смотреть за сыном, когда из-за вас я должен поминутно смотреть на счетчик!

Мать (*вздыхая*). Перестаньте. Кому сколько?

Квидо (*пролистывая газету*). Мне четыре.

Отец. Мне только одну. Сегодня что-то не хочется. На работе я перекусил.

Мать (*насмешливо*). Уж не бросают ли тебе люди карамельки?

Отец (*растроганно*). Начальник дал мне целую «чабайку».

Бабушка. Ты очистила их? Они что, баночные?

Мать. Да, баночные, но кожуры на них не было. (*Нетерпеливо.*) Сколько тебе?

Бабушка (*подозрительно*). В самом деле? Поверьте мне: целлофан для желудка — верная смерть.

Мать (*с трудом сдерживая себя*). Без сомнения.

Бабушка (*заглядывая в кастрюлю*). Они выглядят неочищенными.

Мать (*кричит*). Они выглядят неочищенными, потому как они не очищены, они не очищаются!

Бабушка. Пожалуйста, не кричи на меня! Я все еще твоя мать.

Мать. Извини. Я было подумала, что ты районный санитарный врач.

Квидо (*показывает отцу газету с фотографиями Владимира Ремека на трапе космического корабля*). Вот что я называю служебной командировкой! Наверное, он счастливый человек!

Мать. Не подливай масла в огонь! Ешьте. Приятного аппетита!

Квидо. Приятного аппетита.

Отец. И тебе того же. Хлеб этот...

Мать. Пятидневный. Никто не сходил за свежим.

Квидо. Я решительно не могу. Пока не напишу рассказ... А в «сам-бери» я вообще войти не могу. Рискую получить нервное расстройство.

Мать (*решительно*). Завтра утром пойдешь туда за покупками даже в том случае, если для этого тебе придется принять диазепам!

Квидо. Почему я?! Пусть отец — ему делать нечего...

Мать (*бросив иронический взгляд на отца*). Ты что, в своем уме? Отец кончает инкрустированную шахматную доску! Разве я могу отвлекать его такими вещами?

Квидо (*презрительно*). Ха! На двери шкафа! О господи! Покажи мне шахматиста, который захочет играть, повалив сперва для этого шкаф с одеждой!

Мать (*с явным удовольствием*). Ты судишь об этом слишком прагматично! Прежде всего это красивая вещь! Нечто вроде самописки с часами.

Отец хочет что-то сказать, но ему мешает приход Пацо. На нем жилет из телячьей кожи, на шее — кожаный шнурок с кабаньим клыком, в руке — стамеска. Он весь в грязи.

Квидо. Я могу понять, что иные не любят мыться, но не понимаю, почему из-за этого нужно становиться бродягой.

Мать. Где ты был?

Пацо. Доделывал тотем...

Отец (*замечая стамеску*). Моей стамеской! Я убью тебя!

Мать. Почему ты никому не сказал, куда ты идешь? Почему ты хотя бы не оставил записку?

Пацо. Я *оставил* записку!

Мать (*подозрительно*). Оставил? Где?

Пацо (*в беспорядке на кухонном столе находит кусок сосновой коры*). Вот!

Мать (*рассматривает черточки на коре*). Что это?

Пацо. Пиктографическое письмо.

Короткая пауза.

Мать (*покорно*). Хорошо, Пацо. Но в будущем пиши нам нормально. Как пишешь в школе. Мы, бледнолицые, пользуемся латиницей. Сколько тебе сосисок?

Пацо. Я уже ел. Медвежья Шкура зажарил мне ворона.

Мать хочет что-то сказать, но ее прерывает телефонный звонок. Отец Квидо замирает. К телефону бежит Квидо. Мать не спускает с него глаз.

Квидо. Да? Привет! (*Кричит в кухню.*) Дедушка! Опять в больнице? (*Тише.*) Что с тобой было? Да-а... А виды на будущее? Преувеличиваешь! В Бенешове!.. И не спрашивай, в толк не возьму, как Ванчура[1] мог терпеть этих филистеров... Нет, в школе в целом нормально — что касается директора и этих картин в актовом зале. Я же тебе рассказывал?

Отец (*с беспокойством*). Не забывайся — ты говоришь по телефону!

Квидо. Пацо? Отлично... Поужинал вороном... Нет, это шутка!. Никаких овощей, у нас были знаменитые сосиски, серьезно! В самом деле, вне всякой связи... честное слово!

Мать. Дай мне его! Ну пожалуйста!

---

[1] Владислав Ванчура (1891—1942) — чешский писатель, расстрелян немецкими фашистами. Учился в Бенешовской гимназии.

Квидо. Отец? Нет, пока не спекся. Правда, говорит, что все его предали. Съели его цыплят и эмигрировали!

Отец. Ты обалдел?! Повторяю — ты говоришь по телефону!

Мать. Дай мне его!

Квидо. Нет, ни за что... (*Улыбается.*) Он жутко завидует Ремеку... Кто это? Ты не знаешь? Не читаешь газет? Ага... Ну-ну... А что ты читаешь? О жизни кого?.. Главное, что о жизни, да?.. А что Зита? Хм... Еще что? Мать заставляет меня в четвертой четверти сдавать на права, представляешь? Нормальные матери своим сыновьям такого не советуют... Думаю, она одержима скоростью, или как?

Мать. Не болтай вздор! Дай мне его!

Квидо. Отец? Нет, он опять не ездит... Нет... Не хочет, дескать, чтобы ему пришили неумышленное убийство. Именно этого, дескать, и ждут не дождутся гебисты...

Отец (*кричит*). Возьми у него трубку... или я вырву розетку из стены!

Квидо. Нет, это был отец... Дам тебе маму... Ну привет, до воскресенья! Чао!

VIII

1) В Сазаве у матери Квидо не раз возникали недоразумения с почтой. Помимо нескольких отлепленных иностранных марок, с чем она легко смирилась, нередко пропадали письма, исчезли две книги, заказанные ею в Клубе читателей; зато бандероли, адресованные ей на работу, почему-то оставляли для нее на почте, и она вынуждена была тащиться за ними лично. Однако на все эти безобразия она смотрела сквозь пальцы.

Но в то памятное утро, когда она стояла в больничном коридоре с абсолютно ненужными семейными фотографиями, персиковым компотом и новой книгой по истории Праги, а телеграмма о смерти ее отца, отосланная из больницы, как выяснилось, еще в субботу в 11.35, провалялась где-то на почте, терпение ее иссякло: она поклялась себе на сей раз дела так не оставить.

Однако после двух бессонных ночей она почувствовала, что у нее нет сил идти на почту добиваться правды, и попросила мужа сделать это за нее. Отец Квидо, взявший на себя все хлопоты по организации похорон, деликатно отказался выполнить ее просьбу, утверждая, что брать на себя еще одну заботу и портить себе и без того расшатанные нервы лишено как раз сейчас всякого смысла.

— Оставим все как есть, — взмолился он.

Квидо уловил, что за его колебаниями скрывается нечто другое, а именно: известная боязнь даже самых незначительных конфликтов, которая с момента истории с Когоутом приобрела у отца поистине болезненные формы.

— Как бы не так! — возмутился Квидо. — Если ты боишься туда идти, пойду я!

— А ты сможешь? — спросила мать.

— Думаю, да,— сказал он после недолгого раздумья.

Кабинет начальника почты, куда провели Квидо, благодаря темной мебели и бордовому ковру производил впечатление куда большей парадности, чем можно было ожидать от столь скромного учреждения.

— Садись, — вежливо предложил ему начальник, но Квидо продолжал стоять. — Догадываюсь, что тебя привело к нам, — улыбнулся начальник. — Но прежде всего разреши выразить тебе мое искреннее соболезнование.

Квидо чуть приметно усмехнулся, но протянутую руку пожал.

— Я понимаю твое смущение. То, что случилось, всех нас огорчает, но при этом не хотелось бы, чтобы эмоции взяли верх над разумом. Это может плохо кончиться...

— Что вы имеете в виду?

— Видишь ли, я не утверждаю, что на почте все в идеальном порядке. Возможно, и у нас есть просчеты и жалоба, с которой ты пришел, в некоторой мере оправданна...

— В некоторой мере? — не сдержался Квидо. — Что вы такое говорите? Мы приехали навестить дедушку — а он мертвый! Вы можете себе это представить?!

— Печально, — сказал начальник, — но поверь, мы сделаем все, чтобы подобное не повторилось.

— Рад слышать, — с сарказмом сказал Квидо. — У меня ведь еще один дед!

Он окинул взглядом противоположную стену, увешанную почетными грамотами. Начальник почты чем-то раздражал его, но чем именно — определить пока было трудно.

— Послушай, — сказал тот, — скажу откровенно: критиковать умеет каждый. Ломать, все оплевывать легче легкого, а вот внести конкретное деловое предложение, как что-то улучшить, у нас мало кто может. Даже ты не можешь.

— Я?! — вскричал, не веря своим ушам, Квидо. — Я разве начальник почты? Разве я что-нибудь понимаю в этом деле? Что я могу улучшить? Разве это не *ваша* работа?!

— Ну видишь! — улыбнулся начальник. — Сам признаешь, что в нашем деле ты ни бум-бум, а при этом готов с пеной у рта критиковать почту.

Что мог Квидо сказать? Раздражение его росло.

— Надо учитывать возможности почты, — продолжал начальник. — Людей мало, задач много, где тут все враз успеть? Рим и тот не в одну ночь был построен.

— Господи, да кто от вас требует построить Рим в одну ночь? Было бы уже здорово, если б вам хватало сорока часов, чтобы доставить телеграмму на расстояние в неполный километр.

— По понятным причинам ты очень взволнован и не даешь мне договорить. А я хотел сказать, что мы в курсе наших недостатков, но наивно полагать, что мы можем враз устранить их. Только нетерпеливой молодежи все хочется сразу. Потому-то и пришел с жалобой ты, а не твой отец.

— Возможно. Но я не могу согласиться, что все хочу сразу, — меня вполне устроит даже то, если почта будет приходить просто *вовремя*. Хотя бы телеграммы и срочные бандероли. Что касается открыток, я прощу вам и их двух- трехдневное опоздание, чтобы их могли действительно прочесть *все* ваши сотрудники, а не только те, к кому они в ту или иную смену непосредственно попадут в руки... Более того, я даже не против, если кто-нибудь отлепит марку, — в конце концов, коллекционеры, как сказал Гёте, счастливые люди... Следите только за тем, чтобы не попортить сам текст.

Высказавшись, Квидо собрался было уходить.

— Думаю, каждый критик в первую очередь должен начать с себя, а потом уж...

— Господи! — воскликнул Квидо. — О чем мы здесь говорим?

— О чем? Да о том, что ты, как любой демагог, не замечаешь ничего хорошего, что было сделано на этой почте. О том, что ты стараешься очернить всех, кто честно здесь каждый день трудится. О том...

— Неправда, — сказал не без усталости Квидо. — Тех, кто честно здесь трудится, я безусловно уважаю. Но меня взбесила ваша сотрудница, которой было насрать на телеграмму о смерти моего дедушки, и она, возможно, сунула ее в виде закладки в «Бурду»!

— Чем дальше тебя слушаю, тем больше убеждаюсь, что тебе еще нужно учиться вести дискуссию, — сказал начальник с холодной улыбкой, — и повышать свою словесную культуру. Попробую кое-что тебе объяснить. Посылал ли ты от нас какое срочное письмо, телеграмму или денежный перевод?

— Естественно, — сказал Квидо, прикидывая, свидетелем какого прыжка мысли он сейчас окажется.

— Одним словом, ты регулярно пользуешься нашими услугами. Мы регулярно тебе и твоей семье идем навстречу, и вам это кажется естественным...

— Ни в коем случае! — уже свирепея, сказал Квидо. — Нам это не кажется естественным, это и *есть* естественно. Ни одна из перечисленных вами услуг не выходит за рамки ваших прямых обязанностей. Почта здесь именно для того, чтобы люди могли посылать посылки, телеграммы и деньги. Уж не хотите ли вы мне сказать, что я в порыве благодарности должен плюхаться на задницу всякий раз, когда вы приносите мне заказное письмо?

— А что наша сослуживица укрощает вашу собаку — это тоже естественно?

К этому вопросу Квидо не был готов.

— И что нынче ходит жаловаться даже самый распоследний вахтер — это тоже естественно?

Оскорбление так задело Квидо, что у него на миг перехватило дыхание.

Начальник, побагровев от гнева, смотрел на Квидо с нескрываемым презрением и ненавистью:

— Или его заумный пащенок? А ну пшел вон!

Подталкивая Квидо животом, он выставил его в коридор и захлопнул за ним дверь.

Квидо в бешенстве пнул ее ногой.

Дверь открылась.

— А ты не смей тыкать! —уже на бегу крикнул Квидо.

2) Мать Квидо никогда не могла сказать с полной уверенностью, что вырванная страница с 66-м сонетом Шекспира, которую она нашла в понедельник вечером в свертке с личными вещами отца, действительно выражает его осознанное желание предварить этим сонетом извещение о смерти. Но, хорошо зная отца и понимая, что ничего подобного он никогда не сделал бы с книгой, не будь для этого какого-то веского основания, она поверила именно в такую версию. Она вновь и вновь растроганно перечитывала сонет и вопреки пронизывавшей ее боли испытывала определенную радость при мысли, что это стихотворение, напечатанное ею в виде эпиграфа к траурному тексту, как бы даст отцу некую дополнительную возможность еще раз обратиться к своим самым близким и самым давним друзьям с чем-то, о чем, возможно, он думал перед смертью и что считал по-настоящему очень важным.

— Ей в этом было отказано, — рассказывал Квидо редактору.

Мать Квидо поняла это в тот момент, когда ее муж вернулся из похоронного бюро, что было в Углиршске Яновице.

— Не получится! — сказала она, увидев выражение его лица и удивляясь теперь своей наивности.

— Нет, не получится!

Мать Квидо пошла назад к столу, села, обхватила ладонями чашку чая, но не сделала ни глотка.

— Не получится! — повторила она задумчиво.

— Я сделал все, что мог, но разговаривать с ними бесполезно. Нет этой цитаты в их списке, и хоть ты тресни!

— В *списке*?

— В списке *дозволенных* цитат, — уточнил ее муж.

— Дозволенных цитат?! Шекспир, выходит, не дозволен?! Разве я хочу, чтобы напечатали цитату из Муссолини? Ты им сказал, что это Шекспир?

— Сказал.

Мать склонилась над чаем.

— О боже! — сказала она.

— Я не виноват, поверь мне, — сказал отец Квидо, пододвинув к жене стул. — Я пробовал сунуть мужику все четыре сотни, что были при мне...

— Ну и что?

— Он сказал, что еще не родился такой идиот, который за четыре сотни хотел бы угодить за решетку...

— Не разрешили Шекспира! Они и вправду могут запретить нам уже все...

— *Наш* заказ на музыку тоже не взяли, — неохотно сказал отец Квидо. — К счастью, в списке был Малер.

— Я же говорю, завтра запретят нам жить, — горько усмехнулась мать.— Что ж, теперь даже умереть человек не может свободно?

— Я ему и это сказал, а он в ответ: «Э-э, друг мой, как живем, так и умираем».

— И то правда, — подтвердила мать Квидо.

3) На похоронах дедушки Квидо не проронил ни слезы. Он смотрел на гроб, за-

валенный цветами и венками, и сжимал колени, как это делал, сидя в кресле у зубного врача. Он раздраженно слушал Малера и был благодарен матери, что она отказалась от надгробных речей. Думал он не только о дедушке, но и о его друге Франтишеке, о Зите, о своем отце и с тихим упорством бормотал сонет Шекспира.

В школе он был теперь замкнут и нервозен. Наскакивал не только на своих одноклассников, но и на лучшего своего друга Шпалу, а то и на учителей. И постоянно обнаруживал вокруг какую-то ложь.

— Что с тобой? — с беспокойством допытывался Шпала.

— Все меня бесит, — говорил Квидо.

Дома после похорон ему и вовсе было невыносимо; в субботу он отправился со школой на уборку картофеля.

Завезли их куда-то за Невеклов. Для конца сентября было довольно тепло, и сквозь клочковатые облака по временам прорывалось даже солнце, но дул ужасный ветер, особенно сильный в открытом поле, и потому большинство девушек повязали головы платками. В этом, думал Квидо, есть что-то удивительно женственное и исконное, как и сам труд, в котором за многие-многие столетия мало что изменилось: такая же согнутая спина, такие же выставленные округлые ягодицы, груди, прижатые коленями, ловкие женские пальцы. Бог знает почему Квидо вдруг пришло на ум, что все эти взбалмошные гимназисточки через пару-тройку лет станут матерями.

Девушек на поле было много больше, и Квидо с ребятами едва поспевали оттаскивать полные корзины картошки на грузовик. Ярушка была со своим классом, и корзины ее на сей раз относил другой мальчик. Но Квидо это не волновало — он ловко перешагивал борозды и размышлял о жизни и смерти.

В перерыве он сел в сторонке от остальных и, опершись о тонкий ствол дикой яблони, устало наблюдал, как вдали над лесистой кромкой горизонта медленно кучкуются беловато-серые облака.

— Что с тобой? — неожиданно спросила Ярушка. На ней был черный свитер ручной вязки, туго облегавший ее грудь, и старые джинсы, заправленные в запыленные красные сапожки.

— А что со мной может быть?

— Не знаю, — сказала Ярушка и присела на корточки. — Что-то такое... Ты не ел? — спросила она, заметив неразвернутый завтрак.

— Нет. Не могу есть, раз ты не любишь меня, — пошутил Квидо.

— Что с тобой? — спросила она, удивленно глядя на него из-под синего платочка.

— Да ничего! — закричал Квидо. — Думаешь, если я не подношу тебе корзины, так со мной уже что-то случилось?

— Квидо! Что с тобой, Квидо?— Ярушка коснулась его плеча.

Он закрыл глаза.

— Мы похоронили дедушку. Кроме всего прочего.

— Почему ты мне не сказал? — Она смотрела на него так сочувственно, что он улыбнулся.

— А зачем говорить? Ты вообще не знала его.

— А кому же еще говорить? — сказала она серьезно.

Наконец он рассказал ей обо всем: о телефонном разговоре с дедушкой, об ужасном посещении больницы, о скандале на почте. О сонете.

— Ты знаешь этот сонет наизусть?

Квидо смешался: он уже много лет читал стихи Ярушке, но сейчас в этом было что-то другое.

— Ты мог бы прочесть его?

— Здесь?

Он огляделся: ветер гнал по полю облака пыли. Вдалеке по шоссе вдоль аллеи проехал автобус. Зубчатая стена леса на горизонте полого спускалась к деревне.

Ярушка взяла его за руку. Он расслабился, перестал стесняться. Вспомнил дедушку: как изнеможенно он опирался о подушку в изголовье больничной койки. Квидо начал читать тихо, но с каждой строкой голос его звучал увереннее.

Зову я смерть. Мне видеть невтерпеж
Достоинство, что просит подаянья,
Над простотой глумящуюся ложь,
Ничтожество в роскошном одеянье,

И совершенству ложный приговор,
И девственность, поруганную грубо,
И неуместной почести позор,
И мощь в плену у немощи беззубой,

И прямоту, что глупостью слывет,
И глупость в маске мудреца, пророка,
И вдохновения зажатый рот,
И праведность на службе у порока.

Все мерзостно, что вижу я вокруг,
Но как тебя покинуть, милый друг![1]

— Красиво, — сказала Ярушка.

— Шперкова порадовалась бы, — сказал Квидо, — или, скорее, нет. Но, может быть, он меня слышал.

Ярушка погладила его по руке, и в глазах под платочком вдруг вспыхнули искорки.

— Пойдем завтра кататься на санках? — спросила Ярушка.

Выходит, Когоут был прав, подумал Квидо. Я ей нормально запудрил мозги.

IX

1) Впрочем, это был последний раз, когда отец Квидо повысил дома голос: в последующие дни все чаще — а позднее уже исключительно — он говорил шепотом. Создавалось впечатление, что в доме кто-то целыми днями спит.

— Отец, скажи, пожалуйста, почему ты все время шепчешь? — не удержался однажды Квидо.

— Я — шепчу? — удивленно прошептал отец Квидо.

— Да, шепчешь. Все время шепчешь! Мама, скажи ему, что он все время шепчет.

— Да, шепчешь, — подтвердила мать Квидо. — Шепчешь, бьешь стекло и прячешь куда-то наши книги и фотографии.

— Почему ты это делаешь? — повысил голос Квидо.

— Если ты еще до сих пор их не сжег,— добавила мать Квидо. — Как и подобает настоящему *агенту*.

Отец Квидо посмотрел на нее в упор и открутил на полную мощь кран.

Квидо насмешливо крякнул.

— Я шепчу, поскольку в некотором смысле опасаюсь, — хрипло сказал его отец.

— За что ты опасаешься? — взорвался Квидо. — За свое место вахтера?

— За всех нас, — прошептал его отец. — Они могут все, разве вы этого не понимаете?

На следующий день после обеда он подвел свою жену и сына к окну в спальне и с опаской отогнул занавеску.

— Взгляните... если не верите, — прошептал он.

Квидо с матерью посмотрели в указанном направлении.

У поворота железнодорожного пути под Жаворонком среди деревьев стояла будка, привезенная сюда два дня назад и служившая временным жилищем для нескольких рабочих, которые бетонировали тоннель. У будки сидели трое мужчин.

— А что это, по-твоему? — спросила мать Квидо с явно выраженным презрением ко всей этой комедии. — Бункер КГБ?

— Обратите внимание на антенну, — прошептал отец Квидо.

---

[1] Перевод С.Маршака.

— Отец, это же *телевизионная* антенна.

— Я давно слежу за ними, — сказал отец, пропуская реплику сына мимо ушей. — Их шестеро, и они регулярно чередуются, но примечательно, что один из них *постоянно* остается внутри будки.

— Отец! — воскликнул Квидо. — Они тут ремонтируют тоннель. Тебе это каждый скажет.

Отец посмотрел на сына с сочувствием.

— Тоннель! — прошептал он. — Ты думаешь, *их* может интересовать какой-то дурацкий тоннель?

Отец Квидо все более удручал семью своими странностями. Он практически перестал читать, бродил из мастерской в спальню и обратно, поев, срыгивал, точно малое дитя.

— Это была, по всей вероятности, начальная стадия его психоза, — сказал позднее доктор Лир матери Квидо. — Несомненно, его фантазии не являются в полном смысле слова галлюцинациями! Госбезопасность отнюдь не призрак!

В осторожности, с какой отец Квидо приподнимал оконную занавеску, было что-то невыносимое для матери Квидо. Обычно она читала в спальне, но стоило ему теперь туда зайти, как она тотчас уходила, шумно хлопнув за собой дверью. Казавшаяся некогда забавной история о дядьке мужа, который всю жизнь торговал в скобяной лавке, считая себя при этом придворной дамой Людовика XIV, теперь уже совсем не смешила ее.

Над семьей навис призрак безумия.

Однажды, когда отец Квидо торчал у окна в спальне чересчур долго, нервы у нее не выдержали. Она сдернула с себя передник и вбежала в спальню.

— А теперь садись и смотри! — крикнула она ему.

Она потушила сигарету, мгновенно обулась, причесалась. В ее поспешности было что-то угрожающее.

— Если у них нет собаки, ты увидишь кое-что интересное! — крикнула она мужу и хлопнула дверью.

Отец Квидо повернулся к сыну, словно требуя от него объяснения, но Квидо неприязненно пожал плечами. Оба посмотрели в окно. Небольшая фигурка матери Квидо направлялась к белому домику. С шоссе она свернула на дорогу, по ней — к стальной колее. Поскольку она приспосабливала шаг к расстоянию между шпалами, у нее заметно изменилась походка. Отец Квидо стоял и судорожно сглатывал слюну.

— Если тебя снова вырвет, сам будешь убирать, — сухо предупредил его Квидо, не спуская с матери глаз.

От строительной будки ее отделяло менее двадцати метров. Скорее всего, она что-то крикнула мужчинам, сидевшим у будки по пояс обнаженными, так как оба посмотрели на нее одновременно. Один из них, поднявшись, сделал шаг-другой навстречу ей. Затем все трое о чем-то поговорили и исчезли в домике.

— Я иду туда! — сказал Квидо, когда и по прошествии сорока минут его мать все еще оставалась в будке. Помимо воли и его стал одолевать безумный отцовский страх.

— Нет, ты никуда не пойдешь! — закричал отец, который в течение этих сорока минут раз двадцать спускался и поднимался по лестнице, ведущей в подвальную мастерскую. — Я не хочу потерять еще и сына! — кричал он, совсем позабыв о своем постоянном шепоте.

— Отец, прошу тебя, прими оксазепам и успокойся, — сказал Квидо.

— Я тебя не пущу! — страдальческим голосом кричал отец. — Что ты знаешь обо всем этом?! Что ты знаешь о казнях?! Что ты знаешь о массовых депортациях?!

— Шизик! — взвыл Квидо и выскочил из дому.

Чем больше он волновался за мать, тем большее раздражение испытывал против отца. Уже на шоссе он непроизвольно пустился бежать и чуть было не разбил лодыжку о красноватые камни между рельсами. Но когда прибежал, запыхавшийся, к будке, нашел там лишь двух молоденьких, чуть постарше себя, солдатиков. Они лежали на расстегнутых спальных мешках и, передавая друг другу полупустую бутылку, поочередно потягивали из нее.

— Если ищешь мать, то ее уже нет. Уехали все, — засмеялся один из них.

— Куда? — выкрикнул Квидо.

Солдатик пожал плечами.

— Почему? — крикнул Квидо, буквально теряя рассудок.

— Не ори, парень, — сказал второй солдатик. — И успокойся. Я тебе что, фараон?

— Все о'кей! — сказал Квидо и бросился назад.

Он увидел мать, только когда она в сопровождении трех солдат возвращалась через сад домой. Чуть под хмельком, она весело смеялась и, как обычно в таких случаях, очень мягко выговаривала слова.

— А я прокатилась на дрезине, — похвалилась она сыну.

Отец Квидо с блуждающей улыбкой вышел на террасу.

— Сержант Мига, строительно-дорожные войска «Прага», — по-словацки представился ему командир. — Если вы нам, пан инженер, не верите, запросто подпишу вам, что Густав Гусак старый мудак!

— Ну хорошо, хорошо, — смиренно сказал отец Квидо.

2) Но и это наглядное доказательство не освободило его от ощущения неведомой опасности. Он по-прежнему оставался встревоженным, мнительным, продолжая мучиться постоянными приступами какого-то неосознанного самобичевания. Когда Квидо или его мать проходили мимо него, он отводил взгляд. Но мать Квидо не сдавалась. Вытащу его из этой ямы, уверяла она себя. Интуиция подсказывала ей, что спасительной могла бы стать смена обстановки, и она, немного подсуетившись, заказала на первые две недели школьных каникул четырехместный номер в заводском доме отдыха в Крконоше.

Сперва ей в самом деле казалось, что пребывание в горах действует на отца благотворно: проводя большую часть времени в поисках оригинальных коряг и подходящего дерева для своих поделок, он при этом не раз находил прекрасные, ярко окрашенные подосиновики и, похоже было, вновь после долгого времени обрел радость жизни. Он отправлялся с семьей на небольшие прогулки, по вечерам немного бегал, стал больше читать. К удовольствию жены, у него улучшился аппетит: на Колинской турбазе он съел даже полстакана мороженого со взбитыми сливками. А когда однажды они с Пацо погрузились по шейку в ледяную реку, она и вовсе сочла его скорое выздоровление делом решенным, и Квидо напрасно старался умерить ее преждевременные восторги.

Несомненно, семейный отпуск пошел на пользу прежде всего Пацо. Он презрел мещанское спанье под крышей дома и на опушке леса в переплетении ветвей корявой березы соорудил себе подвесное ложе, где провел все последующие ночи. Днем он учился вязать петли лассо, лазал по скалам и упражнялся в метании ножа.

Свистит лассо и травы гнет,
И рыжая коняга громко ржет,
И, с платья пыль стряхнув, ковбой,
Ей вторит песней удалой! —

с издевкой напевал Квидо, когда его младший брат, грязный и загорелый, время от времени появлялся в дверях дома, обычно для того, чтобы мать вытащила ему клещей.

— А тебе что? — задиристо говорил Пацо.

Квидо был тоже доволен жизнью: написал несколько рассказов, успел даже переписать их, а из фраз, оставшихся в конечном счете неиспользованными, составлял еще и письма для Ярушки.

Как-то раз после обеда отец Квидо и Пацо отправились в лес выслеживать зверя. Но не прошло и двадцати минут, как мать Квидо увидала из окна, что они лугом возвращаются назад к дому.

— А как же олень? — крикнула она им. — Или вы просто обшариваете наши холмики?

Пацо презрительно махнул рукой в сторону отца.

— С ним толку не будет!— сказал он.

— В чем дело? — обеспокоилась мать Квидо.

— Мне надо кое-что уточнить, — сказал отец Квидо.

Поднявшись в дом, он попросил жену еще раз перечислить ему все различия между простым *объяснением* и *свидетельскими показаниями.*

Руки матери Квидо на какой-то миг замерли над сушилкой с грибами, но она, тотчас овладев собой, осадила отца шуткой. Но он настаивал на своем, и она терпеливо, в какой уж раз, стала объяснять мужу как существующие различия, так и вытекающие из них юридические последствия. Говорила она медленно, поскольку муж, как всегда, делал письменные заметки. Когда мать Квидо кончила, он с минуту задумчиво глядел на исписанный лист бумаги.

— Если я хорошо понимаю тебя, за ложные сведения при даче объяснений могут подвергнуть штрафу, но не привлекают к уголовной ответственности, — сказал он чуть погодя.

— Да, — подтвердила мать Квидо. — Ты правильно понял. В конце концов ты же человек с высшим образованием, и, кроме того, тебе это объясняют далеко не в первый раз.

Вошел Квидо.

— О боже, — сказал он. — Снова ликбез?

— И никаких исключений? — спросил отец.

— Никаких! — вздохнула мать Квидо.

Отец Квидо сунул записи в нагрудный карман.

— Постой, постой, — сказал Квидо. — Разве ты не съешь эту бумагу? Или не засунешь ее хотя бы в задний проход? Ты разве не представляешь себе, какому риску ты подвергаешь семью? Ты что, не слышал о массовых депортациях на дрезинах?

— Не подливай масла в огонь! — сказала мать. — Ты написал бабушке?

— Да, — засмеялся Квидо и вытащил из книжки черно-белую открытку.

— Где ты достал такую? — улыбнулась мать Квидо и на обороте открытки прочла:

Опять нам шарлотку несут
на даче в горном лесу.
Не надо нам пищи такой.
Долой воздержанье! Долой!

— Безукоризненно! — воскликнул отец Квидо.

Следующий день встретил Квидо и всю семью замечательным утром.

— «В горах крконошских над долом глубоким прекрасное утро взошло. И темные ели и сосны в одеждах росистых верхушками в небо глядели...» — декламировала мать Квидо.

Они сытно позавтракали, отец Квидо уложил еще в небольшой рюкзак полдник для всех, и отправились на дальнюю прогулку. Спустившись к селу Пец, они подошли к Оборжему долу, затем, держась за железные поручни, поднялись к самому подножью Снежки. Оттуда собирались было идти дорогой Чехословацко-польской дружбы к Шпиндлеровой избе, а потом вдоль течения Белой Лабы вернуться назад, но отец Квидо воспротивился. Похоже было, ему прежде всего мешало то обстоятельство, что эта дорога отчасти проходит по польской территории.

— Ну и что из этого? — не мог взять в толк Квидо.

— Ничего, — сказал отец. — Я не хочу идти этой дорогой. Я не выношу демонстративных жестов.

— Помилуй, какие жесты?

— Мне совсем ни к чему доказывать какую-то сомнительную смелость тем, что я сделаю тридцать шагов от пограничного камня!

— Ты сведешь меня с ума! — сказал Квидо.

— Перестаньте, — осадила их мать Квидо. — Пошли без всяких разговоров!

Она схватила мужа за руку, но он вырвался с каким-то непостижимым упорством.

— Я же сказал — не пойду.

— Но почему? — в отчаянии спросила мать Квидо.

— Почему? Да потому, что мне кажется совершенно излишним идти по этой до-

роге и провоцировать пограничников, если мы с таким же успехом можем пройти по другой дороге.

— Черт подери, о какой провокации ты говоришь? — закричал Квидо. — Эта дорога открыта для всех. Тут нет ничего запретного.

Проходящие мимо туристы удивленно оглядывались. Отец Квидо потупился.

— Здесь все ходят, взгляни сам, — втолковывала ему мать Квидо.

Отец Квидо упрямо качал головой.

Губы его были крепко сжаты.

Он тяжело дышал.

— Какой толк с ним разговаривать, — сказал Пацо.

— Отец, — с какой-то отчаянной настойчивостью проговорил Квидо, — оглядись вокруг: каждые десять минут по этой дороге *на виду у пограничников* проходит по меньшей мере сто человек.

По какой-то непонятной причине ему представлялось ужасно важным убедить отца. И в самом деле, выражение непоколебимости на отцовском лице несколько смягчилось, и теперь он выглядел скорее удрученным, чем решительным, но тем не менее снова покачал головой.

— Я не вынесу этих биноклей, направленных мне в спину, — прошептал он. — Даже подумать не могу, что еще когда-нибудь кто-то будет проверять мои документы. Вы что, не понимаете этого? Вы серьезно не можете этого понять?

Он поглядел на мать умоляющими глазами.

— Но ведь все это выдумки, — сказал Квидо. — Наш отец и вправду шизанулся.

— Нет, мы можем понять, — вдруг решительно сказала его мать. — Пойдемте другой дорогой.

— Он придуривается, — прошептал Пацо брату. — Польша просто недостаточно хороша для нашего пижона.

3) В начале октября мать Квидо окончательно решила найти для мужа психиатра, поскольку была вынуждена признаться себе, пусть и с тяжелым сердцем, что ей даже при ее интуиции не справиться с его странным неврозом. Особенно озадачивал ее явно политический фон его мании, и она опасалась реакции на нее совершенно незнакомого врача; как-то по «Свободной Европе» она слыхала о злоупотреблениях психиатрии в политических целях, и, хотя эти факты касались Советского Союза, подобные мысли не оставляли ее.

Мать Квидо отправилась в Прагу посоветоваться с Зитой. Кинотеатр был переполнен — шел американский фильм «Челюсти», но на улице еще было тепло, и Зита не была перегружена в гардеробе работой.

— Захватывающий фильм, сидят затаив дыхание, — проинформировала Зита мать Квидо. — Полный восторг. Идет уже пятую неделю. Хочешь посмотреть?

— Пожалуй, нет. О чем это?

— Точно не знаю, девочка. О водолазах, что ли? — неуверенно сказала Зита. — Я еще не видела, но собираюсь...

Мать Квидо погладила ее по рукаву темно-синего халата.

— Думаю, самое лучшее наведаться тебе к молодому Лиру, — посоветовала Зита, выслушав просьбу матери Квидо. — Его отец был прекрасным психиатром.

— Сколько ему?

— Во всяком случае, он старше тебя, — успокоила ее Зита. — Говорят, толковый. В Америке ему предложили стипендию.

— Ты знаешь его?

— Я была первой, кто увидел его на этом свете.

— Серьезно? — улыбнулась мать Квидо. — А где он теперь работает?

— В «Бланике». Истопником.

4) Итак, с октября месяца отец Квидо стал ездить к доктору Лиру в котельную кинотеатра «Бланик». В отношении Квидо к отцу наступила определенная перемена: он впервые допустил, что странное поведение отца и его упадочные настроения мо-

гут быть проявлением настоящего заболевания; психиатр, к тому же, по слухам, весьма знающий, наверняка почувствовал бы, что отец симулирует, рассуждал Квидо. Поэтому он стал относиться к отцу внимательнее, деликатнее, и это пошло на пользу их взаимоотношениям.

Близились выпускные экзамены, и отец часто занимался с Квидо: они сидели за кухонным столом и при мягком свете лампы под плетеным абажуром решали задачи. Математика традиционно была слабой стороной Квидо, но отец в отличие от прошлых лет бесталанность сына переносил теперь довольно спокойно, терпеливо объясняя ему необходимое.

— Врач прописал ему какие-нибудь таблетки? — спросил однажды Квидо мать, пытаясь найти разгадку этой метаморфозы.

— Нет, никаких таблеток, — сказала мать. — Это было моим условием.

— Тогда понять не могу, — пожал плечами Квидо, вспоминая лишь те занятия, когда отец в подобных случаях стучал калькулятором по столу так, что красные пластиковые кнопки летали по всей кухне.

Подчас, когда Квидо уж слишком уставал от математики, отец беседовал с ним об экономике. Он с определенной ностальгией говорил о некоторых теориях шестидесятых годов, которым симпатизировал тогда и от которых, как выяснялось, не хотел отказываться сейчас. Мать Квидо нередко окидывала их долгим взглядом: Квидо от напряжения ерошил волосы, а отец заполнял тетради схемами движения товаров, и с его запястий на белые страницы осыпались микроскопические опилочные пылинки.

Так Квидо с течением времени поднаторел в вопросах экономики и мог теперь в школе отпускать самые саркастические замечания по адресу народного хозяйства.

— Наш экономист, — говорили о нем одноклассники.

Естественно, Квидо с бóльшим удовольствием услышал бы о себе, что он писатель, но и это было лучше, чем ничего. И потому он добровольно согласился с отцовским на удивление робким предложением поступить в экономический вуз.

— В моем решении ключевую роль сыграли три фактора, — рассказывал впоследствии Квидо. — Благодарность за опеку, которой в те годы окружил меня больной отец, детская мечта привезти родителям из загранкомандировки микроволновую печь и хорватская песня «Расцветали розы и фиалки».

X

1) Однажды теплым вечером на каникулах, когда в излучине реки отражалось бледное сияние луны, Квидо попросил Ярушку показать ему свое сокровенное местечко. Ярушка заколебалась: покачав головой, она уставилась на темную мокрую траву и всякий раз, когда Квидо пытался заговорить, закрывала ему рот своей горячей ладонью.

В самый канун отъезда Квидо в Прагу на занятия они догола разделись в лесу над Белым Камнем. Стоя в носках на хвое, они чувствовали себя ужасно неловко. Квидо, ничего не различавший вокруг, вспомнил отцовскую куриную слепоту. Ярушка, устав стоять, свернулась калачиком на кучке своей одежды. Квидо смущенно опустился возле нее на колени и лишь понапрасну воскрешал в себе воспоминание о той веселой естественности, с какой Ярушка обнажалась перед ним в детском саду, и тот спокойный взгляд увлеченного очкастого исследователя, каким он тогда рассматривал ее. Никто из них не знал, что делать дальше.

— Давай оденемся, — прошептала Ярушка.

Квидо протянул вперед в темноту руки и с испугом наткнулся на грудь Ярушки. Она беспомощно приникла к нему. Квидо, кусая губы, болезненно простонал и оросил ее живот липкими брызгами сладострастия.

— Не важно, — сказала Ярушка.

Так было в одном фильме, который она смотрела.

Даже полтора года спустя, к концу третьего семестра, на счету у Квидо не было ничего, кроме дюжины подобных провалов. Квидо страдал. Ничто на свете не доставляло ему столько страданий.

— Мои затруднения не были следствием теоретической неподготовленности, напротив, они вытекали из того, что я слишком много знал о сексе, — рассказывал впоследствии Квидо. — О дефлорации я прочел абсолютно все: я знал рекомендуемые позы, оптимальный угол наклона, давление и температуру, уйму психологических и технических нюансов, я превосходно знал, чего следует избегать, и сумел бы, пожалуй, теряющей сознание девушке, только что ставшей женщиной, оказать первую помощь, однако я до сих пор еще не понял, как все это можно связать воедино. Еще и поныне мне не до конца ясно, как можно быть одновременно «уверенным в себе, нежным и естественным» и при этом смазывать презерватив вазелином.

К затруднениям, испытываемым Квидо, добавлялись еще и Ярушкины: не говоря уж о ее неопытности, речь прежде всего шла об ее аллергии на самые разные цветы и травы, пыльца которых вызывала у нее довольно большие отеки на лице, а иной раз и приступы удушья. У них не было своего уголка, где они могли бы спокойно остаться наедине, и все их встречи происходили под открытым небом, где Ярушкино «Не здесь!» обычно означало: «Нет, не в сене!», «Нет, не в мать-и-мачехе!», «Нет, не в крапиве!». Это, разумеется, нисколько не облегчало задачу Квидо.

— Найти в окрестностях Сазавы естественный излом рельефа, на склоне которого, согласно пособию, дефлорация оказывается якобы наиболее легкой, дело нехитрое. Найти такой излом в рельефе, который был бы легкодоступным, но при этом скрытым от взора прохожих, уже несравнимо труднее, — впоследствии объяснял ситуацию Квидо. — А найти скрытый от посторонних глаз и легкодоступный рельефный излом требуемого наклона, на котором не растет ни одно из примерно шестидесяти самых ординарных растений, уже почти невозможно, поверьте мне. Единственное такое место в радиусе трех километров — это наклонный бетонный подъезд к пожарной цистерне, конечно только в том случае, если из зазоров между панелями сразу же удалить все побеги дикой ромашки...

Таким образом, любовная связь, эта радостная игра двух тел, для Квидо и Ярушки со временем превратилась в неприятную, строго регламентированную задачу. Когда в пятницу вечером Квидо приезжал из Праги, они брались за руки и шли выполнять эту задачу, шли молча, угрюмо, как два человека, отправляющихся на работу в ночную смену, и сознание предшествующих поражений уже заранее парализовывало их. Поведение влюбленных стало неловким, судорожным и надрывным. И единственными встречами, когда они смеялись и шутили, были те, что случались с поразительной регулярностью в периоды Ярушкиных месячных. Иногда они рассказывали друг другу о том, как ходили кататься на санках, и сами себе задавали вопрос: что же встало теперь между ними?

Однажды Квидо загадал Ярушке странную загадку:

— Черный конь к нам прискакал, под себя весь двор подмял — что это?

— Не знаю, — с сомнением сказала Ярушка.

— Секс, — хмуро сказал Квидо.

Из книг он знал и то, как поступают в подобных случаях: сексолог в консультации предложит незадачливой парочке некий временный запрет на всякие попытки половой близости, но парочка, освобожденная от травмирующих обстоятельств, при ближайшей возможности его запрет спонтанно и успешно нарушит, однако парадоксально то, что именно знание этого метода мешало ему применить его.

— Таков удел интеллектуала, — горько сетовал Квидо. — Такова роль всяческого познания.

2) Не будь Квидо девственником и не относись он к этому вопросу столь трепетно, равнодушие к изучению экономики, которое он очень рано начал испытывать, могло бы привести его на известный путь балованного сынка-студента.

— Я мог бы шляться по кабакам и любить смазливых субреток, — рассказывал Квидо. — Но я всего лишь шлялся по кафе.

Конечно, Квидо преувеличивал: он ходил в кино и в театр, причем тщательно выбирая спектакли. Хотя он ежедневно и наведывался в кафе Дома культуры, но и там зря времени не терял: написал десятка два рассказов, три из которых отослал в «Млады свет». Вечера, правда, проводил куда упорядоченнее, чем ему хотелось бы, — с бабушкой Верой и дедушкой Йозефом. Дедушка слушал «Свободную Европу» и «Голос Америки».

— Вот оно! — выкрикивал он всякий раз, когда ему удавалось поймать станцию. — А большевики теперь пускай заткнутся!

Бабушка Вера вздыхала и с полным булавок ртом тяжело обходила шубу на манекене.

К счастью, спать ложились рано. Квидо участвовал в сложном процессе расстилания: на кухонный стол он наваливал матрасы с дивана так, чтобы деду не мешал свет лампы. Затем забирался между матрасами сам, стряхивал разбросанный птичий корм и до поздней ночи читал там, прислонив книжку к загаженной пометом клетке. Иногда писал письма Ярушке или очередной рассказ, но занимался там редко, а со временем и вовсе перестал.

Занятия все больше разочаровывали Квидо. Он учился брать интегралы, склонять русские существительные и выводить кривые потребления искусственной кожи до будущего столетия — но он так и не мог понять, для чего все это. Ему объясняли, как столетие назад организовывался пролетариат, как в Португалии выращивают пробковые дубы и как включить сыры с плесенью в товарную номенклатуру — но никто так и не объяснил ему, почему все это ему объясняют. Квидо ждал, что в расписании лекций наконец появится какой-нибудь ключевой, основополагающий предмет, который объединит все эти частности и придаст им смысл — как, скажем, возведенный дом придает окончательный смысл скопищам песка, дерева и труб, — но ждал он понапрасну. Часами рассказывали ему о создании и роспуске каких-то стародедовских рабочих организаций, но ему так ничего и не поведали о современных людях. Он мог понять, в чем якобы ошибался некий господин Дюринг, но в чем ошибается он сам — для него так и оставалось загадкой. Он не умел зачать ребенка, но умел, к примеру, заказать по-немецки металлообрабатывающие станки.

— И никому до этого не было дела, — рассказывал впоследствии Квидо. — Они присваивали мои мозги, что твои капиталисты, — целиком, без всякой компенсации.

Конспекты лекций — в той мере, в какой он вообще посещал их, — становились все более беспорядочными и небрежными. Со временем он и вовсе перестал отдельные листы надписывать и нумеровать, так что в конце третьего семестра у него оставалась лишь груда бумаги, в которой и сам черт не смог бы разобраться.

— Боюсь, что с этой микроволновой печью ничего не получится, — сказал себе Квидо и выбросил свои записи.

Однако на экзаменах ему везло — по большей части даже с первого захода. Вечером накануне экзаменов он открывал литографированный курс лекций и с отвращением пролистывал его. На следующий день он раздражал однокурсников какой-то особенной апатичностью, которую, видимо, они считали позой. Экзаменаторам он всегда что-то говорил, хотя, как казалось ему самому, ничтожно мало. Он даже понять не мог, как это до сих пор его не выставили из института. Подчас он желал этого. Сухой специальный язык отпечатанного курса лекций и учебников, в котором не было ни следа подлинной жизни, словно душил его. И вечером, притаскивая домой какую-нибудь хорошую повесть или роман, он ощущал себя рыбой, возвращенной из кадки снова в море. Он блаженно растягивался и погружался в чтение.

3) Весной дедушка с бабушкой уехали в Сазаву, и Квидо остался один в их маленькой квартире. Он бродил по комнатам и думал о том, что летом ему стукнет двадцать. И когда вдруг в какое-то мгновение поймал себя на том, что держит за грудь

бабушкин манекен, понял, что с такой жизнью надо завязывать.

Он вымыл посуду, пропылесосил, вытер пыль и на все цветочные горшки натянул полиэтиленовые мешочки. Потом сел в поезд и поехал в Бенешов к Ярушке. Она пообещала отпроситься у родителей и приехать к нему вечером. Квидо отбыл в Прагу заблаговременно.

Ярушка приехала в кремовато-белом свитере, сквозь который просвечивали соски — явный след наивных советов одной из ее подружек. Квидо грустно улыбался.

Они поужинали, выпили по рюмке вина.

Съели торт-мороженое и выпили кофе.

Пошли в комнату и поставили пластинку с Луи Армстронгом.

Квидо положил голову Ярушке на колени.

Закрыл глаза.

— Пойдем ляжем, — сказал он.

— Здесь нет излома, — сказала она серьезно.

— Не имеет значения, — сказал Квидо.

Они разделись и легли рядом.

Молчали.

— Внесем ясность! — сказал Квидо и протянул руку к столу за черным фломастером.

«Мы не любим друг друга, а выполняем порученное задание», — написал он на Ярушкином животе печатными буквами.

Ярушке было щекотно, но она не сопротивлялась.

«Кто нам поручил это задание? Не мы!» — продолжал он писать.

У него было ощущение, что он добирается до чего-то существенного.

«Если я мыслю, следовательно, я не люблю», — написал он взволнованно.

— Сам будешь смывать, — сказала Ярушка, но Квидо не обращал на нее никакого внимания.

«Я не люблю — но все-таки я существую!» — написал он победно над самой границей подчревья.

Он почувствовал себя внутренне освобожденным. Страстно поцеловал Ярушку. Внезапно ощутил острое желание.

— Квидо? — спросила она. — Что ты делаешь?

У Квидо получилось.

Он проснулся утром около семи. Ярушка еще спала. Из-за шторы в комнату проникало мягкое желтое солнце. Он тихо оделся, нацарапал Ярушке записку и выбрался из квартиры на улицу. Радостно позвякивали трамваи. В парке на площади цвела клумба анютиных глазок. Из аптеки вышла беременная цыганка. Перед хозяйственным магазином выгружали зеленые эмалированные ванны. С крыши молочной взлетели голуби. Квидо проходил мимо магазинов и рассматривал картины, кофеварки, костюмы, свинину, кольца и садовые шезлонги. Жизнь прекрасна, думал Квидо. Он купил шесть рогаликов, масло, ветчину, яйца, апельсины, пену для ванны, презервативы и журнал «Млады свет». Рассеянно листая его, на последней странице он обнаружил свое имя, набранное жирным шрифтом, а под ним свой рассказ «Путь».

— Брошу институт, — сказал Квидо вслух. — Брошу институт, буду любить Ярушку и писать рассказы, — повторил он.

Кое-кто из прохожих оглянулся.

— И как сказал, так и сделал, — вспоминал позже Квидо.

XI

1) — Ну почему вахтером, скажи бога ради? — кричала на Квидо мать, когда он в пятницу по приезде в Сазаву объявил ей о своем решении бросить институт и устроиться на стекольный ночным вахтером.

— Будет время писать и читать, — сказал Квидо.

Испытанное им недавно волшебное чувство освобождения исчезло; теперь он чувствовал себя скорее виноватым. Мучило, что мать не хочет понять его. Он же ясно сказал ей, что речь идет «о проверке, о начале чего-то нового», а она все твердит об «отступлении» и «конце». Решила даже не ездить на завтрашнюю встречу бывших выпускников гимназии.

— Ты прекрасно знаешь, что я не из числа тех, кто слишком задается, — сердилась она, — но полностью поставить крест на своей семье — не многого ли вы от меня хотите?

— Тебе, пожалуй, нечего стыдиться, — обиженно сказал Квидо.

— Разумеется, нечего, — нехорошо засмеялась мать. — Один ковбой, едва успевающий в школе, и два вахтера: первый — с великим прошлым, второй, — она презрительно посмотрела на экземпляр журнала «Млады свет», — с великим будущим!

— Всякое начало — дело тяжелое, — философствовал позже Квидо, — но иной раз оно настоящее бедствие.

Если для матери Квидо внезапное решение сына было просто шоком, то для его отца оно оказалось буквально роковым ударом: Квидо был его последней надеждой; от Пацо он не ждал пока ничего путного, поскольку, похоже, он был равнодушен ко всему, кроме песен кантри и ночевок под открытым небом. И вдруг его единственная надежда рухнула.

Он совсем перестал выходить из подвальной мастерской, даже спал там, и мать Квидо носила ему туда еду, проводя с ним всякий раз не больше получаса. Когда она поднималась по лестнице, Квидо старался не встречаться с ней взглядом.

В последние месяцы отец Квидо занимался в основном обработкой поверхности дерева, причем не только классическим морением и вощением, но и давно отвергнутой полировкой гуммилаком, ибо обстоятельность этого старого способа обретала в его глазах все больше преимуществ. Полюбил он также и патинирование, то есть имитацию старого дерева с помощью порошковой краски. Теперь из мастерской все чаще доносилось завывание фрезы.

— Что он там снова мастерит? — спрашивал Квидо брата, не осмеливаясь спросить напрямую мать.

— Скорей всего, какого-нибудь Пиноккио, — усмехался Пацо. — Нами он недоволен.

— Деревянного менеджера! — смеялся Квидо; он был рад, что в своем теперешнем одиночестве нашел в Пацо союзника, и потому нередко как бы невзначай подыгрывал ему.

В ночь на понедельник у Квидо было первое дежурство.

Под вечер он отсыпал себе в баночку из-под фруктового сока две порции кофе и намазал маслом и медом два куска хлеба; времена, когда его мать пекла пироги и плюшки, безвозвратно канули в вечность.

— В кофе колоссальное количество ртути, — сообщила ему бабушка Либа, наблюдавшая за его приготовлениями.

— Э, мура, — сказал Пацо. — А в чае стронций.

— Какой ужас! — воскликнула бабушка. — Я этого не знала...

— Ну гляди там в оба, — сказал Пацо, заметив, что старший брат не в своей тарелке.

— А как же! — сказал Квидо.

Его мать не сказала ничего.

Квидо открыл дверь в подвал.

— Чао, отец! — крикнул он. — Я пошел.

Из подвала повеяло лишь холодом и тишиной.

Пожав плечами, Квидо двинулся в путь. Мать Квидо, подойдя к окну в кухне, отогнула занавеску и долго смотрела ему вслед.

У проходной стекольного Квидо поджидала Ярушка. Она была в вязаной белой маечке, в руке держала два летних яблока и шоколадку. Лишь спустя годы Квидо оценил эту ее безрассудную смелость, или, пожалуй, веру, с какой она тогда постоянно оставалась с ним рядом, хотя прекрасно знала, что в обозримом будущем он не сможет предоставить ей ничего из того, что на современном языке называется перспективой: у него не было ни образования, ни квартиры, ни денег, а впереди грозно маячила армия.

Квидо бросился к ней как можно радостнее, дабы приглушить затаившуюся в нем тревогу.

— Девочка, — шептал он, покрывая ее обнаженные плечи удивительно настойчивыми поцелуями.

— Квидо! — осаживала его Ярушка. — Тут же люди.

— Ну и пусть! — не переставал прижимать ее к себе Квидо.

— Подожди, Квидо, мне надо тебе кое-что сказать.

Квидо испуганно отступил.

— Случилось ужасное, — сказала Ярушка.

Квидо почувствовал неведомое до сих пор покалывание за грудиной.

— Что? — спросил он подавленно.

Ярушка огляделась вокруг, подошла к нему совсем близко и смущенно подняла белую майку.

— «Мы не любим друг друга, а выполняем порученное задание», — прочел Квидо большие набрякшие буквы на животе у Ярушки. Больше он ничего не успел заметить — Ярушка, чуть не плача, опустила вниз майку.

— У меня аллергия на фломастеры.

2) Вернувшись в понедельник утром с ночной смены домой, Квидо нашел мать снова в кухне. Похоже было, что она вообще не ложилась спать.

— Ты не спала? — озабоченно спросил Квидо.

— Тише, отец спит. Ну как было?

Ее взгляд отнюдь не свидетельствовал о большом интересе к данному вопросу, но Квидо был рад, что она все-таки задала его.

— В целом, нормально.

Он рассказал ей о своем первом обходе, во время которого он залез даже на крышу административного здания.

— Завтра в десять помашу тебе, — сказал он. — Не прозевай.

— Ты спал? — спросила мать.

— Об этом, кажется, я тебя спрашивал.

— Вроде бы спала, я просто рано встала, — неохотно сказала мать. — А ты?

У Квидо сверкнули искорки в глазах.

— Отгадай где.

Впервые в это утро на лице у матери появилась тень улыбки.

— В моей конторе?

Квидо весело кивнул.

— Я дам тебе другое одеяло, — сказала мать. — Отец там тоже спит.

Вошел Пацо.

— Вы что, уже продрали глаза? — сказал он сонно.

— Привет, Соколиное Перо! — сказал Квидо. — Позавтракаешь с нами?

— Не кричите! — Мать снова выглядела серьезной. — Говорю — отец спит.

— После обеда мы с Пацо прокосим в саду, — пообещал Квидо.

— И не подумаю, — презрительно сказал Пацо с полным ртом. — В гробу я видел ваш мещанский газон.

Мать с неожиданной резкостью встала.

— Я должна вам кое-что показать. Пойдемте со мной.

Она вышла из кухни и по лестнице спустилась в подвал. Квидо и Пацо в недоумении следовали за ней.

Отцовская мастерская встретила их знакомым запахом дерева и разведенного

клея. С первого же взгляда было ясно, что здесь царит строгий порядок: готовые мелкие изделия лежали вдоль одной стены, необработанный материал — вдоль другой. На подвесной полке наличествовали все инструменты до единого: долота, напильники, пилы. На полке под окном стояли в ряд банки с лаком; использованные кисти — в банках с растворителем; пол подметен. Посреди рабочего стола лежало несколько длинных, уже обработанных досок.

Мать Квидо решительно и сосредоточенно стала складывать эти доски в определенном порядке. Квидо и Пацо вопросительно переглянулись. Под руками матери возникало нечто среднее между огромным ящиком для цветов и сундуком для перин. Когда же она перевернула последнюю доску, братья с испугом узрели огромный, аккуратно выструганный крест.

— Ваш отец, — сказала мать Квидо, и голос у нее сорвался, — мастерит себе гроб.

Мать Квидо в тот же день решила позвонить с работы доктору Лиру.

— Что сказал врач? — не терпелось Квидо узнать у матери, когда она вернулась домой.

Вид сына, ставшего, вероятно, главной причиной усилившегося психоза мужа, возмутил мать.

— Ничего! — отрезала она.

— Как это — ничего?

— Мы должны завтра поехать к нему, а пока он велел следить за тем, чтобы отец не влезал в него.

— Тоже умник нашелся! Как он это себе представляет? Я что, должен стоять около отца и следить?

Мать метнула на сына укоризненный взгляд.

— Ладно, — смягчился Квидо. — Я буду ходить смотреть за ним в окошко.

Не успел он это выговорить, как отец в какой-то сомнамбулической отрешенности прошел мимо них, сжимая двумя указательными пальцами свежепокрытую лаком доску; он поднялся на крыльцо, чтобы при дневном свете проверить сочность черни. Квидо не знал, то ли огреть отца чем-нибудь по голове, то ли повалиться ему в ноги.

— Сам видишь, — сказала ему мать.

С этого дня в доме установилась невыносимо тягостная атмосфера. Квидо казалось, что эта подавленность исходит от тех нескольких гробовых досок и пропитывает собою весь дом. Он напрасно пытался отделаться от этого ощущения шутками, напрасно пытался переключить внимание на что-то другое. Разговор не клеился, настроение падало.

— Трудно за ужином шутить с человеком, руки которого запорошены опилками от собственного гроба, — рассказывал впоследствии Квидо. — Этот гроб был мастерским образчиком так называемого *самопатинирования.*

3) — Идентичность? Ее утрачиваем мы все, — сказал на следующий день доктор Лир матери Квидо. Отец Квидо поехал к родителям в Нусле, а она тем временем пригласила доктора на чашечку кофе. Они сидели в «Люксоре». — Постараюсь пояснить, — продолжал доктор Лир. — Вы сами говорите, что без Праги вы просто жить не могли, но при этом остались в деревне. Вы мечтали играть в театре или по крайней мере вращаться в театральных кругах, но теперь вы смотрите спектакли по телевизору. У вас аллергия на собак, но при этом вы покупаете овчарку. А теперь скажите мне: какое ваше «я» истинное?

Мать Квидо выпятила губы. Доктор Лир нравился ей. Она смотрела на его красивую окладистую бороду и чуть завидовала мужу. Она всегда хотела иметь своего психиатра. Ей казалось, что ее личные проблемы могли бы стать для него не менее интересными, чем проблемы мужа. Затем вдруг перед глазами всплыл образ мужа, измеряющего ширину гроба в изножье, и ей стало стыдно.

— Он мимоходом нарисовал мне очень красивые картинки, — сказал доктор. — Такие *цветистые*, я бы сказал.

— Да? — удивилась мать Квидо. Доктор говорил несколько странно.

— И живо интересовался музыкотерапией....

— Вы хотите сказать, что...

— ...что он ломает комедию. Передо мной...

— Но почему?

— Наверное, он меня опасается. Не верит мне. Факт, что я принимаю больных в котельной, для него еще не доказательство.

— Господин доктор, — спустя минуту сказала мать Квидо, — как вы думаете, существует ли средство, которое могло бы ему по-настоящему помочь?

— Какая-нибудь успешная контрреволюция, — без колебаний ответил доктор Лир.

Мать Квидо печально улыбнулась.

— А до той поры, — весело сказал доктор, — мы должны как-нибудь развлечь его!

4) Квидо справлялся с ночными обходами несравнимо быстрее, чем его коллеги постарше, и потому всякий раз выкраивал каких-нибудь свободных полчаса, чтобы провести их — пока его никто не хватился — где-то в спокойном местечке. Нынешним летом таким местечком была крыша административного здания. Вскоре он так привык к этому, что с замиранием сердца ждал, когда же наконец сможет выйти из душной канцелярии, взобраться по металлической лестнице, открыть тяжелый люк — а там уж вдыхать могучий поток свежего ночного воздуха.

Обычно на крыше он садился на трубчатую опорную конструкцию огромного красного неонового лозунга, славящего коммунизм «SLÁVA KOMUNISMU», установленного здесь несколько лет назад по распоряжению товарища Шперка. После наступления темноты неон должны были включать ночные вахтеры. Большущие буквы лозунга, ростом выше Квидо, естественно, притягивали целые тучи ночных мушек и бабочек, которые сильно досаждали ему, но, с другой стороны, отсюда открывался поистине восхитительный вид на всю округу: потемневшая речная пойма, отливающая серебром водная гладь, очертания монастыря, засыпающее селение. Просматривались и дом Шперка с низким строением псарни, и небольшая заброшенная вилла Павла Когоута с характерной водонапорной башенкой.

За минуту до десяти Квидо всегда вскакивал на трубу, подпиравшую букву «I», чья форма логично предоставляла наилучшие условия для временного укрытия, и, осторожно обойдя ее, прижимался к ней спиной. В это время мать Квидо обычно уже стояла у окна кухни, держа руку на выключателе, — увидев, что неоновая буква погасла, она раз-другой включала и выключала свет. В кухне было два окна, точно два глаза, и в такие минуты Квидо казалось, что его домик по-дружески подмигивает ему.

Этот ритуал стал настолько привычным, что мать Квидо, а затем и Ярушка совершали его не то чтобы равнодушно, но как бы неосознанно, автоматически. Сама деловитость, с которой они около десяти смотрели на часы и — даже посреди разговора — становились к окну, устремляя взор к сияющему коммунистическому призыву на горизонте, нередко приводила гостей дома в замешательство. Из-за нерегулярности дежурств Квидо случалось и так, что его мать ровно в десять вопросительно всматривалась в девственно нетронутый неон, в то время как Квидо, посмеиваясь, стоял у нее за спиной. Впрочем, к обещанному приветствию он и сам не относился с каким-то священным трепетом, тем паче что выполнять его было подчас весьма затруднительно; в непогоду он вылезал на крышу с большим неудовольствием — исхлестанный в такие ночи дождем или снегом, он прижимался спиной к неону и на чем свет стоит клял себя, мать, а впоследствии и Ярушку.

Как-то раз в углу крыши Квидо нашел старый рулон толя, и его вдруг осенила идея, осуществление которой стоило ему двадцати минут времени и чистоты ногтей: он закрыл толем последние пять букв, и мать его ровно в десять часов увидела в ночном небе дерзкий вопрос, пусть и без вопросительного знака:

SLÁVA KOMU

— Он спятил? — в ужасе воскликнула мать Квидо и сразу оглянулась: нет ли в

кухне мужа, ибо от такого зрелища он умер бы на месте. Когда ее взгляд снова обратился к ночному небу, вопроса уже там не было.

5) — Живем во лжи, — повторял вслед за Кафкой Квидо, причем не только когда стоял под неоновой конструкцией на крыше дома. Он говорил себе это и когда слушал за дверьми конференц-залов выступающих, и когда читал газеты, и когда беседовал с людьми. В один из понедельников директор предприятия созвал на короткое совещание вахтеров, чтобы обсудить с ними новую систему охраны отдельных этажей административного здания. Говоря о машинном отделении лифта на последнем, двенадцатом этаже, он почему-то ошибся и назвал этаж тринадцатым. Его тут же, конечно, поправили. Однако в памяти Квидо — независимо от него — запечатлелось нечто, что принесло неожиданные плоды: двумя днями позже, ложась по привычке в кабинете матери часа на три соснуть, он вдруг в какое-то мгновение увидел четко обозначившуюся тему своей первой повести, основанную именно на этой ошибке.

Он быстро встал, зажег лампу, сел к столу. Хотя ему самому его действия представлялись смешными, двигался он крайне осторожно, как бы боясь спугнуть эту хрупкую нематериальную субстанцию, которая стояла перед глазами. Однако оказалось, что перенести ее на казенную бумагу матери— дело совсем несложное: он едва успевал писать. Под его пером ожил абсурдный, но при этом столь знакомый мир — мир молчаливо узаконенной лжи.

Сюжет повести был таков: директор одного крупного предприятия на должность начальника охраны назначает своего человека — психически больного, явного параноика, но директору это не мешает, главное для него — безоговорочное исполнение всех его распоряжений. Начальник охраны с момента своего прихода одержим многими странными фантазиями: одни из них смешны, другие могут быть опасными для окружающих. Одна из его бредовых идей — убеждение, что в здании не двенадцать, а тринадцать этажей. Он заставляет своих подчиненных обходить с проверкой и несуществующий этаж или хотя бы *изображать*, что они его обходят. Того, кто противится, с молчаливого согласия директора лишают премии или вовсе подвергают всяким преследованиям. Защищать свои права или взывать к здравому смыслу бесполезно: те, кто должен блюсти интересы служащих, боятся директора. И потому в отчетах охраны все чаще начинает упоминаться призрачный тринадцатый этаж с указанием — правдоподобия ради — имеющихся там обычных неполадок: выломанные замки, неисправные краны, вспученный линолеум, испорченные автоматы с газировкой. Отчеты охраны поступают далее по привычной административной лестнице к хозяйственникам, монтерам, уборщицам. Монтеры с ухмылкой записывают в ведомостях фиктивный ремонт фиктивных предметов, уборщицы, делая у виска известный жест пальцем, моют вымышленные коридоры, мойщики окон с удовольствием выписывают счета на мытье несуществующих окон. Образуется цепь безумной лжи, вовлекающая в свою круговерть всех и каждого. Ненормальное становится нормой.

Для написания первой повести Квидо понадобилось чуть больше трех недель. В последнее воскресенье августа он запаковал рукопись и в понедельник утром срочной почтой послал ее в пражское издательство, редактор которого уже рецензировал его первые рассказы.

— Чешская литература, — комментировал свои действия Квидо, — дольше ждать не может.

6) — Мой дорогой юный друг! — сказал редактор Квидо в самом начале их первой личной встречи. — Вы все же чудовищно наивны!

Квидо испугался, что в его повести есть нечто, уличающее его в наивности, и состроил извиняющееся лицо.

— Не станете же вы утверждать, что первое произведение — литература? Что это нормальная очередная книга? — спросил редактор.

— А разве нет? — прямодушно спросил Квидо.

— Конечно нет! — смеясь, выкрикнул редактор. — Это тренировочная езда, некоторый эксперимент или, скажем, разогревающий тренажер, да назовите как хоти-

те, но это никоим образом не литература. Первое произведение — это обыкновенная анкета по учету кадров.

— По учету кадров? — недоумевал Квидо.

Он выглядел непростительно неопытным.

— Ну естественно! — смеялся редактор. — Вы серьезно не понимаете этого?.. Кстати, знаете, чего вам там катастрофически не хватает? Образа *рабочего.*

— Рабочего? — переспросил Квидо.

— Дружище! — сказал редактор. — Без рабочего — никуда! Кто все-таки создает ценности? Рабочий. Не вахтер же!

— Но я ни одного рабочего не знаю, — возразил Квидо.

— За чем дело стало, познакомьтесь, — посоветовал ему редактор.

XII

1) На протяжении всей зимы мать Квидо упорно думала, как отвлечь своего мужа от постоянных мыслей о смерти. Он почти завершал работу над своим скорбным ложем, и ей страшно было даже представить, что может последовать дальше.

Однажды, когда отец Квидо взялся выстилать свое мрачное изделие сборчатым белым сатином, она пригласила обоих сыновей для решительного разговора.

— Заприте где-нибудь суку, мне надо сказать вам нечто важное.

Пацо запер Негу в комнате, и вся троица расселась за столом в кухне. Мать с минуту молча смотрела на сыновей.

— Есть, пожалуй, всего одна возможность вывести его из этого состояния, — сказала она. — Ребенок. Я убеждена, что ребенок избавит его от психоза.

— Ребенок? — взорвался Пацо и посмотрел на Квидо.

Перспектива, что к ушедшей в мистику бабушке и полубезумному отцу прибавится в семье еще и младенец, обоих мальчиков, мягко говоря, повергла в смущение. Матери перевалило за сорок.

— Твой ребенок, — уточнила мать и одарила Квидо весьма многозначительным взглядом.

— Что-что? — вскинулся Квидо. — Я не ослышался? Что это еще за хреновина?

— Единственный выход! — сказала мать. — Ты должен это сделать для отца.

— Мне не причудилось? — Квидо схватился за голову.— Родная мать уговаривает меня обрюхатить девку! Мало тебе, что ты заставила меня сдавать на права? Ты всегда ведешь себя совершенно не так, как полагалось бы вести себя матери. Нормальные матери, напротив, предостерегают сына от опасности. Я еще дождусь того, что ты попросишь меня подхватить где-нибудь гонору.

Мать сделала укоризненное лицо.

— Извини, — сказал Квидо. — Ты просто сводишь меня с ума. Почему, черт возьми, ему не может помочь этот хваленый доктор?

— Потому что отец боится его, — деловито ответила мать. — Отец думает, что он из органов...

— Может, и да, — сказал Пацо.

— А ты не вмешивайся, это не твоего ума дело, — осадила мать младшего сына и стала красочно расписывать им ту сказочную метаморфозу, какая произойдет в семье с появлением этого крохотного существа.

— Ну можно ли остаться равнодушным к маленьким ручонкам, которые к вам тянутся? — спрашивала она. — Ну можно ли остаться равнодушным к выпученным глазенкам, что удивленно смотрят на вас?

— Все ясно, — сказал Пацо. — Отец из своего гроба сделает колыбель.

— Терпеть не могу такие шуточки! — вскипела мать.

— Пусть Пацо притащит какого-нибудь младенца из леса, — предложил Квидо. — Наверняка там у него уже есть такой.

— Квидо, я говорю об этом серьезно, — сказала мать. — По крайней мере ты искупишь вину перед отцом.

— Какую вину? — возмутился Квидо. — Что, врач не может дать ему какие-нибудь таблетки? Не понимаю, почему ты так сопротивляешься этому?

— Повторяю тебе, — сказала мать, — таблетки без побочного действия не помогли отцу. А другие пробовать нежелательно, ибо я не хочу жить с кем-то другим, а не с тем, за кого выходила замуж.

— Господи помилуй! — вздохнул Квидо. — А та его югославская зазноба? Говорил с ней кто?

— Ты, — сказала мать Квидо. — И я ничуть не попрекаю тебя. Я собиралась сделать то же самое. Предполагаю, она очень занята?

— Именно так, — подтвердил Квидо. — Но как ты узнала?

— По телефонному счету.

— Что я слышу? — заорал Пацо. — И вы так спокойно об этом говорите? Гнусно!

— Это жизнь, Пацо, — сказала мать.

Квидо избегал ее взгляда.

— Вся надежда на тебя, — перехватив-таки его взгляд, сказала мать.

— Так вот, — день спустя сказал Квидо Ярушке, — если ты и вправду хочешь выйти за меня замуж и иметь от меня ребенка, то почему бы тебе не сделать это немедля, коль это может помочь отцу?

Хотя предложение и несколько ошарашило Ярушку, в следующую же минуту она согласилась с ним, едва ли не с восторгом.

Квидо, ожидавший от нее более долгих колебаний, был, конечно, польщен ее решимостью, хотя понять ее истинную подоплеку не мог.

— Почему все же красивая двадцатилетняя девушка так, с бухты-барахты, решает родить двум вахтерам ребенка? — спросил он ее удивленно.

— Потому что ей хочется весьма нудное занятие программистки сменить на материнство! — язвительно повторила Ярушка его вчерашнее, высказанное вслух предположение.

— А все-таки?

— Боже правый! — воскликнула Ярушка. — Разве ты еще не заметил, что эта девушка любит тебя?

Целевой характер их миссии, конечно, уже наперед травмировал Квидо. До сих пор он отдавался любви *добровольно,* а стало быть, в свое удовольствие, и мысль о, так сказать, судьбоносном вечере, в течение которого он должен будет по распоряжению матери оросить созревшее для сей задачи Ярушкино лоно несколькими миллионами своих живчиков, подавляла его.

— Если успеем еще в этом месяце, папочка сможет получить ребеночка уже ко дню своего рождения, — улыбалась Ярушка.

— Только не гони меня, — говорил Квидо. — В крайнем случае поздравим его задним числом.

Ярушка тотчас почувствовала столь знакомую ей нервозность Квидо. Хотя она и была готова разрешить ему исписать не только ее живот, но и всю спину (к счастью, она запаслась сильными противоаллергическими таблетками), интуитивно и вполне реально она понимала, что такой трюк может удаться лишь однажды. Это несколько озадачивало ее: если не считать черничного пирога, ребенок был первым заданием, порученным ей будущей свекровью, и потому, естественно, она хотела справиться с ним наилучшим образом. Она думала об этом денно и нощно до тех пор, пока наконец ей не помог случай.

Однажды, сидя перед телевизором, она вспомнила, как Квидо рассмешил ее рассказом о своем страстном желании смотреть фильмы, обозначенные звездочкой, которые в детстве долгое время были для него запретными.

В тот знаменательный день она пригласила Квидо в дом своей подруги. На столе красовались тосты, бутылка шампанского и жареный миндаль, но Квидо в чужой обстановке чувствовал себя неуютно. Только теперь он начинал понимать ответственность того, кто бьет пенальти, о чем когда-то говорил отец. Он несколько раз прове-

рил занавески на окнах, но ему все равно казалось, что кто-то наблюдает за ним, глядя при этом ему прямо в пах. Когда Ярушка исчезла за дверьми спальни, он окончательно пал духом.

— Я позову тебя! — сказала она.

Сказал палач, подумал Квидо.

Ярушка тем временем тихонько наклеила в левый нижний угол стеклянной дверной филенки большую четырехконечную звезду, вырезанную из белого листа бумаги. Потом, прикрыв голубым платком лампочку у кровати, зажгла ее.

— Уже-е-е! — крикнула она.

Квидо хмуро посмотрел на дверь — и, пораженный, поднялся. Острые концы звездочки на огромном дверном экране обещали для детей вещи столь неподобающие, что от возбуждения у него аж захватило дух. В голубоватом полумраке обрисовывались дразнящие тени, а вокруг не было никого, кто мог бы выключить эту программу. Квидо почувствовал звенящую упругость желания.

— Иди же! — сказала Ярушка.

2) В начале апреля Ярушка и Квидо посетили пражский кинотеатр «Ялта»: пришли около шести, сеанс уже начался — крутили американский фильм «Планета обезьян». Квидо купил билет, хотя понимал, что досмотреть фильм до конца все равно не удастся, а Зита с Ярушкой с разрешения директора заперлись в канцелярии.

Напряженное действие фильма настолько увлекло Квидо, что свет фонарика, ударивший ему в лицо минут двадцать спустя, он воспринял как досадную помеху.

— Пойдемте, — пригласила его билетерша.

— Уже? — удивился Квидо.

Зита с Ярушкой стояли в фойе. У Ярушки алели щеки.

— Никаких сомнений, Квидо, — улыбнулась Зита.

— Серьезно? Это точно?

— Пани главный врач еще никогда не ошибалась, — заверила Квидо бывшая коллега Зиты.

Молодую пару подошел поздравить директор кинотеатра, и его примеру тут же последовал стройный хор всех присутствующих гардеробщиц и билетерш.

— Спасибо вам, спасибо, — рассеянно отвечал Квидо.

— Кланяйся дома, — сказала на прощанье Зита.

— Я хочу вам кое-что сказать, — заявил Квидо за ужином.

— На тему?.. — настороженно спросила мать, ибо многие темы все еще были в семье под запретом.

— На тему детей, — сказал Квидо и пронзил мать взглядом.

— Мы слушаем тебя, — сказала она и оглядела сидящих за столом: отец, пережевывая кусок, смотрел в свою тарелку, Пацо ухмылялся. Бабушка Либа по ошибке выпила сквозь мокрый платок ацидофилина, и на материи красовался густой белый кружок.

— Дело в том, что одного я жду, — сказал Квидо. — То есть ребенка.

— Ребенка? — радостно воскликнула мать.— Потрясающе! У нас будет ребенок! Вы только представьте себе это чудо, когда он впервые вытаращит на вас свои глазенки! Когда протянет к вам свои ручонки! Когда надует губки! Или когда начнет лепетать первые слова!

Она наклонилась, чтобы поцеловать Квидо.

— Номинация на «Оскара», — прошептал он.

Мать Квидо снова обвела сияющими глазами всех сидящих за столом: за исключением Пацо, который явно забавлялся происходящим, восторга ее не разделял никто.

— Ну что ты на это скажешь? — попыталась она растормошить отца и заставить его высказаться по этому поводу.

— Что у него нет ни капли ответственности, — угрюмо сказал отец.

— Но почему? — возразила мать. — Он взрослый, зарабатывает, публикует рассказы...

— Только безумец может в наше время плодить детей, — прошептал отец Квидо.

Мать Квидо с веселым вздохом пожала плечами.

Так тебе и надо — означал жест, адресованный Квидо матери.

Ничего, утрясется — говорил ее оптимистический взгляд.

— А как мы его назовем? Если будет мальчик? — спросила мать Квидо.

— Диазепам, — сказал он.— В честь деда.

— А они будут жить в детской? — с подозрением прощупала ситуацию бабушка.

— Там будешь ты, — решительно сказала мать Квидо. — Они пойдут наверх, в мансарду.

— А я? — спросил Пацо.

— С каких это пор ты мечтаешь ночевать дома?

3) — Свадьбу в мае сыграешь — скоро ноги протянешь, — мстительно предупреждала Квидо бабушка Либа.

Поэтому свадьбу назначили на апрель; единственным свободным днем в ритуальном зале здешнего монастыря оказалась суббота тридцатого.

— Тридцатого не могу, — заартачился отец Квидо. — С футболистами возлагаю венок к памятнику.

— Венки возлагают вечером, — возразила ему жена, — а бракосочетание в одиннадцать утра.

— Придется раньше времени уйти из-за праздничного стола, — посетовал отец Квидо.

— Не строй из себя чревоугодника, — сказала жена. — Все равно весь обед обратно выдашь. Кстати, тебе придется сесть за руль.

— Ты в своем уме? — вскинулся отец. — По-твоему, я могу водить машину?

— Насколько мне известно, никто этого тебе не запрещал.

— Ты хочешь, чтобы я на машине продирался сквозь толпу зевак? А если я кого-нибудь задавлю? Ты об этом подумала?

— Толпа зевак? — насмешливо переспросила мать Квидо. — Ты воображаешь, что женится Роберт Редфорд! Не бойся, если на дороге кто и появится, я предупрежу тебя вовремя.

— У меня куриная слепота! — кричал отец.

— Если ты доехал через Альпы до Югославии, то по равнине как-нибудь проедешь километр, — уверяла его жена. — А поскольку ты за рулем, придется уж мне отгонять от машины косуль.

— Значит, тебе нужна кровавая свадьба? — кричал отец. — Ну хорошо! Хорошо!

Предсвадебные хлопоты, которые необходимо было ускорить в связи с переносом свадьбы на апрель, практически легли на плечи матери Квидо. Бабушка Либа отбыла с приятельницами по дешевой — несезонной — путевке в Солнок, Пацо с наступлением весны все больше времени проводил в лесу, а отец Квидо, если не дежурил в проходной и не столярничал в мастерской, упорно изучал им самим начертанный план всех трех перекрестков, которые ждали его на пути к монастырю. Квидо работал над текстом повести.

— Я свою задачу выполнил, — говорил он с гордым превосходством, глядя на Ярушкину слегка вздувшуюся юбочку.

Первым делом надо было составить список гостей, чтобы успеть вовремя разослать приглашения. Семья Ярушки была немногочисленной, а кроме того, в столбце имен, предварительно составленном матерью Квидо, его отец с яростью вычеркнул всех трех ее пражских подруг, которых объявил политическими каскадерами в юбке, так что свадьба обещала быть не слишком людной.

Правда, все расчеты могла опрокинуть бабушка Либа, которая дважды на черно-белой открытке в стихах упоминала о симпатичном пожилом экскурсоводе, его жене и детях как о «самой изумительной семье, какую когда-либо в жизни встречала».

— Ничего, справимся, — с улыбкой уверяла мать Квидо Ярушку, свою единственную помощницу. Деловой характер приготовлений быстро сблизил их, так что Кви-

до, увидев однажды, как они смеялись до слез над своими тщетными попытками в четыре руки завязать белый бантик на мирте, впервые испытал чудесное, успокаивающее чувство самой полной — какая только возможна — безопасности.

— Трудно с абсолютной точностью описать это состояние, — рассказывал Квидо впоследствии, — но хотя бы представьте себе, что значит, если во время проливного дождя в дополнение к добротному непромокаемому плащу у вас оказывается еще и зонтик.

XIII

1) Уже за несколько дней до свадьбы отец Квидо решил эту тысячу метров, отделявшую его гараж от зала бракосочетаний, проехать, как говорится, *с полной гарантией*. Свое намерение он осуществил затем на все сто, хотя избранная им скорость больше подобала бы похоронному, чем свадебному обряду. Игнорируя недоуменные сигналы идущих сзади машин, равно как и постоянно увеличивающуюся дистанцию между его машиной и впереди идущими, он крепко сжимал руль и устремлял на дорогу хладнокровно-сосредоточенный взгляд.

Когда гости вышли из машин и, выстроившись по протоколу в ряд, направились к усыпанному гравием монастырскому двору, их ждал первый сюрприз — образцово ровная шеренга облаченных в форму восьмерых членов заводской охраны, средний возраст которых исчислялся шестьюдесятью годами.

— Почетный караул, смирно! — скомандовал старческим голосом их командир. Квидо предполагал нечто подобное, ибо в последнее время не раз случалось, что при его появлении в проходной вахтеры с плутоватыми улыбочками умолкали, но сейчас, увидев все эти отекшие, морщинистые, дрожащие, ревматические руки, героически пытающиеся удержать у козырька служебной фуражки вытянутые как положено пальцы, он с трудом подавил в себе чувство неожиданного умиления.

— Вольно! — глухо крикнул старик.

Второй сюрприз, если не сенсацию, преподнесла товарищ Шперкова, приведя в зал бракосочетаний для своих некогда лучших декламаторов нынешних двух подопечных, причем тоже мальчика и девочку, в пионерской форме.

— Обалдеть! — сказал дедушка Йозеф. — Пионеры!

— Прекрати! — сердито прошептала бабушка Вера.

У матери Квидо выражение лица было нейтральным.

К ужасу отца Квидо, под государственным гербом возле бархатного занавеса вдруг возник товарищ Шперк. Он улыбался.

— Это он! — шепнула мать Квидо доктору Лиру. — И как смеется!

— Вот этот? — удивился психиатр.

— Прекратите! — злобно прошептал отец Квидо.

Настало время декламации: маленький пионер схватил свою партнершу за руку и начал. Товарищ Шперкова подмигнула Ярушке.

Страна моя чудес полна
и прелести природы.
Мне счастие сулит она,
моя страна свободы! —

читал мальчик. Дойдя до слов «мне счастие сулит она», он быстро повернулся к девочке. Товарищ Шперкова кивнула. Квидо взглянул на Ярушку: под вуалью у нее шевелились губы.

Бурлит, спеша, поток речной
и рушит берег часто.
А наше счастье и покой
лишь во всеобщем счастье! —

в унисон закончили молодые артисты.

— Ёжки-мошки! — довольно громко прошептал Пацо.

— Мы благодарим пионеров за прекрасное выступление, — сказал товарищ Шперк и любезно кивнул служащему, сочетающему молодых брачными узами.

2) Свадебный банкет из соображений экономии происходил дома — за тремя вплотную сдвинутыми столами на веранде. Конечно, банкет был отнюдь не пышным.

— Ты всего лишь вахтер, и чуда ждать неоткуда! — напрямик заявила мать сыну.

Поданы были отбивные и картофельный салат. Пили пиво.

— Ему не наливайте, — просила бабушка Вера, прикрывая дедушкину кружку рукой.

— Вы ее слышите? — как обычно взывал дедушка к сочувствию окружающих. Он резко встал и пошел прогуляться по саду.

— Прошу к столу! — воскликнул отец Квидо, сияя нервозной улыбочкой.

Пацо принес магнитофон.

— Теперь и кассету можно послушать, раз мы уже закруглились с этим коммунистическим ритуалом, — напирал Пацо на брата. — Целую неделю обещаешь.

— Пока повремените с этим, — попросил отец Квидо.

— Пощади, братишка! Мало тебе, что я женюсь? Ко всему я еще эту попсу должен слушать?

— Какая тебе попса? — возразил Пацо и в доказательство своих слов включил магнитофон — затененный свод веранды тотчас наполнился голосом Карла Крыла.

— Ради бога, выключите! — взмолилась мать Квидо. — Дайте пообедать спокойно!

— Потом, Пацо, потом, — убеждал Квидо брата.

— Знаем это потом...

— Колбаса в *картофельном салате*! — ужаснулась вдруг бабушка Либа. — И морковь покупная!

— Да, покупная, — сказала мать Квидо строптиво.

— *Покупная* морковь! — кричала бабушка. — А вы знаете, сколько микрограммов нитратов в литре мочи допустимо нормой?

Никто ей не ответил.

— Можно вам еще налить пива? — спросил Квидо несколько ошеломленную тещу.

— Спасибо.

— Знаете сколько?

— Сколько? — не выдержал доктор Лир.

— Восемьдесят. А знаете, сколько у нас в среднем?

— Сколько?

— *Семьсот тридцать!* — крикнула бабушка торжественно. — А она не раздумывая *покупает* морковь.

— В прошлом году у меня было пять грядок моркови, — невозмутимо сказала мать Квидо доктору Лиру. — В один месяц она перевела ее на морковные оладьи!

Психиатр бросил на отца Квидо сочувственный, исполненный мужской солидарности взгляд.

— Извините, я ненадолго, — сказал отец Квидо и встал.

— Ты куда? — спросила мать Квидо. — Возложение венков в восемь.

— Все в норме, — сказал отец Квидо несколько загадочно.

Минутой позже из глубин дома донесся плачущий звук пилы.

— Пан доктор, — сказала мать Квидо, — не могли бы вы налить мне вон из той бутылки?

3) Отец Квидо вернулся к свадебному столу около половины девятого. Он был в красном тренировочном костюме и заметно задыхался. В руке он держал горящий факел.

Инженер Звара, сопровождавший его, был в цивильном; он нес траурный венок с красной лентой, на которой золотыми буквами было написано «Физкультурное общество».

— Не успел погасить, — сказал отец Квидо отдуваясь и, поглядев на венок, как бы в объяснение добавил: — Эти идиоты заказали два.

— Какая разница! — засмеялась мать Квидо. — Надеюсь, ты теперь найдешь ему применение?

— Он стоит и поет там «Интернационал», вместо того чтобы петь у сына на свадьбе, — смеялся инженер Звара. — Я решил лучше привести его к вам.

— Пан инженер, — с трудом выговорил Пацо, — ответьте мне на один вопрос...

— Никаких вопросов! — вскинулся Квидо. — Черт возьми, кто разрешил ему пить?

Отец Квидо бросил факел в бочку с дождевой водой. Он зашипел.

— Пан инженер, вы член коммунистической партии? — громко спросил Пацо.

— Толковый вопрос, — сказал доктор Лир. — Талантливый мальчик.

— Как бы вы отнеслись, пан доктор, к прогулке на подводной лодке? — весело спросила мать Квидо, удивительно мягко — как всегда в подпитии — выговаривая слова. — Я имею в виду — со мной?

— Это, мальчик, вопрос более сложный, чем ты думаешь, — сказал Звара с неприятной улыбочкой.

— Видите ли, муж утопил наше каноэ.

— Тогда проваливайте! Мы вам здесь никакой не авангард! — хриплым голосом заорал Пацо.

Из-за поворота дороги донеслись звуки духового оркестра.

— Идут, идут! — взволнованно вскричал отец Квидо. — Ступайте в дом!

— Плюньте на это, — сказал Квидо Зваре. — Наклюкался парень...

— Обожаю шествия! — воскликнула мать Квидо. — А вы, доктор?

— На что он должен плюнуть? — кипятился Пацо. — На правду? На честь? На совесть?

— Пожалуй, не очень, — ответил доктор. — Но фонарики люблю.

— Ты наш маленький борец, — сказал Квидо. — Пойди ляг.

— Они уже здесь! — встревоженно кричал отец Квидо. — Идите же в дом!

— Веди их сюда, — распорядилась мать Квидо. — Мне захотелось танцевать с твоим доктором. Как, Ярушка, потанцуем?

— С удовольствием, — восторженно ответила Ярушка.

В сумерках над дорогой заблестели инструменты музыкантов. За ними светились первые желтые огоньки.

— Я приведу их, — сказал Звара, стремясь отделаться от вопросов Пацо.

Уже спустя несколько минут весь оркестр в сопровождении группы людей с фонариками полукругом обступил террасу. Ярушка обнесла музыкантов подносом, уставленным рюмками.

— Здоровье жениха и невесты! — согласно ритуалу произнес капельмейстер.

— Соло для новобрачных! — выкрикнул кто-то.

Музыканты поставили пустые рюмки на поднос и с удовольствием сменили свой революционный репертуар — в теплом вечернем воздухе потекли звуки вальса. Каблуки Квидо увязали в мягком газоне. Ярушка вся светилась: когда она спиной коснулась склоненной яблоневой ветки, на плечи ее свадебного платья посыпался дождик розовато-белых лепестков.

— Идите вы в задницу со своим оркестром! — кричал Пацо, но, к счастью, никто его не расслышал. Следующая мелодия уже предназначалась для всех. На газоне появилось с десяток пар. Квидо с Ярушкой пошли снова наполнить рюмки. В кухне вертелись какие-то незнакомые дети.

— Привет, дети, — сказал Квидо.

— Здравствуйте, — сказали дети. — Мы хотим пить.

— Не празднование Первомая, а черт знает что! — шептал отец Квидо Зваре. — Беды не оберешься.

— Не заводись, приятель, — осадил его Звара.

Отец Квидо ушел в подвал. Ярушка снова обошла музыкантов с подносом, чокнулась с капельмейстером.

— Привет, вахтер, — окликнул Квидо какой-то молодой человек. — Я Мила.

— Привет, Мила, — сказал Квидо.

В саду началось какое-то пьяное братание.
— Я хотел бы жить в деревне, — сказал доктор Лир матери Квидо.
— Ну и дурак, — сказала мать Квидо. — Станцуем танго?
— Выпить нечего, — сказал Мила, опрокинув пустую бутылку.
— Пошли со мной,— сказал Квидо. — Что-нибудь раздобудем.
На лестнице, что вела в подвал, они наткнулись на пожилого мужчину.
— Good evening, Sir[1], — сказал Квидо с улыбкой.
— Good evening, — засмеялся мужчина.
— Кто это был? — поинтересовался Мила.
— Бабушкин приятель, — сказал Квидо. — Венгр.
Они наткнулись на бабушку Либу, она несла картонную коробку.
— Алло! — сказал Квидо.
— Венгерка? — спросил Мила.
— Бабушка, — сказал Квидо. — Колбасу тащит.
— Все путем, — сказал Мила.
— Колбасы хочешь? — спросил Квидо.
Они заглянули в мастерскую, и Мила испуганно отпрянул.
— Что это? — заорал он.
— Отец. Гроб примеряет.
— Все путем, — сказал Мила. — У вас классная семейка.
— А вообще-то ты кто? — спросил Квидо.
— Я? — сказал Мила. — Рабочий.
— Все путем, — сказал Квидо. — Ты даже не знаешь, как долго я тебя искал.

XIV

1) Через неделю после свадьбы Квидо снова встретился в Праге с редактором. В этот день он окончательно понял, что надежда на издание «Тринадцатого этажа» практически равна нулю, причем вне зависимости от того, удастся ему или нет ввести в текст образ рабочего Милы.

Поэтому, отложив в долгий ящик рукопись, он стал исподволь подыскивать какую-нибудь иную, менее спорную тему, что, кстати, советовали ему и в издательстве.

Много из последующих ночей в полутемной канцелярии матери он раздумывал о персонажах своего будущего творения, но всякий раз, когда он переводил взгляд со своих заметок на семейные фотографии под стеклом стола, он вновь и вновь убеждался, что ни один из вымышленных до сих пор образов не достигает и десятой доли той увлекательности, сочности и выразительности, какой отличались личности на фотографиях: отец, мать, Пацо, бабушка Либа и дед Иржи. Когда в своих нелегких раздумьях над фабулой он отрешался от всех этих незнакомых людей с чуждо звучащими именами, вроде Яна Гарта или Флориана Фарского, и совершенно естественным образом переключался на бабушку Веру или дедушку Йозефа, он чувствовал, как безгранично расширяются горизонты его фантазии. Квидо, как и множество иных сочинителей, убеждался, что едва ли найдет другую, более интересную историю, чем своя собственная.

— Роман — это я! — восклицал он.

Обманчивая бесконфликтность рождающегося камерного повествования была, как вскоре понял Квидо, лишь еще одной большой иллюзией: сквозь стены этого семейного дома, о котором он писал, уже с первых же страниц пробивалась общественная реальность, причем, как казалось ему, совершенно независимо от его воли. Это, разумеется, не нравилось редактору.

— Ну как дела? — спросила как-то утром Ярушка при виде все еще горевшей лампочки на столе Квидо.

---

[1] Добрый вечер, сэр (*англ.*).

— Сама знаешь, — сказал Квидо и согласно рекомендациям в пособиях принялся смазывать ей кремом натянутую кожу на выпуклом животе. — Дьявольская работа — лепить все из полуправд, как того требует от меня редактор. Представь себе: хоть я и могу родиться в театре, но решительно не во время спектакля «В ожидании Годо», поскольку это экзистенциальная драма. Этот идиот, вероятно, хотел бы, чтобы я родился во время «Проданной невесты».

Ярушка засмеялась и стянула через голову ночную рубашку: Квидо, с наслаждением вдохнув ее запах, завороженно коснулся крахмальных пятен засохшего молока.

Он посмотрел на Ярушку: ее увеличенные темные соски не нравились ему, но в тех же пособиях говорилось, что впоследствии они уменьшатся.

— Тебе надо одеться, — сказал он. — В любую минуту может прийти Мила.

— Опять? — Лицо у Ярушки вытянулось.

Квидо развел руками, но видно было, что думает он о чем-то другом. Он вернулся к письменному столу и взглянул на исписанные страницы.

— Мне нужно, чтобы эти три дурацких попугайчика улетели вне всякой связи с русскими самолетами, — сказал он и взял одну из страниц. — «Возможно, их вспугнул случайный выхлоп машины, возможно, тень крыльев залетевшего сюда с пражских окраин хищника», — читал он с сомнением в голосе. — Что скажешь на это?

— Мне нравится, но меня не спрашивай, — сказала Ярушка.

— Этого хищника редактор все равно не оставит, — вслух рассуждал Квидо. — Тем более двадцать первого августа[1]...

Ярушка коснулась пустой детской кроватки, которую они с Квидо недавно снова покрыли лаком: белая краска вроде бы неплохо держалась.

— Дедушки Иржи, похоже, у меня вообще не должно быть, — продолжал Квидо. — Когда я спросил редактора, с кем же, по его мнению, бабушка могла зачать мою маму, он сказал, что активисту «пражской весны» он предпочитает даже самооплодотворение. Отлично, говорю я ему, а что прикажете делать со вторым дедушкой? Сколько, по вашему мнению, он должен за смену нарубать угля? Нарубать угля он может сколько угодно, отвечает редактор, главное, чтобы он держал язык за зубами.

— Ужасно! — воскликнула Ярушка искренно.

— Но ничего, я ему выдам! — повысил голос Квидо, и его невыспавшиеся глаза загорелись какой-то странной строптивостью. — Я ему накатаю! Дедушку Иржи похороню в самое время, скажем в шестьдесят пятом, ну автокатастрофа или что-то вроде того, второй дедушка будет безъязыким ударником, мать — несостоявшейся актрисой, отец... отец будет прибабахнутым ревнивым резчиком по дереву. А бабушка Либа? Полоумной собирательницей трав. Чего там возиться с загрязненными продуктами! — кричал Квидо.

— Я опухаю от помидоров, — сказала Ярушка.

— От них тоже? — сказал Квидо. — Мила обещал принести со своего огорода.

Он положил страницу на стол.

Печально покачал головой.

У Ярушки брызнули из глаз слезы.

— Ты что дуришь?

— У меня все время глаза на мокром месте, — захлебываясь счастливыми слезами, проговорила Ярушка.

2) Издательский редактор был, как выяснилось, не единственным цензором Квидо.

Однажды Квидо услышал, как почтальонша охаживает Негу.

— Правильно делаете, — крикнул он ей. — Так ей и надо, прыгает жене прямо на живот!

— Вам заказное, — едва переводя дух, сказала почтальонша.

Нега, поджав хвост и поскуливая, отползла от нее как можно дальше.

Квидо, вскрыв письмо, с удивлением обнаружил, что пишет ему родная мать.

«Дорогой Квидо, — читал он, — надеюсь, что эту суку почтальонша отделала

---

[1] 21 августа 1968 г. — день вторжения в Чехословакию войск стран Варшавского Договора.

по первое число. Она снова начинает кидаться на меня, так что четыре кроны на заказное я всегда охотно жертвую.

Но как ты, должно быть, и предполагаешь, мотивы моего письма коренятся совершенно в другом. Итак, почему я пишу тебе? Что ж, признаюсь: я пренебрегла твоей просьбой и вчера ночью, когда ты был на дежурстве, прочла незаконченные главы твоего романа».

— Я убью ее! — вскричал Квидо.

«Прочла их на одном дыхании, а когда на рассвете — на дворе уже пели птицы — кончила, была не только ошеломлена, но растрогана и разгневана одновременно. Я решила тотчас написать тебе. Знаю, что тебе и без меня нелегко, как знаю и то (ты всегда это цитируешь), что автобиографическая основа — наименее удачный угол зрения, под каким можно читать книгу. Но, Квидо, знают ли об этом другие? Все те, кто знает нас и кто будет читать эту книгу? И соответственно этому судить о нас и оценивать нас? Думал ли ты об этих людях, когда описывал воду, разбрызганную по всей квартире, клубы пыли, гниющую мусорную корзину или доску на унитазе в желтых пятнах мочи? Думал ли ты об этих людях, когда писал (признаю — не без остроумия), что бабушка за границей ворует сувениры? Я допускаю, что свои жизненные переживания и свой жизненный опыт писатель не может закамуфлировать иначе чем в форме романа, но, с другой стороны, я решительно не хотела бы дожить до того дня, когда мои друзья начнут гнушаться нашим туалетом! Кстати, прости мне столь низменный вопрос: почему в таком случае не вычистил его ты? Твой ответ я знаю заранее: потому что ты о нем *писал*».

— О небо! — прошептал Квидо.

«Мы с твоим отцом, Квидо, всегда стремились создать для вас то, что называется «дом». Время пожелало (а возможно, судьба), что с нашей же помощью вместо дома в буквальном смысле слова с годами возникла какая-то дикая комбинация столярной мастерской, психбольницы и приюта для престарелых. Как говорит моя обожаемая Корнелия: «Нет, мы не первые в людском роду, кто жаждал блага и попал в беду».

Я знаю, что ты хочешь сказать. Ни одна женщина не станет прекрасной матерью только в силу того, что вечно носится с пылесосом и моет стульчак. Мне ясно: эти вещи ты считаешь второстепенными. И все-таки: знают ли об этом другие? Ты так нигде и не написал об этом, как говорится, черным по белому.

Квидо, я кажусь себе ученицей, что просит учителя поставить ей лучшую оценку, но при этом я твоя мать. Мой отец свою мать называл на «вы». Нет, разумеется, я не призываю тебя к этому, но не мог бы ты по крайней мере отказаться от этой обсиканной доски? «Насколько неблагодарность своего ребенка мучительнее, чем укус змеи», — повторяю я вслед за О'Нилом[1]... Я не считаю тебя неблагодарным — в ряде мест ты пишешь обо мне замечательно, ты, скорее, не совсем справедлив. Разве ты не понимаешь, что я, как женщина, *объективно* не могу обсикать доску?

Если бы ты видел, как я, вынужденная писать тебе о таких вещах, краснею от стыда! Причем я сейчас абсолютно одна. Неужели же ты позволишь тысячам совершенно чужих людей заглянуть в мою личную жизнь?

Прошу тебя, подумай об этом.

Целую тебя, твоя мама».

— Нет, я точно свихнусь! — воскликнул Квидо. — В самом деле, здесь невозможно писать!

3) Встречи с редактором Квидо приурочивал к тем дням, когда Ярушка наведывалась к Зите; в Прагу они отправлялись вместе.

— Известно ли вам, что именно О'Нил поставил условием, что его *автобиографическая* драма может выйти в свет не ранее чем четверть века спустя после его смерти? — смеялся редактор, выслушав рассказ Квидо о письме матери. — Причем, когда он выдвигал это условие, никого из членов его семьи уже давно не было в живых. Ваша

[1] Юджин О'Нил (1888—1953) — американский драматург.

проблема в том, что вы хотите издать это еще при жизни абсолютно всех членов семьи.

— У бабушки, по некоторым данным, рак, а отец уже давно мастерит себе гроб, — сухо сказал Квидо. — Это обнадеживает.

— Ирония будет вашим главным козырем, — смеялся редактор. — Я вам все время об этом толкую.

— Возможно, — сказал Квидо. — Но тем не менее моя проблема в том, что я вообще хочу это издать. В наше время и ко всему еще у вас.

— И все же, — сказал редактор, — что еще могут делать думающие люди и гуманисты, кроме как бороться за подходящие слова?

— Не бороться вовсе, — сказал Квидо.

— Ну как? — спросил Квидо Ярушку, когда они снова встретились в городе.

— В порядке, — объявила Ярушка с улыбкой. — Зита кланяется тебе... А у тебя как?

— У меня? — Квидо задумался: как, собственно, у него дела? — У меня, скорее всего, рисковая беременность.

— Я ошибался, — рассказывал он впоследствии. — Под бдительным оком у этого редактора я был вне всякого риска.

4) В среду двадцатого октября у Квидо было ночное дежурство. Днем среди туч выглянуло солнце. Он пересилил себя и, подчинившись желанию матери, пошел сгребать с газона опавшие перед верандой буковые листья. Вскоре рядом возникла величественная ныне фигура Ярушки — он улыбнулся, но позволил ей всего лишь подбросить в костер несколько листочков, что разметал ветер.

— Как ты?

— Отлично.

— А как Аничка?

— Как Аничка, не знаю, — поддразнивая его, сказала Ярушка. — Но Якуб тоже замечательно.

Квидо высыпал в огонь последнюю корзину, свободной рукой обнял жену за талию, и так они вошли в дом. Он умылся, переоделся, Ярушка отсыпала ему в склянку кофе, завернула несколько кусков испеченного вчера пирога и все уложила в портфель; в другое отделение Квидо сунул начатую книгу и свои заметки к образу Ярушки.

— Помашу тебе, — машинально сказал он на прощание.

Ярушка подставила лицо для поцелуя.

Но, взобравшись примерно пятью часами позже на опорную конструкцию неоновой рекламы, Квидо обнаружил, что почти весь дом, кроме детской, погружен во тьму. Он подождал с минуту, не зажжется ли свет в кухне, но, так и не дождавшись, обеспокоенно спрыгнул снова на асфальтовую кровлю. Окна в кухне оставались темными. В тревоге он спустился по лестнице в коридор и торопливо завершил обход. Решил отпроситься у начальника и забежать домой. Но, войдя в помещение позади проходной, увидел на столе полные рюмки. А рядом стояли все три вахтера, обнажая в улыбке пожелтевшие зубные протезы.

— Сейчас звонили из Кутна-Горы, — сказал начальник. — Девочка у тебя, бракодел!

XV

День посещений в кутна-горской больнице. Новоиспеченные отцы и прочие родственники стоят на вытоптанном газоне перед родильным отделением. Роженицы высовываются из окон четвертого этажа.

Ярушка (*с искренней радостью*). Привет! Вы уже здесь, как здорово!

1-й отец. А почему ты не можешь сидеть?

1-я мама. Наверное, меня плохо зашили...

Квидо (*скороговоркой*). Мы приехали на машине.

1-я мама. Или, скорее, криво надрезали...

Ярушка (*изумленно*). Правда? Ты вел?

Квидо (*с явной неохотой*). Да.

Ярушка (*испуганно*). Что случилось?

Пацо. Ничего. Задавил собаку.

Ярушка (*успокоившись*). Это может случиться с каждым водителем, Квидо. Правда!

Пацо. Только она была в будке...

Смех — все присутствующие с любопытством смотрят на Квидо.

Квидо (*раздраженно к Пацо*). А кто орал «Влево! Влево!»? Вы хотели влево, я и повернул.

Пацо (*объясняет Ярушке*). Сперва я решил, что он наехал просто на будку, но когда отбросил сломанные доски, увидел там собаку. Лежала мертвая...

Мать Квидо. Мы что, приехали говорить о собаках? (*Смотрит на Аничку на руках у Ярушки.*) Разве вы не видите, как Аничка таращит на нас свои прекрасные карие глазки?

Ярушка (*виновато, глядя на Аничку*). Только что уснула...

2-я мама. Совершенно разгрыз мне соски.

2-й отец. Кто?

2-я мама. Ну конечно Лукашек, дурачок ты мой...

Мать Квидо. Все уже приготовлено. Бабушка сшила нам гигиенические маски.

Ярушка (*растроганно*). Но это...

Мать Квидо. Нега, конечно, будет носить намордник... (*Смотрит на мужа, он все время испуганно улыбается.*) Ну покажи ей, бога ради, твои игрушки.

Отец Квидо (*вынимает из сумки несколько деревянных игрушек*). Это я... для малышки... (*Голос отказывает ему.*)

Ярушка (*плачет*). Спасибо. Ужасно милые. Спасибо.

Квидо (*тревожно*). Что ты разнюнилась? Всю ее обмочишь. (*Аничка просыпается и плачет.*)

Пацо. Это я называю protestsong[1]!

Мать Квидо. У нее нет газиков? От этого лучше всего фенхель.

Пацо. Да здравствует народная медицина, мракобесие и невежество!

Мать Квидо. Не трепи языком. Иди лучше вымой лобовое стекло. (*Обращается к Ярушке.*) А как отеки?

Ярушка (*сморкается*). Это была аллергия на риваноль.

Пацо. Обратно через ту деревню нельзя. Нас там ждут с вилами...

Мать Квидо. Надо вымыть лобовое стекло!

Пацо. Сомневаюсь, что это поможет. Когда он врезался в будку, лобовое стекло было совсем...

Мать Квидо. А ну мигом! (*Поворачивается к мужу.*) А ты нам ничего больше не скажешь? Никто же не заставляет тебя критиковать наше социалистическое здравоохранение, можешь сказать нечто совершенно *безвредное*...

Квидо (*обрывая ее*). Мама!

Мать Квидо (*не обращая внимания на его замечание*). ...ну хотя бы как ты этого вороного конька хотел покрыть тем же лаком, каким...

Квидо. Мама!

Мать Квидо. ...каким ты недавно покрыл собственный гроб.

Среди присутствующих воцаряется всеобщий ужас.

Квидо (*чуть погодя*). Ну, мы потихоньку трогаемся....

Ярушка (*глотая слезы*). Помашешь нам?

Квидо. Конечно помашу.

---

[1] Песня протеста (*англ.*).

XVI

1) К сожалению, гипотеза матери Квидо, что появление в семье маленького существа окажет радикальное действие на течение мужниного невроза, не подтвердилась. Хотя он и смастерил для Анички еще несколько деревянных зверушек, миниатюрных колясок и самых разных двигающихся кукол и ежедневно играл с ней, существенных изменений в его болезни не произошло.

К счастью, вскоре появилось нечто, что в последующие годы отвлекло отца Квидо от мыслей о смерти и толкнуло его если не в самую круговерть событий, то по крайней мере на их обочину, — речь идет о советской перестройке. Теперь свой досуг отец Квидо отдавал куда больше прослушиванию информационной программы «Время» и горбачевским выступлениям, чем изготовлению своего гроба, который, кстати, был так теперь разукрашен многочисленными засечками, что немало потерял от своей первоначальной пугающей строгости и скорее походил на кровлю пряничного домика, чем на смертное ложе. Поскольку в часы упомянутых трансляций он нередко бывал на работе, мать Квидо, для этой цели специально обученная, должна была записывать их на маленький дешевенький видеомагнитофон гонконгского производства, который отцу Квидо привез откуда-то с Запада инженер Звара.

Таким образом, завывание деревообрабатывающего станка сменил странный, жалобный голос переводчицы телевизионных выступлений Горбачева. Этот голос, казалось, притягивал, если вовсе не завораживал, отца Квидо, неотрывно устремлявшего взгляд на это широкое, столь непривычно живое у восточного политика лицо и, казалось, заколдованного таинственной метой на его черепе. Матери Квидо случалось подавлять в себе некоторое волнение, когда она видела, как муж торопливо включает настольную лампу и нашаривает карандаш, чтобы записать в блокнот ту или иную мысль генерального секретаря, или когда замечала, как на вечно каменном лице мужа время от времени появляется слабый, но заметный отблеск частых улыбок Михаила Сергеевича.

— Ты видишь? — радостно шептала она Квидо.

— Это наша славянская вера в Россию! — насмешливо отвечал Квидо. — Мы можем сто раз предать себя самосожжению, но все равно ничему не научимся!

— Думай что хочешь, — спокойно говорила мать Квидо, — но я все-таки предпочитаю, чтобы он слепо верил в Россию, чем мастерил реквизиты для собственных похорон.

— Бог ты мой! — смеялся Квидо. — Еще недавно он отскакивал перед русскими танками на тротуар, а теперь с Россией связывает все надежды нашего народа на перемены... — Он усмехнулся. — Эх, не будет в Чехии хорошо, пока Борис Ельцин не нальет в волжский радиатор влтавской водички!

— Послушай, Квидо,— сказала его мать, — что до меня, так пусть он связывает надежду нашего народа с чем угодно, хоть с Экваториальной Гвинеей. И настоятельно прошу тебя — не разрушай эту его правду. Его мозг и так полон вывороченных с корнем правд.

— Это уже не мозг, а бурелом, — сказал Пацо.

Уйму времени тратил теперь отец Квидо на поиски и чтение кое-какой советской периодики, издаваемой и у нас и открывавшей читателям правду в небывало высокой концентрации. Отца Квидо поражало даже не столько то, что эта правда могла быть высказана там или сям, сколько то, что она высказана именно в той стране, которую ему вечно ставили в пример. Многолетнее идеологическое рабство парадоксальным образом обращалось сейчас в нечто позитивное. Раз они, так и мы, по-детски рассуждал отец Квидо. Если, к примеру, он читал, что настало время перестать помыкать интеллигенцией и относиться к ней с подозрением, то он делал вывод, что такое же время *должно* настать и у нас. Он был убежден, что эта приведенная в прессе и старательно им переписанная фраза дает ему прямое юридическое право не быть ни подозреваемым, ни помыкаемым.

— Было печально наблюдать, — рассказывал впоследствии Квидо, — как мой отец, человек взрослый, строит все свои надежды на нескольких вырезках из журнала «Тыденик актуалит».

В те дни липовые многогранники и сосновые доски в подвальной мастерской стали покрываться пылью. Равнодушие, с каким отец Квидо отдал свои лучшие шведские резцы инженеру Зваре, было весьма красноречиво.

— Ты серьезно отдаешь их мне? — не верил своим глазам Звара.

— Конечно, — объяснял ему отец Квидо. — Льды коммунизма все-таки тают...

Однако мастерская осиротела ненадолго — даже отец Квидо исподволь стал подмечать, каково истинное положение дел.

— Он обнаружил, — весело рассказывал Квидо, — что Шперк и другие также делают подобные вырезки и мало того — еще и гоняются за весьма дефицитным журналом «Спутник»...

2) Однако о Советском Союзе в семье говорили еще какое-то время — причем в связи с бабушкой Либой.

Однажды в воскресенье Квидо, все еще раздосадованный последними требованиями редактора, явился к обеду и сразу же учуял неповторимый запах картофельных клецек.

— У-у, клецки! — сказал он зловеще. — Опять клецки! Неизменные клецки!

Ярушка умиротворяюще погладила его по плечу.

— Не сердись! Приглашаю тебя завтра на ужин.

Квидо со вздохом поцеловал ее в щеку.

Но когда чуть позже он увидел недоеденные клецки в тарелке маленькой Анички, его злость мгновенно достигла первоначальной интенсивности. Он со стуком положил на стол нож и вилку.

— Я вовсе не собираюсь отказывать этим желтоватым клецкам, как и вчерашним «шкубанкам» или позавчерашним блинчикам, в присущей им, возможно, полезности, — мрачно проговорил он в нависшую тишину, — но я предлагаю коллективно обсудить вопрос, не следует ли нам — по меньшей мере ввиду естественных потребностей развития ребенка — хотя бы изредка покупать, да простится мне это слово, какое-нибудь... *мясо*...

— Перестань! — сказала мать.

Все остальные, за исключением Анички, бросавшей на бабушку Либу укоризненные взгляды, с преувеличенным интересом изучали содержимое своих тарелок.

— Разумеется, я говорю о *недорогом* мясе, — ледяным тоном продолжал Квидо, проглотив еще одну клецку, — ибо семейный бюджет не может подчиняться заветным желаниям и денежному диктату мясников-шкурников, что не стыдятся за килограмм вырезки драть целых двадцать пять крон, а это, по любым подсчетам, половина стоимости гербовой марки, необходимой для таможенной и валютной декларации. Спасибо! — Квидо окончательно отодвинул тарелку. — Было очень вкусно и дешево.

— Она собирается с подругами в Ленинград, — объяснила Квидо после обеда мать. — Прошу тебя, постарайся это понять.

Квидо внял просьбе матери и все эти скудные блюда военных лет, традиционно предшествовавшие тому или иному бабушкиному вояжу, съедал уже без комментариев. Похоже было, он даже простил это бабушке, ибо иногда позволял ей рассказывать о Северной Венеции, изображая из себя несколько меланхоличного, но все же вполне сосредоточенного слушателя.

Порой его и Пацо выручал юмор, с помощью которого, казалось, можно было доесть даже приводящую в ужас хлебную похлебку. Пацо, к примеру, задавался вопросом, что на сей раз привезет им бабушка, и предсказывал, что это будет большая, уже чуть облупленная матрешка с позолоченной, тщательно вымытой баночкой из-под икры внутри, откуда затем выскочит значок с силуэтом «Авроры». Квидо же

любил с ним спорить на тему о том, на сколько лет должна помолодеть бабушка при столь длительной поездке на восток, то бишь в направлении, *противоположном* движению времени.

— Я вообще не удивился бы, — изрек однажды Пацо, уткнувшись взглядом в поставленную перед ним кашу, — если бы тому влюбленному парнише, что будет прошвыриваться с бабушкой по Невскому проспекту, пришили растление малолетних.

Вопреки всем этим сумасбродным фантазиям, несколько позже из Ленинграда пришла открытка неожиданно *прозаического* содержания.

«Приветствую вас всех из Ленинграда, постоянно думающая о вас бабушка», — было написано на открытке.

— Ни одного стишка? — удивился Пацо. — Может, у нее творческий кризис?

— Не знаю, — задумчиво сказала мать Квидо.

3) Как позднее стало известно, первые сильные боли, с которыми бабушка уже не могла справиться сама, начались у нее в вестибюле гостиницы «Дружба», где она вместе с остальными туристами ждала автобуса из аэропорта. Местный врач прибыл к ней в течение одной минуты — оборотной стороной этого отрадного факта явились шесть посеребренных чайных ложечек с надписью «Дружба», на которые поочередно со все возрастающим удивлением наталкивался упомянутый доктор, продираясь сквозь бабушкино дорожное одеяние.

— Я толка хателa падгатовить чашку чая, — по-русски не уставала объяснять бабушка, пока новый приступ невыносимой боли не лишил ее возможности чувствовать что-либо, кроме самой боли.

— Ничего, бабуля, ничего, — успокаивал ее врач, озабоченно прощупывая странно затвердевший живот.

— Девочка, — несколькими днями позже сказала Зита матери Квидо, — вот и все, моя девочка.

Мать Квидо, прикусив губы, закрыла глаза.

— Мальчики, — сказала Зита Пацо и Квидо, — а знаете, что привезла вам бабушка?

Она вытащила из сумки два тяжелых свертка.

— Фотоаппарат «Зенит» и великолепную кинокамеру.

У Пацо дрогнул подбородок.

— Она вас ужасно любила, — сказала Зита очень, очень серьезно.

XVII

Бабушкина внезапная смерть оторвала Квидо от работы фактически лишь на несколько дней, но когда после похорон он вновь вернулся к рукописи, то почувствовал труднообъяснимую апатию и не переставал задаваться вопросом, как и зачем продолжать начатое.

Однажды субботним вечером, после того как он долгое время тупо пялился на чистый лист бумаги, ему вдруг пришла в голову идея заменить ветхую, рассыпающуюся циновку за кушеткой деревянной обшивкой. Минуту-другую он еще бессмысленно черкал по бумаге, а потом встал, отодвинул кушетку и спустился в мастерскую.

Поначалу он лишь осматривал материал: погладил черешневые доски с выразительными годовыми кольцами, подержал в руке дубовые чурбанчики, провел пальцем по острию долот. И, выбрав наконец примерно двадцать сосновых шпунтованных досок, принялся на верстаке сокращать их до необходимой длины.

Квидо пилил, и на его запястья налипала первая опилочная пороша.

Бешеную скорость, с которой работал, он объяснял себе тем, что хочет поразить Ярушку.

— Цыц, шкуру порву! — глухо выдавил он из себя излюбленное ругательство деда. — Цыц, шкуру порву!

Эпилог

В июне 1989 года Пацо поступает на философский факультет Карлова университета в Праге. Вскоре после ноябрьской революции он во главе студенческой делегации приезжает на Сазавский стекольный завод, однако председатель заводского комитета КПЧ тов. Шперк приказывает охране не пропускать студентов на его территорию. После небольшой потасовки с собственным отцом Пацо и остальные студенты все же проникают на завод, перемахнув через ограждение, и беседа с трудящимися состоится. (При этом подруга Пацо, студентка первого курса юридического факультета, снисходительно объясняет матери Квидо суть гражданского права.)

Но дальнейшее развитие ЧСФР приносит Пацо все больше разочарований. Он отказывается от своей должности в так называемом Студенческом парламенте, прерывает занятия и с ощущением, что кто-то украл у него революцию, отправляется на стажировку в Соединенные Штаты.

Вернувшись в Чехию, Пацо начинает активно участвовать в анархистском движении. Его пацифистские убеждения крепнут день ото дня. В апреле того же года он получает повестку в армию. Вместе с другими анархистами, которых постигла та же участь, он — под крики Fuck off Army![1] — сжигает повестку перед казармой на площади Республики. Он требует предоставить ему возможность альтернативной службы и при этом отвечает на приглашение бельгийской торговой фирмы с представительством в Праге (необходимо: знание английского, умение работать с компьютером, водительские права, возраст до 28 лет). Он успешно проходит конкурс, и его принимают на исключительно выгодных условиях.

Однако в течение следующего месяца при выезде со стоянки фирмы он раз за разом разбивает вверенный ему «форд-сьерра», и его увольняют как не оправдавшего доверия.

Дедушка Йозеф в первый же год после революции с помощью журнала «Анонс», размещающего объявления, проводит несколько прибыльных финансовых операций (за семь стокронных купюр с портретом Клемента Готвальда он получает целую тысячу крон), но продолжает с еще большим остервенением комментировать текущую политическую жизнь. Ему не по нутру высокая депутатская зарплата, длинные волосы министра Лангоша, присутствие бывших коммунистов в правительстве и медленный темп люстраций[2].

— Повесить, а не предавать гласности их имена! — кричит он теперь весьма часто.

— Прекрати, слышишь! — предостерегающе осаживает его бабушка Вера.

Ярушка в один из декабрьских вечеров 1989 года — за минуту до десяти — бросает взгляд на красный неоновый лозунг, сияющий посреди темного неба, и с изумлением замечает, что одна из букв закрыта силуэтом какой-то фигуры. Квидо, стоящий за ее спиной, раздавлен.

— Я мог бы простить тебе, если бы ты нашла другого, — сказал он ревниво, — но я никогда не прощу тебе, что ты позволила ему это!..

Но на следующее утро выясняется, что на крыше был не кто иной, как товарищ Шперк, защищающий неон своим собственным телом от нескольких членов «Гражданского форума»[3], собравшихся его демонтировать.

6 декабря светящийся лозунг был окончательно снят. В тот же вечер товарищ Шперк приставляет дуло охотничьего ружья к своему правому виску и спускает курок. По счастливой случайности пуля минует цель, и потому единственное следствие попытки самоубийства — согласно медицинскому заключению — временно оглохшее правое ухо. После недолгого реабилитационного периода товарищ Шперк покупает на аукционе, проводимом в рамках так называемой «малой приватизации», за

---

[1] Армию — ко всем чертям! (*Англ.*)

[2] Люстрация — обнародование секретных списков лиц, сотрудничавших с органами Госбезопасности.

[3] «Гражданский форум» — движение, сыгравшее основную роль в подготовке и проведении «бархатной» революции 1989 г.

объявленные 3 240 000 чехословацких крон ресторан под названием «Охотничий домик».

Отец Квидо с января 1989 года работает в министерстве внешней торговли в должности заведующего торговым отделом. На работу ежедневно прикатывает на собственном автомобиле. В сентябре того же года его направляют в командировку в Бразилию для заключения контракта.

— Жить можно, не так ли? — часто улыбается он в эти дни.

Но в ходе всеобщих проверок в министерстве он оказывается среди люстрированных, и его увольняют. Он опять возвращается в АО «Сазавский кавалер», где выполняет функции референта по ценообразованию.

В последующие месяцы бабушка Вера спит ужасно тревожно. В ночь с 18 на 19 августа 1991 года бабушка и вовсе не смыкает глаз. Объяснения этому она никак не может найти. А поутру убеждается, что все три попугайчика вновь упорхнули. Несколькими минутами позже она по радио узнает, что в Советском Союзе совершен государственный переворот и что на улицах Москвы стоят танки.

— Реалиста чудеса никогда не повергнут в смущение, — комментирует Квидо происходящее.

У матери Квидо для чудес не остается времени: до конца октября ей нужно сдать проект так называемой «большой приватизации». Кроме того, она всерьез озабочена рецидивом заболевания мужа.

12 сентября из хорватской Пулы, осажденной сербскими националистами, прилетает Миряна; мать Квидо предоставляет ей политическое убежище.

12 октября Квидо относит в издательство «Чехословацкий писатель» рукопись своего романа «Лучшие годы — псу под хвост».

■

РАЙМОН КЕНО

С ними по-хорошему нельзя

Ирландский роман Сэлли Мара
Перевел на французский Мишель Прель

Перевод с французского В.КИСЛОВА

Примечание Мишеля Преля

Никогда не известно, что у людей на уме. Вот так всегда: знаешь кого-нибудь лет двадцать, а потом, к своему великому удивлению, узнаешь, что он что-то сочиняет. Во время своих посещений Ирландии в период с 1932 по 1939 год я неоднократно встречался с Сэлли Мара. Сначала это была обыкновенная девчушка, примечательная лишь тем, что ее угораздило родиться в пасхальный понедельник 1916 года. Затем я увидел ее в обществе поэта Падрека Бэгхола. Робкая и почти миловидная девушка очень рано вышла замуж за эйрландца[1] (торговца скобяными товарами) из Корка, города весьма приятного.

Вернувшись после семилетнего перерыва в Эйре, я получил из рук Падрека Бэгхола запечатанный пакет: это была рукопись романа, который мы представляем сегодня французским читателям. Сэлли Мара поручила мне перевести роман на французский язык, поскольку его публикация на родном языке представлялась невозможной. Сама Сэлли Мара умерла очень просто и очень безвестно от какой-то болезни еще в 1943 году.

Прочитав (не без удивления) роман Сэлли Мара, я нанес визит ее супругу. Скобянщик из Корка, значительно пожирневший после смерти своей жены, сохранил о ней весьма смутные воспоминания; он совершенно не противился изданию этой книжки за пределами Эйре.

Каждый оценит по-своему «С ними по-хорошему нельзя». Я не думаю, что следует искать политико-историческую направленность в бесцеремонной манере изложения событий: не совсем так, судя по всему, происходило дублинское восстание в пасхальный понедельник 1916 года.

Ноябрь 1947 г.

I

— Боже, спаси короля! — закричал привратник, который прослужил тридцать шесть лет у некого лорда в Сассексе и оказался в один прекрасный день без работы, поскольку его хозяин исчез во время катастрофы «Титаника», не оставив ни наследников, ни стерлингов для содержания замка — «kasseul», как говорят по ту сторону канала Святого Георга. Вернувшись в страну своих кельтских предков, прислужник занял скромную должность в почтовом отделении на углу Сэквилл-стрит и набережной Эден.

— Боже, спаси короля! — громко повторил он, будучи верным подданным английской короны.

---

[1] От Эйре — национального названия Ирландии. (*Здесь и далее, кроме оговоренных случаев, — прим. перев.*)

© В.Кислов. Перевод, 1997

Служащий с ужасом взирал на то, как в почтовое отделение врываются семь вооруженных типов; он сразу же принял их за мятежных ирландских республиканцев.

— Боже, спаси короля! — тихо прошептал он в третий раз.

А прошептал он потому, что Корни Кэллехер, торопясь покончить с подобными верноподданническими проявлениями, всадил ему пулю между глаз. Из восьмого отверстия в черепе брызнули мозги, и тело прихвостня рухнуло на пол.

Джон Маккормик наблюдал краем глаза за расправой. Необходимости в ней он не видел, но выяснять было некогда.

Почтовые барышни раскудахтались не на шутку. Их было не меньше дюжины. На чистом английском или с ольстерским акцентом — поди разберись — они выражали явное недовольство по поводу того, что происходило вокруг.

— Разгоните этот курятник! — гаркнул Маккормик.

Гэллегер и Диллон принялись убеждать барышень, где словами, а где и жестами, в необходимости срочно покинуть помещение. Но одним надо было забрать свои дождевики, другим — найти свои сумочки; в их поведении чувствовалась некая растерянность.

— Вот дуры! — крикнул Маккормик с лестницы. — А вы чего ждете? Гоните их к черту!

Гэллегер схватил какую-то барышню и хлопнул ее по заднице.

— Но будьте корректны! — добавил Маккормик.

— Так мы никогда с ними не разберемся! — пробурчал Диллон, пытаясь увернуться от двух девиц, бегущих ему навстречу. Одна из них оттолкнула его, на бегу оглянулась и вдруг замерла.

— О! Мистер Диллон! — заскулила она. — Вы, мистер Диллон! А еще такой порядочный человек! И с ружьем в руках против нашего короля! Вместо того чтобы закончить мое кружевное платье!

Смутившийся Диллон почесал в затылке. Ему на помощь пришел Гэллегер; он пощекотал девушку под мышками и гаркнул ей в ухо:

— Пошевеливайся, ты, курва!

Девушка убежала.

Маккормик в сопровождении Кэффри и Кэллинена побежал на второй этаж. Как только их не стало видно, Гэллегер поймал следующую барышню и звонко хлопнул ее по заднице. Девушка подпрыгнула.

— Корректно! — проворчал он с негодованием. — Корректно!

В этот момент ему под ногу подвернулась еще одна пара ягодиц; мощный пинок подкинул мадемуазель, которая когда-то сдавала экзамены и даже правильно отвечала на вопросы по мировой географии и открытиям Грэма Бэлла.

— А ну давай! — орал Диллон, раздуваясь от мужества перед всей этой женственностью.

Ситуация начинала проясняться; женский персонал суетливо устремлялся к выходу, а оттуда выскакивал на набережную Эден или Сэквилл-стрит.

Два молодых телеграфиста ждали своей очереди, но их убеждать, как барышень, не стали; получив заурядные затрещины, они удалились, возмущенные подобной корректностью.

На улице наблюдавшие выдворение зеваки столбенели. Раздалось несколько выстрелов. Толпа начала рассеиваться.

— По-моему, освободили, — сказал Диллон и огляделся.

Девственницы больше не мозолили ему глаза.

II

На втором этаже руководящие работники вопросов не задавали. Идею выдворения они восприняли восторженно, по лестнице скатывались поспешно, а на тротуар падали незамедлительно.

Лишь директор выразил сопротивленческие поползновения. Звали его Теодор Дюран, происхождения он был французского. Но, несмотря на симпатию, которая

издавна связывала французский и ирландский народы, начальник почтового отделения на набережной Эден был предан душой и телом (а также душами своих многочисленных подчиненных, хотя это ему не помогло, как мы увидим чуть дальше) британским идеалам и поддерживал ганноверскую корону. В эту минуту он пожалел, что не надел смокинг или хотя бы костюм. Он даже пытался дозвониться до своей супруги, чтобы попросить ее привезти подобающее одеяние, но жили они далеко, да и телефона у них at home не было. Таким образом, пришлось встречать этих республиканских самозванцев в простой куртке. Пусть в битве при Хартуме[1] он и был одет в чесучу и грубый лен, но сейчас ему претило сражаться за короля в таком жалком наряде.

Джон Маккормик вышиб дверь ударом ноги.

— Боже, спаси короля! — заявил начальник почтового отделения, проявляя недюжинный героизм.

Героизм, впрочем, не успел проявиться полностью, поскольку Джон Маккормик раскроил патриоту череп — вжик-вжик — пятью пулями, выпущенными патологоанатомически точно и цинично.

Кэффри и Кэллинен оттащили труп в угол, Маккормик устроился в директорском кресле и закрутил телефонную вертушку.

— Алло! Алло! — прокричал он в трубку.

— Алло! Алло! — прокричали ему в ответ.

Тогда Маккормик изрыгнул пароль:

— Finnegans wake![2]

— Finnegans wake! — отрыгнули ему на другом конце провода.

— Это Маккормик. Мы заняли почтовое отделение на набережной Эден.

— Отлично. Мы на Главпочтамте. Все в порядке. Британцы не реагируют. Зелено-бело-оранжевый флаг поднят.

— Ура! — крикнул Маккормик.

— Держитесь, если будут атаковать, хотя это маловероятно. Все в порядке. Finnegans wake!

— Finnegans wake! — ответил Маккормик.

На Главпочтамте повесили трубку. Маккормик сделал то же самое.

Ларри О'Рурки вошел в кабинет. Он уже успел с присущей ему вежливостью склонить остальных чиновников — как теоретически, так и практически — к поспешной эвакуации. Все служащие были выдворены. Диллон, осмотрев помещение, это подтвердил. Теперь оставалось лишь запастись терпением и следить за тем, как будут разворачиваться события.

Маккормик закурил трубку и предложил товарищам сигареты.

Спустился Кэффри.

III

Кэллехер и Гэллегер с ружьями в руках стояли перед почтой. Зеваки держались на расстоянии и глазели. Сочувствующие, соблюдая такую же дистанцию, махали руками, шляпами, носовыми платками, выражая одобрение, а два инсургента время от времени потрясали ружьями в ответ. При этом особо пугливые прохожие отходили в сторону. Британцев в округе не наблюдалось.

На набережной, около пришвартованного норвежского парусника, слонялись скандинавские матросы; они взирали на происходящее, но от комментариев воздерживались.

Гэллегер спустился с крыльца и прошелся до угла Сэквилл-стрит. На мосту О'Коннела не было ни души. На другой стороне реки, облепив как мухи белокаменную статую Уильяма Смита О'Брайена, копошились любопытные; они тоже ждали.

---

[1] Имеется в виду сражение между англичанами и восставшими суданцами (1885), в котором англичане потерпели поражение.

[2] Поминки по Финнегану (Finnegan's wake) — название ирландской патриотической баллады, ставшие впоследствии названием романа Джеймса Джойса.

Воздав — про себя — почести великому заговорщику, Гэллегер повернулся спиной к водам Лиффи и стал обозревать Сэквилл-стрит. В непосредственной близости возвышался украшенный пятью десятками бронзовых ликов памятник О'Коннелу, отпугивающий любопытных своей простреливаемостью; рядом стоял трамвай, освободившийся от пассажиров, кондукторов и вагоновожатых. Чуть дальше какой-то прохожий застыл перед статуей П. Мэтью. Гэллегера мало интересовали причины подобного поклонения; он мысленно осквернил, что, кстати, делал постоянно, даже натощак, память этого увековеченного поборника воздержания.

Ирландский флаг развевался и над домом № 43 — штаб-квартирой Центрального комитета Национальной лиги, и над гостиницей «Метрополь», и над Главпочтамтом. Поодаль пятидесятиметровая колонна возносила в сырое небо каменного Нельсона.

Прохожие, приезжие, любопытствующие, переживающие, праздношатающиеся не появлялись. Время от времени какой-нибудь инсургент или какие-нибудь инсургенты перебегали улицу с ружьем или револьвером в руках.

Британцы по-прежнему безмолвствовали.

Гэллегер улыбнулся и вернулся на свой пост.

— Все в порядке? — спросил Кэллехер.

— Стяг Эйре реет над ключевыми объектами О'Коннел-стрит, — ответил Гэллегер.

Разумеется, он никогда не называл эту улицу Сэквилл-стрит.

— Finnegans wake! — закричали они в один голос, высоко потрясая оружием. Сочувствующие на другом берегу поддержали, зеваки отошли в сторонку.

Кэффри стал закрывать окна.

IV

И все-таки, говорила себе Герти Гердл, и все-таки эти современные уборные так далеки от совершенства, эти водосливные устройства производят такой шум, о my God! ну прямо гул мятежной толпы, правда, я никогда не слышала гула мятежной толпы, нет, просто толпы, да, скопления людей, которые собираются и кричат, это водосливное устройство производит аналогичные звуки, этот непрекращающийся вой, это бульканье наполняющегося сливного бачка, когда же это прекратится? нет, до совершенства, конечно же, еще далеко, не хватает некоей конфиденциальности. Мне следует поправить прическу. Чтобы понравиться кому? хотелось бы мне знать. Мой дорогой суженый, командор Сидней Картрайт, и когда он еще приедет, чтобы полюбоваться на мою красивую гриву? Когда я смогу его увидеть, моего дорогого суженого? Когда? А пока, Господи всемилостивый, кому я могу нравиться? Опять эти люди, которые непонятно куда бегут. Господи всемилостивый, и зачем они бегут? Но я думала не об этом. Я думала о своих волосах. Две минуты назад все эти люди заходили, забéгали, запрыгали. Все это началось только что. Вместе с шумом водосливного устройства прозвучало что-то. Что же? Что-то вроде... выстрела. Взрыва. Какая чушь. Самоубийство. Может быть, это господин Дюран покончил с собой. Он так меня любит. И так почтительно. Я же его не люблю. Ну вот, я почти привела в порядок свои волосы. Выстрел. Он покончил с собой из-за меня. Какая глупость. А эти люди все бегают. С ума они посходили. Господи всемилостивый. Какая я дура. Господи всемилостивый, Господи всемилостивый. Да, что-то взорвалось. Загорелось. Почему же они не кричат «Пожар!», если в доме пожар? Они не кричат «Пожар!». Это из-за слива воды я подумала о пожаре. Наверное, уже пора отсюда выходить. Мистер Кейн опять подумает, что я долго отсутствовала. Ох уж эта работа. Ах, они наконец-то перестали бегать. Наконец-то. Ох уж эта работа. Мистер Кейн со своими седыми волосами и розовой перхотью. Придется терпеть его еще какое-то время. Я никогда не видела ни восстания, ни революции. Здесь об этом поговаривают. Здесь об этом поговаривают. Здесь об этом поговаривают. Чем больше говорят о войне во Франции, тем прочнее мир здесь. Какая умиротворенность. Какое затишье. Они больше не бегают. А почему это они больше не бегают? Больше не. И меньше не. Вообще не.

Пора выходить. Почему же я не выхожу? Почему же я не выхожу? Почему же? Ладно. Я сделала все, что мне надо было. Какая тишина. Итак, положи руку на дверную ручку-задвижку. Поверни ручку. Тихонько открой дверь. Почему тихонько? К чему все эти предосторожности? Господи всемилостивый, неужели я сошла с ума? Какая глупость. Я открываю дверь.

V

Открыв дверь, она увидела в коридоре какого-то мужчину с револьвером в руке. Он ее не заметил. Она быстро закрыла дверь и, прислонившись к раковине, схватилась за сердце, бьющееся изо всех сил о реберные прутья.

VI

— Я все обошел, — сообщил Ларри О'Рурки. — Ни души. Кэффри, Кэллехер и Гэллегер забаррикадировали весь первый этаж, кроме входной двери. Ее тоже можно завалить, если понадобится.

— Бояться нам некого, — сказал Диллон.

— И что это значит? — спросил Маккормик.

— А то, что не понадобится ее заваливать.

— Думаешь, англичане не объявятся?

— Нет. Им сейчас не до этого. Дело в шляпе.

— И что это значит? — спросил Маккормик.

— А то, что они даже стрелять не будут, сразу объявят капитуляцию.

— Брехня, — сказал Маккормик.

О'Рурки пожал плечами:

— Чего спорить. Увидим. А пока будем выполнять приказ.

— Чего тут выполнять, — усмехнулся Диллон. — Сиди и жди.

— Значит, будем ждать, — сказал О'Рурки.

Маккормик кивнул в сторону трупа Теодора Дюрана.

— Надо вынести его отсюда, а то будет здесь лежать и гнить.

— Не успеет, — отозвался Диллон. — Сегодня же вечером отдадим его британцам, а они его похоронят. Вот так. Подарочек на прощанье.

— Надо бы перенести его в другую комнату, — сказал Маккормик.

Он посмотрел на труп и брезгливо поморщился, хотя винить было некого, чего уж тут.

— А пускай О'Рурки разрежет его на кусочки, — предложил Диллон, — вынесем по частям и утопим в клозете.

Маккормик ударил кулаком по столу; из подпрыгнувшей чернильницы брызнуло черным.

— Черт побери! Изволь уважать мертвых!

— И потом, он явно заблуждается насчет занятий медициной, — добавил О'Рурки, который в этом году заканчивал медицинский колледж.

— Может быть, вы не кромсаете трупы?

— Сейчас не время об этом рассуждать, — сказал Маккормик.

— Самое время, и у нас его больше чем достаточно, — ответил Диллон. — Больше чем достаточно, пока эти британцы не надумают сдаться. Самое время порассуждать. Объясни-ка мне, Ларри О'Рурки, в чем же я явно заблуждаюсь, утверждая, что ты способен разрезать этого чиновника на мелкие кусочки? Времени на объяснения у тебя, Ларри О'Рурки, хоть отбавляй, поговорим об этом, если все равно, о чем говорить, а заняться нам все равно больше нечем до тех пор, пока нам не объявят, что британцы покинули Дублин и вернулись к своим грозовым небесам, усеянным цеппелинами.

— Грозен и не ровен час, — объявил Маккормик. — Диллон, сейчас не время впадать в глупый оптимизм.

— Вот это правильно, — добавил О'Рурки.

— Увидите сами, увидите. Британцы...

— Диллон, здесь ко́мандую я. Заткнись.

Маккормик, вынужденный скрепя сердце призвать к соблюдению дисциплины — а это залог успеха любого восстания, — нервно затеребил сургучную печать. Кэллинен, развалившись в кресле и не вынимая рук из карманов, высматривал на потолке мух и сокрушался: так высоко не доплюнешь. О'Рурки, переместившись к окну, разглядывал пустынную набережную и мост О'Коннел с редко случающимися прохожими. Единственным объектом, проявляющим активность, оказался лихорадочно трясущийся норвежский парусник. О'Рурки это не понравилось. Он повернулся к Маккормику. Тот, наигравшись с сургучной печатью, зажатой между носом и верхней губой, и машинально разукрасив свое лицо коричневыми усами, вяло приказал Кэллинену:

— Отнеси чиновника в соседнюю комнату. Диллон тебе поможет.

Что они и выполнили.

VII

Не оставаться же мне здесь до скончания дней своих, говорила себе Герти. Боже милостивый, значит, это они, республиканские бандиты, разграбили нашу почту. Наверное, они уже ушли. Нет, по-моему, не ушли. Ушли все остальные. Все остальные, то есть наши. И выстрел все-таки действительно раздавался. Значит, это самый настоящий мятеж. Их революция. И этот мужчина с револьвером — республиканец. Ирландский республиканец. Боже милостивый! Боже, спаси короля! А я здесь, у них в руках. Почти у них в руках, поскольку эта дверь отделяет меня от них, защищает меня от них. Дверь. Но ведь дверь можно вышибить. Они ее вышибут, и вот тогда я окажусь у них в руках. Одна. Одна. А сколько их там? И эта тишина. Неужели они выбьют дверь? Конечно же нет. Конечно же нет. Они не осмелятся. Это ДАМСКИЙ туалет. Ах, ах, ах. Они не осмелятся войти в ДАМСКИЙ туалет. Ах, ах, ах. И я останусь взаперти до тех пор, пока не придут британцы и меня не освободят. Если, конечно, среди мятежников нет женщин. Или хотя бы одной женщины, которая неизбежно придет сюда и попытается войти. И... и... и они вышибут дверь. Они вышибут дверь.

VIII

Гэллегер и Кэллехер перенесли труп привратника в маленький пустой кабинет и пошли проведать Кэффри, который по-прежнему стоял на посту перед дверью, выходящей на набережную Эден. Праздношатающиеся и сочувствующие исчезли. Какой-то велосипедист в цилиндре и рединготе проехал по мосту О'Коннела; ему было лет двадцать пять. У статуи О'Коннела он развернулся и поехал в сторону Тринити-колледжа.

— Все спокойно, — сказал Гэллегер.

— Спокойней не бывает, — добавил Кэффри.

Кэллехер достал пачку сигарет, и они закурили, опершись на свои ружья.

Перед ними готовился к отплытию норвежский парусник. Капитан суетился, помощник отдавал команды.

— Викинги смываются, — сказал Кэффри. — Сдрейфили.

— Правильно делают, — заметил Гэллегер. — Пускай проваливают вместе с британцами и прочими саксонцами.

Тем временем матросы отдали швартовы; маленький парусник отчалил и стал медленно спускаться по Лиффи, держа курс в открытое море. Инсургенты помахали рукой на прощанье. Скандинавы ответили тем же.

— Счастливого пути! — крикнул Кэллехер. — Счастливого пути.

Маленький парусник плыл быстро. Вскоре он достиг излучины и скрылся из виду. Инсургенты продолжали молчать. Докурили они одновременно.

— Странный мятеж, — вздохнул Кэффри. — Странный мятеж. Я даже не представлял себе, что все произойдет так просто.

— Ты, может быть, считаешь, что все закончилось? — спросил Гэллегер.

— А ты так не считаешь?

Гэллегер и Кэллехер рассмеялись.

— Думаешь, британцы возьмут и просто так уйдут?

— Они всегда долго раскачиваются.

— Может быть, и так.

— А потом, занятые другой войной, они, может быть, не захотят ввязываться в эту, увидев, на что мы способны.

Он прервал свою речь; автомобиль с открытым капотом и зелено-бело-оранжевым флажком подъехал на скорости и, скрипя тормозами, остановился у почты. Какой-то тип выскочил из машины и подбежал к ним.

— Finnegans wake! — прокричал он.

— Finnegans wake! — ответили они и угрожающе попятились на всякий случай.

— Вы заняли это здание? — строго спросил тип.

— Да.

— Сколько вас?

— Семь человек. Вы можете поговорить с нашим командиром, Джоном Маккормиком.

Но командир, уже предупрежденный О'Рурки, сам подошел к окну.

— Finnegans wake! — крикнул он.

— Finnegans wake! — ответил тип. — Вы командир?

— Я.

— Какое у вас оружие?

— Винтовки и револьверы.

— Боеприпасы?

— Все, что в карманах.

— Продовольствие?

— Нету.

— Ладно. Идите сюда. Я дам вам пулемет и несколько ящиков боеприпасов и продовольствия.

— Будем держать осаду? — спросил Кэффри.

— Может быть. Выгружайте.

Кэффри остался у дверей. Гэллегер и Кэллехер потащили скорострельный инструмент и ящики. Диллон и Кэллинен смотрели на них с интересом.

— Вы знаете, куда нужно поставить пулемет? — спросил тип.

— Знаем, — ответил Маккормик.

Но тип не был в этом уверен.

— Пулемет поставьте у этого окна на первом этаже и направьте его в сторону моста.

IX

Вот остановилась какая-то машина. Наверное, к ним кто-то приехал. Или же они сами уезжают. Кто они? Сколько их? Может быть, я их знаю? Не всех, конечно, нескольких. Или хотя бы одного из них. Одного-то уж наверняка. Среди всех этих мужчин, которых я видела здесь, в Дублине, в почтовом отделении на набережной Эден, не могло не быть республиканцев. Одного-то из них я смогла бы узнать. Нет. Женщины с ними нет. Это точно. Иначе она бы уже давно сюда пришла. Что бы произошло, если бы я смогла узнать одного их этих республиканцев? Вдруг оказалось бы, что он меня ненавидит. Что именно его я заставила долго ждать у окошечка. Что именно его я попросила переписать адрес, потому что он не очень хорошо знал английский. Потому что он откуда-нибудь из Коннемары. А среди них есть такие, которые хотят опять говорить по-ирландски. Как если бы сэр Дюран вздумал говорить по-французски. Сэр Дюран, что же с ним стало? Может быть, они взяли его в плен? Или убили? Может быть, поэтому раздался тот выстрел. Бедный сэр Дюран, который так меня

любил. И так почтительно. Но, может быть, ему удалось спастись. Может быть, он оказался в числе тех, кому удалось убежать. Среди всей этой беготни я, может быть, слышала шум его шагов. Обычно он так важно вышагивает. А ему, может быть, пришлось бежать. Ах, ах, ах. Он — и вдруг бежит. Ах, ах, ах. Такой важный и так меня любил. А я по-прежнему так и сижу здесь взаперти.

X

— Место для него очень хорошее, — сказал тип. — Ваши люди умеют с ним обращаться?

— Конечно, — ответил Маккормик, спустившийся вниз, чтобы посовещаться с приехавшим стратегом.

Посовещавшись, они распростились, и машина уехала.

— Ну как вам все это нравится? — спросил Маккормик.

Они посмотрели на ящики с боевыми и съестными припасами.

— Это радует, — сказал Кэллехер.

— Так-то будет получше, — сказал Гэллегер.

— Только выпивки не хватает, — сказал Кэффри.

— Кстати, — вспомнил Маккормик, — а что стало с тем парнем, которого вы подпекли?

— Мы отнесли его в маленький кабинет.

— А ваш подопечный? — спросил Кэффри.

— Он тоже в маленьком кабинете.

— Если начнется заваруха, — заметил Кэллехер, — придется от них избавиться.

— Я тоже так думаю, — согласился Маккормик.

— Да бросить их в Лиффи, и все, — предложил Гэллегер.

— Это будет некорректно, — произнес Маккормик.

— Предположим, — сказал Гэллегер, — что британцы надумают нам ответить и нам придется здесь окопаться и сдерживать их, скажем, какое-то время.

— Все это только предположения, — сказал Кэффри.

— Так вот, — продолжал Гэллегер, — будет глупо сидеть здесь с двумя трупами на шее. Мы могли бы закинуть их в сад Изящных искусств. Ирландская Академия как раз за почтой.

— Он думает только о том, чтобы закинуть трупы, — сказал Маккормик.

— Пускай останутся здесь! — вскричал Кэффри. — Не будем же мы сидеть здесь целую неделю!

— Он по-своему прав, — заметил Кэллехер.

— Почему бы нам не поговорить о напитках, — осадил Кэффри. — Их-то нам здорово не хватает. Если прижмет, то от этой нехватки нам придется туго.

— Он по-своему прав, — заметил Кэллехер.

— Да, действительно, — согласился Маккормик. — Пусть двое из вас сходят за ящиком виски и двумя-тремя ящиками пива в ближайшую таверну на О'Коннел-стрит.

— А на какие шишиллинги? — спросил Кэффри.

— Выпишите ордер на конфискацию.

— Да лучше взять бабки прямо здесь, на почте, — возразил Кэффри.

— Это будет некорректно, — осадил его Маккормик.

— Да, лучше выписать ордер на конфискацию, — сказал Кэллехер.

Маккормик вызвал Диллона и Кэллинена, чтобы те сменили Кэффри и Кэллехера на время конфискательной экспедиции.

Диллон и Кэллинен восторженно замерли перед пулеметом.

XI

Кэффри и Кэллехер распахнули дверь таверны.

— Эй, — крикнули они, так как в таверне не было ни души.

Наполовину осушенные пивные кружки обтекали на столах, которых еще не коснулась бдительная тряпка. На полу топорщилось несколько табуреток, опрокинутых торопящимися клиентами.

— Эй, — крикнули Кэффри и Кэллехер.

Из-за стойки высунулась часть мужской головы. Мужчина явно побаивался. Сначала появилась челка, срезающая большую часть лба, затем маленькие усики, как у австрийского капрала.

— Finnegans wake! — заорали Кэллехер и Кэффри.

— What do you say?[1] — спросил мужчина.

— Finnegans wake! — завопили инсургенты.

— О! Я, знаете ли, — сказал Смит (так звали мужчину из таверны), — я, знаете ли, политикой не занимаюсь. Боже, спаси короля, — добавил он сдуру и с испугу.

— Вмочить ему? — предложил Кэффри.

— Командир сказал, чтобы все было корректно, — удержал его Кэллехер.

Он схватил бутылку и разбил ее о голову Смита; темный «Гиннес», стекая по кровосочащемуся лицу бармена, светлел и окрашивался в гранатовый «Стаут». Смит был жив, только слегка оглушен.

— Дай нам ящик виски, — обратился к нему Кэффри, — и десять ящиков пива.

— Мы выпишем тебе ордер на конфискацию, — добавил Кэллехер.

Опираясь руками о стойку, контуженный Смит взирал мутным взглядом на стаут-гранатовую лужу, расплывающуюся по прилавку из красного дерева.

— Пошевеливайся, предатель, — прикрикнул Кэффри и легонечко его стукнул.

Бармен дернулся, растратив на это последние силы, и, брызжа кровью, рухнул на пол.

— И без него обойдемся, — сказал Кэллехер. — Но ордер на конфискацию все-таки выпиши.

— Выпишешь ты, — сказал Кэффри. — А я схожу за тачкой.

— А почему я?

— Не понял.

— Почему я должен выписывать ордер на конфискацию?

Кэффри почесал в затылке.

— Потому что я не буду.

— Почему не будешь?

Кэффри почесал в затылке.

— Да пошел ты!

— Это не причина, — сказал Кэллехер.

Вокруг головы бармена растекалась лужа крови, такая глубокая, что Кэффри увидел в ней, как в зеркале, свое отражение.

После чего решил откровенно признаться:

— Причина есть.

— Скажи какая. Мы теряем время.

— Я не умею писать.

Кэллехер посмотрел на него свысока. Они были из разных групп и до этого совсем друг друга не знали. Уничижительно рассматриваемый Кэффри услышал сначала:

— Какое убожество!

А затем:

— Надо было сразу так и сказать. Ладно, иди за тачкой, а я выпишу ордер на конфискацию.

Кэффри посмотрел на бармена, который лежал и совсем не дышал; и даже кровью больше не брызгал.

— Как ты думаешь, он скончался?

— Иди за тачкой, — сказал Кэллехер.

---

[1] Что вы сказали? (*Англ.*)

XII

Что ж, я так и буду стоять здесь часами, говорила себе Герти, поглядывая на наручные часы и даже не зная, что обязана их изобретением Блезу Паскалю. Я здесь уже два с половиной часа. Как это утомительно. Я устала, устала, устала. Что ж, я так и буду стоять здесь часами. Все это время эти инсургенты шумели. Поднимались и спускались по лестнице. Похоже, таскали что-то тяжелое. Боже милостивый, может быть, они хотят взорвать почту. Надо спасаться. Спасаться. Нет. Они не взорвут почту. Что ж, я так и буду стоять здесь часами. Но не садиться же мне на этот стульчак. Какой ужас. Эти республиканцы. Вот как они унижают подданную Его Британского Величества. Фу! Здесь без гуннов не обошлось. Не садиться же мне на этот стульчак. Какой позор. Какое унижение. Но я так устала, так устала. О Боже милостивый, нет, я не могу, я не буду, я не сяду. Если у меня не будет уважительного для этого повода. Если у меня не будет законного на это основания. Так вот же оно, основание. Так вот же оно. Да. Теперь я могла бы сесть. Отдохнуть. Я так устала. Так устала.

XIII

Ящики виски, «Гиннеса» и пулеметные ленты были осторожно, но беспорядочно водворены в комнату по соседству с маленьким кабинетом, в котором временно находились два трупа британских служащих, пущенных в расход по случаю восстания.

— Все тихо, — сказал Маккормик и поднялся на второй этаж.

Кэллехер сидел в задумчивости перед пулеметом. Гэллегер и Кэффри — внизу, на крыльце; придерживая ногами ружья, они вели разные беседы.

— На острове, где я родился, — рассказывал Гэллегер, — а он называется Иниски, очень почитают грозы и бури из-за кораблекрушений. После них мы бегаем по отмелям и собираем все, что выбрасывает море. Можно найти все что угодно. Хорошо живется на нашем маленьком острове Инниски.

— Зачем же ты оттуда уехал? — спросил Кэффри.

— Чтобы сражаться с англичанами. Но когда Ирландия будет свободной, я вернусь на Инниски.

— Так ты возвращайся прямо сейчас, — сказал Кэффри, — к своим морским отбросам: вдруг тебе повезет?

— Было б здорово. У нас в деревне для этого есть специальный камень.

— Камень?

— Да. Он укутан во фланелевую ткань, как младенец в пеленки. Бывает, что хорошая погода стоит очень долго, жрать нечего, хоть подыхай с голоду, тогда раскрывают камень, проносят его вокруг острова и обязательно вдоль прибрежных скал, и это срабатывает каждый раз: небо чернеет, корабли сбиваются с курса, и на следующий день можно собирать обломки, а среди них все остальное: консервы, астролябии, головки сыра, счетные линейки...

— Нарочно не придумаешь,— прокомментировал Кэффри, — уж на что мы отсталые на нашем острове, но с твоим даже не сравнить. К счастью, все это скоро изменится.

— Что значит отсталые?

— Нет ни одной страны в мире, где бы по-прежнему поклонялись булыжникам. Разве что какие-нибудь дикари, язычники в Австралии или в Мексике.

— Ты, может быть, хочешь сказать, что я дикарь?

— Конечно же нет, — сказал Кэффри. — Смотри, какая-то лялька.

Какая-то молодая женщина решительно шла по мосту О'Коннела.

— А она ничего, — заметил Гэллегер, обладающий, как и все уроженцы Иниски, отменным зрением.

— Смелая девчонка, — заметил Кэффри, который умел ценить это качество в других, не находя ничего похожего для сравнения в себе самом.

Женщина дошла до угла набережной Эден.

— Хорошенькая, — сказал Гэллегер. — Вроде бы я ее знаю.

— К нам небось, — сказал Кэффри. — Была бы она чуть-чуть покрупнее.

Она перешла улицу и остановилась перед дверью почты. Покраснела.

— Что же вы, мадемуазель, — обратился к ней Гэллегер, — разгуливаете в такой день? В Дублине сегодня, знаете ли, заваруха.

— Знаю, — ответила девушка, опустив глаза. — Я уже на себе это почувствовала.

— У вас были неприятности?

— А вы меня не помните?

— Мне кажется, что я вас знаю, но я никому не причинял зла.

— Вы уже забыли? Вы мне... Вы меня... Вы меня пнули ногой.

— Вот видишь, — сказал Кэффри, — ты был некорректен.

— Вы были здесь с остальными почтовыми барышнями?

Смущенный Гэллегер разглядывал дуло своего ружья.

— Я вернулась за своей сумочкой, которую забыла из-за вас, мужлан вы этакий.

— Мог бы и сам за ней сходить, — сказал Кэффри.

— Дудки! — ответил Гэллегер.

— Ты невежлив, — сказал Кэффри.

— Как будто дел других нету, — проворчал Гэллегер.

— Британцы ведь еще далеко, — сказал Кэффри.

— Так вы не видели мою сумочку? — спросила дамочка. — Она такая зеленая с золотой цепочкой, а в ней один стерлинг, два шиллинга и шесть пенсов.

— Не видел, — ответил Гэллегер.

Ему так хотелось ее пнуть или шлепнуть — это уж как придется — по заднице, но Кэффри, похоже, склонялся к этой пресловутой корректности, настоятельно рекомендованной Маккормиком, корректности, которая, чего доброго, превратится в настоящую галантность.

— Схожу посмотрю, — сказал он.

— Да брось ты, — сказал Гэллегер.

На пороге появился Кэллехер.

— Что-нибудь не так? — озабоченно спросил он.

— Она потеряла свою сумку, — сказал Гэллегер.

— А она ничего, — оценил Кэллехер.

— Ой, ну что вы! — промолвила покрасневшая барышня.

— Раз вы оба остаетесь здесь, — решил Кэффри, — я схожу поищу ее сумку.

— Ой, ну до чего же вы любезны! — произнесла барышня, зардевшись не на шутку.

— Как будто дел других нету, — проворчал Гэллегер.

XIV

Теперь, когда я уже все сделала, не могу же я оставаться на этом стульчаке. У усталости есть свои пределы. Надо набраться мужества. Мужества. Я должна быть мужественной. Как истинная англичанка. Как подданная британской империи. О Господи, о мой король, дайте мне силы. Я встаю. Я спускаю воду. Нет. Не спускаю. Они услышат шум. Это привлечет их внимание. Сила — это еще не значит неосторожность. Между ними большая разница. По крайней мере, так говорит Стюарт Милль. Разумеется. Вероятно. Но не сливать воду после того, как... гм... это негигиенично. Да. Нет. Действительно. Это негигиенично. Это непорядочно. Это не по-британски. Я чувствую, что они рядом. Кажется, я слышу, как они разговаривают. Скоты. Инсургенты. Если бы они услышали шум сливаемой воды, они вряд ли смогли бы понять, что это значит. Они наверняка не знают, что это такое. Все они, наверное, приехали из деревни, а там не существует никакой гигиены. Может быть, кто-нибудь из них приехал чуть ли не из Коннемары или даже с островов Аран или Блэскет, на которых по-английски не говорят, а коснеют в этой невежественной кельтской тарабарщине, не ведая публичных туалетов нашей современной и имперской цивилизации, а вдруг кто-нибудь из них приплыл с самого острова Инниски, где, как мне рассказывали, поклоняются укутанному в шерсть булыжнику, вместо того чтобы прекло-

няться перед Святым Георгом или Господом Богом, покровительствующим нашей славной армии. Кроме «Гиннеса» и своих женщин, они больше ничего не знают; а все женщины в гипюре, в гипюре с ирландскими стежками. А это уже выходит из моды. И почему я не поехала во Францию, например в Париж? Здесь не умеют одеваться. А я все-таки кое-что понимаю в новинках моды. Но здесь у них одни ирландские кружева на уме.

XV

— Что здесь делает эта дурочка? — раздался голос Ларри О'Рурки.

Три товарища вздрогнули, а Post Office'ная красотка густо покраснела.

— Что она здесь делает? — повторил Ларри О'Рурки. — Вы что, сюда пришли в бирюльки играть? Впрочем, — добавил он, оглядев девушку, — нашли кого бирюлить.

— Ах! — ахнула девушка, которая все поняла, так как в дублинских почтовых отделениях встречается персонал разнополый и иногда барышням приходится знакомиться с современными понятиями о половой жизни.

— Кто вы такая? — спросил Ларри О'Рурки.

— Она пришла за своей сумкой, — сказал Гэллегер.

— Я как раз собирался за ней сходить, — сказал Кэффри.

— У вас есть дела поважнее, тем более что сейчас начнется. Нам позвонили из Комитета: британцы понемногу оживают.

— Ничего они не сделают, — сказал Кэффри.

— Мадемуазель, во всяком случае вам было бы лучше остаться дома, — посоветовал Ларри О'Рурки.

— Наконец-то вы заговорили вежливо. Лучше поздно, чем никогда.

— Кэффри, сходи за ее сумкой, и пусть проваливает.

— А я могла бы сама за ней сходить?

— Нет. Здесь женщинам делать нечего.

— Я пошел, — сказал Кэффри.

Почтовая барышня застыла в ожидании, разглядывая этих людей и удивляясь их необычному виду, их странным действиям и их болезненному увлечению огнестрельным оружием. Казалась она скорее брюнеткой, по виду довольно фривольной, роста невысокого, телосложения пышного и архитектонического, хотя и скрытого под скромной одеждой. Ее лицо украшали вздернутые к небу ноздри, а в общем и целом было в ней что-то вроде бы испанское.

Как бы там ни было, прошитая свинцовой очередью в области живота, барышня рухнула на землю мертвой и окровавленной. Это подоспели британцы. Они долго раскачивались, но в конце концов раскачались: понабежали со всех сторон, управляя оружием более или менее автоматически, повыскакивали справа и слева, наводя на инсургентов прицел более или менее гипотетически.

Кэллехер, Кэллегер и Ларри О'Рурки сделали три проворных шага назад и захлопнули дверь. Кэллехер прыгнул к «максиму» и начал поливать — о вы, струи смертоносны! — бульвар Бакалавров. Остальные орудия повстанцев, установленные в других местах, обстреливали мост О'Коннела, на котором, впрочем, никого не было. От поверхности парапетов, битенгов и тротуаров отлетали во все стороны осколки гранита и куски асфальта. То там то сям заваливались британцы. Их сразу же поднимали и уносили, поскольку медицинское обслуживание у британцев на высоте.

Прошитая барышня из Post Office'а продолжала лежать под окнами. Окоченевшие конечности покойной были подняты вверх. Из-под задранной юбки торчали ноги в черных хлопчатобумажных чулках. Легкий морской бриз ворошил шуршащие кружева. Выше черных чулок виднелась узкая полоска светлой кожи. Из продырявленного живота вытекала алая кровь. Лужа расползалась вокруг этого тела, несомненно девственного и бесспорно желанного, по крайней мере для подавляющего большинства нормальных мужчин.

Гэллегер встал у окна и приложил винтовку к плечу. Слева от мушки он заметил

несчастную барышню. Ее ноги. Он полез в карман за патронами и наткнулся на некоторое отвердение своего естества. Гэллегер томно задышал, а его бесполезную винтовку неотчетливо повело из стороны в сторону. В силу чего немало британцев смогли подобраться к мосту О'Коннела.

XVI

Услышав выстрелы, Кэллинен и Диллон прижались к стене. Отважный командир Маккормик встал и запросто подошел к окну, держа в руке револьвер.

— Они на углу набережной Ормонд и Лиффи-стрит.

— Их много? — спросил Диллон.

— Жмутся по углам. Как и вы.

Он прицелился в британца, пробегавшего между штабелями распиленных досок — строительного дерева из Норвегии, но не выстрелил.

— Что толку...

Переведя дыхание, Диллон и Кэллинен подобрали свои ружья и заняли места у окон. Этажом выше пулемет Кэллехера выпустил две-три очереди.

— Работает, — с удовлетворением отметил Кэллинен.

— К ним идет подкрепление со стороны набережной Крэмптон и набережной Эстон, — объявил Маккормик.

Над его головой просвистела пуля, но, будучи отважным командиром, он высунулся из окна.

— Смотри-ка, малышку отсургучили, — произнес он, заметив тело почтовой барышни. — Как же это ее припечатали? — прошептал он. — Бедняжка. И платье задралось. Если бы не шлепнули, умерла бы от стыда. Это некорректно.

Его подчиненные несколько осмелели: забыв об угрожающе-свинцовых воздушных поцелуях, посылаемых британским оружием, они таращили глаза на умерщвленную. Сверху смотреть было не так уж и интересно, и они снова принялись стрелять.

XVII

«Все-таки, — говорил себе Гэллегер, вытирая липкую руку о штанину, — то, что я сделал, так гадко. А вдруг это приносит несчастье и теперь я влипну в какую-нибудь историю? О Дева Мария, заступись. О Святая Дева Мария, понимаешь, это все эмоции».

Около него срикошетила пуля.

Он поднял ружье, закрыл глаза и выпалил наугад.

XVIII

Кэффри совершил два открытия одновременно: нашел дамскую сумочку и осознал, что все эти сражения ему совсем не по душе. Его, чернорабочего на пивоварнях «Гиннес», всегда воротило от английского короля. Сия своеобразная антипатия к англосаксонскому и ганноверскому трону привела Кэффри к участию в этом ну просто омерзительном бунте. Восстание — это не шуточки. Здесь приходилось не сладко. Он слышал, как свистели пули и осыпалась штукатурка.

Он положил сумку на стол, замер и побледнел от боли в животе.

Здорово же его прихватило.

Ни с того ни с сего.

Ему стало стыдно. В силу своей необразованности, то бишь полной безграмотности, он не ведал, что подобное случалось даже с общепризнанными храбрецами. Он уже собирался разрешить эту проблему на месте и даже схватился за подтяжки изумрудно-зеленого цвета, как вдруг ему опять стало стыдно.

Он вспомнил приказы Джона Маккормика о необходимости соблюдать корректность.

Хотя его память и была слегка взбудоражена недавними инцидентами, он вспомнил, что видел в коридоре, слева от лестницы, две двери, разительно отличающиеся по виду от дверей кабинетных. Он заметил эти две двери мельком, на ходу, во время охоты за медлительными барышнями при захвате объекта. Он подумал, что эти двери могли бы иметь какое-то отношение к его насущным потребностям.

Уступая во всеуслышание высказанному желанию Маккормика оставить почтовое отделение на набережной Эден после оккупации таким же чистым, каким они нашли его до, позеленевший Кэффри, держась рукой за живот, побрел к дверям в коридоре, слева от лестницы.

За относительно короткое время взмокший от пота Кэффри добрался до первой из двух дверей. На ней рельефно выступало слово LADIES. Но Кэффри не умел читать даже по-ирландски. Чего уж тут говорить про английский, язык мудреный до невозможности. Эти шесть букв казались ему волшебной формулой, способной вернуть временно утраченную доблесть. Он повернул ручку, но дверь не открыл. Он повернул ручку в обратную сторону, но дверь не открылась. Он вернулся к первоначальной тактике, но дверь не открылась. Он потянул дверь на себя. От себя. Дверь не поддавалась. Тогда он понял, что она заперта. Это его огорчило прежде всего из-за сильного желания проникнуть внутрь, а потом, как-никак он играл в мировой истории — именно в этот момент и конкретно в этом месте, *hic et nunc*[1], — роль инсургента; Кэффри стал обдумывать сложившуюся ситуацию.

Как известно, ирландский менталитет не укладывается в рамки ни картезианского теоретизирования, ни экспериментального изучения. Далекое от французского или английского, достаточно близкое к бретонскому, ирландское мышление полагается на «интуицию». Отчаявшись открыть дверь, инсургент почувствовал *ankou*[2], что там кто-то заперся! От этого *anschauung*[3] у него словно все оборвалось внутри. Вытирая пот, стекающий по его инсургентской роже, Кэффри забыл о своих эгоцентрических позывах; вспомнив вдруг *d'un seul coup d'un seul*[4] о своем долге, он решил доложить Маккормику о только что сделанном открытии.

XIX

Сквозь перестрелку Гертруда различила приближающиеся шаги. Довольно нерешительные. Шел мужчина. Может быть, раненый. Она почувствовала, как он прислоняется к двери. Она увидела, как ручка повернулась влево, потом вправо, потом влево, потом вправо. Она услышала, как он толкает дверь, пытаясь ее открыть. Потом тишина. Затем сквозь перестрелку она различила удаляющиеся шаги. Но теперь уже решительные. Пятка четко отбивала шаг.

Все это время она ни о чем не думала. Абсолютно ни о чем.

Затем она задумалась, довольно бессвязно, о том, что ее ожидает. Ей не хватало деталей для полного оформления своего страха. Таким образом, ей было, собственно говоря, и не страшно. Точнее, совсем не страшно. Она парила над бездной в полном неведении. Она догадывалась, что события ближайшего будущего превзойдут все ее ожидания.

Она машинально открыла сумочку и достала расческу. У нее была короткая стрижка — пока еще редкость в Дублине, новая мода. Рассмотрев себя в зеркале над раковиной, она себе понравилась. Она нашла себя небезопасно красивой. Она провела расческой по волосам, медленно, спокойно. От слабого прикосновения черепахового гребешка к коже на голове и легкого покачивания сережек ее бросило в очень-очень приятную дрожь. Она пристально посмотрела себе в глаза, как будто желая себя загипнотизировать.

Времени больше не оставалось, перестрелка закончилась.

---

[1] Здесь и сейчас (*лат.*).
[2] Кельтицизм для обозначения термина «интуиция». (*Прим. Мишеля Преля.*)
[3] Германизм для обозначения термина *ankou*. (*Прим. Мишеля Преля.*)
[4] Галлицизм для обозначения термина *anschauung*. (*Прим. Мишеля Преля.*)

XX

Перестрелка закончилась. Британцы, определив местонахождение объектов, занятых повстанцами, предались обсуждениям характера тактического и стратегического. Они растянулись вдоль правого берега Лиффи. На левом берегу они остановились слева на линии Кейпел-стрит, справа — у сходней Старого дока. Непосредственно на Сэквилл-стрит вроде бы все было тихо.

Пользуясь передышкой, Маккормик с помощью Кэллинена и О'Рурки баррикадировали окна. Диллон пошел вниз за патронами. Навстречу ему по лестнице мужественно взбирался Кэффри.

— Внизу все в порядке? — спросил Диллон на ходу.

— Гм, — пробурчал Кэффри.

— Что, заморочки?

— Нет-нет.

Маккормик забивал проемы между ставнями бумагами Теодора Дюрана. Он верил в прочность и пуленепробиваемость толстых папок, он презирал всю эту бюрократическую канцелярщину. Работал он с удовольствием.

Вот почему он разозлился, когда его отвлекли от этой приятной и воодушевляющей деятельности.

— Командир, — позвал его Кэффри.

— Чего?

— Командир.

— Ну чего?!

— Командир.

Маккормик повернулся.

— Внизу все в порядке?

— Да.

— Тогда хорошо.

— Не совсем.

— А чего?

— Значит, вот.

— Поживее.

— Внизу...

— Ну?

— В сортире...

— Ну и?..

— Кто-то.

— Ну и что?

— Кто-то не из наших.

Маккормик был командиром и благодаря своей командирской сущности соображал быстро.

— Бритиш? — спросил он.

— Возможно, — ответил Кэффри.

Маккормик продолжал размышлять, не останавливаясь на достигнутом.

— Ты его запер?

— Он сам закрылся.

— И перед дверью...

— Что?

— Никого?

— Нет. Я сразу поднялся, чтобы вас предупредить.

— Он сейчас смоется, — сказал Маккормик.

Кэффри почесал в затылке.

— Как-то не сообразил, — признался он.

И добавил:

— Это меня удивило. Как так? Заперся в сортире. Я как-то не сообразил. Сразу поднялся, чтобы вас предупредить.

Ларри О'Рурки и Кэллинен прислушались.

— Что он там рассказывает? — спросил Кэллинен.

— Что он говорит? — поинтересовался О'Рурки.

— Бритиш в уборной, — ответил Маккормик.

— Я считал, что вы освободили все помещения, — сказал О'Рурки, — и удостоверились, что никого не осталось.

— Да, — сказал Маккормик, забыв, что Ларри О'Рурки сам вызвался на проверку.

Маккормик был пока еще не стопроцентным командиром. Он не умел ругаться. Что же касается Ларри О'Рурки, получившего некоторое образование, то он явно претендовал на звание младшего командира. К тому же его мысли отличались определенной логичностью.

— Сортир! — воскликнул Кэффри. — Кому в голову придет мысль спрятаться в сортире?

— Нужно уметь предвидеть все мысли противника, — изрек О'Рурки.

Маккормик с трудом поставил себя на место — возвел себя в ранг опытного командира — и спросил у Кэффри:

— А как ты это обнаружил?

— Сразу же. Только что.

— Не «когда», а «как», — напомнил О'Рурки.

— Я искал сумку девчонки, которая за ней пришла.

— В то время, когда мы сражались, — заметил Маккормик. — Тебе что, делать было нечего?

— Я нашел сумку, когда все еще только начиналось.

— Ну и?..

— И в этот момент я что-то почувствовал, ну вроде как интуиция сработала.

Кэллинен вздрогнул от удивления.

— Ankou?

Все сразу же заинтересовались.

— Ну-ка расскажи, — приказал Маккормик.

О'Рурки пожал плечами. Он молча отошел к окну и заменил на посту Кэллинена. Успокоившиеся и задумавшиеся британцы не проявлялись. Наступал вечер. Кэллинен подошел к Кэффри.

— Ankou? — переспросил он еще раз.

— Да, — ответил Кэффри. — Пули свистели. Летели со всех сторон.

— А как же Кэллехер и Гэллегер? — спросил Маккормик, беспокоясь за судьбу вверенного ему контингента.

— Все в порядке, — ответил Кэффри.

И продолжил:

— Значит, в то время, как на нас поперли, я почувствовал в себе что-то вроде внутреннего голоса, который мне сказал, что рядом кто-то прячется. Тогда, значит, я пошел прямо в сортир. Он был закрыт. Я услышал, как кто-то дышит за дверью.

— А наши жертвы? — спросил Маккормик.

— Не думаю, что они ожили, — ответил Кэффри.

Маккормик повернулся к О'Рурки.

— А эта девчонка все еще лежит внизу?

О'Рурки потупил взор.

— Да. Надо бы накрыть ее чем-нибудь. А то она выглядит непристойно.

— От трупов надо бы избавиться, — сказал Маккормик.

— Ну? — спросил Кэллинен у Маккормика.

— Это действительно было ankou? — спросил Маккормик у Кэффри.

О'Рурки не оборачиваясь проронил:

— Если внизу действительно кто-то есть, нужно им заняться.

— Да, — ответил Кэффри Маккормику. — Что-то вроде голоса, который со мной разговаривал.

— Я спущусь с тобой, — сказал Маккормик Кэффри. — Остальные останутся здесь.

Он вытащил свой револьвер.

Кэллинен обратился к Кэффри:

— Ты потом мне об этом еще расскажешь.

Маккормик и Кэффри вышли из комнаты и начали медленно спускаться по лестнице. Навстречу им с патронами поднимался Диллон.

XXI

Услышав шаги на лестнице, Кэллехер и Гэллегер обернулись и увидели Маккормика и Кэффри, которые медленно спускались с кольтами в руках. Спустившись, они повернули налево и направились в сторону коридора. Кэллехер и Гэллегер вернулись на свое место. Наступал вечер. Улицы были пустынны. Британцы не проявлялись. Из-за крыши показался краешек луны. В ее свете нежно задрожала Лиффи. Город пребывал в глубокой тишине.

Вдруг Кэллехер и Гэллегер услышали женский крик. Они обернулись. За криком последовали другие, более глухие звуки. Потом снова женский крик, восклицания и ругательства. После этого в потемках замаячили два их товарища, тянущие за собой какую-то тень; пленница почти перестала сопротивляться и уже больше не кричала.

— Что случилось? — спросил Гэллегер без особого волнения.

— Да спряталась здесь одна козочка, — ответил Кэффри. — Сейчас будем допрашивать.

— Лучше бы выставили ее вон, — предложил Гэллегер.

— Кстати, — сказал Маккормик, — надо бы накрыть чем-нибудь девчонку, которая лежит перед домом.

— А что, если выставить вон и тех двух? — предложил Гэллегер. — И накрыть их чем-нибудь?

— Ну так мы будем ее допрашивать? — спросил Кэффри.

Маккормик и Кэффри не двигались, Гертруда прислонилась к стене. Они держали ее за запястья. Склонив голову, она молчала.

— Накройте чем-нибудь девчонку, которая лежит перед домом,— сказал Маккормик. — Те двое подождут.

— Как подумаешь, что придется провести ночь с мертвяками, — сказал Гэллегер, — волосы встают дыбом.

— Можно вытащить их наружу, — предложил Кэллехер. — И свалить на углу, пока британцы дрыхнут.

— Чего мертвых-то бояться? — сказал Маккормик. — Не страшнее живых.

— Будем ее допрашивать? — спросил Кэффри. — Вопросы какие-нибудь задавать?

— Пойду накрою чем-нибудь девчонку, которая лежит перед домом, — сказал Гэллегер.

— Подожди, когда окончательно стемнеет, — сказал Маккормик.

Гэллегер приник к амбразуре, оставленной в забаррикадированном окне.

— Прищурив глаза, — сказал он, — я еще могу различить ее посмертные останки. У нее такой вид, будто она ждет своего возлюбленного. Просто наваждение какое-то. Просто наваждение. Да и остальные трупы скоро вылетят из своего чулана верхом на метле да как начнут слегка покачиваться в воздухе и постанывать.

Он повернулся к Маккормику.

— Не люблю я все это. Надо бросить их всех в Лиффи. И девчонку тоже.

— Мы не убийцы, — сказал Маккормик. — Ну же, Гэллегер, побольше мужества. Finnegans wake!

— Finnegans wake! — ответил Гэллегер, облизывая пересохшие губы.

Раздались приглушенные всхлипывания. Это Кэффри провел рукой по ягодицам Герти.

— Я же тебе сказал, что все должно быть корректно, — проворчал Маккормик.

— А вдруг она прячет оружие.

— Довольно.

Они подвели Герти к лестнице и начали подниматься. Герти безвольно спотыкалась. Она уже перестала плакать. Двое часовых снизу посмотрели на поднимающихся. Затем вернулись на свое место. Ночь уже была тут как тут, темнющая, со сверкающей дыркой полной луны.

— Собака, — вдруг прошептал Гэллегер.

И добавил:

— Она ее учуяла. Вот сука!

Он приложил винтовку к плечу и выстрелил.

Это был первый выстрел за ночь. Он странно прозвучал в тишине замятеженного города. Собака залаяла. Затем побежала прочь, подвывая страдальчески и патетически. Чуть дальше раздался второй выстрел, и все снова затихло. Британская пуля прикончила циничного зверя.

— К чертям собачьим все эти трупы! — сказал Гэллегер.

Кэллехер не ответил.

XXII

Через несколько секунд Гэллегер нарушил молчание:

— Как ты думаешь, мы тоже будем ее допрашивать?

Кэллехер не ответил.

Гэллегер побоялся растратить на словоохотливость всю свою доблесть и к собеседнику больше не приставал; не поддерживаемый напарником разговор оборвался. Гэллегер этим воспользовался, чтобы прислушаться.

XXIII

Они зажгли маленькую свечку. Диллон стоял на посту у окна. Маккормик сидел за столом сэра Теодора Дюрана; справа от него находился Ларри О'Рурки. Кэллинен и Кэффри стояли по обе стороны от Герти; девушку посадили на стул и слегка привязали, хотя и бережно.

— Имя, фамилия, род деятельности? — начал Маккормик.

Потом повернулся к О'Рурки и спросил у него:

— Так?

Ларри кивнул головой.

— А записывать будем? — спросил Маккормик.

— Не стоит, — ответили все хором.

Тогда Маккормик начал снова:

— Имя, фамилия, род деятельности?

— Гертруда Гердл, — ответила Гертруда Гердл.

Раньше она уже сиживала на этом стуле, за этим столом; но тогда в этом кресле восседал почтенный чиновник в летах, питавший зернами нежности голубей своего сдержанно-платонизированного желания. Но сэра Теодора Дюрана шлепнули, и, не ведая этого, сидела она теперь перед республиканцем вида явно террористического.

Впрочем, внешность довольно интересная. Хотя и не очень хорошо одет.

Зато другой, рядом с ним, тот действительно хорош. Наверняка джентльмен. И ногти чистые.

Справа и слева чурбаны. Эти-то уж точно республиканцы. Они связали ей руки. Правда, стараясь, чтобы ей было не очень больно. Зачем?

У окна с ружьем в руке стоял еще один. Тоже ничего.

Все пятеро были мужчинами скорее красивыми. Но, за исключением помощника допрашивающего, людьми явно невоспитанными.

И ни один из них никогда в жизни не пел God save the King[1]. Деревенщина.

— Род деятельности? — снова спросил Маккормик.

---

[1] Боже, спаси короля (*англ.*). Английская народная песня. Пропев ее, обычно говорят друг другу «прощай». (*Прим. Мишеля Преля.*)

— Почтовая служащая.

— Да ну? — сказал Кэффри, имеющий по этому поводу свое собственное мнение.

— Из какого отдела? — спросил Маккормик.

— Заказные отправления.

Теперь она смотрела на них уже без страха. Они не могли ее разглядеть как следует. Мешала копна светлых волос на голове да еще эта смешная короткая стрижка. Девушка была высокой. Свеча освещала две выпирающие части корсажа, успокоенное и хорошеющее прямо на глазах лицо. Чувственно очерченные, хотя и ненакрашенные, пухлые искусанные губы. Холодные голубые глаза. Строгий прямой нос.

Маккормик, сбитый с толку заказными отправлениями, задумчиво протянул:

— А-а, заказные...

Кэффри в глубине души считал, что девицу нужно расспросить о деятельности этого отдела. Девица казалась ему подозрительной. Диллон и Кэллинен, олицетворение строгости и справедливости, с выводами не спешили.

Маккормик повернулся к Ларри О'Рурки. Интеллигентное лицо лейтенанта, казалось, скрывает под эпидермическим покровом какую-то забродившую мысль.

Вопрошающий взгляд Маккормика остановился на Кэффри.

— Пускай объяснит, почему она находилась там, где находилась, — предложил Кэффри.

Герти зарделась. Неужели теперь ей будут все время напоминать о постыдности этого убежища, еще более постыдного от его непроизвольности. Вспомнив о самом убежище, — что делать, когда тебя вынуждают? — она побагровела.

— Эту деталь мы могли бы оставить в стороне, — смущенно произнес Маккормик.

И покраснел густо, темно-вишнево. О'Рурки сохранял напряженный вид мыслителя. Остальные засмеялись грубо и даже как-то невежливо.

Герти заплакала.

Маккормик стукнул кулаком по столу и заорал, отчего вишневость на его лице слегка посветлела.

— Я сотню раз вам говорил, — кричал он, — что все должно быть корректно. Я тысячу раз вам говорил, черт побери, и вот вы здесь все насмехаетесь над девушкой, которая стыдится того, что с ней произошло.

Герти зарыдала.

— Мы повстанцы! — завопил Маккормик. — Но повстанцы, которые ведут себя корректно. Особенно по отношению к дамам! Товарищи, Finnegans wake! Finnegans wake!

Маккормик выпрямился.

Остальные встали по стойке смирно и решительно гаркнули:

— Finnegans wake!

— Какой ужас! — прошептала Герти сквозь крупные, как горошины, красивые, как жемчужины, слезы.

Маккормик сел, Ларри тоже. Остальные расслабились.

Диллон сказал Кэллинену:

— Твоя очередь заступать на пост.

— Не мешай проведению допроса, — сказал Кэффри.

— Да, — сказал Маккормик.

— Подожди немного, — сказал Кэллинен. — Думаешь, очень забавно ее держать?

— Ты мог бы быть повежливее с девушкой, — сказал Ларри О'Рурки.

— Я что-то не пойму, — сказал Кэллинен.

— Заткнитесь, — сказал Маккормик.

— Это все равно ничего не объясняет, — сказал Кэффри. — Если она ни в чем не виновата, то тогда какого хрена она торчала в сортире, эта никчемная чувырла, которая называет себя почтовой служащей? А? Какого хрена она тихарилась в уборной, эта великобританская шлюха, эта замороченная мымра?

— Все, — сказал Маккормик.

Он раз, еще раз, еще много, много раз стукнул по сукну стола и, следовательно, — косвенно — по самому столу.

— Все! Все! — сказал он.

И добавил, обращаясь к девчонке:

— Это все-таки подозрительно.

Герти посмотрела ему прямо в глаза, отчего у него возникло ощущение легкого пощипывания в области мочевого пузыря. Он удивился, но ничего не сказал.

— Я припудривалась, — сказала Герти.

Маккормик, утонув взглядом в голубоокости девушки, не сразу уловил смысл ответа. Кэффри, более проворный в понимании своего непонимания, живо отреагировал:

— При... что?

— Припудривалась, деревня, — ответила Герти, осмелевшая от маккормиковского взгляда, который ей, утопающей, представился спасительной соломинкой.

Что касается взмокшего от смущения Маккормика, то он чувствовал, что эта соломинка превращается в самый настоящий трамвайный токоприемник. Ларри О'Рурки эволюционировал аналогично, но более интеллектуально, чем его командир; физиология лейтенанта подвергалась менее сильному напряжению, зато сердечную систему тряхануло изрядно. Впрочем, ни тот, ни другой еще не осознали конвергенции их реакций.

— Припудривалась, — стояла на своем Герти, — да, припудривалась, недостойный ирландский террорист! И вообще, отпустите меня! Отпустите меня! Отпустите, я вам говорю! Развяжите мне руки! Развяжите мне руки!

И снова разразились рыдания.

Маккормик почесал в затылке.

— Может быть, действительно развяжем ей руки? — сказал он.

Осторожно так. Но все-таки сказал. Он, Маккормик.

— Может быть, — сказал Ларри О'Рурки.

— Ага, — сказал Кэффри, — а она, чего доброго, на нас накинется.

— Мое дежурство на посту закончилось пятнадцать минут назад, — сказал Диллон, — ептыть.

При последнем слове рыдания Герти усилились.

— Давай, — сказал Маккормик Кэллинену.

— Так развязываем или нет? — спросил Кэллинен.

— Дудки! — сказал Кэффри.

— Хватит, — сказал О'Рурки.

— Так что?

Они немного послушали, как она рыдает.

Умиротворенная ночь сдавливала ослепительную луну своими черными как сажа ягодицами, пух созвездий едва шевелился от дуновения традиционного бриза, звучащего на волнах Гольфстрима. Гражданские лица, терроризируемые террористами, терлись по углам, военнообязанные, наведя оружие, соблюдали по стратегическо-тактическим причинам спокойствие этих нескольких ночных часов, которые были обязаны всем своим мутным светом рассыпанному присутствию пары тысяч светил, не считая планет и спутников, из которых самым значительным — относительно — считается, судя по всему, спутник, ранее упоминавшийся.

Когда такая оглушительная тишина, то все воспринимаешь сердцем. Или еще ниже, органами совокупления. О, эфирная музыка сфер! О, эротическая мощь космических шестнадцатых долей, стираемых фатальным и гравитационным стремлением мира в небытие!

На полированную и прозрачную поверхность молчания одна за другой падали Гертины слезы, хрустальные и соленые.

Тут до молодцев-повстанцев начало доходить, что корректность — это все-таки некая сдержанность или хотя бы некое сдерживание примитивных рефлексов.

Они вздохнули; она продолжала рыдать.

— Мы остановились на припудривании, — сказал Маккормик.

— Развязываем или нет? — спросил Кэллинен.

— А ведь мое дежурство уже давно закончилось, — произнес Диллон.

— Черт возьми, — сказал О'Рурки. — Давайте серьезно.

— Да, — сказал Кэффри. — Давайте ее допросим.

— Девушка, — сказал Маккормик, — вы сказали, что припудривались. Мы ждем ваших разъяснений.

— Припудривалась! — воскликнул Кэффри. — Да, припудривалась! Хотелось бы знать, что это значит!

Руки Герти были связаны, она не могла вытереть ни жидкость, что текла из глаз, ни ту, что вытекала из ноздрей.

Она шмыгнула носом.

Маккормик почувствовал, как в нем зарождается что-то вроде доброжелательности.

— Одолжи ей свой платок, — сказал он Кэффри.

— Мой что? Смеешься?

Чтобы вытолкнуть соплю, Кэффри в тряпках не нуждался.

— Держите, — сказал Кэллинен. Он вынул из кармана большой зеленый платок, украшенный по краям золотыми арфами.

— Ни фуя себе! — воскликнул Кэффри. — Вот это элегантность!

— Подарок моей невесты, — объяснил Кэллинен.

— Какой именно? — спросил Кэффри. — Той, которая работает официанткой в Шелбурне, или другой, из Мэпла?

— Болван, — сказал Кэллинен, — с той, что из Мэпла, уже месяц как все кончено.

— Так, значит, тебе его подарила Мод?

— Да, она настоящая националистка.

— А потом, фигурка у нее что надо. Тебе повезло.

Ларри О'Рурки прервал завязывающуюся беседу.

— Вы кончили? — холодно спросил он.

Вмешался Маккормик:

— Ну давай, вытри ей нос, — сказал он Кэллинену.

Кэллинен принял озадаченный вид.

— Я платок запачкаю, — проворчал он. — Это ведь подарок. А эта англичанка замызгает своими гнусностями мои красивые шелковые арфы. Нет, я не дам. Я не согласен.

Он сложил свой платок и засунул его в карман. От этого акта неповиновения Маккормик нахмурил брови.

Он не знал, что и делать.

Затем повернулся к Ларри.

— Тогда ты.

— Это как оказание медицинской помощи, — сказал Кэффри в сторону.

О'Рурки бросил на него суровый взгляд. Кэффри парировал безразличным. О'Рурки встал, обошел стол и приблизился к девушке. Вынул из кармана платок, почти чистый, так как в течение этих трех дней Ларри почти им не пользовался, имея кожу непотливую и будучи — если можно так выразиться — насморкоустойчивым. Он развернул этот туалетный аксессуар и сильно его тряхануул, дабы стряхнуть крошки табака или нитки, которые могли бы в нем затеряться.

Герти Гердл с ужасом наблюдала за этими приготовлениями.

XXIV

Гэллегер, одуревший от отражений луны в водах Лиффи, принялся размышлять вслух:

— Я есть хочу.

— Да, — ответил Кэллехер, — можно было бы перекусить.

Гэллегер вздрогнул.

— Что ты сказал?

— Я сказал, что можно было бы перекусить. Продукты там, в комнате.

— А мертвые?

— Пускай лежат, где лежат.

— И ты туда пойдешь?!

— А ты есть хочешь?

Гэллегер отошел от бойницы и в темноте приблизился к Кэллехеру. Сел около него.

— Ох эти мертвые, эти мертвые...

— Оставь их в покое.

— А еще эта девчонка перед домом. Не могу заставить себя не смотреть на нее. Собаки больше не бродят вокруг. Я считаю до двухсот, и на счет двести я разрешаю себе посмотреть вниз. А у нее по-прежнему такой вид, будто она ждет, когда на нее кто-нибудь залезет. А как ты думаешь, она действительно была девушкой? И умерла, так и не познав любви?

— Черт, — сказал Кэллехер, — я есть хочу. Ты видел, по-моему, там были омары.

— А другая? — прошептал Гэллегер. — Как ты думаешь, они ее сейчас допрашивают? Ничего не слышно.

— Может быть, будут допрашивать завтра?

— Нет. Они наверняка допрашивают ее сейчас. Послушай.

Они прислушались.

— Ничего не слышно, — вздохнул Гэллегер.

— Дело не шумное, — сказал Кэллехер.

— Что ты хочешь этим сказать?

Говорил он очень тихо.

— Скоро мы тоже пойдем ее допрашивать, — ответил Кэллехер. И негромко засмеялся.

— Что ты хочешь этим сказать?

— Болван. Ладно, я есть хочу. Принести тебе омаров?

— Ну и жизнь! — пробурчал Гэллегер. — Если бы не эти мертвые...

— Хочешь, я *их* разбужу? — спросил его Кэллехер.

Гэллегер вздрогнул. Встал и вернулся на свой пост. Бросив взгляд вниз, увидел мертвую девушку. Луна по-прежнему прыгала по воде. Серебристочешуйчатая Лиффи по-прежнему скользила между набережными, по виду пустынными, а по сути заполненными вражескими солдатами. Гэллегер глубоко вздохнул, подумал о будущем своей страны и сказал Кэллехеру:

— Пускай будут омары.

XXV

Закончив процедуру, О'Рурки тщательно сложил свой платок и засунул его обратно в карман. Вернулся и уселся рядом с Маккормиком. Возникла пауза.

Диллон подошел к Кэллинену и сказал:

— Сейчас твоя очередь дежурить, разве не так?

Кэллинен молча занял место Диллона. Посмотрел в бойницу, увидел серебристочешуйчатую Лиффи, по-прежнему скользящую между набережными, по виду пустынными, а по сути заполненными вражескими солдатами, и ему послышалось, будто какой-то мужской голос произнес четко и решительно слово «лобстер», что по-ирландски означает «омар». Он вдруг почувствовал, что хочет есть. Но ничего не сказал.

Маккормик кашлянул.

— Допрос продолжается, — сказал он.

Герти вроде бы успокоилась. Она вновь обрела свое британское мужество. Она чувствовала себя сильной и уверенной. Впрочем, она была убеждена, что теперь ей больше не будут задавать вопросы относительно ее присутствия в туалете, выясняя причины туда-ее-прибытия и там-ее-пребывания.

Она открыла свои голубые глаза и посмотрела в лицо Ларри О'Рурки; лицо покраснело, но сам Ларри О'Рурки даже не дрогнул. Он склонился к командиру и прошептал ему что-то на ухо. Маккормик утвердительно кивнул головой. Ларри повернулся к пленной и сказал:

— Мадемуазель Гердл, что вы думаете о непорочности Богоматери?
Герти обвела их всех внимательным взглядом и холодно ответила:
— Я знаю, что вы все паписты.
— Кто? — спросил Кэффри.
— Католики, — объяснил Кэллинен.
— Она что, нас оскорбляет? — спросил Кэффри.
— Тихо! — крикнул Маккормик.
— Мадемуазель, — сказал О'Рурки, — отвечайте на вопрос прямо: да или нет.
— Я его уже забыла, — сказала Герти.
Возмущенный Кэффри тряхануул ее.
— Она что, перед нами выдрючивается?
— Кэффри! — взорвался Маккормик. — Я же тебе сказал, чтобы ты вел себя корректно!
— Что, мы так и будем слушать, как она над нами издевается?
— Сейчас допрашиваю я, — сказал О'Рурки.
Кэффри пожал плечами.
— Доверили б ее мне на полчасика, — прошептал он, — и тогда бы посмотрели, захочет ли она по-прежнему над нами издеваться или нет.
Герти подняла голову и внимательно его оглядела. Их взгляды встретились. Кэффри покраснел.
— Мадемуазель, — сказал О'Рурки.
Герти повернула голову в его сторону.
— Я спросил у вас, верите ли вы в непорочность Богоматери?
— В не... что?
— В непорочность Богоматери.
— Я не понимаю, — сказала Герти.
— Это действительно таинство, — заметил Диллон, который довольно хорошо знал катехизис.
— Она не знает, кто такая Богоматерь! — воскликнул возмущенный Кэллинен.
— Да, настоящая протестантка, — сказал Кэффри с отсутствующим видом.
— Нет, — возразила Герти, — я агностик.
— Кто-кто?
Кэффри распирало от злости.
— Агностик, — повторил О'Рурки.
— Ну и ну, — сказал Кэффри, — мы сегодня узнаем много новых слов. Сразу видно, что мы в стране Джеймса Джойса[1].
— И что это означает? — спросил Кэллинен.
— Что она ни во что не верит, — сказал О'Рурки.
— Даже в Бога?
— Даже в Бога, — сказал О'Рурки.
Воцарилось молчание, и все посмотрели на девушку с изумлением и ужасом.
— Это не совсем так, — мягко возразила Герти, — мне кажется, вы упрощаете мою мысль.
— Сука, — прошептал Кэффри.
— Я не отрицаю возможность наличия Высшего Существа.
— Ну, бля, она дает, — прошептал Кэффри.
— Давайте заткнем ей рот, — сказал Кэллинен.
— И я питаю самое глубокое уважение к нашему достойному королю Георгу Пятому.
Опять глубокое молчание и всеобщее изумление.
— Да что же это... — начал Маккормик.
Он не закончил своей фразы. Пулеметная очередь прошлась по стене почты; осколки стекла от забаррикадированных окон посыпались на улицу. Две-три жужжа-

[1] Здесь имеет место легкий анахронизм, но Кэффри, будучи безграмотным, не мог знать в 1916 году, что «Улисс» еще не напечатан. (*Прим. автора.*)

щие пули залетели через бойницы в комнату. На первом этаже пулемет Кэллехера застрочил в ответ. Мужчины бросились плашмя на пол и поползли к своим ружьям. Стул с привязанной к нему Герти перевернулся; девушка лежала в очень неудобной позе и дрыгала ногами. Открывшиеся таким образом ноги оказались худенькими, но точеными и облегаемыми дорогой материей, не иначе как шелковой. Подобрав свой револьвер, Ларри подполз на четвереньках к пленнице и одернул ей юбку. Затем присоединился к сражающимся товарищам. В этот момент Герти поняла, что одному инсургенту она уже понравилась.

XXVI

— Хорошо еще, что успели доесть омаров! — сказал Гэллегер, высмотрев тень за штабелем досок.

Кэллехер зарядил пулеметную ленту.

Гэллегер выстрелил. Тень пошатнулась.

— Вот придурки! Чего они ночью-то суетятся? — сказал Гэллегер. — Мертвых прибавится, а их души не дадут нам покоя.

Он выстрелил еще раз. Тень снова неудачно пошатнулась и бултыхнулась в воду у дальнего конца моста.

— А душу этого, — сказал Гэллегер, — съедят омары.

Кэллехер дал несколько судорожно-коротких очередей. Наступила передышка.

— Интересно, что сталось с той девчонкой наверху? — задумчиво произнес Гэллегер.

Тени снова зашевелились.

XXVII

На скачки было заявлено семь скакунов. Их продемонстрировали и привязали в ряд у стартовой черты. Все лошади были черные, с выпуклыми и блестящими крупами. Но они постоянно взбрыкивали и лягали друг друга. Крайняя левая передними копытами зашибла насмерть свою соседку. На шее жертвы обнаружили следы когтей гориллы. Оказывается, агрессивную кобылу до этого водили в зоопарк.

Как известно, Дублинский зоопарк находится приблизительно в трех четвертях мили от входа в Феникс-парк и приблизительно в полумиле от трамвайной линии, которая проходит вдоль северной кольцевой дороги. Рядом располагаются Народный парк, казарма жандармерии и казарма Марбороу. Сам по себе зоопарк не очень большой, но посещения заслуживает, так как его очень хорошо обустроили. Гвоздем, если так можно сказать, программы считается павильон со львами из восьми клеток. Что касается горилл, то их в это время не было и вовсе. Командор Сидней Картрайт проснулся не от этого несоответствия, а от настойчивого стука в дверь своей каюты.

Он быстро привел себя в порядок и пригласил войти. Вошедший матрос встал по стойке «смирно» и вручил телеграмму. Картрайт принялся ее расшифровывать. Вот так он узнал о дублинском восстании.

«Яростный» должен был подняться вверх по течению Лиффи и обстрелять, в зависимости от обстановки, указанные объекты, и в частности почтовое отделение на углу набережной Эден.

Картрайт встал и повел себя как примерный, каковым он и являлся, офицер британского флота. Что не помешало ему задуматься об участи своей невесты, Герти Гердл. Об этом в телеграмме не было, разумеется, ни слова. Она была официальной, общей и синоптической и, следовательно, не могла затрагивать отдельности и частности.

Считанные минуты спустя Картрайт уже стоял на юте; у него щемило сердце, сдавливало грудь, сводило живот, пересыхало во рту и стекленело в глазах.

XXVIII

Сражение прекратилось точно так же, как началось, без какой-либо видимой причины. Британцам вроде бы похвастаться было нечем. Они наверняка потеряли много людей. В почтовом отделении на набережной Эден раненых не было. На втором этаже после нескольких минут молчания пятеро мужчин обменялись взглядами. Маккормик наконец решился сказать, что, похоже, все закончилось; Ларри О'Рурки кивнул.

— Допрос продолжаем? — спросил Кэффри.

Привязанная к стулу девушка все еще лежала на полу и не двигалась.

Диллон направился к ней, чтобы водрузить ее на место, но О'Рурки его обогнал. Подхватив Герти под мышки, он восстановил конструкцию на всех шести точках опоры. На мгновение задержал свои руки у нее под мышками, теплыми и чуть влажными. Медленно убрал руки и провел ими, просто так, перед своим лицом. Слегка побледнел. Кэффри невозмутимо разглядывал товарища.

О'Рурки занял свое место рядом с Маккормиком. Тот плюхнулся на свое и потер глаза: он хотел спать.

— Продолжим, — сказал он. — Кэффри, сейчас твоя очередь заступать на дежурство, правда?

— Да, — сказал Кэффри. — Я пошел. Этот допрос меня достал. Я представлял себе все это совсем по-другому.

Он отошел к бойнице, и его глаз больше не отрывался от этого проема в военно-строительном зодчестве. Маккормик повернулся к Ларри.

— Спрашивай дальше.

— Неужели не видно того, что она не того... не католичка? — сказал Кэллинен.

— Она ни во что не верит, — добавил Диллон.

— Мы что, будем всю ночь здесь сидеть и изводить эту девчонку? — спросил Кэллинен. — Командир, пора бы и на боковую. Завтра будет тяжелый день. Наше восстание — это все-таки не шутки.

Возникла странная пауза. О'Рурки поднял голову и сказал Кэллинену:

— Хорошо, Кэллинен. Ты прав. Конечно. Я бы только хотел задать девушке два-три вопроса.

— В общем-то, мы можем еще чуть-чуть подождать, — сказал Кэллинен.

Кэффри в своем углу пожал плечами. Вытащил из диванного валика перо и стал ковыряться в зубах, не отрывая глаз от моста О'Коннела, в общем-то безлюдного.

— Ну давай, — сказал Маккормик.

О'Рурки собрался и приступил:

— Мадемуазель, только что вы продемонстрировали весьма агрессивное или, по крайней мере, не чуждое атеистическому отношение к конфессиям. Однако вы, судя по всему, отклоняете любые обвинения в скептицизме, если я правильно понял смысл речей, которые вами были произнесены до того, как вы были прерваны замечаниями моих товарищей по оружию.

Кэффри даже не пошевелился. Ларри продолжил:

— Да. Мне думается, вы отвергаете Бога нашего единого не полностью. Но что же тогда вы признаете? Королевскую власть?

Не поднимая головы, Герти спросила:

— Кто вы такой, чтобы меня об этом спрашивать?

— Мы бойцы Ирландской республиканской армии, — ответил О'Рурки, — и мы боремся за свободу нашей страны.

— Вы бунтовщики, — сказала Герти.

— Конечно. Они самые.

— Вы взбунтовались против короны Англии, — продолжала Герти.

Кэффри в сердцах уронил на пол ружье. Герти вздрогнула.

— Вы не имеете права бунтовать, — заявила она.

— Это уж она слишком, — сказал Кэллинен. — Давайте закроем ее в соседней комнате и отдохнем немного, а то потом уже не получится.

Маккормик зевнул.

— Еще одну минуту, — настоял Ларри. — Мы должны знать своих противников.

— Можно подумать, мы их и так не знаем, за столько-то веков, — возразил Дилон, которого начинало клонить ко сну.

— Она верит королю и не верит в Бога! — воскликнул Ларри. — Странно и поразительно, не правда ли?

— Да, действительно любопытно, — сказал Маккормик с отсутствующим видом. — А вам что, в самом деле так нравится ваш король? — небрежно добавил он, обращаясь к Герти.

— Вид у него довольно-таки дурацкий, — сказал Кэллинен.

— Покажи ей его портрет, — сказал Маккормик. — А то ей не видно.

Кэллинен забрался на стул и снял с противоположной столу стены фотографию короля. Случайная пуля оцарапала стекло и отколола уголок рамки. Символ терял достоинство на глазах. Кэллинен прислонил его к кляссеру и передвинул свечу для подобающего освещения.

Герти посмотрела на портрет.

— Изысканным его никак не назовешь, — прокомментировал Ларри О'Рурки. — Его лицо не светится ни умом, ни решительностью. И эта посредственность является символом угнетения сотен миллионов человеческих существ несколькими десятками миллионов британцев! Но угнетенные больше не могут с восторженным самозабвением созерцать эту пресную физиономию, и вы, мадемуазель, видите сейчас и здесь первые результаты критического осмысления.

— Ну дает, — с одобрением произнес Кэллинен.

— Мне больше нечего сказать. Боже, спаси короля!

— Но вы ведь не верите в Бога. Кто же его спасет?

— Боже, спаси короля! — повторила Герти.

— Вот дура! — воскликнул Кэллинен.

— Она, чего доброго, себя возомнит Жанной д'Арк, — заметил Диллон.

— Но ведь вам же говорят, что ваш король — мудак! — завопил Маккормик (он вопил, чтобы стряхнуть с себя сон, который опутывал его со всех сторон). — Доказательства? Пожалуйста. Он никак не может победить немцев, цеппелины бомбят Лондон, тысячи английских солдат гибнут в Артуа для того, чтобы французы смогли установить свое владычество в Европе. Глупее не придумаешь!

— Да, это правда, — согласилась Герти.

— Вот видите! И в Ирландии все знают, что он предается порочной самоудовлетворяемости и что от этого он так тупеет, что не способен уже ничего понимать. Вот так.

— Вы так думаете? — спросила Герти.

— Именно так. Бедный сир, бедный херр, вот кто он такой, ваш король. Я повторяю, это мудак.

— Но ведь если король Англии мудак, то тогда все дозволено!

XXIX

— А мы имеем право спать? — внезапно спросил Кэллехер.

— Мне не хочется, — сказал Гэллегер.

— Сколько времени? Луна закатывается.

— Три часа.

— Как ты думаешь, они еще будут нас атаковать этой ночью?

— Не знаю.

— Я бы чуть-чуть поспал.

— Спи, если хочешь. Я посторожу.

— А это разрешено?

— Отдохни, старина, если ты хочешь. Я не хочу.

— Ты не хочешь спать?

— Нет. Рядом с мертвыми — нет.

— Не думай об этом.

— Легко сказать.

— Наверху тихо.

— Думаешь, они спят?

— Не знаю. Ты видел лицо девчонки, которую вытащили из туалета?

— Нет. Я не могу забыть лицо другой, той, которая лежит всю ночь на улице перед домом.

— Не думай об этом.

— Легко сказать.

Тут Гэллегер вздрогнул.

— Нет, Кэллехер, прошу тебя, не спи. Не оставляй меня одного. Не оставляй меня одного с мертвыми.

— Ладно, я не буду спать.

— Я бы лег рядом с той девчонкой, что на улице; заметь, я сказал: рядом с ней, а не на нее. Мне не дают покоя два этих англичанина в соседней комнате. Они наверняка на нас рассердились. Особенно за то, что их свалили в кучу. Пусть это враги, но зачем их унижать?

— Ты мне надоел.

Кэллехер встал.

— Пожалуй, я хлебну виски.

— Передашь потом мне.

Они начали хлебать по очереди и осушили таким образом всю бутылку.

— А завтра будут другие, — сказал Кэллехер.

— Другие кто?

— Мертвые.

— Да. Может быть, мы.

— Может быть. Я бы поспал.

— Я боюсь, — сказал Гэллегер. — Мертвые совсем рядом.

Он вздохнул.

Кэллехер взял бутылку из-под виски и запустил ею в стену. Бутылка разбилась как-то неотчетливо.

— У меня идея, — сказал Кэллехер.

Гэллегер вопросительно рыгнул.

— Выкладывай свою идею.

— Так вот, — сказал Кэллехер. — От трупов надо избавиться.

— И как? — икнул Гэллегер.

— Взять и утопить. Помнишь, ты завалил одного типа, который сразу же шлепнулся в воду, и теперь он тебя не беспокоит. Я предлагаю тебе вот какую штуку: погрузим в тачку всех мертвяков или по одному, если все не поместятся, и кинем их в Лиффи. А завтра, когда полезут британцы, мы их встретим на свежую голову и с очищенной совестью, такой же чистой, какой будет наша Ирландия, когда мы победим.

Гэллегер закричал:

— Да, да! Вот именно! — и бестолково заметался по комнате. — Это была моя идея! Это была моя идея!

— Это будет рискованно, — заметил Кэллехер.

— Да, — сказал утихомирившийся Гэллегер. — Этих двоих можно докатить бегом до набережной, но вот как подобрать девчонку на улице?

— Да, — сказал Кэллехер, — придется подсуетиться.

— А что на это скажет Маккормик? — спросил Гэллегер.

— Возьмем все на себя. Это наша личная инициатива.

— Ладно. Все равно. Иначе я до самой смерти буду это переживать.

— Ты мне поможешь грузить служащих в тачку и начнешь подтаскивать девчонку. Как только ты окажешься у самой воды, я подбегу с тачкой и мы свалим их всех сразу. Чтобы бултыхнуло только один раз. Затем отбежим назад, и все.

— Спасибо, что доверил мне девчонку, люблю молоденьких, — пошутил Гэллегер, повеселевший от одной мысли, что скоро сможет избавиться враз от трех призраков.

— Тогда за работу, — крикнул Кэллехер.

Они покинули пост и пулемет и двинулись без колебаний, несмотря на темноту, в сторону маленькой комнаты, где были отложены служащие. Кэллехер вызвался открыть дверь и сделал это совершенно бесшумно; мертвяки мирно лежали в ожидании. Сначала повстанцы положили в тачку сэра Теодора Дюрана, затем отправились за привратником, и тут стало понятно, что будет довольно трудно поместить оба тела на одно средство передвижения. Поразмыслив, они решили уложить передвиженцев валетом.

Потом они разбаррикадировали входную дверь. Кэллехер ее приоткрыл, а Гэллегер в нее проскользнул и выполз на улицу. Сполз по ступенькам и, пресмыкаясь, прополз до мертвой девушки. Он плохо различал ее в темноте. Ему показалось, что ее глаза были приоткрыты, а рот приразинут; он посмотрел на небо. Многочисленные звезды сверкали, луна заходила за крышу пивной «Гиннес». Британцы не реагировали. Лиффи производила легкий всплеск, омывая набережную. Так события и развивались: во мраке и спокойствии.

Окинув взором горизонт, Гэллегер снова посмотрел на усопшую. Он восстанавливал в памяти ее лицо. Ему казалось, что он ее узнает. Это была действительно она. Проведя опознание, он вытянул вперед руки и начал толкать труп. Его удивило оказываемое сопротивление. Одна рука девушки лежала на бедре, другая на плече. Обе были холодны. Гэллегер поднатужился, и тело перевернулось. Рука, лежащая на бедре, переместилась на ягодицу, другая с плеча откинулась на лопатку. Гэллегер подтянулся на несколько сантиметров вперед и толкнул еще раз. Рука, лежащая на ягодице, передвинулась на другую ягодицу, с лопатки — на другую лопатку. И так далее.

Гэллегер трудился, совершенно не обращая внимания на то, во что упирались его руки; ни страха, ни желания. Единственное, его раздражали ботинки, которые иногда стучали о мостовую высокими каблучками.

Добравшись до набережной, он остановился; пот тек ручьями. Еще один толчок, и тело окажется в Лиффи. Вот и плеск воды, близкий, чуть ли не хрустально-звонкий — маленькие колокольчики велеречивой вечерни. Гэллегер же тем временем неотрывно думал о британцах; чем более смертельными врагами они ему казались, тем более жизнеспособным — в отличие от других повстанцев — он себя ощущал. О выработанной тактике операции он и думать забыл; неудивительно, что у него душа ушла в пятки от неожиданно раздавшегося страшного взрывоподобного грохота.

Кэллехер, разрабатывая свой план, упустил из виду ступеньки крыльца. Он устремился вперед со своей тачкой, потерял равновесие во время спуска, вывалил погрузневший груз на землю, рухнул сам и покатился кубарем, увлекая в своем кубарении грохочущее транспортное средство.

Гэллегер почувствовал, как пот всасывается обратно в поры кожи. Побелевшей от страха, но казавшейся тем не менее серой по причине густых сумерек. Его мышцы судорожно сжались, пальцы тетанически впились в плоть покойной почтовой девушки. В этот момент он держал ее слева за плечо, справа — за бок. Зажмурившись, он принялся думать о всякой всячине, которая закружилась вихрем у него в голове. Захлопали выстрелы. Гэллегер прижался к своей ноше. Неистово сжимая девушку в объятиях, он залепетал:

— Мамочка, мамочка...

Пули свистели, впрочем довольно редкие. Очевидно, стреляли со сна и довольно заторможенно.

— Мамочка, мамочка... — продолжал бормотать Гэллегер.

Он даже не услышал, как по мостовой прокатилась тачка.

Это Кэллехер, героически взвалив почтовых служащих на тачку, бежал под огнем противника. Оказавшись в пределах слышимости (шепота), тот заорал sottovoce[1]:

— Толкай же ее, придурок!

Зачарованно-пораженный Гэллегер прекратил свои спазматические подрагивания и одним махом столкнул девушку в воду, куда она погрузилась одновременно с

---

[1] Вполголоса (*итал.*).

двумя другими трупами и тачкой заодно. Раздалось четырехсложное «бултых», Кэллехер развернулся и помчался к повстанческому блиндажу. Гэллегер не раздумывая припустил за ним.

Раздалось еще несколько выстрелов, но пули пролетели мимо дилетантствующих похоронщиков, которые в два счета взлетели по ступенькам и ринулись в темный зияющий проем. Кэллехер бросился к своему «максиму» и выпустил наугад несколько очередей. Гэллегер, захлопывая дверь, успел заметить покачивающуюся на лиффийской воде тачку.

XXX

Началась перестрелка, и Кэллинен задумался о своих дальнейших действиях. Сидя на корточках и сжимая коленями ружье, он дремал перед дверью маленького кабинета, в котором они решили — в результате долгих бестолковых споров — заточить пленницу; Кэллинен не видел особой необходимости в своем бдении перед этой дверью; своим долгом он считал сражаться, а не сторожить. А еще ему очень хотелось узнать, что же там все-таки происходит. Он поднялся, потоптался в нерешительности, повернул ручку и легонько толкнул дверь. Лунный свет слабо освещал комнату. Кэллинен начал вглядываться, различил письменный стол, кресло, стул. Тут в окно угодила шальная пуля, стекло разбилось вдребезги. Кэллинен инстинктивно распластался на полу, затем осторожно поднял голову и заметил англичанку, которая, прильнув к стене у окна, очень внимательно следила за тем, что происходило на улице.

Перестрелка затихла, Кэллинен выпрямился и тихо спросил:

— Вы не ранены?

Она не ответила. Даже не вздрогнула. В этот момент раздалось четырехсложное «бултых».

— Что там случилось? — спросил Кэллинен, не двигаясь с места.

Продолжая очень внимательно следить за тем, что происходит на улице, она поманила его пальцем. В этот момент перестрелка возобновилась, Кэллинен, приближаясь осторожно, по стеночке, услышал, как пробежали двое, как хлопнула дверь на первом этаже, как застрочил пулемет Кэллехера. Он стоял теперь совсем рядом с Герти. Она нащупала его руку и очень сильно ее сжала. Из-за ее плеча он бросил взгляд на улицу. Он увидел набережную с наваленными штабелями, мост О'Коннела и, наконец, вяло текущую Лиффи, которая уносила к своему устью покачивающуюся тачку.

— Что там случилось? — переспросил он очень тихо.

Она продолжала сжимать его руку. Другой рукой он держал ружье. Сражение продолжалось, хлопали выстрелы. Кэллинен начал подумывать о своем личном участии в перестрелке.

— Отпустите руку, — прошептал он на ухо Герти.

На этот раз она повернулась к нему.

— Что они с ней сделали? — спросила она.

— С кем?

— С той девушкой?

Разговаривали они шепотом.

— С какой девушкой?

— С той, которая лежала на мостовой.

— А! Та, которую подстрелили англичане? Одна из ваших.

— Они сбросили ее в Лиффи.

— Ну да.

— Но до этого на ней кто-то лежал, один из ваших.

— И что же он делал? Лежа на ней?

— Не знаю. Он дергался.

— Ну и что?

— Не знаю. А другой, еще один из ваших, бежал и толкал тачку.

— И что?

— Они сбросили трупы в Лиффи.

— Возможно. Ну и что?

— Все эти «бултых». Я все видела. Я все слышала. А сэра Теодора Дюрана вы тоже умертвили?

— Директора?

— Да.

— Думаю, что да.

— Его они тоже сбросили в Лиффи вместе с привратником и со служащей, лежа на которой дергался ваш соратник.

— И что дальше?

— Дальше?

Она посмотрела на него. У нее были удивительно голубые глаза.

— Не знаю, — добавила она.

И положила свою руку ему на шестеринку[1].

— Посмотрите, как загробная тачка, покачиваясь, увлекается течением Лиффи к Ирландскому морю.

Он посмотрел. Действительно, тачка плыла по реке. Он хотел сказать, что видит ее, но только тихо простонал. Рука, возложенная на шестеринку, по-прежнему там возлежала, неподвижная и даже чуть-чуть давящая; рука не совсем маленькая, скорее пухлая и начинающая понемногу согревать даже через ткань одежды. Кэллинен не смел пошевелиться, но тело подчинялось волеизъявлениям не целиком, отдельные части восставали.

— Да, да, — выжал из себя он, — плывет тачка.

Герти провела рукой по дышлу человеческой брички, сотрясаемой происходящим до глубины души.

— А почему вы не убили меня? — спросила она. — Почему не протащили по мостовой и не сбросили в воду, как ту, другую?

— Я не знаю, — пробормотал Кэллинен, — я не знаю.

— Вы убьете меня, да? Вы убьете меня? И вы сбросите меня в речку, как и мою коллегу, как сэра Теодора Дюрана, который меня так почтительно любил?

По ее спине пробежала дрожь; она нервно, но достаточно крепко сжала то, что держала в руке.

— Вы делаете мне больно, — прошептал Кэллинен.

Он отстранился и отошел на один, потом на два, но не на три шага назад. Силуэт Герти вырисовывался в окне на фоне неба. Она не двигалась, ее лицо было обращено в сторону Лиффи. Нежный ночной бриз играл ее волосами. Вокруг головы сияли звезды.

— Не стойте у окна, — сказал Кэллинен. — Британцы вас обстреляют, вы представляете из себя слишком хорошую мишень.

Она повернулась к нему, силуэт исчез. Теперь они оба были погружены во мрак.

— Так что́, — сказала она, — вы намерены установить республику в этой стране?

— Мы вам только что это объяснили.

— И вы не боитесь?

— Я солдат.

— Вы не боитесь поражения?

Он чувствовал, что она смотрит в его сторону. Она находилась в двух — не больше — шагах от него. Кэллинен начал медленно и очень тихо отходить назад. При этом он заговорил громче для того, чтобы она не догадалась об увеличивающемся между ними расстоянии:

— Нет, нет, нет и еще раз нет.

Он прибавлял громкости своему голосу с каждым шагом назад. Пока не уперся спиной в стену.

— Вас победят, — возразила Герти. — Вас раздавят. Вас... вас...

Кэллинен поднял и вскинул винтовку. Конец дула заблестел в темноте.

— Что вы делаете? — спросила Герти.

---

[1] Деталь мужского туалета, очень распространенная в Ирландии. (*Прим. Мишеля Преля.*)

Он не ответил. Он попытался представить себе, что сейчас произойдет, но у него ничего не вышло; блестящее дуло неуверенно дрожало.

— Вы сейчас меня убьете, — сказала Герти. — Но это решение вы приняли в одиночку.

— Да, — прошептал Кэллинен.

Он медленно опустил винтовку. Зря Маккормик оставил в живых эту сумасшедшую, но он, Кэллинен, не имел права ее пристрелить. Он поставил винтовку в угол. Поболтал свободными руками. Герти приближалась к нему, вытянув руки, на ощупь, в темноте. Она оказалась довольно высокой, поскольку ее пальцы уткнулись ему под мышки. Пиджак Кэллинена был расстегнут, а жилетку он не носил. Герти принялась тискать ему бока, постепенно спускаясь к талии. Руки Кэллинена обняли англичанку. Она залезла под пиджак, обняла его, прижалась к нему, лаская мускулистые лопатки. Затем одной рукой проследовала вдоль костлявого и узловатого позвоночника, а другой начала расстегивать рубашку. Ее ладони скользили по влажной коже ирландца, под ее пальцами перекатывалась грудь колесом. Она потерлась лицом о его плечо, пахнущее порохом, потом и табаком. Ее волосы, светлые и мягкие, щекотали лицо мятежника. А некоторые залезли даже в ноздри. Ему захотелось чихнуть. Он чихнул.

— Ну и дурачина же ты, совсем как король Англии, — прошептала Герти.

Кэллинен думал то же самое, так как, с одной стороны, он был невысокого мнения о британском монархе, а с другой — считал чудовищной провинностью и явной глупостью держать в своих объятиях англичанку — причину всех несчастий его нации и этого чертова мятежа-восстания. Без нее все было бы так просто в этом маленьком почтовом отделении. Стреляли бы по британцам, пиф-паф, шагали бы прямиком к славе и к пиву «Гиннес» или же в противном случае к героической смерти, и вот на́ тебе, эта дурочка, эта дуреха, эта дурища, эта бестолочь, эта паразитка, эта мымра заперлась в уборной в самый важный и трагический момент, и попала к ним в руки — по-другому и не скажешь, — и оказалась для них, инсургентов, обузой моральной, физически невыносимой и, может, даже спекулятрисной[1].

Конечно же, он ощущал в себе и вздрагивания, и содрогания, и плотеподергивания, которые напоминали о его человеческой природе, слабой, плотской, греховной, но думать о долге и корректности, предписанной Маккормиком, он не переставал.

Тем временем Герти изучала пуп ирландца. Сопоставляя чужие обсуждения живых торсов со своими личными впечатлениями от рассмотренных статуй, девушка не без оснований считала, что эта часть человеческого тела одинакова как у женщин, так и у мужчин. Однако она была не совсем в этом уверена; будучи влюбленной в свой собственный пупок и получая большое удовольствие от процесса засовывания в него мизинца и ковыряния последним, Герти расценивала подобное исключительно приятное занятие делом сугубо женским. Допуская наличие идентичного органа у мужчин, она сомневалась, впрочем довольно неотчетливо, что он может быть таким же глубоким и нежным.

Герти была просто очарована; оказалось, что щекотать пупок Кэллинена так же приятно, как и щекотать свой собственный. Сам же Кэллинен, будучи холостяком, не очень хорошо разбирался в прелестях, предваряющих окончательный акт; ему доводилось иметь дело лишь с толстухами да стряпухами, которых он заваливал на сеновалах или же раскатывал на кабацких, еще не отмытых от всевозможных жиров столах. Посему он тяжело переносил затяжную девичью ласку и даже замысливал ответить на нее отнюдь не приличествующим в данной ситуации отказом. Но каким образом ответить, вопрошал он себя, находясь на волоске от. Он почувствовал угрызение совести, подумав о предпоследнем препятствии — социальном статусе его Ифигении, затем о последнем — ее девственности. Но, предположив, что сия непорочность может оказаться только предположительной, он отбросил все сомнения и отдался безудержной половой деятельности, искусно подогреваемой провокациями юной почтовички.

---

[1] Латинизм (от speculatrix — «шпионка»), непереводимый на французский — язык, как известно, достаточно бедный. (*Прим. Мишеля Преля.*)

XXXI

— Приготовиться к повороту! Травить справа! Задраить иллюминаторы! Замаскировать ют! Свернуть бом-брамсель!

Отдав последние приказания, Картрайт спустился в кают-компанию, где Тэдди Маунткэттен и второй помощник меланхолически потягивали виски. Сурово осуждая республиканский мятеж с кельтским уклоном, капитан предпочел бы тем не менее безоговорочно сражаться с немцами в открытом море, чем бомбить гражданские дублинские постройки, каковые являлись, как ни крути, составной частью Британской империи.

— Hello! — выдал Картрайт.

— Hello! — выдал Маунткэттен.

Картрайт налил себе очень много виски. Добавил очень мало содовой. Посмотрел на свет через прозрачное стекло, проследил мутным взглядом за пузырьками углекислого газа, которые...

Усомнившись в химической природе этих пузырьков, он обратился к Маунткэттену:

— Углекислый газ?

И указал взглядом на воздушные шарики, поднимающиеся со дна стакана на поверхность жидкости.

— Yes, — ответил Маунткэттен, который пришел в Navy Royale[1] из Оксфордского колледжа.

После получасового молчания Маунткэттен возобновил разговор:

— Это не работа.

Три четверти часа спустя Картрайт спросил:

— Что именно?

Поразмыслив какое-то время, Маунткэттен добавил:

— Негодяи они, разумеется, эти ирландские республиканцы! И все же я бы лучше бомбил фрицев!

Маунткэттен имел определенную склонность к болтовне, но тем не менее умел себя сдерживать; на этом он прервал свои рассуждения и дисциплинированно, то есть не проявляя эмоций, закурил трубку.

Картрайт, опорожнив емкость, принялся думать о своей милой невесте Герти Гердл, барышне из почтового отделения, набережная Эден, город Дублин.

XXXII

Кэллинен тоже принялся думать о своей невесте. На какое-то мгновение ему даже померещилось, всего в нескольких сантиметрах от его искрящихся глаз, худенькое личико Мод, официантки из Шелбурна. Если все будет хорошо, то есть независимая национальная Республика будет установлена в Дублине, он женится осенью. На настоящей ирландке, славной и пригожей малышке Мод.

Но все эти мысли не мешали Кэллинену совершать ужасное преступление. Впрочем, они приходили слишком поздно, эти мысли — идеал суженой верности. Слишком поздно. Слишком поздно. Британская девственница, распластанная на столе — болтающиеся ноги и задранные юбки, — охныкивала свою утраченную непорочность, чему Кэллинен искренне удивлялся, поскольку находил, что, в общем-то, сама напросилась. А может быть, она хныкала потому, что ей было больно; однако он старался делать *это* как можно безболезненнее. Сделав свое нехорошее дело, он замер на несколько секунд. Его руки продолжали исследовать тело девушки; ему показалось странным то, что под платьем почти ничего не было, а некоторые детали его даже поразили. Например, она не носила ни панталон, ни нижнего белья, ни кружев с ирландскими стежками. Единственная благовоспитанная девушка в Дублине, которая до такой степени презирала многоярусное дезабилье и прочие осложнения. Может

---

[1] Королевский военно-морской флот Великобритании.

быть, подумал Кэллинен, это какая-нибудь новая мода, занесенная из Парижа или Лондона.

Это его сконфузило до невозможности. В паху припекало. Он дернулся раза три-четыре, и внезапно все закончилось.

Он высвободился, ощущая неловкость. Почесал кончик носа. Вынул свой большой зеленый платок, украшенный по краям ирландскими арфами, и утерся. Он подумал, что с его стороны было бы вежливо оказать такую же услугу девушке. Герти уже не плакала и не шевелилась. Она чуть вздрогнула, когда он начал ее очень осторожно промокать. Затем он убрал платок в карман и застегнулся. Забрал винтовку, оставленную в углу, и на цыпочках вышел.

Герти не плакала и не шевелилась. Ее ноги молочно белели в тусклых лучах восходящего солнца.

XXXIII

— Среди нас нашлись два мерзавца, — произнес Маккормик.

Кэллинен огляделся.

— Чтó за два мерзавца? — спросил он. — Почему два?

— У тебя странный вид, — сказал ему О'Рурки.

— А девчонка?

— Я закрыл ее на ключ, — ответил Кэллинен.

Он сел, поставил винтовку между ног, машинально протянул руку, взял бутылку виски и хлебнул как следует, после чего хлебнул еще раз, почти как следует.

— Какие два мерзавца? — спросил он снова и огляделся.

Восходило солнце. Как быстро пролетела ночь. И по-прежнему эта тишина, эта британская невозмутимость. Черт побери этих англичан, которые размусоливают наше восстание своими скрытыми лицемерными подвохами!

Кэллинен чувствовал, как где-то в верхней части легких или в нижней части трахеи, короче, в зобу спирало от страха дыхание.

Он огляделся, заметил Гэллегера и Кэффри, дремавших около груды пустых пивных бутылок и искореженных консервных банок.

— Эти? — прошептал он.

— Нет, — ответил Маккормик.

— Почему ты покинул пост у двери англичанки? — спросил О'Рурки.

— Я же сказал, что закрыл ее на ключ, — раздраженно ответил Кэллинен. — Так что за два мерзавца? — спросил он снова. — Что за два мерзавца?

— Мне кажется, что ты получил приказ сторожить девушку, — сказал О'Рурки.

Кэллинен чуть не поправил его: «Она уже не девушка». Но вовремя удержался.

— Может быть, хватит ей сидеть взаперти? — сказал Маккормик.

— А если она будет подавать сигналы через окно? — заметил О'Рурки.

— Да закрыть ее там, где она была сначала, — проворчал Кэффри.

— Ладно, — сказал Кэллинен, — я пошел назад.

— На одного человека меньше, — сказал Маккормик. — А здесь нам нужны будут все.

— Пускай останется здесь, рядом с нами, — сказал Гэллегер. — Будем все за ней присматривать.

— А это идея, — сказал Маккормик.

Кэллинен очень быстро отреагировал (это даже нельзя назвать «отреагировал», так быстро это произошло): не дожидаясь реплики О'Рурки, он помчался за Герти. На пороге все же остановился и спросил:

— Что за два мерзавца?

Ответа он не услышал.

XXXIV

У Кэллинена не было полной уверенности в том, что один из мерзавцев не он сам. Но кто же другой? Кто же это и что же он мог такое сотворить? Нет, про него, Кэлли-

нена, они ничего не могли знать. Правда, кто-то мог подслушивать под дверью. Если так, то Маккормик разорался бы не на шутку. Поскольку — если уж говорить о корректности — то, что сделал он, Кэллинен, было действительно некорректно. Хотя в этом была не только его вина.

Подойдя к двери, он вынул из кармана ключ, но рука дрожала, и ключ заплясал вокруг скважины. У теряющего терпение Кэллинена пересохло во рту. Он прислонил винтовку к стене, нащупав левой рукой отверстие, всунул в него ключ и повернул ручку. Толкнул дверь, та медленно открылась. О своей винтовке он сразу же забыл.

Солнце уже взошло, но все еще пряталось за крышами. Сочился слабый серо-рассеянный свет. Летели облака. Медленно краснели мансардами дома вокруг Тринити-колледжа. Герти, согнув ноги, лежала на столе, на котором ее оставил Кэллинен, и вроде бы спала. Оправленная юбка была опущена ниже колен. Коротко остриженные волосы лохматились отчасти на лбу, отчасти на сукне стола.

Кэллинен приближался хоть и бесшумно, но — и явно сознательно — не совсем беззвучно. Девушка не шевелилась. Она дышала медленно, ровно. Кэллинен остановился, склонился над ней. Ее глаза были широко открыты.

— Герти, — прошептал он.

Она посмотрела на него. Инсургент не смог ничего прочесть в ее глазах.

— Герти, — прошептал он снова.

Она продолжала на него смотреть. Инсургент не мог ничего прочесть в ее глазах. Она не шевелилась. Он протянул к ней свои большие руки и взял ее за талию. Потом медленно передвинул руки к ее груди. Он так и знал: корсета она не носила. Эта особенность, в дополнение к ее необычно короткой стрижке, очень сильно смутила Кэллинена. Он почувствовал у нее под мышками полоски бюстгальтера: эта бельевая деталь сконфузила его окончательно. Все эти женские штучки показались ему чарующими и подозрительными одновременно. Так, значит, это и есть последняя мода, но как простая барышня с дублинской почты умудрялась следить за модой в разгар военных событий? Ведь все это зарождается где-то в Лондоне, может быть даже в Париже.

— И о чем же ты задумался? — прошептала внезапно Герти.

Она улыбалась ему ласково, немного насмешливо. Застигнутый врасплох Кэллинен отдернул руки и отпрянул, но Герти удержала его, сжав коленями, затем, скрестив ноги, притянула его к себе.

— Возьми меня, — прошептала она.

И добавила:

— Продолжительно.

XXXV

— Значит, — сказал Кэллехер, — Маккормик разозлился? Как будто сейчас время думать о таких вещах.

Диллон задумчиво чистил ногти, Кэллехер поглаживал свой «максим». Восходящее солнце заиграло на металлическом дуле.

— Все по-прежнему тихо, — заметил Кэллехер. — Интересно, мы когда-нибудь начнем воевать?

Диллон пожал плечами:

— Нам крышка.

И добавил:

— Они дождутся, пока мы здесь раскиснем, а потом начнут размазывать нас по стенкам.

И подытожил:

— Нам крышқа.

Затем, сменив тему, заявил:

— Маккормик явно переборщил.

— Насчет чего? — спросил Кэллехер.

— Насчет нас двоих.

— Он нас в чем-то подозревает.

— Как будто это его касается! Занимался бы девчонкой и оставил бы нас в покое. Но он, видишь ли, не решается, ну и вот, и пытается думать о чем-то другом.

— Гэллегера так и трясло от нетерпения.

Диллон пожал плечами.

— Дурачок. Ничего они не сделают этой девчонке, они все такие кавалеры, ну, может быть, за исключением твоего Гэллегера. Но остальные ему не позволят. Конечно, это их изводит, но они ни за что не осмелятся. У них в руках она останется целой и невинной.

— В наших руках она бы чувствовала себя еще целее.

Диллон снова пожал плечами.

— Скорее бы уж начали воевать, — вздохнул он, — хотя на самом деле я это дело не очень люблю. Видно, я действительно люблю свою Ирландию, чтобы заниматься подобными вещами. Да, скорее бы началось.

Он встал и обнял своего товарища. Кэллехер оторвался от созерцания своего пулемета, на секунду полуобернулся и улыбнулся.

XXXVI

По радио передали сообщение командору Картрайту. «Яростный» должен будет встать перед Рингс Энд. Британская атака начнется в семь часов. В десять часов очередное сообщение укажет «Яростному» все еще занятые мятежниками стратегические объекты, которые ему следует обстрелять.

— Если они к этому времени останутся, — заметил Маунткэттен, которому Картрайт передал приказ.

— Все скоро закончится. Мы побережем снаряды для подводных лодок гуннов.

— Хотелось бы верить, — сказал Маунткэттен.

XXXVII

— Что он там копается? — проворчал Маккормик. — Его все нет и нет.

— А может, он ее трухает, — сказал окончательно проснувшийся Кэффри.

— Ты хочешь сказать, что он ее трахает, — прокомментировал Гэллегер.

Он громогласно хохотнул, хлопнув себя по коленке.

— Заткнитесь, — сказал О'Рурки. — Подонки.

— О! О! — отозвался Кэффри. — Ревнуешь?

— Кэллинен на такое не способен, — сказал Маккормик. — Да и ничего не слышно. Если бы у него возникли недобрые намерения, она бы закричала.

— А может, она и сама не прочь. Представь, что она сама предложила! — сказал Кэффри Гэллегеру.

Они оба засмеялись.

О'Рурки встал.

— Подонки. Подонки. Заткните свои похабные глотки.

— Можно подумать, медики не похабничают. Ханжа. Ты, видно, этой ночью перемолился Святому Иосифу.

— Хватит! — внезапно завопил Маккормик. — Мы здесь не для того, чтобы препираться. Не забывайте, что мы здесь для того, чтобы сражаться за независимость нашей страны и умереть без всякого сомнения.

— А в это время, — заметил Кэффри, — Кэллинен не иначе как вставляет англичаночке за милую душу. Послушайте.

Они замолчали и услышали серию коротких мяуканий, которые мало-помалу перешли в длинные стенания, прерываемые неравными паузами.

— Действительно, — прошептал Гэллегер.

О'Рурки побледнел до позеленения.

Вмешался Маккормик:

— Да ладно вам, это кошка.

О'Рурки, не желая расставаться с иллюзиями, поддержал:

— Конечно же это кошка.

Гэллегер, по-идиотски улыбаясь, повторил:

— Ну да. Кошка. Или кот.

Кэффри усмехнулся:

— А девчонка небось дергает его за кончик... хвоста. Бедное животное. Пойду посмотрю.

Он вышел из комнаты. Раздалась целая серия учащенных пронзительных стонов; воцарилась тишина, настороженная и поражающая. В эту минуту Кэффри подходил к двери. Винтовка Кэллинена одиноко стояла на посту. Кэффри вошел. Все уже закончилось. Кэллинен застегивал дрожащими пальцами штаны. Герти уже встала; она чуть ли не сияла от удовольствия. Пленница вызывающе посмотрела на Кэффри. Кэффри нашел ее красивой.

Но не нашел, что сказать.

Через несколько секунд — после приведения себя в порядок — Кэллинен спросил у него без малейшего намека на приветливость:

— Ну?

Кэффри ответил:

— Ну?

Герти с интересом следила за разговором. Кэллинен возобновил его довольно уместной репликой:

— Ну?

Кэффри по-прежнему не находил слов.

— Ну?

Кэллинен, чувствуя себя менее уверенно, сказал:

— Ты ничего не видел.

— Но было слышно.

— Я обесчещен, — подавленно прошептал Кэллинен.

— Они думают, что это кошка. Ты скажешь, что это была кошка.

— А ты подтвердишь?

Кэффри очень внимательно оглядел Герти. Она еще не успела отдышаться.

— Конечно же это была кошка.

Кэллинен вынул из кармана свой красивый зеленый платок, украшенный золотыми арфами, и вытер лицо.

— Смотри, — сказал Кэффри, — а у тебя из носа кровь идет.

XXXVIII

— А вот и они, — сказал Гэллегер.

О'Рурки не обернулся. В комнату в сопровождении Кэллинена и Кэффри вошла Герти.

— Это была действительно кошка, — сказал Кэффри.

— Черт возьми! — воскликнул Гэллегер. — Вот они! Вот они!

Маккормик подбежал к одной из бойниц.

— Мадемуазель, — сказал утихомирившийся О'Рурки, — мы вам объясняли, что ваше присутствие здесь подозрительно.

— Они струячат по мосту, — крикнул Гэллегер.

— Гады! Откуда их столько?! — отозвался Маккормик.

— Мы приняли решение держать вас под постоянным коллективным наблюдением, — продолжал О'Рурки.

— Стрелять будем? — спросил Гэллегер.

Пулеметы, установленные британцами на деревянных штабелях, затрещали. Свинцовые струи ударили по фасаду почты. На первом этаже застрочил в ответ Кэллехер. Кэффри и Кэллинен побежали и встали рядом с Маккормиком и Гэллегером, стреляющими из бойниц.

— Спрячьтесь под столом, — приказал О'Рурки, — и не шевелитесь.

Герти послушно спряталась.

О'Рурки запер дверь и сунул ключ в карман. Затем присоединился к товарищам.

Похоже, британцы решили покончить с почтой. Они валили со всех сторон. Они, судя по всему, держали в своих руках О'Коннел-стрит. Мятежникам с набережной Эден было видно, как по улице в сторону моста Митэл вели колонну пленников с поднятыми вверх руками.

— Плохо дело, — сказал Кэффри.

— Это наши товарищи из Центрального комитета, — заметил Маккормик. — Я вижу Тэдди Лэнарка и Шона Дромгура.

— Телефон, — подсказал ему О'Рурки.

Покинув свое место, Маккормик направился к столу директора сэра Теодора Дюрана, ныне покойника. Он увидел забившуюся под стол и зажмурившуюся от страха Герти. Стараясь не наступить на девушку, он сел в кресло, закрутил вертушку и снял трубку. Не опуская трубки, пользуясь затишьем между выстрелами — в эту минуту почему-то сильно запахло порохом, — он сказал:

— Никто не отвечает.

Его соратники продолжали щелкать британцев. Возможно, они даже не услышали вводную реплику командира.

Не заметили они и того, что сразу после реплики командир вздрогнул. Они все так же тщательно целились и щелкали; британцы начинали постанывать. Передвижение по мосту, а равно как и вдоль набережных было им по-прежнему заказано под угрозой потерь, превышающих сорок пять процентов личного состава (что по военным меркам еще могло сойти за отличные показатели, хоть и с натяжкой). Тем не менее они продолжали отчаянно атаковать.

— Кто это? — произнес чей-то мужской голос на другом конце провода.

Маккормик опустил глаза. У него во рту внезапно пересохло.

— By Jove![1] — произнес мужской голос. — Отвечайте!

Легкий электрический разряд прошелся вдоль его позвоночника, пронизывая со все увеличивающейся частотой спинной мозг.

Запинаясь, Маккормик ответил:

— Это Маккормик.

— Готов поспорить, что это еще один сучий выродок из повстанческих негодяев, — произнес голос.

Маккормик не знал куда деться. Обескураживающее (по отношению к нему) поведение Герти, дополняющее это оскорбление, лишило его дара речи и пригвоздило к креслу заодно.

— Что вы, что вы, — пробормотал он.

— Вы еще не сдались, жалкие папские гунны?

Маккормик тяжело засопел в трубку.

— Что с вами такое?

— Fi... fifi... fifinnegans wake, — промямлил Маккормик.

— Чего? Чего? Что вы там несете?

Но Маккормик был уже не в состоянии отвечать. Чтобы заглушить непроизвольный стон, он изо всех сил кусал телефонную трубку.

— Вы издаете престранные звуки, — заметил голос на другом конце провода.

И добавил участливо:

— А вас случайно не ранили?

Маккормик не ответил. Эбонит треснул.

— Ой! — вскрикнул его собеседник. — Что с вами случилось?

У Маккормика из рук выпала трубка, а изо рта вырвался протяжный хрип. До него отчетливо доносился далекий голос, который, шипя и гнусавя, предложил:

— Мы предлагаем вам сдаться, немедленно сдаться.

Затем кому-то доложил:

---

[1] Черт побери! (*Англ.*)

— Не отвечает...

А после очередной серии выстрелов предположил:

— Может быть, его убили...

Прикрыв веки, командир различал О'Рурки, Гэллегера, Кэффри и Кэллинена, которые старательно отстреливались. На него они не обращали внимания. Еще сильнее запахло порохом.

Он опустил глаза и увидел Герти, которая, закончив дело и вытерев рот тыльной стороной ладони, снова забилась под стол.

Он повесил трубку, встал, ощутив при этом дрожь в коленях, и произнес:

— В той колонне были действительно наши товарищи из Центрального комитета.

— Мы не сдадимся, — объявил О'Рурки.

— Конечно нет, — подтвердил Маккормик.

Слегка пошатываясь, он вернулся к своей винтовке и с первого выстрела уложил британца, который вздумал пройти по мосту О'Коннела.

XXXIX

— Нам крышка, — прошептал Диллон.

Кэллехер не отвечал. Он нежно поглаживал свой пулемет, медленно остывающий после последней атаки.

Британцы собирались с новыми силами на штурм почты. Доносились лишь далекие и спорадические выстрелы.

— Ну как ты? — спросил Диллон.

Кэллехер ответил:

— Никак.

Он похлопал пулемет:

— Мой маленький зверек.

И добавил:

— Если не в этот раз, то уж в следующий — точно.

— Ну! — воскликнул Диллон. — За нашу родину я совсем не боюсь. Она будет существовать вечно, наша Эйре. Как и христианская эра. Я беспокоюсь за нас.

— Да. Только между нами: скоро с этим будет покончено.

— Ну и как ты?

— Рано или поздно это должно было случиться.

Диллон задумался.

— Может быть, выкрутимся...

— Нет, — сказал Кэллехер.

— Нет? Думаешь, нет?

— Нет. Думаю, нет.

— Почему?

— Погибнем все как один.

— Ты так считаешь?

— Но не сдадимся.

Диллон хрустнул пальцами.

— Корни, какой ты смелый.

Кэллехер встал и в задумчивости сделал несколько шагов по комнате.

— Интересно, что же все-таки произошло наверху?

— Наверху? Они сражались, как и мы.

— Я имел в виду девчонку.

— На это мне наплевать, — сказал Диллон и, подняв голову, спросил: — Так тебя это беспокоит?

Кэллехер не ответил.

— Вертихвостка, — продолжал Диллон. — Как она нас достала. Наплачемся еще мы с ней. Со всеми женщинами так. Уж поверь мне, я-то их знаю. Ты еще слишком молод. А я за двадцать лет работы их хорошо изучил. Да, и еще. Мне будет жалко расставаться со своей работой, конечно не так, как с тобой. Все эти костюмы, я так

все это любил. И платья, когда мода менялась. Да что там мода! А материал: шелк, кружева, гипюр с ирландским стежком...

Он встал, взял Кэллехера за плечо, прижался к нему.

— Знаешь, мне будет жалко с тобой расставаться.

И добавил:

— А ты на самом деле думаешь о той девице, что наверху?

Кэллехер высвободился из объятий Диллона, не резко, но решительно. И молча. После чего они услышали добродушный голос Гэллегера:

— Ну что, цыпочки, отношения выясняете? Каков ревнивец!

— Я этого все-таки не понимаю, — добавил Кэллинен.

— А вашего мнения никто не спрашивает, — ответил Диллон.

— Ну! — ввернул Гэллегер. — В нашей ситуации приходится мириться. Ничего не поделаешь.

— Мы пришли за ящиком с патронами и несколькими ящиками виски. Там еще осталось? — спросил Кэллинен.

— Да, — ответил Кэллехер.

— Как настроение? — спросил Кэллинен. — Боевое?

— Нам крышка, нет?

Это уже спросил Диллон.

— Погибнем все до одного, — объявил Гэллегер с такой радостной легкостью, что у портного стало тяжело на сердце.

— Что такое, Мэт? — спросил у него Кэллинен. — Ты же не струсишь, правда?

— Вот еще.

Гэллегер и Кэллинен обменялись взглядами, пожали плечами и отправились на импровизированный склад.

— Все-таки здорово, что мы зафигачили трупняки в воду, — сказал Гэллегер. — С той самой минуты я себя чувствую так легко; никаких душевных заморочек.

— Внимание! — воскликнул Кэллехер, который не отрывал глаз от амбразуры.

Остальные сразу же заткнулись — тюкнулись на дно хрустальной, до звона, тишины.

— Вон они! — продолжал Кэллехер. — С белым флагом. А сзади идет офицер...

— Значит, британцы намерены сдаться? — спросил Гэллегер.

XL

Маунткэттен застал Картрайта склоненным над депешами.

— Все складывается как нельзя лучше, — сказал командор. — По-моему, восстание захлебнулось. Все объекты, захваченные мятежниками, освобождены. Все или почти все. Я сейчас как раз делаю сверку. Мне кажется, что все. Фор Кортс, вокзал на Амьен-стрит, Главпочтамт, вокзал Вестланд Роу, гостиница «Грэшем», хирургический колледж, пивная «Гиннес», вокзал на Харкурт-стрит, гостиница «Шелбурн» — все это мы заняли. Что остается? Дом моряков? Занят, согласно телеграмме 303-B-71. Бани на Таунсенд-стрит? (Надо же!) Заняты, согласно телеграмме 727-G-43. И так далее. И так далее. Генерал Максвелл славно потрудился и разобрался в ситуации энергично, оперативно, решительно, почти не проявив медлительности, столь характерной для нашей армии.

— Значит, нам не придется стрелять по ирландцам? Это хорошо. К чему зря переводить превосходные снаряды, которым не терпится упасть на гуннов?

— Я знаю вашу точку зрения на этот счет.

Вошел радист с новой телеграммой.

— Минуту. Я заканчиваю сверку.

Он закончил ее.

— Осталось лишь почтовое отделение на набережной Эден, — сказал Картрайт.

Он развернул телеграмму и прочел: «Приказываю бросить якорь у О'Коннел-стрит».

— Придется зря переводить снаряды, — сказал Маунткэттен.

Командор Картрайт внезапно помрачнел.

XLI

Маккормик и О'Рурки вернулись. Кэллинен, Гэллегер, Диллон и Кэллехер, дождавшись их возвращения, вновь забаррикадировали дверь.

— Ну? — спросил Диллон.

— Конечно же, они требуют, чтобы мы сдались. Они говорят, что мы остались последними. Восстание подавлено.

— Ложь, — сказал Гэллегер.

— Нет, думаю, что это правда.

— Я думал, что мы ни за что не сдадимся, — сказал Кэллехер.

— А кто говорит о том, чтобы сдаваться? — сказал Маккормик.

— Только не я, — сказал Кэллехер.

— А на каких условиях? — спросил Диллон.

— Ни на каких.

— Значит, они нас расстреляют?

— Если им вздумается.

— За кого они нас принимают? — сказал Гэллегер.

Все задумались над этим вопросом, отчего на некоторое время воцарилась тишина.

— А как же англичанка? — спросил вдруг Кэллехер. — В любом случае придется от нее избавиться.

— В любом случае, — заметил Ларри О'Рурки, — если нас начнут размазывать по стенкам прямо здесь, мы не можем втянуть ее в подобную переделку.

— А почему бы и нет? — спросил Кэллехер.

— Как она нас достала, — сказал Гэллегер. — Выдадим ее им.

— Я придерживаюсь такого же мнения, — сказал Маккормик.

— Вы командир, — сказал Мэт Диллон. — Значит, выставляем ее за дверь, и они ее забирают.

— Есть возражения, — произнес О'Рурки.

— Какие?

— Нет, ничего.

Все посмотрели на О'Рурки.

— Выкладывай.

Он замялся.

— Так вот, будет очень плохо, если она сможет что-нибудь про нас рассказать.

— Какие сведения она может сообщить? Она даже не знает, сколько нас.

— Мэт, я имел в виду совсем не это.

— Выкладывай.

Он покраснел.

— Она была девушкой. Так вот, будет плохо, если с ней произойдут какие-нибудь изменения...

— Что ты несешь? — спросил Гэллегер. — Ничего не понимаю.

— Это же так просто, — вмешался Диллон. — Если вы все по ней прошлись, то это плохо скажется на общем деле. Британцы будут вне себя от ярости и уничтожат всех наших товарищей, попавших в плен.

— Я был с ней корректен, — сказал Гэллегер.

— Да и я тоже, — сказал Корни Кэллехер.

— Да и я тоже, — сказал Крис Кэллинен.

— Значит, выставляем ее за дверь и подыхаем как герои, — объявил Диллон. — Я приведу ее.

Он сорвался с места и побежал на второй этаж.

— Маккормик, а ты чего молчишь? — спросил Кэллехер.

— Давайте ее отпустим, — ответил Маккормик как-то рассеянно и растянуто.

— А Кэффри! — вдруг воскликнул Кэллинен. — Он там с ней один на один.

О'Рурки побледнел.

— Ах да... Кэффри... Кэффри...

Так он и хрюкал, этот студент медицинского колледжа. Руки его дрожали.

Кэллехер хлопнул его по спине:

— А чего, девчонка она пригожая!

О'Рурки попытался свести свои эмоции на нет с помощью осмысленного дыхательного упражнения, показанного ему великим поэтом Йейтсом. В качестве приложения он прочел три раза *Ave Maria*.

— В странную переделку попала эта девчонка, — продолжал Кэллехер. — Допустим, мы бы вели себя нехорошо, не как безупречные и приличные герои, представляешь, ей бы довелось много чего увидеть. Увидеть, это только так говорится, ну сам понимаешь.

Лишь еще после двукратного *Ave Maria* и одного *Во славу Иосифа* в качестве дополнительного приложения О'Рурки пересилил себя и выговорил:

— Есть такие люди, которые не имеют права говорить о женщинах.

— Я, по крайней мере, трупы не разделываю, — сказал Кэллехер.

— Только давайте не говорить об этих ужасах, — воскликнул Гэллегер.

— Заткнитесь, — сказал Маккормик.

Они снова замолчали.

— Британцы, наверное, ждут не дождутся, — елейно заметил Кэллинен.

Ему не ответили.

— Джон Маккормик, — сказал чуть погодя Кэллехер (до этого не было произнесено ни слова), — Джон Маккормик, похоже, ты чувствуешь себя не в своей тарелке. Я знаю, что ты не можешь дрейфить. Тогда в чем же дело?

Ларри О'Рурки посмотрел на Маккормика:

— И правда, у тебя странный вид.

Он был рад, что Кэллехер оставил его в покое.

— Ну странный, — сказал Маккормик. — Ну и что дальше?

О'Рурки с ужасом посмотрел на командира. Он знал не хуже Кэллехера, что Маккормик не дрейфит. Из-за чего же так странно перекосило его физиономию? А из-за того же, из-за чего скривило и его собственную, о'руркиевскую, рожу: все дело в той малышке, что наверху. Он перевел взгляд с Джона на Кэллинена. Но глаза Криса были безоблачно-чистыми и небесно-голубыми. Ларри ужаснулся еще раз: он сам, наверное, выглядел еще страннее, чем Маккормик. А этот педрила Кэллехер продолжал над ними измываться. Что же все-таки происходило? И что же все-таки произошло? Ларри еще раз пристально вгляделся в лицо Кэллинена: оно ничего не выражало. Затем он снова посмотрел на Кэллехера и заметил, что тот внезапно потерял интерес к происходящему. Тут Маккормик посмотрел на часы и сказал:

— У нас осталось не больше двух минут для того, чтобы дать ответ.

— Для того, чтобы выдворить англичанку, — сказал Гэллегер.

На лестнице показался Диллон.

— Ее там нет. Наверное, смылась.

XLII

Британские полномочные представители удалились и скрылись за штабелями норвежских пиломатериалов. Мятежники вновь забаррикадировались. Было около полудня.

— Мы могли бы перекусить, — сказал Гэллегер.

Диллон и Кэллинен принесли ящик с консервами и печенье. Все уселись и принялись жевать в полной тишине, как люди, оказавшиеся вдруг героями и принимающие отныне обыденность существования лишь в ее самых экстремально обыденных проявлениях, таких, как утоление жажды и голода, мочеиспускание и испражнение, напрочь отказываясь от полного игривых двусмысленностей словесного самовыражения. Если бы первым заговорил Маккормик, он сказал бы: «Что вы на меня так смотрите, вы ведь даже не знаете, вы ведь даже не понимаете, что произошло»; О'Рурки сказал бы: «Дева Мария, что с ней могло произойти? Как это глупо, но я, по-моему, влюбился»; Гэллегер сказал бы: «За час до смерти тушенка кажется уже не такой вкусной, как неделю назад. Приходится себя поддерживать для того, чтобы умереть»;

Кэллехер сказал бы: «Впервые женщина заинтересовала меня до такой степени. Ну и хорошо, что она смылась. Так нам будет проще стать настоящими героями»; Кэллинен сказал бы: «Вот настоящие товарищи. Они делают вид, будто не знают, что со мной произошло», но первым заговорил Диллон, который сказал:

— Они нас перебьют, как крыс.

— Как героев, — возразил Кэллехер. — Пусть по-крысиному, но мы им здорово досадили, этим британцам.

— Настоящими героями становятся, если вокруг настоящие товарищи, — сказал Кэллинен.

— А рядом вкусная тушенка, — добавил Гэллегер, хлопая себя по ноге.

— Интересно, куда она могла деться? — прошептал О'Рурки.

— Загадочно все это, — очень серьезно заключил Маккормик.

Бутылка виски пошла по кругу.

— А как же Кэффри? — спросил Гэллегер.

— Отнеси ему поесть и выпить, — торжественно приказал Маккормик.

— Лучше скажи ему, чтобы спустился, — вмешался О'Рурки. — В ожидании последнего и решительного боя он, может быть, объяснил бы нам, как англичанка смылась у него из-под носа.

— А чем он там занимается? — спросил Кэллинен без особого интереса.

Диллон в шестой раз принялся рассказывать:

— Он стоял на посту у окна справа от стола, ко мне он не повернулся. Только сказал: «Англичанка? Не знаю». Я искал в других комнатах. Никого.

— Это все? — добавил Кэллехер.

— Может быть, она вернулась в туалет? — подсказал Гэллегер.

— Как же мы о нем не подумали?! — воскликнул Маккормик.

Они вскочили все разом (за исключением Кэллинена, который стоял на посту) и встали по стойке «смирно».

— Не все сразу, — сказал Маккормик и посмотрел на Гэллегера.

— Есть, командир.

Гэллегер сделал несколько шагов и остановился.

— Неловко получается. Как я туда войду?

— Постарайся незаметно открыть дверь, — посоветовал ему Маккормик. — Только не стучи, это будет некорректно.

— Дверь-то мы высадили, — сказал О'Рурки. — И засов выбили.

— Так что? — неуверенно спросил Гэллегер.

— Пойду я, — заявил Диллон. — Я женщин не боюсь, в туалете или еще где. А ты отнесешь Кэффри паек. Ему одному, наверное, там скучно.

— И сразу же назад, — сказал Маккормик.

— Я подожду, когда он вернется, — решил Гэллегер.

Затем он опять о чем-то задумался и выдал еще одно соображение:

— Может быть, она улизнула через сад Академии?

— Ты шутишь? — ответил О'Рурки. — Это невозможно.

— А британцы не могли подойти с той стороны? — спросил Кэллехер.

— Это невозможно, — повторил О'Рурки.

— Это почему же? — снова спросил Кэллехер.

— Потому что они слишком медлительны. Они подойдут с той стороны не раньше чем через неделю.

— Через неделю все будет уже кончено.

Бутылка виски пошла по второму кругу.

Появился Диллон.

— Мне не повезло, — сказал он. — В сортире ее нет.

Гэллегер стал собирать для Кэффри паек: виски, печенье и тушенка.

XLIII

Когда «Яростный» проходил мимо товарной станции Южной и Западной железной дороги, Маунткэттен сказал второму помощнику:

— Красивый город Дублин: доки, газовый завод, товарные поезда, загрязненная речушка.

— Вот все это мы как раз обстреливать и не будем.

— Не думаю, что почтовое отделение на набережной Эден представляет из себя архитектурный шедевр.

— Странное совпадение: невеста Картрайта служила именно там.

— Похоже, это его расстраивает.

— Никто его не заставляет бомбить свою зазнобу.

— Нет, но он сделает это. Ради короля.

При упоминании этой особы они встали по стойке «смирно» и на несколько секунд замерли. Судно, провожаемое взглядами толпящихся на набережной военных, гражданских и путешествующих, высаженных по причине железнодорожной неисправности, проходило перед вокзалом Северная Стена.

XLIV

Гэллегер открыл ногой дверь. Кэффри повернул голову и сказал ему:

— Поставь все на стол и проваливай.

— Хорошо, Сиси, — пролепетал Гэллегер.

Он поставил все на стол и замер, не в силах отвести взор от Кэффри. Тот уже успел забыть о Гэллегере и вернулся к прерванному занятию. Занятие оказалось распластанной на столе девушкой с растрепанными волосами, задранной до пупа юбкой и вяло свисающими ногами. Гэллегер перевел взгляд со своего озабоченного соотечественника на выглядывающую из-под него часть женского тела, а именно длинную белую ляжку, на которой четко вырисовывалась линия подвязки. Ее обладательницей могла быть только она, почтовая барышня, обнаружившаяся столь неожиданно, сколь горизонтально.

— Ты все еще здесь? — прорычал Кэффри.

Он был явно недоволен. Гэллегер вздрогнул. Он пролепетал: «Нет-нет, я уже ухожу» — и попятился назад, не спуская глаз с гладкой молочной кожи молодой британки. А другая девчонка, та, которую подстрелили накануне и труп которой проплывал сейчас где-нибудь около Сэндимаута, внезапно подумал Гэллегер... Все-таки какие красивые ножки у всех этих девчушек из почтового отделения на набережной Эден. А эта подвязка, тень которой, узкая, подвижная, казалось, служила лишь для того, чтобы представить эту плоть более яркой, более нежной...

Перед тем как закрыть дверь, Гэллегер попытался вобрать в себя последним взглядом всю эту красоту и смежил веки, чтобы удержать изображение.

— Я мог бы принести что-нибудь поесть и для нее? — робко спросил он.

Кэффри выругался.

Гэллегер закрыл дверь.

На экране своего внутреннего кинематографа он продолжал рассматривать сочные фосфоресцирующие формы англичанки и дополняющие их детали одежды: спущенные чулки, подвязки, высоко задранное платье. Он опять вспомнил о девушке, погибшей на тротуаре, и принялся судорожно молиться, дабы побороть искушение. Не мог же он уступить соблазну, удовлетворяя свою глубоко личную похоть. Он пришел сюда для того, чтобы освободить свою Ирландию, а не для того, чтобы взбалтывать свою спинномозговую жидкость. Прочитав двадцать раз *Ave Maria* и столько же раз *Во славу Иосифа*, он почувствовал, как спадает мышечно-поясничное напряжение. Только тогда он начал спускаться по лестнице.

— Странный у тебя видок, — заметил Диллон.

— Заткнитесь! — яростно прошептал стоящий на посту Кэллинен.

Его так и трясло от возбуждения.

— Все! Он уже здесь! Он уже здесь! Королевский флот!

XLV

«Яростный» бросил якорь в нескольких ярдах от моста О'Коннела, вниз по течению. Командор Картрайт приказал подготовить корабельные орудия к огнеметности, но воспользоваться готовностью явно не спешил; от одной этой мысли его коробило. Не то чтобы он отказывался давить папских республиканских мятежников, но ведь это почтовое отделение, совершенно уродливое, грязное и мрачное по своему функциональному и почти дорическому архитектурному решению, напоминало ему о привлекательной личности его невесты, мисс Герти Гердл, на которой он должен был (и искренне желал) жениться в самое ближайшее время, дабы свершить вместе с ней несколько подозрительную и даже странную в глазах целомудренного молодого человека акцию, чьи оккультные перипетии переводят девичество из состояния нетронутого в состояние растроганное.

Картрайт, стало быть, проявлял нерешительность. Матросы ожидали его приказаний. Внезапно полдюжины из них растянулись на палубе, а еще двое перевалились за борт и плюхнулись окровавленными головами в Лиффи. Они забыли про осторожность. А Кэллехер терпеть больше не мог; ему надоело разглядывать эти беспечные фигурки. Его пулемет работал отменно.

XLVI

Первый снаряд шлепнулся на газон в саду Академии. Он разорвался, осыпав травой и перегноем античноподобные гипсовые статуи, украшенные гигантскими виноградными листьями из цинка.

Второй снаряд угодил туда же. Несколько листьев опало.

Третий накрыл и уничтожил группу британских солдат на Лауер Эбби-стрит.

Четвертый снес голову Кэффри.

XLVII

Еще несколько секунд тело продолжало ритмично дергаться, совсем как туловище самца богомола, верхняя часть которого сжирается самкой, а нижняя по-прежнему упрямо совокупляется.

При первом пушечном выстреле Герти закрыла глаза. Открыв их — а какой-либо определенной причины для этого не было, ну разве что интерес к происходящим вне ее событиям, интерес, возникший, без всякого сомнения, сразу же после резкого удовлетворения желания, — и свесив голову, она заметила отсеченную голову Кэффри, которая лежала около ротангового кресла. Поскольку события внутри нее еще происходили, она сразу не поняла, в чем дело. Но подобие обезглавленного манекена, по-прежнему лежащее на ней, в конце концов поникло, обмякло и придавило ее. Ударила сильная струя крови. Герти закричала и оттолкнула от себя то, что осталось от Кэффри. Оставшееся от Кэффри бесцеремонно рухнуло на паркет, совсем как кукла, изувеченная жестоким ребенком. Герти, уже стоя, с ужасом оценивала создавшуюся ситуацию. «Одним меньше», — промелькнуло у нее в голове. Под довольно сильным впечатлением от кончины исковерканного снарядом Кэффри и в некотором замешательстве она отступила к окну, содрогаясь от посмертных почестей, окропленная снаружи, увлажненная внутри.

Она была глубоко взволнована. На первом этаже мятежники упрямо отстреливались. Пятый снаряд снова разорвался в саду Академии. Герти отвлеклась от созерцания расчлененного тела — зрелище поразительное — и заметила британское военное судно, у которого дымилось больше из трубы, чем из пушек. Она поняла, что это «Яростный», и еле заметно улыбнулась: обращаться к ней за разъяснениями по этому поводу было просто некому. Шестой снаряд пробил крышу соседнего здания и нанес ему значительный ущерб. Осколки, обломки кирпичей разлетались во все стороны. Герти чуть-чуть испугалась. Отошла от окна, перешагнула через труп, вышла из комнаты и очутилась на лестничной площадке. Внизу, в темноте, прикованные к амбразурам мятежники от души поливали матросов с «Яростного».

XLVIII

Абсолютной уверенности в том, что это она, не было; это было даже маловероятно. Среди них могла вполне оказаться какая-нибудь фанатичная амазонка и республиканка, и если это так, то порядочно ли бомбить женщину? Командор Картрайт начал задумчиво подкручивать свои усы после того, как Маунткэттен обрисовал ему обстановку: шесть матросов убито, двадцать пять ранено; что касается положительных результатов обстрела, то они были незначительны. Картрайт приказал прекратить огонь и отправить радиограмму, чтобы известить генерала Максвелла о присутствии женщины среди мятежников на набережной Эден и запросить дальнейших указаний.

XLIX

— Антракт, — объявил Кэллехер.
— Они успокоились, — сказал Маккормик.
— Непонятно, с чего бы это, — сказал Мэт Диллон.
— А нам передышка, — сказал Кэллинен. — Это нас немного взбодрит.
Кэллехер засуетился вокруг своего пулемета.
— А Кэффри? — спросил О'Рурки.
— Мне кажется, наверху здорово бабахнуло, — сказал Мэт Диллон.
— Дева Мария, Дева Мария, — зашептал Гэллегер, хватаясь руками за голову.
— Что с тобой?
Гэллегер, дрожа, как охотничья собака, жалобно заскулил.
Кэллехер, оставив свой «максим», похлопал его по спине.
— Ну что, старина, — участливо спросил он, — расклеился?
— Расскажи нам о Кэффри, — произнес Маккормик.
— Я же вам сказал, что там здорово бабахнуло, — объявил Диллон. — Пойду посмотрю.

Он пошел. Занеся ногу над первой ступенькой, он поднял голову и увидел Герти, которая наблюдала за ними и слушала, что они говорят. Стояла она прямо, смотрела неподвижно; ее смятое платье было окровавлено. Мэт Диллон очень испугался. Во рту у него все слиплось. Он с трудом произнес: «Она не убежала», остальные повернулись и посмотрели на нее. Гэллегер перестал плакать.

Она пошевелилась и начала спускаться по лестнице.

Диллон медленно отошел к сбившимся в кучку товарищам.

Она подошла к ним. Села.

И очень мягко сказала:

— Я бы поела омаров.

L

Она уселась перед ними и начала медленно есть. Доела и протянула Гэллегеру пустую консервную банку; тот принялся ее (консервную банку) задумчиво ощупывать. О'Рурки налил ей стаканчик виски, который она сразу же осушила.

— Вы прятались? — спросил Маккормик.

— Это допрос? — спросила Герти.

Она вернула О'Рурки пустой стаканчик.

— Он мертв, — сказала она. — Его голова — здесь (она махнула рукой), а тело — там (она махнула рукой в другую сторону). Какой ужас, — добавила она из приличия. — Снаряд разрушил часть стены. Я бы выпила еще стаканчик виски.

О'Рурки налил ей полный стаканчик виски, который она сразу же осушила.

— Вы прятались? — снова спросил Маккормик.

— Но Кэффри не мог не знать, — встревожился Диллон. — Он что, соврал? Где же вы были?

— Бедный Кэффри, — сказал Гэллегер и снова запричитал: — Бедный Кэффри!

— У него спросите, — ответила Герти и кивнула в сторону Гэллегера.

— Когда ты относил паек для Кэффри, ты ее видел?

— Какой ужас, Дева Мария! Какой ужас!

Маккормик бросил на Герти внезапно и неимоверно встревоженный взгляд.

— Что вы с ним сделали? Что вы нам рассказываете про какой-то там снаряд? Вы его убили? Вы его убили?

— Сходите и посмотрите.

Выглядела она очень спокойной, очень спокойной. Повстанцы держались от нее на расстоянии. Дежуривший у амбразуры Кэллинен постоянно оборачивался и смотрел на нее с удивлением. Она улыбнулась ему. После чего он уткнулся в бойницу и уже больше не оборачивался.

— Почему вы улыбаетесь? — спросил Маккормик.

Но она уже больше не улыбалась.

— Схожу посмотрю, — сказал Мэт Диллон.

Этот никогда не упускал возможности куда-нибудь сходить.

— Там крови по колено, — предупредила его Герти. — Какой ужас, — добавила она из приличия.

— Дева Мария! Дева Мария! — причитал Гэллегер.

Маккормик и О'Рурки его обматерили и как следует встряхнули. Гэллегер успокоился. Повернувшись спиной к Герти, он взял свою винтовку и подобрался к одному из забаррикадированных окон: на борту «Яростного», казалось, ничего не происходило.

— Как называется корабль, который нас обстреливает?

Все отметили *нас*, но ни один из караульных ей не ответил. О'Рурки сообщил ей, что речь идет о «Яростном», и затем спросил:

— Почему вы спрашиваете?

— У каждого корабля свое название.

«Она не очень любезна по отношению ко мне», — подумал он.

— Если, — продолжал Маккормик, — если, как бы это сказать, если вы невиновны в смерти Кэффри и Кэффри действительно мертв, мы сдадимся британцам.

Кэллинен и Гэллегер вздрогнули, повернулись и посмотрели на О'Рурки; тот даже не понял почему.

Герти сделала вид, что раздумывает, и ответила:

— Я не хочу.

— Так, значит, вы прятались? — в очередной раз спросил Маккормик, который никак не мог отвязаться от этой мысли.

— Да, — ответила она и сразу же добавила: — Кэффри знал об этом.

Гэллегер и Кэллинен отвели от нее взгляд и вернулись к наблюдению за по-прежнему спокойным «Яростным».

Маккормик чувствовал себя все более и более неловко.

— Кэффри, ах Кэффри, ах да! — недовольно пробурчал он и замолчал, посмотрев пугливо на Герти; он страшно боялся, что она может решиться внезапно и публично возобновить свои действия, неприличные до невообразимости, если не сказать до невероятности; действия, в греховности которых невозможно даже исповедоваться, ибо в катехизисе об этом не упоминается; впрочем, Маккормик не особенно хорошо себе представлял, в чем женщины способны исповедаться перед священником; он поймал на себе взгляд Герти, но ничего в нем прочесть не смог; командира бросило в дрожь. Он снова забурчал, но уже совершенно бессвязно: «Ах да, Кэффри... Кэффри...», потом вдруг решился. «Нужно принять решение», — решил он и повел себя по-командирски решительно. Не дожидаясь, пока подчиненные отреагируют на его решение о принятии решения, он вскочил, схватил Герти за руку, подвел опешившую девушку к одному из маленьких кабинетов (именно к тому, в котором Гэллегер и Кэллехер складировали труп привратника), подтолкнул ее и запер за ней дверь на два оборота ключа, который почувствовал на себе всю решимость командирской хватки.

Маккормик вернулся к товарищам и произнес следующее:

— Дорогие друзья и товарищи, так продолжаться больше не может. Я говорю не

о британцах, они нас поимеют, это уж точно, нам крышка, нечего хорохориться, хотя напоследок мы им здорово всыплем, проявим геройство, настоящее геройство, черт бы нас побрал, что касается геройства, то мы им покажем геройство, это уж точно, но вот что касается девчонки, то это никуда не годится, и чего она вздумала прятаться в туалете, когда разразилась битва, и теперь от нее не отвяжешься, что ей нужно, непонятно, но совершенно очевидно и однозначно, что она что-то задумывает, да что там задумывает — обдумывает! А может, уже все обдумала. Нет. Нет. Нет. Пока эта паршивка с нами, все шиворот-навыворот, нужно принять решение, решение совершенно очевидное и совершенно однозначное, черт побери, и это еще не все, нужно объясниться насчет нее, нужно сказать всю правду насчет нее. Вот что я думаю: я здесь командир, и я принимаю решение: прежде всего принять какое-нибудь решение как командир, а здесь командир — я, а после этого или скорее перед этим сказать всю правду о том, что касается по поводу насчет этой особы женского пола, которую я только что затворил в маленьком кабинете.

После выступления воцарилась гробовая или даже загробная тишина. Такая запредельная, что даже дежурившим у амбразур стало не по себе.

Кэллинен повернулся и объявил:

— На «Яростном» по-прежнему все тихо.

Десятую долю секунды спустя Гэллегер повернулся и объявил:

— На «Яростном» по-прежнему все тихо.

Тут возникло явление интерференции, совсем как на лекции по физике, при сравнении скорости света и звука.

Но присутствующим было утробно наплевать на интерференции. Они переваривали то, что им выдал Маккормик. Смысл произнесенной речи запал караульным так глубоко в душу, что они забросили свою амбразуродозорную деятельность с пренеприятнейшим риском быть вероломно и коварно атакованными подлыми британцами.

Кэллехер потерся животом о дуло «максима» и оборвал затянувшуюся паузу следующим обращением:

— Коли ты командир, то продолжай дальше и начинай сначала говорить правду по поводу насчет личности, которую ты только что затворил и которая принадлежит к противоположному нам полу.

— Лады, — сказал Джон Маккормик.

Он засунул руку в распах рубахи и зачесал волосатое пузо.

Затем сконфуженно замер.

— Кстати, — сказал Кэллехер, — что там делает Диллон? Что-то его долго нет.

LI

Увидев плавающую в луже крови и на значительном расстоянии от тела голову Кэффри, портной с Мальборо-стрит Мэт Диллон упал в обморок.

LII

Маккормик кашлянул, перестал чесать живот и сказал:

— Друзья мои, товарищи, эта девушка не должна была находиться здесь, это точно. Мы бы вернули ее британцам, как это следовало бы. Но она спряталась. Зачем? Нам это неизвестно. Она не захотела объясниться по этому поводу, значит, нам остается лишь предполагать, в чем тут дело. Короче.

— Да, короче, — сказал Кэллехер, — все, что ты пока рассказываешь, не больше чем треп.

— Короче, — с бычьим упорством продолжал Маккормик, — как заметил в одной из предыдущих глав Ларри, если мы ее вернем британцам, недопустимо, чтобы она смогла рассказать про нас что-нибудь нехорошее. Наоборот, для общего дела необходимо, чтобы она признала наш героизм и непорочность наших нравов...

Кэллехер пожал плечами.

— Значит, недопустимо, чтобы она смогла про нас что-нибудь рассказать. Значит, недопустимо, чтобы что-нибудь произошло. Только что вы все сказали, что были с ней корректны. Все, кроме Кэффри, которого здесь не было, Ларри, который задал вопрос, и...

— И тебя, — сказал Кэллехер.

— Да, и меня. Так вот я, я не говорил, что был с ней корректен, потому что если бы я это сказал, то это было бы неправдой. Я был с ней некорректен.

Ошарашенный Ларри посмотрел на Маккормика как на что-то уникальное и невообразимо чудовищное. Он подумал, что тот спятил. Ведь Ларри не отходил от него ни на минуту. Как это могло произойти?

— Или скорее, если уж говорить начистоту, это она была со мной некорректна.

Теперь, когда не оставалось никаких сомнений в сумасшествии Маккормика, Ларри задумался о проблеме практического свойства: чтобы их маленький отряд смог покрыть себя немеркнущей славой в эти последние оставшиеся им часы, необходим настоящий командир, а не мифоман, да еще предположительно опасный. Теперь это место придется занять ему, О'Рурки. Но как может пройти передача полномочий? Это его серьезно беспокоило. Трое остальных с большим вниманием ожидали продолжения рассказа.

— Но только никаких доказательств нет, — продолжал Маккормик. — Это такое дело, что подробно и не расскажешь. Я еще никогда такого не видел. Что произошло, то произошло. Но, повторяю вам, следов нет. А в таком случае можно выдать ее британцам. Насчет того, о чем я вам рассказываю, она распространяться не будет.

— Ты слишком торопишься, — сказал Гэллегер, — я так ничего и не понял. Но в твоей запутанной исповеди нет никакой необходимости. Если она захочет, то пусть распространяется. Потому что доказательство существует абсолютно точно. Один из нас ее изнасиловал.

— Какой ужас! — вскричал Ларри, мгновенно забыв о своих недавних амбициях.

— И кто же это? — ватно спросил Кэллинен.

— Кэффри, — парчово возвестил Гэллегер. — Святой Патрик, прими его душу!

— Этот неуч! — вискозно воскликнул будущий врач О'Рурки.

— О черт! — коверкотно заключил Джон Маккормик.

— Кэффри, — повторил Кэллинен. — Кэффри? Кэффри? Кэффри? Кэффри? Кэффри? Кэффри? Кэффри? Как это Кэффри? Как это Кэффри? Ведь это я ее изнасиловал.

Он упал на колени и начал неистово размахивать руками. Пот с него лил градом.

— Это я ее изнасиловал! Это я ее изнасиловал!

Все замолчали, даже Гэллегер.

— Это я ее изнасиловал! Это я ее изнасиловал!

Рукомахание прекратилось, и совершенно обессиленный Кэллинен замер.

— Это я ее изнасиловал! — повторил он снова, но уже не с таким воодушевлением.

— Или скорее, — добавил он, вытирая лицо своим красивым зеленым платком с золотыми арфами, — или скорее она мною овладела.

Он обхватил себя за плечи, низко опустил голову, припал к коленям сидящего Маккормика и стал жаловаться.

— Товарищи, — ныл он, — друзья мои, это она мною овладела. Моя порядочность была застигнута врасплох; я — жертва. Моя маленькая Мод, моя маленькая Мод, моя дорогая невеста, прости меня. Я по-прежнему предан тебе душой, англичанка заполучила только мое тело. Я сохранил верность и чистоту внутри, а скверна осталась снаружи.

— Что за глупости, — завопил Гэллегер, — я же видел Кэффри.

Он похлопал Кэллинена по спине.

— Ты выдумываешь черт знает что, старина, тебе это приснилось, никогда ты на нее не залезал, на эту барышню с почты. Ты просто не в себе. Клянусь тебе, ее изнасиловал Кэффри. Да еще как!

— Замолчи, — прошептал Ларри О'Рурки, и выражение его лица изменилось. —

Ведь в эти самые минуты, — продолжал он, — умерший поднимается в чистилище, чтобы избавиться от своего сладострастия в лоне Святого Патрика, и мы должны быть безупречны.

Кэллинен уже не плакал; он внимательно слушал краткое повествование уроженца Инниски. Кэллинен убедительно попросил его уточнить, когда именно тот увидел блудящего Кэффри, и тот ответил, что это было, когда он понес Кэффри его паек (или lunch). Маккормик заметил, что это могло произойти только тогда. А Кэллинен закричал:

— Так вот, я — эта кошка!

И добавил:

— А что касается кошки, то это было раньше, поскольку это было на рассвете.

Он вскочил и заметался по комнате.

— Ну? Вы вспоминаете кошку? Как сказал мне Кэффри, вы поверили, что это была кошка. И он же посоветовал мне сказать вам, что это была действительно кошка. Так вот, мяукающая кошка — это Герти, которой я доставлял ощущения. Потому что именно я поимел ее непорочность, я в этом уверен, вот. Вот доказательство.

И он помахал своим большим зеленым платком с золотыми арфами, испачканным кровью.

Ларри О'Рурки отвел взгляд, чтобы не видеть доказательство. Он предавался неимоверно трудной умственной гимнастике, чтобы выглядеть внешне спокойным и никак не проявлять эмоции, которые терзали его страшным образом. Ему казалось, что он попал в ад. Ему хотелось по-детски расплакаться; но роль заместителя командира повстанческого отряда на закате провалившегося мятежа удерживала его от детских слез. Он пытался молиться, но это не помогало. Тогда он стал повторять про себя лекцию по остеологии, чтобы отвлечься. А Кэллинен к тому времени раззадорился не на шутку:

— Я не только был у нее первым, но еще и причастил ее во второй раз. И в этот второй раз Кэффри меня застукал. Мы как раз закончили. К счастью. И это он посоветовал мне сказать, что это была кошка.

— Да нет же, — прервал его Маккормик, — кошка была совсем недавно.

Кэллинен опешил.

— И потом, — продолжал Маккормик, — кошка была не на рассвете. Это было уже после. Именно в тот момент, когда британцы начали атаковать. Твоя история кажется мне слишком запутанной.

— Я же говорю вам, что это Кэффри, — сказал Гэллегер. — Я же говорю вам, что я его видел.

Кэллинен промокнул вспотевший лоб своим красивым зелено-красно-золотым платком и бессильно плюхнулся на пустой ящик из-под виски.

— Я знаю точно, что поимел ее два раза. Сначала первый раз, а затем второй. Кошка — это было во второй раз. И ощущения тоже. В первый раз она молчала. Очень мужественно с ее стороны. Надо сказать, что она сама захотела. А потом сама же и разнылась. Я вел себя не грубо, но я плохо представляю, как может страдать девушка в этот момент. А вы?

Стоящий на посту Кэллехер не оборачиваясь ответил, что об этом нужно спросить у Ларри О'Рурки, поскольку, учитывая его медицинские познания, тот должен иметь обоснованное мнение на этот счет.

Студент ничего не ответил. Схватил бутылку виски, отбил горлышко о край стола и залил себе в глотку изрядную порцию. Это было не в его правилах, но он так нервничал.

— И еще, обычно я это делал с телками, которые перепробовали на своем веку немало мужиков, причем настоящих буйволов, после которых твое тырканье не очень-то их и пронимает. И тут впервые мне попалась молодая неопытная девушка без всяких проб и прониманий. А вам случалось иметь дело с такими недотрогами?

— Ты нас затыркал своими рассказами, — сказал Гэллегер. — Я же сказал, что видел, как Кэффри на ней лежал.

— Может быть. Может быть. Но уже после. После того как лежал я. А потом, у

меня есть столько доказательств. Сколько угодно. Бесчисленное множество. Даже непонятно, что с ними делать. Во-первых, это (и он потряс своей промокашкой, как флагом). А еще кошка. А еще, еще, например, вот что: я знаю, что у нее под платьем. Я об этом могу рассказать. Это тоже доказательство. Да, ребята, я могу вам рассказать, что она носит под платьем. Она не носит панталоны, отделанные гипюром с ирландскими стежками, она не носит корсеты из китового уса, эдакие доспехи, как леди или бляди, которых вы могли когда-нибудь раздевать.

Тут Маккормик стал думать о своей жене (до этой минуты у него не было времени на подобные раздумья), которую он никогда не раздевал, которую он никогда не видел раздевающейся и которую он находил по вечерам уже в кровати, где она определялась на ощупь большой мягкой массой; тут Ларри О'Рурки стал думать о женщинах на Симсон-стрит с их пеньюарами, черными чулками и грязно-розовыми подвязками, о женщинах, на которых, кроме этого, больше ничего не было или почти ничего, отчего становилось невообразимо грустно даже субботними вечерами; тут Гэллегер стал думать о своих землячках, которые одевались в лохмотья и которых брюхатили, даже не глядя на их телосложение, в тени заветных валунов и каменных истуканов; тут Кэллехер стал думать о своей матери, которая ходила постоянно во что-то затянутая, с какими-то шнурками и завязками, болтающимися из-под юбки, что и привело его к предпочтению более эстетичных мужских шестеринок.

— Нет, когда трогаешь ее тут (и он взял себя за бока), то под платьем чувствуешь голую кожу, а не тряпки, штрипки и китовые усищи. Голая кожа.

— Ты правду говоришь? — спросил Диллон.

Никто даже не услышал, как он спустился. Все были так увлечены.

— Долго же ты, — сказал ему Маккормик. — Что ты там делал?

— Я упал в обморок.

На какую-то долю (приблизительно одну треть) секунды Гэллегер остолбенел, после чего взорвался от хохота. Ему было очень смешно. Аж до слез.

— Не забывай, что в доме мертвый, — сказал ему Кэллехер, не поворачивая головы.

Гэллегер замолчал.

— Ну? — спросил Маккормик у Диллона.

— Его голова откатилась довольно далеко от тела. Мне от этого стало плохо. Придя в себя, я застегнул ему штаны, скрестил ему руки на груди, сверху положил голову, накрыл ковром и прочитал несколько молитв за упокой его души.

— И ты думал о Святом Патрике? — спросил Гэллегер.

— А потом я спустился. Выпить найдется?

Ларри протянул ему бутылку виски и робко спросил:

— А при чем здесь его штаны?

Мэт, отпивая из бутылки, пожал плечами.

— Вот видите, я был прав, — сказал Гэллегер.

— А я? — добавил Кэллинен.

Покончив с виски, Мэт удовлетворенно вздохнул, рыгнул, бросил бутылку, которая разбилась вдребезги о почтовый ящик с надписью «Международные», и снова сел.

Все продолжали молча размышлять. Все закурили сигареты, за исключением Маккормика, который больше склонялся к посасыванию трубки.

— Все-таки, — выдавил он из себя, — нельзя ее им отдавать.

— Но и убить ее тоже нельзя, — сказал Гэллегер.

— Что она может о нас подумать, — прошептал Маккормик.

— Ну насчет этого, — вскричал Кэллинен, — мы тоже можем о ней кое-что подумать.

— Она ничего не скажет, — сказал Кэллехер не оборачиваясь.

— Почему? — спросил Маккормик.

— Такие вещи девушки не рассказывают. Она будет молчать или же скажет, что мы герои, а нам больше ничего и не надо. Но не думаю, что следует ее отдать. Лучше о ней больше не думать, лучше спокойно подохнем как настоящие мужчины. Finnegans wake!

— Finnegans wake! — ответили остальные.

— Смотри-ка, — сказал Кэллехер, — похоже, что на «Яростном» начинают оживать.

Гэллегер и Маккормик побежали к своим боевым позициям. Кэллинен устремился за ними, но Диллон его удержал.

— Это правда, то, что ты сейчас рассказывал?

— По поводу малышки? Конечно. Будет очень жалко, если британцы меня ухлопают, остались бы забавные воспоминания.

— Нет, о том, как она была одета.

— А! Тебя это интересует.

— Сейчас я их немного расшевелю, — объявил Кэллехер, и его пулемет застрочил.

Диллон оставил Кэллинена у бойницы и направился к маленькому кабинету — месту заключения. Ключ был в дверях.

Раздался первый пушечный выстрел.

LIII

Снаряд залетел в сад Академии. Что и говорить, поражение цели велось по-прежнему с явной медлительностью.

У командора Картрайта на душе скребли кошки.

LIV

В ту самую минуту, когда снаряды посыпались не на, а, как и раньше, вокруг почтового отделения на набережной Эден, Диллон, беззвучно повёрнув ключ в скважине дверного замка и не менее беззвучно толкнув саму дверь, вошел в маленький кабинет.

Герти Гердл расстелила на стуле свое окровавленное платье, не иначе как для того, чтобы оно высохло, и теперь, сидя в кресле, предавалась мечтаниям. На ней ничего не было, кроме лифчика, трусиков самого модного для того времени фасона и очень облегающих шелковых чулок со строго вертикальным рисунком.

На другом стуле висела комбинация, из которой в задымленный воздух выпаривало кэффрийский пурпур, ежели столь высокопарно выраженное действительно возможно.

Герти думала о своих голубых глазах. А еще она представляла, как ей холодно. Отчего легкий и обычно, то есть в более спокойные времена, стелющийся вдоль кожи пушок вставал дыбом на ее омурашенной коже.

Застывший Диллон рассматривал девушку, а подчиненные Картрайта и приятели Кэллехера продолжали строчить воинственную симфонию. Она, Герти, подняла глаза и увидела его, Мэта Диллона, и даже не вздрогнула. Только спросила:

— Как там мое подвенечное платье?

— Значит, это были вы, — задумчиво протянул Мэт.

— Я вас сразу же узнала.

— И я тоже.

— Я не хотела вас компрометировать в глазах товарищей.

— Ничего.

— То есть?

— Все равно спасибо.

— Значит, вы все-таки об этом думали.

— Думать мне никто не запрещал.

— Вы его закончили?

— Полностью.

— А что вы скажете об этом?

— Испорчено окончательно.

— Мне холодно.
— Набросьте на себя что-нибудь.
— Что?
— Что угодно.
— Ковер?
— Я не это имел в виду.
— Вы видите, мне холодно.
— Ну не знаю.
— Но вы же портной!
— Позвольте мне на вас посмотреть.
— Пожалуйста.
— Кэллинен был прав.
— Что за Кэллинен?
— Тот, который...
— Который что?
— Тот, которого...
— Которого что?
— Простите, но я все-таки джентльмен.
— Мистер Диллон, а правда, что вам не нравятся женщины?
— Правда, мисс Герти.
— Неужели вам меня не жалко? Ведь мне так холодно.
— Позвольте мне на вас посмотреть.
— Видите? Я не ношу корсета.
— Это меня неимоверно заинтересовало... Вы — первая...
— Женщина.
— ...девушка.
— Нет, женщина.
— ...которая следует этой новой моде.
— Возможно.
— Это так.
— И что вы об этом думаете?
— Еще не решил.
— Почему?
— Старые привычки.
— Это глупо.
— Я знаю.
— Вы ведь следите за модой?
— Слежу.
— Так что?
— Говорю же вам... это меня скорее сбивает с толку.
— Значит, вас не поразили мои трусики? Трусики из Франции, из самого Парижа. Которые мне удалось достать в самый разгар войны. Вас это не поражает?
— Поражает. В общем, это не так уж плохо.
— А мой лифчик?
— Очень элегантно. Да и грудь у вас, должно быть, красивая.
— Значит, вы не совсем безразличны к женским прелестям?
— Я говорил об этом с чисто эстетической точки зрения.

Это было единственное слово греческого происхождения, которое знал портной с Мальборо-стрит.

— Так вот, — сказала Герти, — я вам ее покажу. Мне думается, что она у меня действительно красивая.

Она немного наклонилась, чтобы завести руки за спину; грациозно, как это делают женщины, расстегивающие лифчик. Упав на ее колени, деталь несколько секунд сохраняла объем, после чего опала. Обнаженные груди оказались плотными и круглыми, низко посаженными, с высоко вздернутыми и еще не успевшими побагроветь от мужских укусов, а значит, пока светлыми сосками.

Несмотря на привычную для своей профессии, а также для своих склонностей способность невозмутимо наблюдать за женщинами на различных стадиях обнажения, Мэт Диллон был вынужден отметить, что за считанные секунды объем его тела частично и значительно (по сравнению с обычным) увеличился. А еще он заметил, что Герти это тоже отметила. Она перестала улыбаться, ее взгляд посуровел. Она поднялась.

Вытянув руки вперед, Диллон сделал три шага назад и пролепетал:

— Я сейчас принесу вам платье... Я сейчас принесу вам платье...

Взмокший и похолодевший от пота портной развернулся, пробкой вылетел из кабинета и очутился за дверью, которую запер на ключ. На несколько секунд замер, переводя дыхание. Затем пустился в путь. Вздрогнул, проходя мимо ДАМского туалета, откуда эта девчонка вылезла, как Афродита из вод. Дошел до маленькой двери, которую разбаррикадировал. Оказался во дворике. Приставил к стене лестницу. Поблизости разорвался снаряд. Диллона осыпало землей, гравием, гипсовыми ошметками. Он перемахнул через стену и упал во двор Академии, усеянный воронками. Все послеантичные статуи уже успели потерять свои цинковые фиговые листья, и Диллон смог на бегу оценить раскрывшиеся таким образом мужские достоинства. Он ощущал себя снова в нормальной и здоровой обстановке, а заметив, что от обстрела пострадали лишь Венеры и Дианы, даже улыбнулся этому странному стечению членовредительских обстоятельств. Метрах в ста от него разорвался еще один снаряд. Взрывной волной его опрокинуло на землю. Он поднялся. Целый и невредимый. И побежал дальше.

Большие стеклянные двери выставочного зала были разбиты. Диллон пересек опустевший музей, не останавливаясь перед всей этой мазней, слегка взбудораженной артобстрелом. Выход на Лауэр Эбби-стрит был открыт; сторожа, не испытывая особого желания подохнуть ради сомнительных сокровищ, сбежали, вероятно, еще в начале восстания.

На улице не было ни души. Брошенный трамвай. Диллон побежал вдоль фасадов в сторону Мальборо-стрит.

LV

— Что-то здесь не так, — сказал Маккормик, прекращая стрельбу и отставляя винтовку.

Остальные последовали его примеру; Кэллехер отложил в сторону пулеметные магазины.

— Это ненормально, — продолжал Джон. — Как будто они делают это специально. Они фигачат вокруг, но не в нас. Как будто снаряд, который снес голову Кэффри, — Святой Патрик, прими его душу! — они выпустили совершенно случайно.

Он взял бутылку виски, отпил и передал другим. Бутылка вернулась к нему уже пустой. Он закурил трубку.

— Кэллинен, ты на посту.

Остальные закурили сигареты.

— Если мы проведем здесь еще одну ночь, то было бы лучше похоронить Кэффри, — сказал Гэллегер.

— А мне на этих британцев насрать, — внезапно произнес Кэллинен.

О своих националистических воззрениях он сообщил не оборачиваясь; выполняя полученный приказ, он обозревал окрестности, скрывающие вражеское присутствие. Каждые сорок секунд «Яростный» окутывался ватным облачком, появляющимся на конце какой-нибудь из его смертоносных трубочек.

— Я бы побрился, — сказал О'Рурки.

Каждый посмотрел на своих соседей. Лица у всех посерели и покрылись щетиной. Взгляды некоторых затуманились.

— Хочешь выразить свое почтение Гертруде? — спросил Гэллегер.

— А ведь действительно ее зовут Гертруда, — прошептал О'Рурки. — Я совершенно забыл.

Он странно посмотрел на Гэллегера.

— А ты-то почему запомнил?

— Заткнитесь! —сказал Кэллехер.

— Не будем о ней говорить, — гаркнул Маккормик. — Мы же сказали, что больше не будем о ней говорить.

— А Диллон? Его нет, — выпалил Кэллехер.

Все выразили удивление.

— Может быть, он на втором этаже, — предположил Маккормик.

— Или с девчонкой, — сказал Гэллегер.

— Он? — прыснул со смеху Кэллинен.

Все увидели, как он затрясся. Потом замер. Затем все услышали:

— Все. Мне, мне на этих британцев насрать.

— Действительно странно, — сказал О'Рурки. — Как будто они нас оберегают.

Он провел рукой по щекам.

— Я бы побрился, — сказал он.

— Сноб, — сказал Гэллегер. — Хочешь понравиться Гертруде?

Маккормик потряс своим кольтом:

— Черт бы вас побрал! Первого, кто о ней заговорит, я шлепну на месте, понятно?

— Надо бы все-таки похоронить Кэффри до наступления ночи, — сказал Гэллегер.

— Где же Диллон? — спросил Кэллехер.

— Может, я где-нибудь найду бритву, — сказал О'Рурки.

В то время как остальные хранили молчание, он заходил по комнате, роясь во всех ящиках и не находя в них ничего подходящего.

— Черт, — сказал он, — ничего.

— Неужели ты думаешь, — сказал Гэллегер, — что эти почтовые барышни используют одноразовые бритвы? Нужно быть законченным интеллектуалом, чтобы представить себе такое.

— А мне, — сказал Кэллинен, — мне на этих британцев насрать.

— Почему бы и нет? — возразил Кэллехер. — Диллон мне рассказывал, что есть женщины, правда не почтовые барышни, а настоящие леди, которые бреют себе ноги одноразовыми бритвами.

— Вот видишь, — сказал О'Рурки, продолжающий рыться в ящиках, Кэллинену, продолжающему стоять к ним спиной на посту.

— А мне кажется, — сказал Гэллегер, — что надо бы все-таки похоронить Кэффри до наступления сумерек.

— Говорят даже, — продолжал Кэллехер, — говорят даже, что есть чувихи, которые заливают себе ноги чем-то вроде воска, и когда эта штука остывает, ее отдирают вместе с волосами. Радикально, хотя и немного больно, и потом, позволить себе такое могут только суперледи, чуть ли не принцессы!

— Хитроумно, — сказал О'Рурки.

Он мечтательно теребил тюбик красного воска для печатей.

— Попробуй, — сказал ему Кэллехер.

— Все, — сказал Кэллинен, — в гробу я видел этих британцев.

— Нельзя же сидеть всю ночь рядом с этим трупом, — сказал Гэллегер.

— Интересно, где может находиться Мэт Диллон, — сказал Маккормик.

— А чем? — спросил Ларри.

— Тем, что ты держишь в руке.

— Да шутит он, — сказал Гэллегер.

— Может быть, Диллон мертв, — сказал Маккормик. — Мы об этом не подумали.

— Я его растоплю и вылью тебе на лицо, — сказал Кэллехер. — Вот увидишь, какая гладкая кожа у тебя потом получится.

— Можно откупорить еще один пузырь виски, — сказал Маккормик.

Очередной снаряд взорвался в соседнем доме. С треснувшего потолка посыпалась штукатурка.

— Мне, мне на этих британцев насрать, — сказал Кэллинен.

LVI

Обстрел закончился. Ларри противно стонал от боли, а Кэллехер, сидя у него на животе — чтобы не дергался, — отдирал перьевой ручкой воск и прилипшую щетину. Гэллегер и Маккормик взирали на это увлекательное зрелище, выскабливая тунца из консервной банки. Кэллинен продолжал наблюдать за «Яростным».

— Женщины ведут себя более мужественно, — сказал Кэллехер, — судя по тому, что рассказывал Диллон.

— Судя по всему, — заметил Гэллегер, пережевывая законсервированную в масле рыбу, — они, пожалуй, повыносливее нас.

— Нужно признать, — добавил Маккормик, — что когда они впрягаются, то вынести они могут больше нас.

— Например, когда они рожают, — сказал Гэллегер. — Представляю себе наши рожи, если бы это пришлось делать нам. Правда, Кэллехер?

— Ты это к чему?

Он только что обрил подбородок и, отскоблив левую щеку, выскабливал правую. Мокрый от пота Ларри был нем как рыба. Только нервно шевелились пальцы на ногах на дне ботинок, но никто этого не видел.

— Мы, мужчины, — сказал Маккормик, — начинаем ныть каждый раз, когда приходится страдать. Они же, женщины, страдают все время. Они, можно сказать, для этого созданы.

— Чего-то ты разговорился, — заметил Гэллегер.

— А мне, — сказал Кэллинен не оборачиваясь, — мне на этих британцев насрать.

— Это приближение смерти делает его таким задумчивым, — во всеуслышание заявил Кэллехер, который почти закончил истязать О'Рурки. — Какой ты у меня будешь красивый, — прошептал он затем на ухо истязаемому.

— Мы, мужчины, — продолжал Маккормик, — что касается самого важного, вы меня понимаете?

— Еще как понимаем, — сказал Гэллегер, вылавливая из банки остатки самого важного.

— Ну вот, нам это всегда в удовольствие. А женщинам приходится много чего пережить начиная с того момента, когда они перестают быть девушками...

— Ну уж, — сказал Кэллинен, — не надо преувеличивать.

— Ну вот, ты теперь неотразим, — сказал Кэллехер, отпуская Ларри.

Тот встал и провел рукой по гладким отныне щекам.

— Красиво сработано, — сказал Гэллегер, хотя по всему лицу Ларри и выступили капельки крови. Он задумчиво посмотрел на свою пурпурную ладонь.

— Ничего страшного, — сказал Кэллехер.

— Я хочу есть, — сказал О'Рурки.

Маккормик протянул ему начатую банку тунца и кусок хлеба. Но погруженный в глубокую задумчивость Ларри к ним даже не притронулся. Он встал и направился к маленькому кабинету.

— Она, наверное, тоже хочет есть, — прошептал он.

Остановился и вернулся к своим соратникам.

— Вот я, я буду с ней корректен.

— А мне, — сказал Кэллинен не оборачиваясь, — мне на этих британцев насрать.

— Где же Диллон? — спросил Кэллехер.

— Сходи посмотри, — сказал Гэллегер О'Рурки.

— Она не может погибнуть, — сказал О'Рурки.

— Почему не может? — спросил Гэллегер.

— Это будет несправедливо, — сказал О'Рурки.

— Я приказал вам не говорить о ней.

— Она не должна погибнуть, — сказал О'Рурки.

— А мы? — спросил Гэллегер.

— Поделись тогда с ней своим тунцом, — сказал Кэллехер. — Хотя она, может быть, не любит слишком выбритых мужчин.

— А я ее люблю, — сказал О'Рурки.
— Хватит, — сказал Маккормик.
— А я ее люблю, — повторил О'Рурки.
Он, насупившись, оглядел их по очереди. Они молчали.
Ларри развернулся и направился к маленькому кабинету.
Обстрел так и не возобновлялся.

LVII

Картрайт еще раз прочел сообщение генерала Максвелла.
Надлежало до заката солнца уничтожить последний оплот мятежников. Без чего говорить об окончании, об окончательном окончании мятежа было невозможно. Невозможно было допустить, чтобы последние инсургенты продержались еще одну ночь.

Картрайт вздохнул (но не тяжело) и посмотрел на почтовое отделение на набережной Эден, продырявленное лишь на уровне второго этажа. Близлежащие здания пострадали намного ощутимее. Увиливать дальше и больше представлялось нереальным. Командор Картрайт не мог предать своего короля и свою страну. И потом, что за привидение померещилось ему на том берегу? Теперь он будет стрелять точно в цель.

Он направился к канонирам.

LVIII

Ларри закрыл за собой дверь. Потупил взор. В руках он держал кусок хлеба и консервную банку. Герти сидела в кресле, повернувшись к нему спиной. Он видел лишь ее светлые, коротко остриженные волосы.

— Я принес вам поесть, вам надо подкрепиться, — произнес О'Рурки слегка взволнованным голосом.

— Кто вы такой? — сурово спросила Герти.

— Меня зовут Ларри О'Рурки. Я студент медицинского колледжа.

— Это вы мне подтирали нос, не так ли?

Смущенный Ларри начал что-то бормотать в ответ, потом замолчал.

— А что вы мне принесли?

— Хлеб и тунца.

— Положите сюда.

Не оборачиваясь, она указала рукой на стол. Ларри подошел к столу и увидел, что указующая рука была обнажена. Затем он заметил платье, разложенное на одном стуле, и комбинацию — на другом. Из чего он сделал надлежащие выводы.

После чего застыл, опешивший и ошарашенный.

— Я слышу ваше дыхание, — сказала Герти, не притрагиваясь к пище.

— О Господи, о Господи, — прошептал О'Рурки, — что я здесь делаю?

— Что вы там бормочете?

— О Святой Иосиф, о Святой Иосиф, я не смог устоять, я не смог устоять, и вот я у ног этой женщины, которая явилась мне в состоянии абсолютной наготы, и я пришел открыть ей свою любовь, свою непорочную, рыцарскую и вечную любовь, но на самом деле мне хочется сделать то же самое, что делали остальные мерзавцы.

— Что вы там лопочете? Вы читаете молитву?

— Теперь я себя понимаю: Кэллинен, Кэффри — вот кому я подражаю. Несчастная девушка, невинная девушка, которую они опозорили и которую я в глубине души тоже желаю опорочить. О Святой Иосиф, о Святой Иосиф, научи меня остаться чистым. О Святая Мария, сотвори чудо и верни девственность моей невесте Гертруде Гердл!

— Отвечайте же: что вы там шепчете?

— Я люблю вас, — прошептал очень-очень тихо Ларри.

— Вы ведь закоренелый папист, не так ли? — продолжала Герти, так и не услышав признания. — Но я не понимаю, почему вы пришли святошничать именно ко мне? Вы надеетесь меня обратить в свою веру?

— Да, надеюсь, — громко ответил О'Рурки. — Я могу жениться только на истинной католичке, а жениться я хочу на вас.

Герти вскочила и повернулась к нему.

— Вы окончательно спятили, — сурово изрекла она. — Неужели вы не понимаете, что вы скоро умрете?

Но Ларри ее не слушал. Ему было достаточно того, что он ее видел. И видел он ее не просто голой, а еще и в эластичных трусиках и чулках. Блаженный О'Рурки разинул рот.

Она топнула ногой.

— Вы не понимаете, что вы скоро умрете? Вы не понимаете, что через несколько часов вы будете мертвы? Вы не понимаете, что до наступления ночи вы превратитесь в труп?

— Вы красивая, — пролепетал О'Рурки, — я люблю вас.

— Мне противны ваши грязные сантименты. А потом, что это за омерзительные капельки крови на ваших щеках?

— Вы моя невеста перед Богом, — сказал О'Рурки.

Он закатил глаза к потолку; еще немного, и он бы увидел Всевышнего.

Герти снова топнула ногой.

— Подите прочь! Прочь отсюда! Ваши гнусные суеверия мне отвратительны.

Но Ларри уже протягивал к ней руки.

— Моя жена, моя дорогая женушка.

— Уходите. Уходите. Вы сумасшедший.

— Бог благословляет наш идеальный союз.

— Оставь меня в покое, мерзкий поп!

Он шагнул к ней.

Она отступила.

Он сделал еще один шаг.

Она попятилась.

Так как комната была небольшой, Герти скоро уперлась в стенку.

Короче, влипла.

Ларри приближался, вытянув вперед руки, как человек, который ничего не видит в тумане. Его пальцы дотронулись до Герти; уткнулись чуть выше груди. Ларри быстро отдернул руки, как человек, который обжегся.

— Что я делаю? — прошептал он. — Что я делаю?

— Сумасшедший! — завопила Герти. — Сумасшедший!

LIX

— Слышишь? — спросил Кэллехер у Маккормика.

Маккормик пожал плечами.

— Надо было сразу пристрелить ее. Только корректно. Впрочем, теперь это не имеет значения. Главное — это наше общее дело. Будет плохо, если скажут, что мы вели себя недостойно в эти трагические минуты.

— Вас простят, — сказал Кэллехер. — Здесь не только ваша вина.

— Да, но кто об этом узнает? — спросил Маккормик.

— Нужно, чтобы она осталась в живых, — сказал Кэллехер. — Она ничего не расскажет. Если британцы найдут ее труп рядом с нашими, получится некрасиво. А вот если она останется в живых, я уверен, что она скажет, что мы к ней отнеслись очень хорошо. Так оно и было, несмотря ни на что.

— У меня идея, — сказал Маккормик. — Отведем ее в подвал. Здесь же должен быть подвал.

— Пойду посмотрю, — сказал Кэллехер.

Они снова услышали крики.

— Ну и ну, — сказал Гэллегер, — я вижу, что все ее поимели, кроме меня.
— А я? Или ты думаешь, что она меня не интересует? — спросил Кэллехер.
Кэллинен повернулся к ним и объявил, что на «Яростном» что-то затевается.

LX

О'Рурки заключил Герти в объятья и задумался: он не знал, что с ней делать дальше. Она вырывалась и осыпала его ругательствами. Он крепко, изо всех сил, прижимал ее к себе. Он уже не думал о том, что говорил несколько минут назад. Он продумывал тактику, которой следовало придерживаться, совершенно не отдавая себе отчета в том, что он вообще что-то обдумывал. Он подумал, что лучше всего было бы повалить ее на пол; он не очень хорошо представлял себе, как можно было бы справиться с ней в кресле.

Пока мозг разрабатывал план дальнейших действий, руки распустились и загуляли по телу Гертруды; О'Рурки по-прежнему прижимал девушку к себе, а посему смог познать в основном лишь ее спину да груди, которые упирались в него сосками. Руки инсургента спустились ниже и прикоснулись к эластичной, что было само по себе любопытно, ткани, которая скрывала под собой — что было не только любопытно, но и невообразимо приятно — самые главные прелести.

Он тяжело задышал. План действий так и не был разработан.

Внезапно она перестала сопротивляться и, прижавшись, прошептала ему, блаженному от щекочущих волос:

— Неужели такой придурок, как ты...

Однако она, похоже, была уже согласна на все. И даже, похоже, проявляла теперь удивительную предприимчивость и решительность, что казалось странным для юной особы, которая от общения с такими мужланами, как Кэллинен и Кэффри, должна была приобрести только негативный опыт. Он посчитал, что настало время ее поцеловать. Но Герти предупредила дальнейшие вольности и нанесла сокрушительный удар по его иллюзиям.

Взвыв от боли, он отскочил назад.

Его поразила не столько причиненная боль, сколько проявленное коварство.

LXI

— Огонь!

Так командор Картрайт лично возглавил окончательную операцию.

LXII

— Вжжж, — прожужжал снаряд.

LXIII

Снаряд пробил витрину почтового отделения на набережной Эден и, попав в стенку, разорвался в зале. Следующий снаряд повторил траекторию. Третий снаряд снес второй этаж. Крыша рухнула. Некоторые снаряды падали на тротуар, некоторые стремились во что бы то ни стало распахать сад Академии и изувечить статуи. Но большинство залетало со свистом прямо в почтовое отделение на набережной Эден.

Шесть минут спустя Картрайт посчитал, что руинообразное состояние почты покажется генералу приемлемым и удовлетворительным. Он приказал прекратить огонь, чтобы дождаться, когда дым рассеется и можно будет оценить результаты. А может быть, даже — предположительно — высадиться, чтобы подобрать уцелевших.

LXIV

Как только все вроде бы стихло, Мэт Диллон вылез из воронки, послужившей ему укрытием во время обстрела. Он с удовольствием отметил, что коробка, которую он нес под мышкой, уцелела после инцидента.

Чтобы попасть из сада Академии в почтовое отделение на набережной Эден, лестницы не требовалось: стена рухнула, ему оставалось лишь забраться на кучу битых кирпичей. Маленькую дверь вышибло напрочь. Первое, что он увидел, проникнув в почтовый зал, была Герти, которая стояла прислонившись к стене и оглядывала весь этот развал туманным взором. За время отсутствия Диллона одежды на ней не прибавилось. Паркетный пол был усеян трупами. Кэллехер, вцепившись в свой пулемет, шатался и тряс головой; его просто оглушило. Но Маккормик, Гэллегер и Кэллинен, похоже, погибли. О'Рурки постанывал. Лишь он один вздумал довольно пошло агонизировать. Внизу его живота разбухало большое пурпурное пятно.

— Герти... Герти... — тихо взывал он.

Диллон поставил коробку на кучку разномастных обломков и подошел к продолжающему стонать О'Рурки.

— Герти... Герти...

Герти не двигалась. Диллон подумал, что Ларри досталось изрядно и что он вряд ли выживет.

— Мужайся, старина, — сказал Диллон, — тебе осталось недолго.

— Герти, я люблю тебя... Герти, я люблю тебя... Герти, я люблю тебя...

— Ну ладно, старина, не дури. Хочешь, я прочту молитву для умирающих?

— Почему она не подходит? Где она? Она жива, я знаю.

Диллон приподнял ему голову, и Ларри, приоткрыв глаза, увидел по-прежнему обнаженную и по-прежнему красивую Герти. Он улыбнулся ей. Она строго на него посмотрела.

— Я люблю тебя, Герти. Подойди.

Она даже не шелохнулась.

— Подойдите же к нему, — сказал ей Мэт. — В таком состоянии он не причинит вам вреда.

— Вы принесли мое платье? — спросила она.

— Да. Сделайте то, о чем он просит.

Она сделала, не скрывая враждебности. Когда она оказалась рядом с ним, Ларри оглядел долгим, полным эстетического восхищения взглядом точеные бедра, изгиб талии и округлость грудей. Затем грустно покачал головой и закрыл глаза. Чуть пошевелился. С трудом засунул руку в штаны. Потом вытащил ее, что-то сжимающую и окровавленную. Глядя на Герти, протянул ей руку и разжал кулак. Герти наклонилась, чтобы рассмотреть.

— Герти, это предназначалось тебе, — прошептал он. — Герти, это предназначалось тебе.

Он опустил голову; и глаза его на этот раз окончательно закрылись. Рука упала, сжимаемый кусочек плоти выкатился на паркет. Ларри О'Рурки был мертв. Диллон поправил ему голову, встал и перекрестился, хотя, как и любой истинный католик, явно тяготел к атеизму.

Носком туфельки, небрежно-небрежно, Герти принялась подталкивать окровавленный ошметок человеческого тела, пока тот не исчез в паркетном проломе.

— Жалкая безделушка, — прошептала она.

Затем повернулась к куче обломков и схватила коробку.

— Это мое платье? — спросила она у Мэта.

— Requiescat in pace[1], — пробормотал Диллон. — Между нами говоря, он, должно быть, умер в момент совершения смертного греха.

Диллон сел на сломанный стул и принялся задумчиво скручивать сигарету. Он внимательно разглядывал Герти.

---

[1] Да почиет в мире (*лат.*).

— Видите ли, — сказал он наконец, — я понял, что с корсетами покончено, но это не значит, что когда-нибудь они не войдут снова в моду в том или ином виде.

— Вы меня смешите, — сказала Герти.

— Разумеется, вы очень красивы и в этом эластичном поясе. Который вас совсем не стесняет. Но...

— Согласитесь, в этом есть что-то строгое, спортивное, классическое, разумное...

— Да уж, разумное, разумное. Чтобы раздеть женщину, одного разумного недостаточно. Видите ли... — Диллон запнулся. — Вы позволите называть вас Гертрудой?

— Ой-ой-ой, — заойкал присохший к пулемету Кэллехер, который не упустил из разговора ни одного слова, — какая обходительность.

— Видите ли, — повторил Мэт Диллон, — я очень хорошо представляю себе возвращение корсетов лет через двадцать — тридцать.

— Какое отношение это имеет ко мне?

— Я очень хорошо представляю себе статью в парижской газете того времени, что-нибудь в духе: «Давно забытый корсет — сенсационное появление в начале этого сезона. Придает новую форму женскому телу. Корсет — это оживающая скульптура. Повеления моды еще более категоричны, чем требования высшей философии».

— Теперь его занесло в провидцы, — сказал Кэллехер, который внимательно наблюдал за действиями экипажа «Яростного». — Перед смертью это бывает.

— А еще, — продолжал Диллон, — «лифы из розового нейлона, укрепленные китовым усом. Пышные груди отдыхают в своих тюлевых колыбельках». А еще корсет «из эластичного трикотажа, спускающийся до бедер. В верхней части используется другая, более плотная материя, что позволяет выгодно подчеркнуть формы и зазузить талию». Статья закончится воскрешением в памяти исчезнувшего после 1916 года корсета, этого великого режиссера-постановщика нового женского силуэта: «выдающиеся груди, декоративно-осиная талия и парижский задник».

— Браво, — сказал Кэллехер, — ты несешь выдающуюся чушь.

— Я предпочитаю свою собственную моду, потому что она современна, — сказала Герти.

— Она имеет откровенно мужские тенденции. Зауженные бедра, сглаженные груди, квадратные плечи.

— Мне кажется, они собираются высаживаться, — сказал Кэллехер. — Они, наверное, думают, что мы все погибли. Я сейчас выпущу по ним очередь, а они нам подкинут еще парочку снарядов.

— А это кто такой? Я его не знаю, — сказала Герти, как бы открывая для себя существование Кэллехера. — А остальные погибли?

— Начиная с Кэффри, — хладнокровно ответил Диллон.

— Черт возьми! — заорал Кэллехер. — Черт побери этот сраный механизм! Пулемет заело. А эти ублюдки приближаются.

Он засуетился вокруг своего пулемета.

— Ничего не могу сделать. Не могу понять, в чем дело.

Он повернулся к своим товарищам по выживанию и увидел Герти. Из ее разговора с Диллоном он не понял ничего, как не понял, при чем здесь платье. Но англичанку оглядел с интересом и даже подошел поближе.

— Мне пора надевать платье, — мягко произнесла она.

Она поставила коробку на пол. Диллон перерезал бечевку. Она открыла коробку. Диллон развернул папиросную бумагу. Она посмотрела внутрь.

— Мое подвенечное платье! — воскликнула она.

И добавила, обращаясь к Диллону:

— Как это любезно с вашей стороны.

Диллон помог ей надеть платье.

Кэллехер стоял по-прежнему рядом с ними.

— Пошевеливайтесь. Сейчас спустимся в подвал, постреляем им по ногам, а потом героически подохнем. Живыми они нас не возьмут.

— Неужели? — спросила Герти с невинным видом.

— Ну вы-то останетесь в живых. Давайте пошевеливайтесь.

— А мой лифчик? Я его потеряла.

— Да и бог с ним, — сказал Мэт, — вам он не нужен.

— Но это не очень корректно, — сказала Герти.

— И особенно не трепитесь, когда вас обнаружат около наших трупов.

— Не трепитесь? Что это значит?

— Давай же, Мэт, пошевеливайся. Тебе словно доставляет удовольствие ее щупать. Да, малышка, это зна́чит, что тебе придется промолчать.

— Насчет чего? Почему?

— Мы — герои, а не мерзавцы. Понимаешь?

— Может быть.

— Да все ты прекрасно понимаешь. Без тебя мы бы погибли без всяких заморочек, но из-за того, что ты вздумала отлить в самый ответственный момент нашего повстанчества, теперь на нашу доблесть могут бросить тень грязная сплетня и омерзительная клевета.

— Как подумаешь, с чего все начинается, — рассеянно объявил Диллон.

Он отошел на несколько шагов назад, чтобы оценить свою работу.

— Красиво, правда? — спросил он у Кэллехера.

— Да. Класс. Еще немного, и ты меня убедишь в том, что и женщины могут быть привлекательными, — ответил тот.

И добавил, обращаясь к Герти:

— Ты меня слышишь? Ничего не произошло. Ничего не произошло. Ничего не произошло.

— Так утверждать может мужчина, — ответила Герти, нескромно улыбаясь. — Женщина — дело другое.

Она бросила на него колючепроволочный взгляд.

— А вы что, этого не знали? Как понимать то, что вы ему сейчас сказали? Что значит ваше «и женщины могут быть привлекательными»?

— Довольно. Теперь она предупреждена, и мы можем спуститься в подвал, чтобы дать наш последний бой.

— Пошли, — по-философски отреагировал Диллон.

Герти схватила Кэллехера и, удерживая его перед собой, возмущенно потребовала:

— Отвечайте. Неужели вы не понимаете, что это ваше «ничего не произошло» просто глупость? Или я должна объяснить вам все жестами?

— Я сказал вам, чтобы вы молчали. Потом, после нашей смерти.

— Почему? Ради славы вашей Ирландии?

— Да.

— Забавно, — сказала Герти.

— Ты, может быть, не знаешь: она выходит замуж за того типа, который нас бомбит.

— Да, забавно, — сказал Кэллехер.

Он вырвался и теперь уже сам схватил ее за руку. И затряс ее изо всех сил:

— Ты ведь будешь молчать после нашей смерти, да? Кэффри, Кэллинен, Маккормик, О'Рурки — все они были храбрыми и безупречными. Ты ведь не будешь поливать их грязью, нет?

— Вы думаете, я помню, как их звали? Вас, например, как зовут?

— Корни Кэллехер, — ответил Мэт Диллон.

— Заткнись. А зачем надо было нас провоцировать? Наши товарищи были жертвами. Ты бесстыдница. Как ее зовут?

— Мисс Герти Гердл, — ответил Мэт Диллон.

— Ты бесстыдница, Герти Гердл, ты — бесстыдница.

— А ваши героические товарищи, которые меня изнасиловали, они тогда кто?

— Она начинает меня раздражать, — сказал Кэллехер.

— Раздражается тот, кто чувствует свою слабость, — сказала Герти.

— Да отстань ты от нее, — сказал Мэт. — Ты изомнешь ее платье.

— К черту платье! Я хочу, чтобы она нам пообещала, что будет молчать.

— Ты сам говорил, что она не осмелится, что для невесты признаваться в таких вещах...

— Как сказать, — бросила Герти.

— Для меня ситуация начинает проясняться, — заявил Кэллехер.

— И так все ясно, — сказала Герти. — Вы разбиты. Вы скоро умрете.

— Дело не в этом. Дело в вас. Вы еще не все видели.

— А что ты хочешь ей показать? — спросил Диллон.

Рассмеявшись, Герти бросилась на Кэллехера.

— Так что же? — сказала она. — Так что же?

Ее поцелуй расплющил ему губы и разжал зубы.

Он начал гладить ее груди и почувствовал, как твердеют ее соски.

— Она еще не все видела, — с тупым упрямством повторял он. — Она должна молчать. Она еще не все видела.

Мэт Диллон принялся скручивать очередную сигарету, наблюдая с любопытством за происходящим. Которое активизировалось престранным образом.

— Они испортят мое платье, — прошептал он.

Затем происходящее переориентировалось, и Мэт начал понимать намерения Кэллехера. Он даже не знал, как их оценивать, но теперь, посреди этой разрухи, за несколько часов — не больше, это уж точно, может быть, за несколько минут — до смерти ему было уже все равно, и потом, он всегда относился к Кэллехеру с превеликой нежностью и превеликим снисхождением.

— Держи ее, — сказал ему Кэллехер.

Все разворачивалось согласно предположениям Диллона. Он отбросил щелчком сигарету и схватил Герти с неожиданной для нее силой и сжал ее так, что она даже не могла пошевелиться. Герти, впрочем, не противилась; отдалась безоговорочно и добровольно, поскольку в отличие от Мэта она о намерениях Кэллехера еще пока не догадывалась.

— Что это вы делаете?! — вскричала она спустя некоторое время. — Вы не понимаете, как это делается. Уверяю вас, с женщинами все происходит по-другому. Какой вы невежда. А еще считаете себя джентльменом. Говорю же вам, не так. Я не хочу. Я не хочу. Я... Я...

— Мерзавка! — рычал Кэллехер. — Она ничего не расскажет, я заставлю ее молчать, и никто не сможет сказать, что мы не были храбрыми и безупречными героями. Finnegans wake!

— Finnegans wake! — ответил Мэт Диллон, очень взволнованный происходящим. — Я бы тоже заставил ее помолчать, — робко предложил он.

Герти, перейдя из одних рук в другие, не переставала оспаривать обоснованность происходящего.

LXV

В чем нельзя отказать британцам, так это в чувстве такта. Высадившись у набережной Эден, вооруженные кто винтовкой, кто гранатой матросы с «Яростного» проникли в почтовое отделение незаметно. Они окружили выживших после обстрела, но совершенно не осознающих, что происходит вокруг, мятежников, однако стали действовать только после того, как все закончилось: они не хотели, чтобы девушка краснела при мысли о том, что ее могли застать в такой нескромной позе.

Наконец ее платье опустилось; она подняла очень красное и очень мокрое от слез лицо; Кэллехер и Диллон торжествующе переглянулись и в этот момент почувствовали, как острие штыка упирается им в спину. Они подняли руки вверх.

LXVI

Капитан Картрайт в сопровождении своих лейтенантов сошел на землю. Рискуя запылить ботинки, они проникли в руины почтового отделения на набережной Эден.

Матросы уже сложили в углу, выравнивая по росту, все трупы. Два оставшихся в живых мятежника стояли у стены с поднятыми вверх руками.

Картрайт заметил Герти; та бросилась к нему в объятья.

— Дарлинг, дарлинг, — шептала она.

— Моя дорогая, моя дорогая, — отвечал он.

Его немного удивило лишь то, что при подобных обстоятельствах на ней было подвенечное платье. Но, обладая не меньшим, чем его матросы, чувством такта, капитан промолчал.

— Извините меня, — сказал он ей, — я должен выполнить еще кое-какие обязательства. Этих двух мятежников мы будем судить. И разумеется, как мятежников вооруженных, мы приговорим их к смертной казни, не правда ли, господа?

Тэдди Маунткэттен и второй помощник несколько секунд подумали и кивнули головой.

— Дорогая, простите, что задаю вам этот вопрос, но эти мятежники, ведь они были... как бы это сказать... корректны по отношению к вам, не правда ли?

Герти посмотрела на Диллона, на Кэллехера, затем на трупы.

— Нет, — сказала она.

Картрайт побледнел. Кэллехер и Диллон даже не вздрогнули.

— Нет, — сказала Герти. — Они хотели приподнять мое красивое белое платье, чтобы посмотреть на мои лодыжки.

— Мерзавцы, — прорычал Картрайт. — Вот каковы эти республиканцы, подлецы и сладострастники.

— Простите их, дарлинг, — промяукала Герти. — Простите их.

— Это невозможно, моя дорогая. Впрочем, они и так уже приговорены к смертной казни, и мы расстреляем их на месте, как того требует закон.

Он подошел к ним.

— Вы слышали? Военный трибунал под моим председательством приговорил вас к смертной казни, вы будете расстреляны на месте. Помолитесь напоследок. Матросы, приготовьтесь.

Матросы выстроились в шеренгу.

— Я хочу добавить: вопреки тому, что вы думаете, вы не заслуживаете достойного упоминания в том разделе мировой истории, который посвящен героям. Вы обесчестили себя подлым поступком, который моя невеста, несмотря на вполне объяснимую стыдливость, была вынуждена описать. Как вам не стыдно! Приподнять платье девушке, чтобы посмотреть на ее лодыжки! Похотливые проходимцы, вы умрете как собаки, неприкаянными и с запятнанной совестью.

Кэллехер и Диллон даже не вздрогнули. Герти, выглядывая из-за спины Картрайта, показывала им язык.

— Что вы можете на это ответить? — спросил у них Картрайт.

— С ними по-хорошему нельзя, — ответил Кэллехер.

— Это уж точно, — вздохнул Диллон.

Несколько секунд спустя прошитые свинцом повстанцы были мертвы.

■

Из древней японской поэзии

Перевод с японского и вступление А.ВЯЛЫХ

Поэзия, заключенная в слово, стремится вырваться из своего узилища, которым становится текст, чтобы господствовать над материей стиха, и оттого, видимо, обнаруживается ее свойство перевоплощаться, разрушая прежние структуры, даже через тысячелетия в другом языке, в другой культуре. Когда я читаю старинные тексты японских поэтов, я думаю, что вся эта жалкая горстка из десяти-одиннадцати слов, уже не обжигающих ладонь, есть не что иное, как руины человеческой души, над которыми витает Дух. И чувства, до того времени погребенные под угасающими углями древнего слова, разгораются уже на материале современного языка. Роль переводчика оказывается, с одной стороны, скромной: разворошить угли и умело подбросить нужные глоссы; с другой стороны — непосильной: восстановить прежнюю структуру стиха в полном объеме приемов художественной выразительности, которые каким-то образом высекают искры поэзии, формы которой могут быть национальными, но содержание преодолевает какие-либо границы. Мы все — и читатель, и переводчик — оказываемся вовлеченными в область поэтического со-бытия, а попытка выйти из него оборачивается утратой Духа. В этой принадлежности Духу представленные поэты не могут не восприниматься нашими современниками, несмотря на иное мирочувствование. Поэта философской рефлексии Дзякурэн-хоси, известного миру под именем Фудзивара Саданага, охватывает ощущение пустынности и заброшенности, а мотивы бренности человеческого бытия отражаются в стихах не в чувственных образах, а выносятся на уровень буддийской созерцательности и даже отвлеченности. И кажется не случайным присутствием в его монашеском имени иероглифа «дзяку», означающего тишину, уединенность, и иероглифа «рэн» — «лотос», как символа вечного. В экзистенциальной философии и средневековой немецкой мистике такое мирочувствование воплотилось в слове «гэлассэнхайт»[1], которое Иоганн Майстер Экхарт[2] использовал в смысле «оставить мир в покое, таким, какой он есть, не мешать естественному течению вещей и предаться Богу». Несколько более упрощенно и наивно на первый взгляд миросозерцание Сайгё-хоси (Сато Норикиё), его стих не отягощен литературными реминисценциями и большей частью питается впечатлениями от созерцания природы, которая подсказывает наблюдательному поэту-страннику поэтические образы, светлые и печальные: *хитори суму* один живу // *катаямакагэ-но томо нарэ я* стань мне другом, тень горы! // *араси-ни фуруру фую-но ямадзато* замело метелью зимнее селение в горах. Такие качества его поэтики через несколько столетий перейдут в плоть и ткань поэзии хайкай, а Мацуо Басё (1644—1694) неоднократно будет обращаться к творчеству Сайгё, заимствуя образы, сюжеты, строфы для создания новых произведений. Однако ряд стихотворений поэта и монаха Сайгё проникнуты сокровенным очарованием — югэн, внутренней глубиной, что становится общей чертой в стихах трех поэтов, в том числе еще не названного Фудзивара Садаиэ, одного из самых экстравагантных поэтов в антологии «Синкокинвакасю» (1205)[3], для составления которой он был призван монашествующим экс-императором Готоба. Утонченно-изысканный стиль, вычурность образов, насыщенность отсылками к старым стихам, избыточность чувства часто не находили отклика и понимания у других придворных стихотворцев и даже у императора. Черты нового эстетического канона средневекового символизма, который зафиксирован в категории югэн, — таинственное очарование вещей, обнаруживаются в творчестве поэтов антологии. Тишина вечности воцаряется над душой всякого человека, вошедшего в незабвенные воды поэзии, освобождающей от вещей и, самое страшное для художника, от искусства (которое есть прием, техника), оставляя только категории прекрасного как основу для философского вопрошания о потаенном и открытом, универсальном и повседневном, личном и внеличном.

---

[1] Die Gelassenheit — спокойствие, хладнокровие, невозмутимость (*нем.*).
[2] Иоганн Майстер Экхарт (ок. 1260—1327) — представитель немецкой средневековой мистики, доминиканец. В 1939 г. папской буллой многие тезисы учения Экхарта объявлены еретическими.
[3] «Новое собрание старых и новых японских песен».

© А.Вялых. Перевод, вступление, 1997

ДЗЯКУРЭН-ХОСИ (1139—1202)

***

Опять над полями
Призывные крики гусей
Надрывны в печали.
В небесной дымке луна
На рассвете...

***

Горы Кадзураки.
Сакура расцвела на склонах
Вершины Такама.
Белое тянется облако
До горы Тацута...

***

Сумерки увлекают
Весну, но где ее гавань,
Никому не ведомо.
Утопает лодка в тумане
На реке Удзи...

***

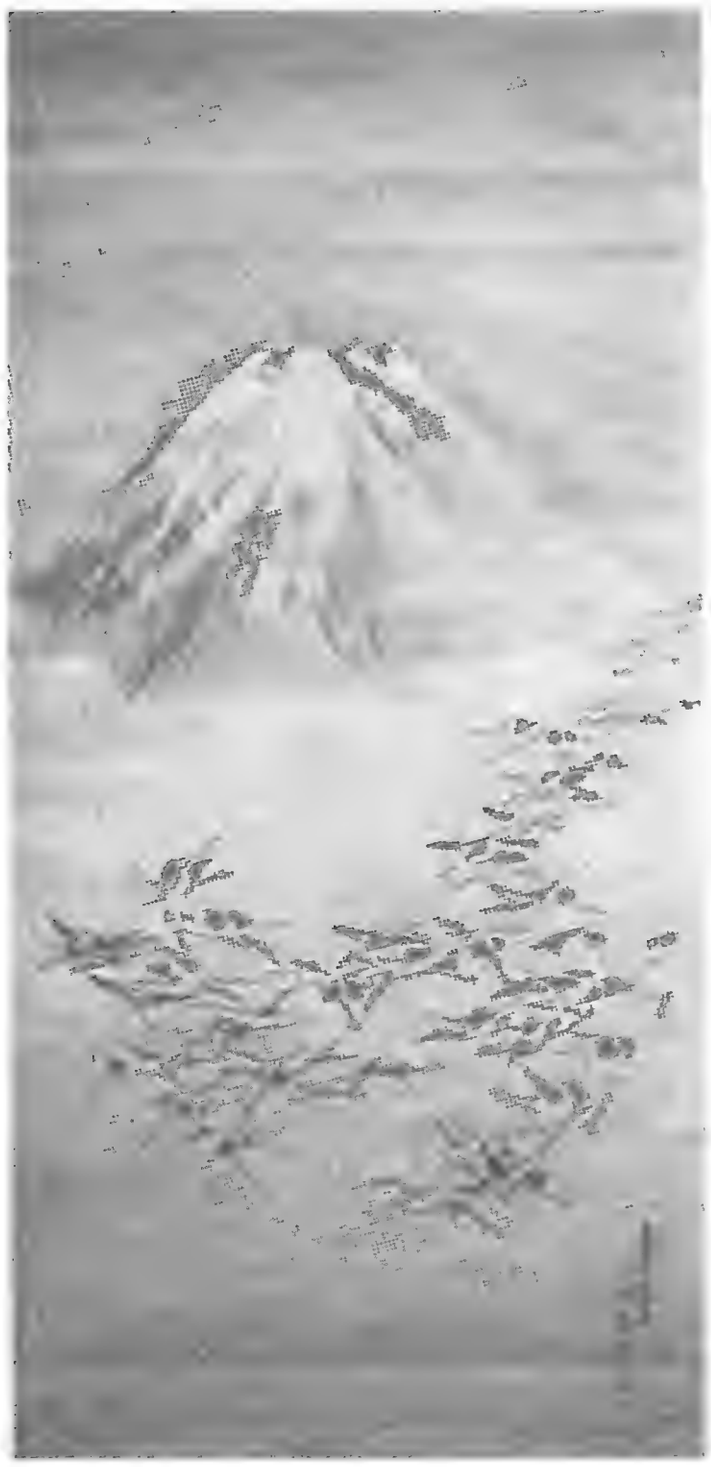
И все же вышла луна,
Но свет не сочится сквозь
Густую хвою ветвей.
От сосны к сосне пролетел
Осенний ветер в Сумиёси.

***

В тоске о тебе...
То не росы ли с рукава
На подол роняю?
Осенний ветер задует,
И мысли нахлынут...

***

Помнится, находили
В травах приют, да пожухли поля.
Одиноким путником
В облике осенней росы
Поселилась луна.



***

Из череды сорóк
Возник воздушный мост
Поздней осенью.
Выстуживая полночь над дорогой,
Не иней ли то искрится?

***

Опустится темень
В деревню — и снова она
Озарится луной!
Расстаются с дождями
Полночные облака.

***

Накатились волны
Старости, избороздив лицо.
Печальное зрелище!
И конец уже не за горами,
Как вершина Мацуяма.

***

В древнем родстве
Две сосны в Такасаго
Неразлучно растут.
А в конце пути ждет
Осенняя луна.

***

Фудзивара Норинага, бывший государственный советник, уединился в монастыре на горе Коя. И случилось так, что он тяжело заболел. Прослышав об опасном состоянии его здоровья, Фудзивара Ёрисукэ, его младший брат, отправился навестить больного, в дороге его настигла весть о кончине брата.

Пришел навестить,
Но как ни высматривал,
На горной вершине
И следов не осталось
От белого облака...

***

В складках рукава
Светлячок где-то скрылся —
Так и любовь моя
В неисповеданном сердце
Живет безответно.

***

Травами поросла
В старом селенье тропа.
Ветер осенний,
О, как привыкла к тебе
На одиноком ложе!

***

Не являлся любимый,
Жар осенний утратили краски.
Видно, долго ждала?
Голосок сверчка на сосне
Ослаб от досады...

***

И мое тело унесет
В потоке слез река Намида.
Ах, пробужденье!
Только всплеск сновидений
В отголоске волны.

***

Выбрался из хижины
Наломать хвороста немного
Да на опушку забрел.
Ах, горная тропинка, и ты
Затерялась в лесу!

***

В круговороте рождений
И умираний возвращаешься
В море новых страданий,
Где для сердца расставлены
Темные сети судьбы.

***

Душа во мраке ночном.
На крыше из трав затаились
Печальные звуки дождя.
И посох, скрывая страданья мои,
От мира меня удалил.

САЙГЁ-ХОСИ (1118—1190)

***

Нынче утром рыхлый
Подтаял ледок, что набился
В скальную трещину.
Слышно, как точит русло вода
Под сырыми мхами...

***

Переполнены берега:
На горной вершине растаял
Снега чистый покров.
Той белизною вскипает волна
На реке Киетаки...

***

И даже я, монах,
Трепет в сердце забывший,
Познал очарованье...
Над болотом вальдшнеп
Осенним вечером...

***

В хижине Оямада
Я вызволен из снов
Тревожным зовом.
Ах, это рядом в горах
Олень призывает!

***

Стынет ночью
Осенней, холодной
Голос сверчка
И, мало-помалу слабея,
Как будто вдали угасает...

***

Приютилась деревня
У подножья горы Огура.
Вот листва облетит,
И снова луной налюбуюсь
В просвете ветвей!

***

И кому-то, как мне,
Не страшно познать печаль
Зимнего уединенья...
Оснежена в горном селеньи
Почерневшая хижина.

***

Как ни печалиться,
В надежде сердцу ни тщиться
Об участи лучшей,
Не угадать человеку судьбы, —
Так и живется ему.

ФУДЗИВАРА САДАИЭ (1162—1241)

Рукавов узорчатая ткань
Источает запах белой сливы.
И в темном споре с ней
Лунный отблеск со стрехи
Влагою лучится...

***

Не остановить ни слез,
Ни редких драгоценных рос,
Навернувшихся на травы:
Любимая, зачем тебя не стало?
В доме осенний ветер...

***

Мольбам неподвластны,
Тают годы мои, тает звон
Ввечеру колокольный,
Что разносит гора Хацусэ
Уже над иным селеньем.

На иллюстрациях: ***Школа Кацусика. Пейзаж.*** *(Сер. XVIII — сер. XIX вв.);* ***Ганрё. Птичка и азалия.*** *Тушь, шелк. (1798—1852 гг.);* ***Киси Рэндзан. Фудзи и стая журавлей.*** *Тушь, шелк. (1805—1859 гг.);* ***Маруяма Окё. В заснеженной долине.*** *Тушь, шелк. (1733—1795 гг.);* ***Школа Кацусика. Пейзаж.*** *(Сер. XVIII — сер. XIX вв.);* ***Киси Рэндзан. Утка и лотосы.*** *Тушь, шелк. (1805—1859 гг.);* ***Утагава Хиросигэ. Станция Камбара. Из серии «53 станции Токайдо».*** *(XVIII—XIX вв.);* ***Эйдзё Канко. Слива и бамбук в лунном свете.*** *Тушь, шелк. (Около 1840 г.).*

Иллюстрации взяты из книг: «Искусство укиёэ, возвратившееся домой», каталог выставки, Осака—Токио, 1993—1994 гг. и «Каталог японского искусства в Государственном музее изобразительных искусств им. А.С.Пушкина», Киото, 1993 г.

НОРМАН МЕЙЛЕР

Портрет Пикассо в юности

Версия биографии

ГЛАВЫ ИЗ КНИГИ

Перевод с английского А.БОГДАНОВСКОГО

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Фернанда

1

Летом 1904 года, когда Пикассо повстречал Фернанду Оливье, ему было двадцать два, а ей — на год больше. Хотя связь их началась вскоре после того, как они обменялись первыми словами, жить вместе они стали только через год — летом 1905-го. Из слов Фернанды следует, что инициатива исходила не от нее, а от Пикассо и влюблен был он.

Хотя Фернанда и в своей первой («Пикассо и его друзья», 1933), и особенно во второй книге («Интимные воспоминания», написана в 1955-м, но издана в Париже лишь в 1988-м и на английский до сих пор не переведена) проявляет очень милую застенчивость, мы в основном можем доверять тому, как оценивает она свои взаимоотношения с Пикассо. Ее свидетельства весомы. Когда они поселились в его мастерской в «Бато-Лавуар»[1], Фернанда стала первой женщиной, в которой Пикассо видел не случайное увлечение, а истинную подругу. Он наконец перешел от кабалы мужской дружбы с Пальяресом, Касагемасом, Сабартесом и Максом Жакобом к постоянному союзу с женщиной, которая была не проституткой, не партнершей на одну ночь, а хозяйкой его дома и настоящей возлюбленной. По ее словам, он был готов жениться на ней и бешено ревновал. (Как мы полагаем, не без оснований: высокая, рыжеволосая Фернанда была очень хороша собой и явно выделялась среди истощенной богемы, составлявшей круг ее общения.) Именно поэтому до встречи с Пикассо она как натурщица «была нарасхват».

И в самом деле, еще за неделю, предшествовавшую тому жаркому воскресенью, когда она наконец согласилась переехать к Пикассо, Фернанда позировала Кормону и Сикару, двум «зубрам» академической живописи, писавшим с нее центральные фигуры своих композиций. Дописать их они не успели: Пикассо, очевидно, вспомнив, скольких полураздетых и обнаженных натурщиц соблазнил сам, и дополнив собственные воспоминания «охотничьими рассказами» сотни других художников, потребовал прекратить сеансы. Фернанда пишет:

---

[1] «Корабль-прачечная» (*франц.*).

© 1995, by Norman Meiler
© А.Богдановский. Перевод, 1997

Окончание. Начало см. в № 3, 1997.

Я бросила работу. Старый канюк Корман, когда я объявила ему, что больше не буду позировать, все понял и не настаивал. А Сикар написал Пикассо: «Во время сеансов вы можете находиться рядом. Работы осталось всего на две недели»[1].

«Женский портрет (с автопортретом)».1929.

«Да пошел он...» — ответствовал Пикассо. А сам никуда не пошел. Если он собирается жить с женщиной, неужели он предъявит на нее меньшие права собственности, чем на свои картины? И какое ему дело, если у кого-то от этого застопорится работа?!

Они были неразлучны до весны 1912-го, и за эти семь лет Пикассо от «голубого периода» через «розовый» пришел к поискам, завершившимся в 1907-м «Авиньонскими барышнями», в 1908-м — началом кубизма и сотрудничеством с Жоржем Браком, в 1909-м — мировой известностью в возрасте двадцати восьми лет и заработками, достаточными для того, чтобы жить с Фернандой в благопристойно-буржуазной квартире на бульваре Клиши. К этому времени он быстро сблизился с Гийомом Аполлинером и Гертрудой Стайн и готовился стать признанным лидером новаторского искусства, вызывавшего споры, равных которым по накалу страстей и ожесточенности не знал Париж за последние полвека. И влияние его на искусство авангарда превосходило тот шок, что испытали на себе когда-то первые зрители Мане, Моне, Ренуара, Дега, Писарро, Сёра, Сезанна, Ван Гога, Гогена, Тулуз-Лотрека или «фовистов». С рождением кубизма Пикассо стал для одних человеком, «изувечившим эстетику», для других — «художником-героем». Впрочем, на эту стезю он вступил в тот день, когда назвал себя *Пикассо*. И под этим именем он останется в самом средоточии западной культуры еще на шесть с лишним десятилетий и умрет самым богатым и, возможно, самым плодовитым художником в истории человечества.

И очень многое в его грядущих триумфах определили эти семь лет. Хочу развлечь читателя магией цифр: Фернанда была первой из семи «основных» любовниц и жен Пикассо, оказавших известное воздействие на его творчество. И если в отношениях с женщинами Пикассо часто представляют неким монстром, то следует отметить, что и на него самого отношения эти оказывали магнетическое действие. Стиль отношений был в каждом случае разным, и из каждого Пикассо умел извлекать единственное в своем роде вдохновение. И хотя позднее он описывал свое возвращение к первой жене Ольге или создавал беспощадные портреты Доры Маар и второй жены Жаклин, он — это совершенно очевидно — жил с ними так, как не дано было никому больше: он воспринимал эти отношения изнутри, он видел в этих женщинах равных себе. И те ужас и отвращение, с которыми представлял он Ольгу, Дору и Жаклин, не смогли бы возникнуть в его душе, не будь эти чувства подкреплены всей силой изумления перед тем, во что выродился их союз, и как жутки его собственные духовные язвы, ведь на каждом из трех портретов (Ольги, Доры и Жаклин) запечатлен и лик его души.

Но таких пределов жестокости он достигнет позже — к тому времени (конец 20-х и 30-е и, разумеется, 60-е годы) Пикассо уже станет богат, как царь Мидас, и будет страдать от глубочайшего разочарования. Он будет переживать затяжной

---

[1] *Fernande Olivier*. Souvenirs Intimes. Paris, 1988, p. 191.

«Сидящая женщина». 1939.

эстетический кризис, чтобы не сказать «упадок», по сравнению с великими достижениями 1907—1912 годов — ошеломительно плодотворных в его жизни. Если не считать Жоржа Брака, он работал тогда в полном одиночестве, и для создания каждого кубистического полотна надо было пробиваться сквозь двойственную неопределенность восприятия, которая на психику человека более слабого повлияла бы пагубно. И оказавшись перед лицом этой «внутренней» опасности, маленький испанец, никак недотягивавший до понятия «образцовая мужская особь», подверженный и слабости, и перепадам настроения, постоянно испытывающий чувство своей социальной и интеллектуальной неполноценности, решается, вооружась лишь собственной безрассудно-дерзкой отвагой и честолюбием, искать золотоносную жилу в никем еще не исследованных сферах разума. А женщина, которая в эти плодотворнейшие годы была его спутницей, интересна и сама по себе. И хотя их любовь постигла участь всех пламенных романов Пикассо и на каком-то этапе они, не в силах сблизиться еще теснее, сначала слегка, а потом все больше и больше отдалялись друг от друга, Фернанде суждено было стать первой из женщин, обреченных любить Пикассо до конца своей жизни. А поскольку более чем вероятно, что это она заставила его поверить в себя как в мужчину, то, быть может, благодаря ей же сумел Пикассо укротить до необходимых пределов свое непомерное тщеславие, ввести его в какие-то рамки, определить минимум собственного достоинства, нужного для того, чтобы жить в обществе. Разумеется, Фернанда Оливье заслуживает нашего внимания!

Она охотно описывает собственную лень и, очевидно, не сильно грешит против истины. Иные мемуаристы видят в ней пленительную одалиску или всего лишь «прекрасную Фернанду», а сама она даже написала:

Помню, как по-детски радовались мы, когда Пикассо удавалось раздобыть несколько лишних франков. Обычно он тратил их на одеколон, потому что я обожаю ароматы.

Зато потом наступали дни вынужденного поста, который отчасти скрашивали лишь горы книг, купленных в магазинчике на улице Мартир, — чтение было для меня едва ли не единственным занятием, ибо Пикассо из-за своей болезненной ревности заставлял меня жить затворницей. Но если были чай, книги, а работы по дому не слишком много, я была очень-очень счастлива.

Прибирался в мастерской сам Пикассо и за покупками ходил тоже он. А я была, наверно, страшно ленива[1].

Правильней было бы сказать «мечтательна». С раннего детства она умудрялась в самых неблагоприятных обстоятельствах жить отраднейшими воспоминаниями и лучезарнейшими фантазиями. Она была одарена хоть и скромным, но несомненным литературным талантом, и если бы в детстве ей уделяли больше внимания, из нее, вполне вероятно, могла бы выработаться недурная романистка. У нее острый глаз, и в воспоминаниях, написанных в семьдесят пять лет на основе днев-

[1] *Fernande Olivier*. Picasso and His Friends. New York, 1965, p. 17.

«Обнаженная». 1967.

ников, которые она якобы вела с отрочества, представлена череда портретов, отличающихся той же лишенной сентиментальности четкостью, что и ранние юношеские работы Пикассо; персонажи ее второй книги очерчены так взвешенно и хладнокровно, что ее можно до известной степени признать ученицей Флобера. Список нереализовавшихся писателей очень длинен, он теряется за горизонтом, но Фернанда Оливье была подругой великого художника в самый плодотворный период его творчества и подарила нам книгу, из которой мы узнаём о Пикассо много больше, чем от Гертруды Стайн.

Принято считать Фернанду не только ленивой, но и похотливой — этакой цветущей самкой, рожденной, чтобы позировать художнику и спать с ним, а Пикассо — демоном сладострастия в человеческом образе, готовым совокупляться «со всем, что шевелится». Это грандиозное сверхупрощение пошло гулять по свету с легкой руки самого Пикассо. Фернанде едва ли не с отрочества пришлось пройти череду тягостных испытаний. Ее печальный романтический опыт начался, когда ей было семнадцать, и последовавшие за этим пять лет прошли в страхе, отвращении и постоянном сопротивлении атакам, так что ей стало казаться: все это непременно сопутствует любым видам отношений с любыми — и всеми — мужчинами на свете. А ей «по роду занятий» приходилось иметь с ними дело постоянно: уйдя из дому без гроша в кармане, она приняла наиболее логичное в этой ситуации решение и стала натурщицей.

Прежде чем предоставить слово ей самой, скажем лишь, что «искусством сожительства» она овладевала усердно и успешно.

2

Я жила в доме №13 по улице Равиньян, когда к нам переехал новый жилец — весьма любопытная личность.

На первый взгляд в нем не было ничего особенного и слишком привлекательного, если не считать какого-то необычно упрямого выражения лица. Было практически невозможно определить, из какой он социальной среды, но внутренний огонь, пробивавшийся наружу, окружал его неким сиянием, сообщал ему просто магнетическую притягательность...[1]

Отрывок взят из ее первой книги — «Пикассо и его друзья». Поскольку все это в сущности одна работа, мы позволим себе продолжить цитатой из следующей книги — «Интимные воспоминания»:

Все время получалось так, что он оказывался на моем пути, и я постоянно встречала взгляд его больших тяжелых глаз, взгляд одновременно пристальный и задумчивый, пылающий каким-то сдерживаемым огнем. Смотрел он так упорно, что мне стоило большого труда не обернуться. Определить возраст этого человека я не мог-

[1] *Olivier*. Picasso and His Friends, p. 16.

«Трапеза бедняков».1904.

ла: нежная складка губ говорила, что он вроде бы еще молод, но этому противоречили резкие морщины, тянувшиеся от крыльев носа к углам рта. Довольно массивный нос с крупными ноздрями придавал его лицу нечто простонародное, однако от этого человека исходила завораживающая и берущая за душу сила. Он буквально излучал духовную энергию. Даже когда он улыбался, глаза его хранили важное, серьезное и бесконечно печальное выражение. Движения его были скупы и точны, и в них чувствовалась та самая застенчивая скромность, которая паче гордости.

При всем при том на его попытки завязать со мной разговор я не отвечала.

У меня появилась привычка по вечерам, возвращаясь домой [с работы], садиться у двери с книгой и отдыхать до ночи. Когда ко мне приходили друзья, мы выносили стулья на улицу и садились в кружок. А испанский художник тоже сидел у подъезда со своими соотечественниками. Их громкие голоса хоть немного и досаждали мне, но придавали еще больше своеобразия этому и без того колоритному месту[1].

В жаркий августовский вечер Фернанда, застигнутая у дверей внезапным ливнем, обнаружила перед собой «эту любопытную личность». «На руках он держал крошечного котенка и, со смехом загородив дорогу, протянул его мне. Я тоже рассмеялась, а он предложил мне посмотреть его мастерскую». То, что она там увидела, потрясло ее. Сосед оказался художником необыкновенного таланта.

Он работал тогда над офортом, изображавшим мужчину и женщину за столиком бистро... эти бедные, эти тяжко пьющие люди производили странное, трогательное и бесконечно печальное впечатление[2].

Тем не менее Фернанда позднее описывала свое соблазнение так, как это могла бы сделать только и исключительно француженка: «Спустя несколько дней я пришла к выводу, что в очередной раз вляпалась. И все из-за дождя».

Очевидно, новый знакомый не только привлекал ее, но и в какой-то степени отталкивал. В мастерской жили две собаки, а в ящике бюро — белая мышка, в воздухе ощущались, а на полу замечались следы их присутствия. По затянутым паутиной углам лежал мусор, пол устилали груды окурков и пепел. В ванной, на кушетке — это был просто матрас на ножках, — на ржавой чугунной плите, на единственном тростниковом стуле и на деревянном чурбаке, служившем заменой другому, — словом, повсюду валялись полувыжатые тюбики с краской. Большие начатые и неоконченные холсты стояли вдоль стен. Занавесок не было. Летом мастерская превращалась в духовой шкаф.

Новый любовник Фернанды влюбился в нее без памяти. И нет лучшего свидетельства того, как бурно в этот знойный августовский день начался их роман, чем рисунок Пикассо, который словно бы заглянул в свою студию через лищенное штор окно и увидел, как уносит их прочь на волне любви.

---

[1] *Olivier*. Souvenirs Intimes, pp. 165—167.
[2] *Olivier*. Picasso and His Friends, pp. 27—28.

«Любовники». 1904.

Фернанда, однако, пребывала в меньшем упоении.

Я возвращаюсь в дом испанского художника. Он полон обожания. Это трогает меня. Он искренен, но мне нужно соблюдать осторожность, ибо я не хочу, чтобы Лоран знал, куда я пошла[1].

Лоран — это скульптор, с которым она была близка несколько последних лет. Она давно намеревалась оставить его, но все же, все же...

Смогу ли я наконец полюбить этого мальчика? Он тонок, умен и, хотя необыкновенно захвачен своим искусством, готов пожертвовать ради меня всем. Его глаза умоляют меня. Он с каким-то религиозным восторгом следит за каждым моим шагом и движением, а просыпаясь, я вижу его у своего изголовья и встречаю устремленный ко мне страдальческий взгляд.

Он больше не встречается с друзьями, не работает и не развлекается. Он сидит у себя в мастерской, чтобы видеть меня чаще. Он просит меня переехать к нему насовсем. Я захвачена силой этого чувства — приятно, когда тебя так сильно любят, да и в постели мне с ним хорошо. Он очень нежен и мягок, но не слишком чистоплотен, и меня это раздражает. Мне плевать на беспорядок, но людей, которые не следят за собой, я не переношу. Сказать ему об этом я пока не решаюсь — слишком уж тема деликатная. Но, видно, придется.

У Лорана больше ночевать не буду... я перебираюсь в студию Пабло.

Все так запутано... Лоран сроду не ревновал, а теперь вдруг вздумал. Он упорно пытается уговорить меня остаться. Но после обеда я ухожу, верней, убегаю к Пабло — он ждет меня в дверях. За те десять дней, что я играла в эту маленькую игру, не было ни одного скандала — это просто потрясающе! И я не хочу неприятностей. Лоран при всей своей лени способен быть настоящим зверем. Но в случае потасовки

---

[1] *Olivier*. Souvenirs Intimes, p. 165.

дело может кончиться скверно: Пабло говорит, что тут же пустит в ход свой револьвер. Меня это не то что пугает, а приводит в ужас. Надо действовать мягко, осторожно, с оглядкой. И потом, я еще не решила, переезжать ли мне к Пабло насовсем: он очень ревнив. У него нет денег, и он не хочет, чтобы я работала. Глупо было бы с моей стороны соглашаться на такое. И жить в этой убогой студии мне не по нраву.

Ну, все мне ясно: я его не люблю. Я снова совершила ошибку. Что я за идиотка такая уродилась! Спать с ним больше я не хочу, а это постоянное обожание, которое поначалу так сильно на меня действовало, теперь уже приелось. Мне скучно. Мне скучно с кем бы то ни было, а с самой собой и с книжкой — никогда. А любовник меня раздражает. Когда же я-то кого-нибудь полюблю? [1]

Причины кое-каких ее тревог нам понятны. Фернанда Оливье была рождена вне брака и начала жизнь под именем Амели Ланг. Воспитывала ее сводная сестра отца, которая в восемнадцать лет выдала ее замуж за человека с «говорящей фамилией» Першерон. Потом Фернанда, очевидно, взяла фамилию скульптора Лорана — Дебьен, но вскоре сменила ее на Делабом. Можно предположить, что она не раз стремилась переменить свою роль в жизни: желание это встречается не так уж редко, однако ее потребность стать другой была абсолютно искренней. У девушки, носившей все эти имена, были не самые лучшие шансы на выживание.

Однако прежде чем поближе познакомить читателя с Фернандой, стоит рассказать о том месте, где произошла ее встреча с Пикассо. Оно называлось «Бато-Лавуар» и представляло собой в архитектурном отношении нечто вполне уникальное. Этот старый, вонючий, обшарпанный, на глазах разрушающийся доходный дом сохранил каким-то чудом своеобразное величие. «Бато-Лавуар» был словно прилеплен к склону холма, так что с улицы Равиньян, где помещались студия Пикассо и квартира, где жила с Лораном Фернанда, он казался одноэтажным, тогда как на площадь Гудо выходили три этажа. В этом доме, который стали называть «Бато-Лавуар» с легкой руки Макса Жакоба, увидевшего в нем сходство с плавучими прачечными на Сене, умывальник с проточной водой имелся лишь в подвальном этаже, а что касается прочего, то, как рассказывает нам Фернанда:

...вонючий коридор вел к единственной на весь дом уборной — чуланчику с не запирающейся из-за отсутствия крючка дверью. Он ходил ходуном от сквозняка всякий раз, когда кто-нибудь открывал массивную деревянную дверь на улицу.

Свет в узкий коридор и в мастерские проникал через стеклянный потолок, почерневший от вековой пыли и грязи... С утра до ночи стены этого странного и убогого дома сотрясали самые разнообразные звуки: раздавались громогласные споры, песни, восклицания, крики, звенели помойные ведра, лязгали чайники о каменную облицовку раковины, хлопали двери, а через тонкие стены мастерских доносились стоны, смех и вопли. Мы слышали решительно все, и любой звук подхватывался гулким эхом[2].

Обитателям «Бато-Лавуар» он напоминал, должно быть, знакомые с детства чердаки и подвалы, да и запахи многое воскрешали в памяти. Хватало и грязи, и вони. Если верно, что значительная часть творческой энергии закладывается в детстве, то подобное погружение души в прошлое, как и алкогольное опьянение, многое может высвободить и стимулировать в ней. Так это или нет, но тридцать мастерских и квартир «Бато-Лавуар» были заполнены художниками, поэтами, анархистами и студентами. В разное время жили там Ван Донген, Макс Жакоб, Модильяни, Андре Сальмон и Пьер Мак-Орлан. Даже Рикард Канальс, несмотря на свою тогдашнюю громкую известность в Барселоне, приезжал с женой Бенедеттой именно туда.

---

[1] *Olivier*. Souvenirs Intimes, pp. 166—167.
[2] Там же, с. 114—115.

«Портрет Мадлен». 1904.

Одни жильцы вселялись, другие перебирались на новые места, и это позволило Пикассо обзавестись, с позволения сказать, мебелью: кроватью, составленной из нескольких, колченогим стулом, столом, еще кое-чем — на общую сумму восемь франков.

Переехав туда в мае 1904 года, он оказался среди своих. Много времени проводил с Максом Жакобом и Рамоном Пичотом, испанским художником, женатым на той самой Жермен Гаргалло, к которой так безуспешно сватался Касагемас. В эти дни круг его друзей составляли почти исключительно испанцы, что объяснялось отчасти и тем, что по-французски он все еще говорил с трудом. И не на одну лишь Фернанду он производил тогда впечатление человека застенчивого.

Однако многое в нем уже «стронулось» — ледяная глыба депрессии стала таять, и на палитре его вновь нашлось место теплым тонам.

В эту пору, после того как Фернанда скоропалительно порвала с ним, он отыскивал среди своих моделей новых возлюбленных, а с одной из них встречался всю зиму 1904—1905 годов, одновременно продолжая ухаживать за Фернандой и тщетно уговаривать ее жить вместе. Имя этой натурщицы с греческим профилем — Мадлен, и она была похожа на сильфиду или на птичку.

Довольно скоро Мадлен забеременела и, с ведома и согласия Пикассо, сделала аборт. Тем больше было у него причин откликнуться на эту потерю другим рисунком. Пожалуй, никто не умеет высмеивать сентиментальность беспощадней испанцев, ни одному национальному характеру не чужда она до такой степени. Разумеется, рисунок столь прекрасен, что должен был сказать Мадлен, что автор любит ее и вместе с нею скорбит о нерожденном ребенке, и какой же прок в художнике, который не может одновременно работать над несколькими вещами?

Вполне вероятно, что на картине маслом «Женщина в рубашке» изображена она же. Ричардсон заметил: «Пикассо всегда тешило сознание того, что спустя десятилетия после появления изможденно-прелестных девушек его «голубого периода» этот тип вошел в моду и стал образцом для подражания»[1].

«Мать и дитя». 1904.

Была также молодая женщина Алиса, жившая с математиком по имени Прэнсе. Через сколько-то лет она вышла за него замуж и тут же развелась, чтобы стать женой Андре Дерена. В кратком интервале между этими событиями и случился непродолжительный роман с Пикассо, который пробудил ее чувственность с помощью порнографического сочинения Ретифа де ла Бретона «Анти-Жюстина». По мнению биографа Пикассо Пьера Дэ,

[1] *John Richardson.* A Life of Picasso. New York, 1991, p. 304.

«Алиса Дерен». 1905.

явный, хотя и сдерживаемый восторг у Алисы на лице возник, когда Пикассо решил писать ее портрет. Не в память ли об этом восторге поставил художник восклицательный знак после ее имени?!

А «Анти-Жюстину» он получил от своего нового друга, с которым познакомился в октябре. И всю долгую зиму 1904—1905 годов, когда Пикассо, не в силах покорить Фернанду, искал утешения и развлечения с другими женщинами, дружба эта становилась все крепче. Нового друга звали Гийом, а суждено ему было стяжать себе уникальную и скорую славу под именем Аполлинера. В мае 1905 года он так написал о «голубом периоде»:

Эти дети, не знающие ласки, понимают все. Эти женщины, которых никто не любит, все помнят. Они таятся во тьме, словно в каком-то древнем храме. Они исчезают с первым проблеском зари, найдя утешение в безмолвии. Стоят окутанные ледяным туманом старики. Лишь они вправе просить милостыню и не унижаться [1].

А потом добавлял:

Этому испанцу больше, чем любому другому поэту, живописцу или скульптору, дано опалять нас, словно близким взрывом. Итоги его созерцаний предстают перед нами в тишине [2].

Похоже, что Пикассо давно ждал, чтобы человек с таким даром слова оценил его талант и подтвердил то, что он знал и сам, хотя, быть может, лишь какой-то частью своего существа, он — великий художник. Отныне периоды неуверенности в собственных силах будут делаться все короче. А в скверные минуты ему было что перечесть о себе.

Итак, той зимой началась двойная жизнь, которая продолжалась всю весну и все лето. С одной стороны, появился новый друг — Аполлинер, занимавший во всех смыслах много места, вечерами напролет читавший ему стихи и оказавший на развитие интеллекта Пикассо огромное воздействие. Он еще сыграет в жизни художника колоссальную роль, но речь о ней впереди. Пока нас в большей степени интересует Фернанда, а она ждет своего часа. Отношения ее с Лораном хоть и ухудшались с каждым днем, но все же кое-как восстановились после краткой эскапады с Пикассо. Нижеследующий отрывок написан ею сразу по возвращении из деревни, где она была со скульптором:

Приехав, я отправилась к Пабло. В мастерской его не было, и я поднялась в ателье Канальса, где Пикассо имел обыкновение обедать. Услышав мой голос, он отшвырнул гитару и ринулся ко мне как безумный. Мне было приятно видеть такую радость. Канальс и его рыжая красавица жена приняли меня очень радушно.

Я пообедала с ними, а потом Пабло повел меня к себе. Он был очень огорчен, когда я сказала, что хочу быть ему всего лишь другом, но рассудил, что это лучше, чем ничего [3]

---

[1] *Guillaume Apollinaire*. Les jeunes: Picasso, peintre. «La Plume», № 372, 1905, pp. 478—480.
[2] Там же, с. 480.
[3] *Olivier*. Souvenirs Intimes, p. 170.

Решившись наконец оставить Лорана, она приняла предложение четы Канальсов поселиться и столоваться у них, платя за это из тех денег, что она получала как натурщица.

Они удивительно добры ко мне. И сравнить нельзя, насколько мне тут лучше, чем у Лорана.

А Пабло очень переменился. Он просил меня стать его женой. Воображаю, что было бы, узнай он, что я замужем. Время мы проводим весело: каждый вечер приходят человек пять-шесть друзей и после обеда, который состоит обычно из огромной миски спагетти, поют под гитару испанские песни.

Бенедетта — итальянка, и спагетти — ее фирменное блюдо: оно и сытно, и нам по карману. Мужчины — они все художники — обсуждают свои картины, а мы с Бенедеттой растягиваемся на диване и наслаждаемся их восхищением. Она очень красива[1].

Затем Фернанда описывает молодого человека, увязавшегося за нею на улице. Обратившись к ней, он сказал, что давно уже приметил ее в студии Канальса и был ужасно рад узнать, что именно там она и живет. Кроме того, он отрекомендовался другом Рикарда Канальса. Вот это удача!

Оказалось, что он — каталонский художник со слегка сомнительной репутацией. А похож скорее не на художника, а на испанского гитариста — он молод, с энергичным и самодовольным лицом. Очень тщательно одет, но что-то неуловимо раздражало меня в нем. Он был весьма учтив и галантен и с ходу принялся сыпать комплиментами. А Канальс сказал: «Не узнаю Суньера. Он обычно так уверен в себе, а сейчас словно робеет. Очевидно, ты произвела на него очень сильное впечатление, ибо вообще-то он уделяет внимание только богатым дамам. Оттого он так отлично одет».

Он обедал с нами. Что же касается Пабло, то он там бывает ежедневно и печально смотрит на меня, а глаза его проникают прямо в душу, как бы ты этому ни противился[2].

Тем не менее она продолжала сопротивление. У Пикассо были непростительные, по ее мнению, недостатки: «Бедный Пабло очень несчастен, но я ничем не могу ему помочь. Он пишет мне письма, полные — как бы это сказать? — безудержных фантазий... А уж о грамматике, о правописании я молчу. Ужасные письма».

Она истая француженка, и подобные огрехи кажутся ей непростительными. Еще в 1911 году Пикассо так писал Фернанде: «Фчира я целый день ждал от тебя письма а утром и ждать пиристал но надеюсь хоть днем буду щастливее. («Yer de toute la journee je ne ai pas eu de letre de toi et ce matin que je t'atendais non plus esperons que cette apres-midi je serais plus eureux».)[3]

Если он так знал французский в 1911-м, легко себе представить, как он коверкал его за шесть лет до этого. Его безграмотность была для Фернанды весомым сдерживающим фактором — надо вспомнить, как щепетильно относились к этому в той мещанской среде, где ее воспитывала тетка.

Думаю, нет способа лучше дать представление о ее жизни, чем привести несколько пространных отрывков из «Интимных воспоминаний». Может быть, это и уведет нас в сторону от нашего главного героя, но зато позволит почувствовать неповторимую особенность этой женщины. Фернанда повернется к вам всеми своими гранями: будет пикантной и пресной, уязвленной и тщеславной, язвительной и великодушной, мудрой и безмозглой. Она незаурядная личность, а история ее жиз-

---

[1] *Olivier*. Souvenirs Intimes, p. 172.
[2] Там же, с. 173.
[3] Там же, с. 168.

ни хороша еще и тем, что отлично написана. Разумеется, это приведет на наши страницы толпу людей, не имевших ни малейшего касательства к жизни Пикассо, а потому нетерпеливому читателю лучше пролистать их не читая. А те, кто окажется в силах совладать с этим искушением, узнают от Фернанды Оливье, как чувствует себя юная красавица, когда ее разлюбят. Невольно напрашивается вопрос: многие ли из нас достаточно осведомлены в этой области?

Во всяком случае, лучший способ узнать, как прекрасно она пишет, и постичь самую суть ее личности — это привести несколько неурезанных пассажей из ее книг и познакомиться с некоторыми из тех, с кем сводила ее судьба до встречи с Пикассо.

3

У моих дяди и тетки была дочка, моя ровесница, они в ней души не чаяли и баловали как могли... На мою долю ласки выпадало мало, и от этого я очень рано замкнулась в себе[1].

Я любила дядю, а он не решался открыто проявить свою привязанность ко мне, иначе тетка осыпала бы его упреками за то, что я ему милей родной дочери... Мне же, в свою очередь, ближе были служанки. Но стоило мне только подружиться с какой-нибудь из них, как ей тотчас давали расчет и нанимали на ее место другую... И все из-за тетки, угодить которой никто не мог: горничные были слишком прожорливы, слишком неопрятны, вороваты и «эмансипированны». Это было ее любимое слово, и я слышала его всякий раз, когда мне разрешалось выйти из дому. В монастыре августинок, где получила воспитание моя тетушка, считавшаяся в семье главной аристократкой, никаких проявлений независимости не допускалось.

Все детство мое прошло в смутном и порою неосознанном желании ласки, нежности, доброго слова. Мне хотелось, чтобы дядя ушел со мной из дому, чтобы бросил жену, забыл дочь и любил меня одну, а я бы стала ему настоящей и единственной дочерью... Однако все оставалось как было. Жизнь не так-то легко поддается переделке.

Я была первой ученицей и отлично сдавала экзамены. Мне это не нравилось, я предпочла бы отставать от других. Я хотела бы стать великой трагической актрисой, я чувствовала, что у меня есть талант. С тех пор как дядя повел меня в театр, я уже ни о чем другом не могла думать. Но стоило мне однажды робко обмолвиться о желании поступить в консерваторию, как тетка подняла крик: «Собралась на сцену?! Отлично! Этого как раз и не хватало, чтобы обесчестить нашу семью окончательно. Может быть, ты в цирк поступишь? Я не удивлюсь!» [2]

Чуть ниже Фернанда описывает, как, набравшись храбрости, пригласила нескольких одноклассниц к себе в гости и потом с трепетом ждала их. Тетку она об этом не предупредила, а подруги и не подозревали, что представляет собой ее жизнь. Надо сказать, что нижеследующая сцена покажется невероятной лишь тем, кому не приходилось жить во французском буржуазном доме средней руки.

При звуке дверного колокольчика мне чуть не стало дурно. Моя тетка из всех приглашенных девочек знала только Антуанетту. Услышав, что я позвала их в гости, она послала за мной, и я, чуть не плача, вышла в переднюю как раз в ту минуту, когда тетка говорила: «С каких пор ты приглашаешь гостей в мой дом? Это не твой дом, о чем тебе известно. Тебя взяли сюда из милости! Наглости тебе не занимать! Что будет с тобой дальше? Я спрашиваю себя, я спрашиваю вас, барышни, ибо уверена, что на ее месте вы вели бы себя иначе. Ну раз уж вы пришли, можете пройти к ней в комнату и посидеть там немного». Эта речь свела на нет все мои попытки скрыть, какой ненормальной жизнью я живу на самом деле [3].

---

[1] *Olivier*. Souvenirs Intimes, p. 12.
[2] Там же, с. 17.
[3] Там же, с. 23.

Сегодня за столом они обсуждали мою внешность. Дядя Шарль сказал, что у меня умные милые глаза и красивые руки. Но тетушка возразила: глаза-де у меня маленькие, а руки как паучьи лапы. А волосы такой копной, что их толком и не причешешь. Мне теперь все равно, когда она так говорит обо мне, потому что, слава Богу, я подросла и сама вижу, что к чему. Кроме того, дядя Шарль гордится, когда мы с ним идем по улице[1].

Наша милая горничная Элен по секрету сообщила мне, что ее деверь увидел меня на улице и с тех пор ни о ком больше и думать не может. Я его не знаю, но он уже немолод — ему двадцать восемь лет, — и он не то чтобы настоящий деверь, а просто брат ее жениха. Не думаю, что мне следует с ним встречаться. Если тетушка хотя бы заподозрит, что Элен ведет со мной такие разговоры, она тотчас ей даст расчет[2].

Вчера Элен передала мне записку, в которой он просит дать ему возможность сказать мне хоть несколько слов. Он посылает мне маленькие знаки внимания. Лестно и приятно, что взрослый мужчина так увлечен мною. Я его никогда не видела и не знаю даже, как он выглядит.

А тетка носится с новой идеей — выдать меня замуж за их прежнего конторщика. Она устроила мне скандал и даже дала пощечину, когда я сказала (так, чтобы и он слышал), что за толстого старика замуж не пойду ни за что. Теперь можно представить себе, во что превратилась бы моя жизнь, если бы я согласилась. Я дала себе слово вырваться из этой семейной кабалы. Тетка пока от своего намерения не отказалась. Поглядим, за кем останется последнее слово [3].

И вдруг внезапный поворот, сделавший бы честь профессиональному романисту:

Я уже три дня сижу в этой маленькой квартирке взаперти и боюсь нос на улицу высунуть — как бы мои родичи меня не нашли. И мне хочется быть как можно дальше отсюда.

Ничего смешного, я сама не понимаю, как это все вышло, ибо человек, который меня, так сказать, умыкнул, внушает мне глубокое отвращение.

Случилось это так. Несколько дней назад я встретила того самого деверя, и он пошел к церкви Сен-Сюльпис за мною следом. Зовут его Поль Першерон... он мал ростом, у него правильные черты лица и большие темные глаза, которые смотрят как-то вкось и притом без всякого выражения. Да и лицо у него какое-то тусклое, толстогубое, со срезанным подбородком, хотя зубы превосходные... Волосы черные и курчавые, чего я терпеть не могу у мужчин. Он носит бороду, руки у него слишком длинные, но короткопалые. Внешность, короче говоря, самая заурядная. Встретившись с ним, я не решилась сказать, что хочу уйти из дому. Вместо того чтобы сесть со мной в трамвай, он кликнул извозчика, и в следующее мгновение, сама не знаю как, я очутилась с ним рядом в экипаже. Взгляд его внушал мне страх. Он стал целовать мне руки, потом вознамерился обнять, но я вскрикнула, и он отступился. Он заговорил о том, что любит меня, что, как только увидел меня, чуть не помешался от страсти, что ни о чем и ни о ком другом не может и думать. Я нашла, что все это очень мило.

В ратуше (я должна была там забрать свои бумаги) он ждал меня, а когда я вышла, предложил выпить горячего шоколаду в Булонском лесу. Искушение было велико, и я ответила согласием, добавив, что должна вернуться не позже шести, что-

---

[1] *Olivier*. Souvenirs Intimes, p. 46.
[2] Там же, с. 63.
[3] Там же, с. 64.

бы тетка ничего не заподозрила. Я тут же снова оказалась в экипаже и впервые в жизни почувствовала себя важной птицей. Когда мы вошли в ресторан, где было много посетителей, я смутилась, потому что одета была довольно затрапезно, и все на нас уставились. Поль, однако, явно гордился такой спутницей. Он сделал заказ, я принялась за печенье и конфеты и уже обо всем забыла — я ведь до смерти люблю сладкое, — а взглянув на часы, помертвела. Было уже без четверти семь. Домой с таким опозданием я вернуться никак не могла. Меня часто предупреждали, что за подобное определят либо в исправительную колонию, либо в монастырь. Я расплакалась, не зная, что делать.

Поль молчал, но я чувствовала: ему нравится такой оборот событий. «Вот что, — сказал он наконец, — не возвращайся домой, я позабочусь о тебе, а завтра увижусь с твоим дядей и попрошу у него твоей руки». Меня это не очень-то утешило, и я продолжала плакать. Мы пошли по тропинке меж деревьев, и Поль обнял меня за талию и буквально приклеился губами к моим губам. От этих отвратительных поцелуев я задыхалась. «Тебя еще многому надо научить, — сказал он и добавил: — Теперь ты моя, и прежде всего я обучу тебя любви». Я ответила: «Только не так. Это мерзко и бессмысленно».

Он рассмеялся, и я, несмотря на все свои страхи, невольно стала вторить ему, а у него сделалось такое одновременно и жалобное, и счастливое лицо. Мне ничего не оставалось, как только следовать за ним: после подобной эскапады тетка бы меня и на порог не пустила. И Поль подтвердил, что, конечно, так оно и будет. Мы снова сели в фиакр, и я развеселилась при мысли о том, что мы едем в ресторан, где я закажу все, что мне захочется, — консоме, печеных цыплят, паштет, салат, мороженое... За обедом я пила вино и немного шерри-бренди, так что покинула ресторан в настроении весьма приподнятом. Поль повел меня к себе домой.

Он жил в маленькой квартирке на шестом этаже нового дома, стоявшего напротив парка Монсури. Что последовало за этим? Ужасная ночь. До сих пор не постигаю, как могла девочка, почти ребенок, пережить все эти отвратительные таинства? Я знала, что мне дорого придется заплатить за безумие, след которого в жизни моей останется навсегда. Что предпримут мои родственники? Наверняка они уже разыскивают меня. Элен, с которой я увиделась на следующий день, твердит, что тетушка лишь качает головой, приговаривая: «Это ее похороны», и что весь дом шепчется обо мне.

Элен и ее жених Анри провели с нами целый день. Поль сиял от счастья. Он притащил мне такое множество сластей и фруктов, какого я за всю жизнь не видывала. Утром обегал всю округу в поисках белья. В полдень Элен принялась стряпать обед. Выйти из дому было нельзя, и потому мы играли в карты, но я чувствовала неимоверную слабость и была точно при смерти. А все остальные веселились. Я слышала, как Поль секретничает с Анри, распространяясь о моей красоте и невинности, а Элен, лучась улыбкой, спросила: «Поль правду говорит? Неужели семь раз? Я тебя поздравляю». И меня неприятно поразило, что она говорит мне «ты», а при упоминании о прошлой ночи я разрыдалась и почти в истерике бросилась на диван. Анри выругал Элен и велел уложить меня в постель. Это было весьма кстати — все тело у меня ломило, ныли все кости, болела каждая клеточка. Элен укрыла меня потеплей. Было решено всем остаться ночевать у Поля. Сам хозяин и Анри — на диване, мы с Элен — на кровати. Однако Полю, уж не знаю каким способом, удалось спровадить брата, и бедный Анри, который всего лишь хотел защитить меня, ушел, а Поль всю ночь опять мучил меня тем, что он называл «любовью». Это было ужасно.

Целый день я провела в одиночестве, в четырех стенах, вечерние сумерки застали меня на диване с разбросанными там и сям журналами. Я свернулась клубочком и потеряла представление о времени и об окружающем. Когда часам к шести вернулся с работы Поль, я встретила его непричесанной, полуодетой, в постели, и, судя по всему, в восторг он от этого не пришел.

Последовала еще одна чудовищная ночь. Как мне выбраться из этой ситуации? Надо было бы поискать работу, но я не знала, как это делается. Я боялась встре-

тить кого-нибудь на лестнице, боялась консьержки, бóялась улицы, боялась полиции. И снова уткнулась в журналы. Я пила шоколад и ела хлеб. Стряпать я не умела. Да что там стряпать — я не могла даже причесаться сама, и все мои кудри перепутались.

А ведь жизнь была бы вполне сносной, если бы впереди не маячили ужасные ночи с Полем. Неужели ему может доставлять удовольствие такая грязь?.. Неужели нельзя мирно и тихо спать рядом? Я ничего не понимала: он становился в эти минуты просто безумным и внушал мне такой ужас, что я дрожала с ног до головы и позволяла ему делать со мной все, что ему хочется. А он говорил мне, что я прекрасна, как мраморная статуя, и столь же неотзывчива на его ласки. Дай бог, чтобы так оно и было. Я бы ни за что на свете не хотела быть вовлеченной в это безумие[1].

Ну вот и дождались: к нам собирается тетушка. Элен прибежала в полном ужасе. Но откуда же они узнали, где я? Похоже, они заявили в полицию, а там допросили Элен, и та, во всем признавшись, сообщила мой адрес. Поль позеленел, когда я сказала ему об этом. Но ему-то чего бояться? Тетушку я, слава богу, знаю — она будет обращаться со мной как с завшивленной.

А что я сделала? Мне легче умереть, чем жить с Полем до конца дней своих. Когда он спросил о приданом, я посмотрела на него в ужасе. Какое еще приданое? Я сирота, тетка воспитывает меня потому, что мой отец (ее брат) попросил ее об этом и оставил небольшую сумму мне на прожитье. Лицо у Поля вытянулось, когда я ему изложила эти обстоятельства. «А-а, — сказал он, — я все равно тебя люблю», — и с каким-то странным смехом набросился на меня. Мне пришлось покорно принимать его ласки.

Проснулась я рано, поспешила одеться к приходу тетушки, но она так и не появилась. Когда пришла Элен, мы позавтракали вместе и решили приготовить «pot-au-feu»[2]*. Блюдо это несложное, но чистить овощи — морока ужасная. Элен велела мне добавить масла, а сама ушла за хлебом. Воды в котелке было довольно много, я и бухнула масла не меньше полуфунта. Элен вернулась и, узнав, что я натворила, страшно рассердилась и сказала, что у плиты я такая же бестолочь, как и в постели. Меня поразило, что она обращается со мной как с ровней и выражений не выбирает.*

А тетушка появилась в сопровождении полицейского. И, с порога набросившись на меня, надавала мне оплеух, так что я разревелась. Она была в ярости и глядела на меня с изумлением и отвращением. Потом, слегка успокоившись, стала оглядываться по сторонам.

— Что тут у вас творится?! — сказала она. — А ты, ты, которая причесаться сама не умеешь, зачем ты это сделала? — Я молчала в страхе. — Отчего ты мне не сказала, что не хочешь выходить замуж за мсье Дефорса? — чуть сбавив тон, продолжала она. — Никто тебя силой к алтарю не потащил бы.

Полицейский подошел поближе. Я подумала, что он хочет увести меня домой, и от страха мне сделалось дурно. Очнулась я на диване, все лицо было мокрым... Полицейский сказал:

— Девочка, похоже, ни в чем не виновата. Надо заняться кавалером — это настоящая свинья.

— Ты должна как можно скорее выйти замуж за этого субъекта, — сказала тетка. — Кто он и чем занимается?

Но я не знала о Поле ничего, не знала даже, чем он занимается и любит ли меня.

— Я не хочу за него замуж, — отвечала я. — Он каждую ночь не дает мне спать... Я вся в синяках от него.

Полицейский грубо хмыкнул.

— Сама виновата, — продолжала тетка. — А за безнравственность наказывают. Ты должна выйти за него замуж, и ты выйдешь за него замуж, а иначе я знать тебя не желаю и отправлю в исправительную колонию.

---

[1] *Olivier*. Souvenirs Intimes, pp. 65—77.
[2] Жаркое с овощами (*франц.*).

— Лучше в монастырь, — сказала я.

— Падшим женщинам в монастыре не место. Выбирай — замуж или в колонию.

Я тряслась всем телом, во рту пересохло, на глаза опять навернулись слезы.

Когда появился Поль, тетка и не подумала наброситься на него с упреками, а только смерила уничижительным взглядом и сказала:

— Ну-с, как вы намерены выходить из положения?

— Мы поженимся — и чем скорей, тем лучше, — ответил тот.

— Хорошо, что вы это понимаете, — сказала тетка и повернулась ко мне. — Надеюсь, ты выберешь замужество.

В ответ я только кивнула, как героиня Расина. Я чувствовала себя приговоренной к смертной казни и поклялась, что сразу после венчания уйду от Поля. Не питая большой надежды и заранее зная ответ, я все же спросила:

— А до свадьбы мне нельзя вернуться домой?

— Нельзя! — отрезала тетка. — Порог моего дома ты переступишь лишь после свадьбы. Получишь тысячу франков на обзаведение — и хватит с тебя. Можешь сообщить этому господину... — она кивнула в сторону Поля, который робел не меньше меня. С этими словами она наконец удалилась.

Вечером пришли Элен и Анри. Я попросила Элен лечь со мной, потому что после пережитой сцены чувствовала себя совершенно разбитой и вся горела и дрожала как в лихорадке. Поль испугался. Ночь я провела с Элен, которая несколько раз вставала и укрывала меня потеплей. Она дала мне подогретого вина с сахаром, но меня вырвало. Начались судороги. Лихорадка усиливалась...

Потом пришел доктор и, думаю, выругал Поля — тот глядел виновато и пообещал день-два, пока мне не полегчает, не трогать меня. Ночевать он уйдет к Анри, Элен останется со мной. Я благословляла свое нездоровье, хоть ненадолго избавлявшее меня от его скотских ласк.

Он принес мне несколько книг — Анатоля Франса, Д'Аннунцио, Абеля Эрмана. Их имена мне ничего не говорили — я вообще ведь так мало читала. Я благодарна ему за внимание. Еще он принес красные и желтые гладиолусы на длинных стеблях, солнце так красиво освещало их, что я все время любовалась ими. Если бы только он мог не приставать ко мне со своей любовью, я бы, наверно, постепенно привязалась к нему. Мне все уже представлялось не в столь мрачном свете; я была почти счастлива. Эта убогая квартирка вся залита солнцем.

С прошлой ночи все началось сначала. Он не дает мне покою и требует «любви», хотя я совершенно вымотана и измучена. И хочу спать. Он снова и снова набрасывается на меня с криком: «О-о, какая ты свеженькая, какая миленькая, как я хочу тебя, и с каждым днем все сильнее и больше. Я прямо с ума схожу...» А я в полусне позволяю ему делать со мной все что угодно.

Это повторяется еженощно. Но ему становится мало просто обладать мною: он нетерпелив, он спрашивает, что я испытываю, почему остаюсь неподвижна и безучастна, обещает, что когда-нибудь его любовь доставит мне наслаждение. Если я прошу оставить меня в покое, его это разжигает еще пуще, так что лучше вообще молчать, но тогда он впивается в меня глазами и цедит сквозь зубы: «Я тебя расшевелю», и мне делается страшно. Но кажется, что страх этот воодушевляет его на новые и новые подвиги.

Вчера, не выдержав, я вскрикнула вне себя: «Господи, я скверная и грешная, но все равно — защити меня или пошли мне смерть!» Поль посмотрел на меня и заплакал и в ту ночь больше уже не трогал.

А наутро он на коленях стоял у кровати и умолял простить его. Он плачет и так нежно держит меня за руки, что во мне просыпается подобие надежды, но потом внезапно лицо его становится неузнаваемым, и он снова набрасывается на меня. Боже, неужто это и есть любовь?! [1]

---

[1] *Olivier*. Souvenirs Intimes, pp. 79—80.

Итак, мы имеем дело с грубым животным, которое обуяла страсть. Можно было бы отыскать в этом и комическую сторону, если бы Поль не был так нечуток и если бы не доставлял Фернанде такие страдания. Если абстрагироваться от этого, ситуация становится забавной. Поль — воплощение насилия и готовности к физическому действию, это почти условный рефлекс, возникающий у тех, кого часто бьют в детстве. Теперь пришел его черед бить — и он бьет Фернанду за малейшее покушение на его мужское достоинство, за отказ удовлетворить его желание. Потом отвратительное бешенство проходит, уступая место безумной, ненасытной любви — и он берет Фернанду силой, ибо это единственно доступный ему способ выразить накал снедающей его страсти. Когда порыв истощается, он убеждается, что она по-прежнему не переносит его. Тогда он плачет, ибо любит ее, а она его — нет. Несправедливость такого положения ранит его столь сильно, что он снова набрасывается на нее — на сей раз с побоями. В самом деле, это очень забавно, если бы... если бы не синяки.

Ну, свершилось. Вчера я вышла замуж за Поля. Он был так предупредителен и так горд, а в глазах у него стояли слезы[1].

На венчании тетка не присутствовала, но перед свадьбой прислала баул с вещами Фернанды, а там серое платье, шляпа, башмаки — и приданое. На эти жалкие 1000 франков Поль с молодой женой переберутся в предместье.

Новобрачные поселились в Фонтене-Су-Буа. Поль, очевидно, надеялся, что Фернанда станет заниматься хозяйством, однако домашние хлопоты ей скучны. Вернувшись домой, он застает ее на кровати с книгой, она странствует в неведомых мирах своего воображения. В ярости он разбивает об пол вазу с ноготками.

— Хозяйка из тебя такая же, как любовница! — крикнул он и ударил меня. Кажется, я инстинктивно бросилась к двери, но он настиг меня... Свалил с ног и начал избивать. Удары сыпались градом. Видно, в моих глазах он прочитал настоящую ненависть, потому что бил все сильней. А потом сказал: — Будешь так смотреть — я убью тебя!

Он бросил меня на диван и грубо, в своей зверской манере, овладел мной. Потом всей тяжестью навалился на меня и застыл неподвижно, вроде бы даже перестав дышать. Я боялась шелохнуться. Я жалела, что он не умер...

Когда наконец он очнулся, вид у него был измученный. Припомнив все, что было, он упал на колени и стал просить, чтобы я его простила. Потом вышел из дому купить чего-нибудь на обед и вернулся с цветами, подарками, конфетами[2].

Я беременна. Доктор, которого привел Поль, предупредил, что я должна избегать волнений. Поль говорит, что не хочет ребенка и что через месяц отведет меня к одной женщине, рекомендованной ему друзьями.

Плача, я спрашиваю:

— Зачем?

— Затем, что я люблю тебя одну, — отвечает он. — А ребенок будет изводить нас, да и обойдется дорого, у меня столько нет.

Я пытаюсь вести дом, стряпать, но все это меня раздражает. Несмотря на кулинарную книгу, ничего из моей готовки не выходит — все всегда недожарено или переварено. Поль любит поесть, и его это бесит, но меня он больше не бьет... Я целыми днями сижу у окна, положив руки на колени. Я все еще чувствую себя маленькой девочкой или девушкой, а то вдруг порой кажется, будто мне уже пятьдесят[3].

---

[1] *Olivier*. Souvenirs Intimes, pp. 80.
[2] Там же, с. 81—82.
[3] Там же, с. 83—84.

Спускаясь в сад по обледенелым ступенькам, она поскользнулась и упала. У нее произошел выкидыш. Фернанда плачет, а «Поль доволен».

Поправившись, она с мужем впервые за все это время наносит визит тетке и дяде. Тот — и оскорбленный этим браком, и явно ревнуя — очень холоден с ней, но глаз с нее не сводит.

Когда мы уже выходили, дядя сунул мне в руку двадцать франков. Куплю дюжину носовых платков и духи — мне давно уже хотелось.

Вчера, вернувшись домой, Поль унюхал, что от меня пахнет духами, и впал в бешенство: во-первых, я не сказала ему о дядином подарке, а во-вторых, вышла из дому без спросу.

— Как ты это сделала, у тебя же нет ключа?

Во мне впервые поднялся гнев.

— Я оставила дверь открытой, — ответила я. — И отныне, когда мне захочется выйти, я буду выходить, не захлопывая дверь. А если к нам заберутся воры, буду только рада. Мне все тут опротивело до смерти — и этот дом, и мебель, и ты!

Тут он снова начал меня бить, как в первый раз, и, как в первый раз, я смогла выдержать побои, не издав ни звука, ни стона, не уронив ни слезинки. От этого Поль расходился еще пуще. Потом он подхватил меня на руки и понес к кровати, произнося такую непристойную чушь, что мне стало стыдно. Он взял меня как всегда, и я, как всегда, не испытывала ничего, кроме страха и ледяного безразличия.

Пришла Элен. Она сказала, что свозит меня в Париж, так что Поль не узнает. Сейчас она без работы и побудет со мной несколько дней. Она спросила, согласна ли я начать новую жизнь без Поля? Увидев у меня на лице злобу и отвращение, она поняла, что напрасно задала этот вопрос.

— Я знаю, кто способен тебя утешить, — сказала она с улыбкой, — приятель одного моего знакомого... Анри вовсе не обязательно знать о нем...

Меня это напугало. Как это? Двое мужчин одновременно?.. И ведь она любит Анри! Неужели дурачить людей так просто? На следующий день, несмотря на страх перед Полем, я ушла с Элен. Мы обедали с этим приятелем у ее знакомого, некоего Л., содержавшего большое кафе на бульваре Сен-Дени... После обеда мы разлеглись на диванах и пили вино. Вдруг я почувствовала чьи-то сильные руки, обнимавшие меня крепко и вместе с тем — бережно. Я оказалась на широкой груди этого Л. Но когда он сделал еще одно движение, я вспомнила то, чему подвергал меня каждую ночь Поль. Я закричала, оттолкнула его и хотела уйти. Элен успокаивает меня, уводит в другую комнату, обещая, что туда никто не войдет. Дверь открыта, и я слышу, как она втолковывает Л., что акт любви внушает мне страх; потом она приводит меня обратно, и Л. говорит, что не хочет ничего добиваться против моей воли, и я снова оказываюсь во власти его нежного голоса и огромных рук, обнимающих меня, и чувствую, как теплые губы целуют мою шею и глаза. От легких, очень умелых и искусных ласк у меня пошла кругом голова, и мне это было на удивление приятно. Я довольно долго оставалась в объятиях этого, в сущности, незнакомого мне мужчины, а очнулась от полузабытья, услышав голос Элен. Нам пора идти. Я бы с большим удовольствием осталась. Я не хочу ехать в Фонтене, но назавтра обещаю вернуться.

— Ну, — сказала мне Элен, — в выигрыше от всего этого, похоже, останется Поль.

— Это почему же? — спросила я в недоумении. — И в чем тут его выигрыш?

— Ты ведь, кажется, все еще фригидна?

— Все еще что? — переспросила я, не поняв. — Разве я не такая, как другие? Разве Анри, к примеру, не мягок и нежен? Не может быть, чтобы он вел себя, как Поль.

Элен расхохоталась:

— Поль ничем не отличается от других мужчин. Просто у него есть темперамент. А ты — фригидная.

Тут мне в голову пришла одна мысль, которую я не замедлила высказать: я спросила, почему она завела себе любовника.

— Я остаюсь с Анри лишь потому, что он хочет на мне жениться. Но в постели я предпочитаю других, — ответила она, а когда я заметила, что это довольно некрасиво, и посоветовала ей во всем признаться Анри, чтобы выпутаться из лжи, сказала, явно позабавленная: — Одного мужчины мне мало. Такой уж у меня темперамент. Да и нрав переменчивый.

А что такое «темперамент»? Неужели те, у кого он есть, с охотой принимают участие во всех этих пакостях?

Вернулись мы в шесть часов, чтобы Поль ничего не заподозрил... [В следующий раз] Л. привел меня к себе, и мы обедали с ним вдвоем за маленьким столиком — икра, устрицы, белое вино. Было чудесно. Потом я прилегла на диван, а Л. принялся расстегивать на мне юбку. У меня не было сил сопротивляться: я как-то размякла, все казалось мне странным и непривычным. Это ощущение становилось все сильней, и, повинуясь ему, я приникла к Л. Очень скоро на мне уже ничего не было, а губы Л. стали путешествовать по всему телу, время от времени замирая, и, когда он отстранялся, я сама притягивала его ближе. Это было как игра. Потом его ласки заставили меня совсем лишиться чувств, а вскоре я содрогнулась всем телом от острого и до той поры неизведанного наслаждения. Я и не подозревала, что такое возможно. К несчастью, мне пришлось слишком быстро вернуться к действительности, когда Л. овладел мной в точности так же, как Поль. Если бы этого не произошло, отвращение не охватило бы меня с такой силой и я не «протрезвела» бы так быстро... Теперь мне ясней, чем когда бы то ни было: я никогда не привыкну к этому... В субботу я к нему не пойду.

И все же я пришла. Не ради обеда, а чтобы он опять обнял меня. Я сказала, что буду у него в два, но что мне не нужна эта отталкивающая концовка. Он со смехом обнял меня, как в прошлый раз, и раздел. Все повторилось — то же опьянение и то же омерзение в конце. Нет. Больше я к нему не пойду, но некоторых его ласк мне будет явно не хватать. Уже не хватает. И все же я не могу справиться с отвращением.

Но когда те же игры затевает со мной Поль, мне противно все.

Когда пришла Элен, я сказала ей, что больше в Париж не поеду.

— Ага, — ответила она. — Значит, кое-что тебя забирает за живое, а на другие ласки реагируешь как каменная статуя?

Мне были неприятны ее слова, но опровергнуть их я не могла.

Что за глупые истории постоянно происходят со мной! Вчера после обеда Элен прилегла рядом на диван, потом обняла меня, и я опять испытала те же странные ощущения, что и с Л. Она соскользнула к моим ногам и стала ласкать так, что я затрепетала... Но это было очень приятно. Сама возможность испытывать от такой малости такую бурю чувств — божественна.

Элен иногда заходит ко мне пообедать. Ее ласки успокаивают меня, но я не люблю Элен.

С Полем у нас теперь каждый день отвратительные скандалы. За переваренное яйцо он лезет на меня с кулаками. Но я ему показала характер и сказала, что уйду от него. Он пожал плечами:

— Я тебя найду, и ты пожалеешь, что на свет родилась.

Я твержу свое:

— Уйду — и скоро.

1900 год. Сейчас весна. Март чудесен. Скоро откроется Всемирная выставка. Все радуются, а я не могу поехать в Париж — я сумела скопить всего два с половиной франка[1].

---

[1] *Olivier*. Souvenirs Intimes, pp. 83—93.

Стоит отметить, что это та самая Выставка, где экспонировалось полотно Пикассо, благодаря которому он и попал в Париж впервые.

Фернанда, снова навещая своих родственников, призналась дяде, что несчастна в семейной жизни, и тот поговорил с Полем.

Муж упрекает меня за то, что я пожаловалась на него.

— Я бы тоже мог пожаловаться: ты безразлична ко мне, ты не умеешь вести хозяйство, ты ничем не хочешь порадовать меня. И я должен искать в твоем отвращении ко мне, в твоей холодности то, что надеялся найти в твоей любви.

Тут я расхохоталась довольно зло и ответила:

— В моей любви? Да зачем она тебе? Я ведь даже не понимаю, что ты обозначаешь этим словом. Мне все в тебе мерзко — твои движения, выражение твоих глаз и то, что доставляет тебе удовольствие.

Да, я решилась выговорить это. Постепенно я сознаю, что так, как я, живут все женщины, вышедшие замуж не по любви за людей, лишенных всякой душевной тонкости. А когда Поль услышал эти слова, лицо у него сделалось совсем как у сумасшедшего, и добилась я только очередной бешеной атаки.

Я закрыла глаза и не сопротивлялась — лишь бы только все поскорее кончилось. Он требовал, чтобы я глядела на него: страх на моем лице, еще усиленный его бранью, доставляет ему наслаждение. Он готов убить меня, и лишь бурный оргазм освобождает меня от его объятий.

Я хочу уйти, я хочу уйти... Куда угодно, на первую попавшуюся работу, хоть в прислуги — только бы подальше отсюда, от Поля...

И, как всегда, стоит лишь мне остаться одной, душа моя успокаивается и я все забываю. И погружаюсь в теплый туман своих мечтаний: вижу, как внутренний мир складывается из частиц моего воображения — каждой находится там место, — и мне порой даже удается испытать счастье. Но потом приходит вечер, а с ним — неотступная тоска, и я чувствую, как замирает в дрожащем теле сердце[1].

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Пабло и Фернанда

1

Несколько недель спустя она оставит мужа и переберется в Париж. Как раз в это время из Барселоны впервые приедет Пикассо. Они будут жить в нескольких километрах друг от друга, но познакомятся лишь в 1904 году. А поскольку мы пока не расстанемся с Фернандой, может быть, полезно будет бросить еще один взгляд на Париж в самом начале столетия. К примеру, вот так выглядел при дневном свете вход в «Мулен-де-ла-Галетт».

В 1900 году Пикассо бывает на монмартрской Пляс дю Тертр. Старинная фотография показывает, до какой степени городская площадь может напоминать полотно художника на переломе века.

В 1900-м Пикассо всего девятнадцать, но на автопортрете он выглядит тридцатипятилетним, умудренным жизнью светским денди, в достаточной степени обладающим элегантно-космополитическим лоском, чтобы сойти за своего на любом парижском банкете, куда, впрочем, его пока не приглашают.

Мы снова видим, сколь глубок его интерес к «визуальным каламбурам»: в левом нижнем углу он делает набросок — то ли это округлые и пышные ягодицы, то ли щекастое лицо, и тогда ямочки на половинках пухлого зада становятся устремленными вверх глазами, а в верхнем левом углу сделанный пером портрет Риэры

---

[1] *Olivier*. Souvenirs Intimes, pp. 93—95.

напоминает уныло обвисшие груди. А рядом расположен еще один портрет Риэры — перевернутый.

Нет сомнений: он готовится получить все те сексуальные услады, в которых будет столько же чувственного вожделения, сколько интереса к форме человеческого тела — женского тела, женской плоти, постичь тайны которой поможет лишь долгая связь.

Вход в кабаре «Мулен-де-ла-Галетт», 1898.

2

Но вернемся к Фернанде. Всемирная выставка 1900 года и на нее произвела впечатление. Наступило новое столетие, а она, как мы помним, укрепилась в своем намерении оставить мужа.

«Автопортрет». 1899—1900.

Вчера вечером разыгралась совершенно безобразная сцена. Я ранена, да-да, я на самом деле ранена: Поль ударил меня графином с такой силой, что тот разбился и осколок стекла на несколько сантиметров вошел мне в плечо. Крови было много; пришлось вытаскивать из раны клочья материи, попавшей туда вместе со стеклом. Все это, однако, не помешало Полю повалить меня на диван, прежде чем я успела сделать перевязку. Опомнившись наконец, он страшно перепугался, потому что кровь не унималась. Но я отвергла его заботы: мне казалось, что, если он приблизится, я его убью.

Спать с ним рядом я отказалась. Должно быть, он проплакал всю ночь, потому что наутро физиономия у него была совсем опухшая. Он был отвратителен. Он был мне мерзок. Как я могла ждать так долго?[1]

И наутро, как только Поль ушел на работу, она собрала все свои документы (не забудьте, что мы имеем дело с истой француженкой) — метрику и брачное свидетельство, школьный аттестат и даже этот столь пространно цитируемый нами дневник (Фернанда уверяет, что вела записи день за днем!) — и пошла на станцию, села в поезд, через полчаса была в Париже и отправилась в бюро по трудоустройству, адрес которого загодя вырезала из газеты. Ей велели зайти в четыре часа, но по улицам бродить она не решалась из опасений встретить кого-нибудь из знакомых, присесть с книгой на скамей-

[1] *Olivier*. Souvenirs Intimes, p. 97.

ку в маленьком парке поблизости тоже не удалось из-за снедавшего ее беспокойства... И в конце концов она оказалась на улице Риволи перед витриной кондитерской, куда войти не рискнула, поскольку в кармане имелся всего-навсего один франк.

И вот, стоя перед этой восхитительной витриной, я вдруг почувствовала, как кто-то взял меня под локоть и буквально втащил через порог. В следующее мгновенье я оказалась за маленьким круглым столиком напротив молодого улыбающегося бородача, который уже заказывал что-то подошедшей официантке. Я все равно не очень понимала, что происходит, покуда передо мной не поставили чашку шоколада и бриоши. Не в силах более сдерживаться, я буквально проглотила их, а следом — несколько кусочков пирога в сахарной глазури. Лишь допив шоколад, я обрела способность воспринимать окружающее и прежде всего заметила устремленный на меня взгляд больших блестящих и смеющихся глаз незнакомца. Сама себе удивляясь, я расхохоталась так громко и весело, что и сидящий напротив меня человек стал мне вторить. Это мое свойство — переходить от уныния к ликованию. И вдруг, ни с того ни с сего... Объяснить дальнейшее я могу лишь тем, что люблю жизнь и стараюсь верить ей...

— Простите, — сказала я. — Мне ужасно хотелось есть.

— Прежде всего, позвольте представиться, — ответил он. — Лоран Дебьен, скульптор, который, если соблаговолите согласиться, хотел бы сделать ваш бюст. У меня как раз есть подходящий кусок отличного мрамора. Ну как? Согласны немножко попозировать?

Во мне вдруг проснулся интерес к нему. Я так мечтала в детстве познакомиться с художниками...

Лоран сообщил мне, что живет в Нёйи с родителями и в денежном отношении полностью зависит от отца, но на Монпарнасе у него есть своя мастерская. Он каждое утро с девяти до двенадцати работает там, потом завтракает на скорую руку, чтобы не терять времени, и в шесть идет домой.

— Отец согласился помогать мне только два года — дальше придется зарабатывать самому. Он, конечно, и потом меня на произвол судьбы не бросит, но за это время я должен стать на ноги. А через несколько месяцев меня призывают в армию. Я уже несколько раз получал отсрочки, чтобы доучиться в «Beaux-Arts», но мне уже двадцать пять, и надо на три года идти служить. Ну, теперь вы все обо мне знаете. Расскажите о себе, — и добавил, увидев, как я покраснела: — Неужели моя просьба привела вас в такое смущение?

Тут я вспомнила, что надо идти в бюро, надо искать работу, и слезы выступили у меня на глазах. Большого труда стоило мне не заплакать, но большие черные глаза Лорана глядели так участливо, что язык у меня развязался. Только глаза, окруженные сеточкой морщин, и были хороши на этом смуглом лице с несоразмерно крупным носом, от которого казались еще более запавшими щеки, покрытые жесткой, очень черной бородой. Волосы у него были блестящие, но тоже чересчур черные, а голова — слишком массивна для довольно щуплого тела. Длинная шея с беспрестанно ходившим вверх-вниз огромным кадыком. Руки крупные, тяжелые, волосатые, жесткие. И все равно в присутствии этого совершенно незнакомого молодого человека, сумевшего так внезапно расположить меня к себе и вызвать мое доверие, я погружалась в какое-то приятное спокойствие.

Он слушал не перебивая. А потом сказал:

— А вы вправду хотите устроиться на службу? Вы представляете себе, с какими трудностями вам придется столкнуться? Если даже вам и дадут работу, вы же не сможете вот так, с ходу, начать жить одна. Придется снимать номер в гостинице, а там спросят документы, и когда муж примется вас искать, то найдет без труда. А потом, на что вы будете жить целый месяц — до первого жалованья? Я ведь не всегда буду рядом, с бриошами и горячим шоколадом, — со смехом прибавил он.

Я сидела как громом пораженная. Все правда. Я об этом и не подумала.

От его слов меня пробрала дрожь. Мой новый знакомец минуту следил за тем, как страхи снова овладевают мной, а потом предложил:

— Пойдемте-ка со мной. Я вас устрою у себя в мастерской. Там под лестницей есть кровать. Сам я ночую дома. А за постой возьму с вас «натурой» — будете моей натурщицей, попозируете мне. За это я вам заплачу. Немного, сразу предупреждаю: кроме карманных денег, которые мне дает отец, у меня ничего нет... Но, по крайней мере, в моей мастерской вас никто не найдет. И не бойтесь, даю честное слово, что спать будете одна.

И вот я в его студии. Я наконец-то вздохнула с облегчением. Лоран ушел, принеся мне кое-какой еды — хлеба, яблок, орехов, ветчины, а в маленькой кухне я нашла чай, кофе, сахар, шоколад...

Мне было так сладко спать там в первую ночь, хоть я и просыпалась от малейшего шороха[1].

Утром, выполняя свое обещание, Лоран принес постельное белье, пудру, ростбиф. Они поболтали, вместе прибрались в мастерской, выпили кофе, хозяин сыграл Фернанде на пианино, а потом учтиво попросил ее снять блузку. Он задрапировал ее какой-то тканью, оставив плечи обнаженными, и начал сеанс. Работа продолжалась весь день, и оказалось, что позировать очень утомительно, но...

Я уже стала забывать свою прошлую жизнь. Все эти кошмарные ночи с Полем... Лучше умру, чем вернусь к нему.

Прощаясь со мной вчера, Лоран подошел ко мне вплотную и осторожно обнял. Я обвила руками его шею и ответила на поцелуй в знак благодарности за все его хлопоты.

— Какие пустяки, — ответил он, — вы расквитались с лихвой тем, что согласились позировать. Такой красивой модели у меня никогда еще не было, так что это я у вас в долгу.

Он ушел, а я легла спать, потому что очень устала. Ночной сорочки у меня не было, и я завернулась в меховой коврик. Какая упоительная картина: барышня строгих правил из добропорядочной буржуазной семьи спит нагишом в звериной шкуре.

...Время идет. Я здесь уже четыре дня. Лоран взял на себя труд продать кое-что из моих безделушек, и на вырученные 50 франков я смогла купить себе две рубашки, две пары штанишек, две пары чулок и ночную сорочку. Если каждый день стирать, то в запасе всегда будет свежее белье. Новая жизнь вселяет в меня спокойствие... Мне пока все это забавно — я позирую Лорану. А потом он стряпает[2].

3

Но минуло несколько недель, и госпожа Рутина, непримиримый враг новизны, вступила в свои права. Фернанду стал слегка тяготить ее новый спутник. Вероятно, он, как чуть позже Пикассо, часами любовался ею, пока она спала.

Не могу сказать, что работа Лорана сильно продвинулась вперед. Он медлителен. У него уходит часа два на то, что можно сделать за десять минут. Он тратит бездну времени, чтобы вымыть посуду или почистить картошку. И то же самое с его ваянием. И точно так же он рассказывает. О каком бы пустяке ни заводил он речь, ему надо сначала собраться с мыслями, настроиться, приготовиться: он сам вслушивается в свои слова, перестраивает фразы, поправляясь и уточняя, возвращается к началу, отвлекается на что-то несущественное. Он немного раздражает меня, хотя очень ласков, мягок, покладист. И делает всю работу по дому. А это немаловажно.

Да, начались нежности... Вчера вечером, около восьми, он пришел от родителей и повел меня в «Кафе де Версаль» есть мороженое. Когда вернулись, он поднялся ко мне и прилег рядом. Я сочла это естественным, и потом, с ним я не испытываю того страха, который делал для меня акт любви совершенно невыносимым. Лоран обнял

---

[1] *Olivier*. Souvenirs Intimes, pp. 98—102.
[2] Там же, с. 104—105.

меня с такой нежностью, что я бы не стала сопротивляться, решись он на большее. Я не ощущала ни удовольствия, ни отвращения, но все же предпочла бы обойтись без «главного» — мне оно кажется бессмысленным. Против ласк и поцелуев я ничего не имею, но постепенно начинаю понимать, что в сущности мужчины мне не нравятся. «Ты такая милая, — сказал он, — но страсть в тебе еще спит. Ничего, это придет, я терпелив». С этого дня он ночует в мастерской, а в Нейи ходит только поесть[1].

Довольно скоро Лоран посоветовал Фернанде в целях заработка позировать и другим художникам и нашел ей первого клиента — старого итальянского скульптора, жившего в квартале Нейи. Потом юный живописец, приметивший ее у дверей мастерской Лорана, спросил, не согласится ли она позировать обнаженной. Лоран всей душой за это. «Для художника, — объясняет он, — ню выглядит благопристойней, чем одетая женщина».

И довольно скоро она начинает позировать: утром — старику скульптору, днем — молодому художнику, а вечером — Лорану. Она худеет, но приносит домой не меньше 10 франков в день и кладет их в копилку. Теперь ей есть на что покупать себе обновки. Но тут обнаруживается, что Лоран тратит эти сбережения на рубашки и глину для лепки.

Какое бессовестное себялюбие!

Теперь он просит, чтобы я помогала со стиркой женщине, которая раз в две недели делает у нас генеральную уборку. Я отказалась — я и так слишком много работаю. Он впервые за все это время вспылил. Я тоже рассердилась. Мы поссорились. И даже подрались, но он оказался сильнее, а потом подтащил меня к дивану — и все кончилось в точности так, как с Полем, с той лишь разницей, что тот был груб, а этот нежен. Но почему насилие приводит мужчин в такой экстаз? [2]

Недовольство Фернанды нарастает. Вот она с раздражением наблюдает за тем, как он что-то мастерит.

Не помню, говорила ли я уже, что он, принимаясь за любое дело, точно священнодействует: все должно быть загодя спланировано, обдумано, предусмотрено. За что бы он ни брался, он сначала должен мысленно приготовиться, а если допустит ошибку, то спокойно и терпеливо, не сердясь и не возмущаясь, все уничтожит и начнет сначала. Уму непостижимо, как это со мной он действовал так стремительно и решительно?! Теперь, когда я хорошо его знаю, могу себе представить, какие мысли роились у него в голове, пока я жевала бриоши и запивала их шоколадом: он прикидывал, насколько выгодно будет поселить у себя модель, которую можно еще и давать напрокат другим[3].

У Фернанды появилась возможность сравнить творчество Лорана с работами других художников, и сравнение это было не в его пользу. Он — посредственность. Он слишком ограничен, чтобы стать крупным художником или искусным любовником. Его разговоры на эту тему интересней, чем их воплощение. И при том, что он воспевает преимущества свободной любви, Фернанда понимает, что, твердя о щедрости, сам он в этом смысле скорее скареден, чем великодушен.

Потом, в один прекрасный день возвратясь домой, она застает его наедине с тринадцатилетней моделью. «Натура» не только обнажена, но и дерзка до крайности. В ответ на требование Фернанды одеться, уйти и никогда больше не переступать порог мастерской та требует, чтобы ей уплатили — и не пять франков, а десять. Вдвое больше, чем получает сама Фернанда!

---

[1] *Olivier*. Souvenirs Intimes, pp. 106—107.
[2] Там же, с. 117.
[3] Там же, с. 121.

Но главная прелесть этой истории в том, что Лоран оскорблен в лучших своих чувствах и отвечает мне упреками. «Тебе не понять, что такое художник, — говорит он. — Мне так тошно от твоих низких мыслей, что я и пытаться не стану тебя разубеждать. Это мог быть шедевр, а ты его во мне загубила».

Уж не знаю, что я там в нем загубила, но все его работы брошены на полдороге. Он только и делает, что снимает с них влажные тряпки и снова закрывает, чтобы глина не высохла[1].

Впрочем, у Лорана есть приятель Жак, который поет в кафе, и Фернанда находит его очаровательным, хотя он на тридцать лет старше ее.

Однажды, когда Лоран был у родителей, пришел Жак, а я пребывала в таком угнетенном настроении, что рассказала ему все: и про то, как мне трудно делать вид, что я люблю Лорана, и про свой нрав, и про неумение сначала думать, а потом действовать, и про мое вечное стремление уклониться от всего на свете.

Он утешал меня и говорил так ласково и рассудительно, что я поняла — во всем виновата я сама... Из-за какой-то своей врожденной душевной вялости живу с человеком, которого не люблю и не уважаю. Больше всего остального я нуждаюсь в устойчивости и определенности. Стоит лишь успокоиться, как собственное душевное равновесие начинает меня тяготить, и тут уж спокойствия как не бывало. Я рассмеялась сама не зная чему и сказала Жаку:

— Приходите почаще. Приходите, когда Лорана нет.

— Вот как? Почаще? — переспросил он. — Это опасно. Ты очень соблазнительна, дитя мое, а я немолод.

Сначала его ответ обескуражил меня, но я была в таком чудном настроении, что обняла его и ласково поцеловала. Когда он ушел, я спросила себя: неужто можно отдаться человеку, которому столько лет? Но мне хотелось оказаться в его объятиях и почувствовать себя под его защитой. Он разведен, у него семья, а дети — старше меня. Я была в замешательстве... Я хотела снова увидеть его, увидеть сегодня же вечером, и чувство это было мне до той поры незнакомо. Красавцем его не назовешь — он такой огромный и тучный, но есть в нем то, что делает особенно притягательными больших мужчин: крупные черты лица, большие глаза, добрые и задумчивые, губы толстые, но красиво вырезанные, а когда он широко улыбается, становится видна полоска прекрасных белых зубов. Глубокие морщины бороздят лоб и щеки, тянутся от носа к углам рта. Волосы красивые. Сама не знаю, почему я полюбила его... Наверно, потому, что он говорил со мной так ласково, так участливо... Не все ли равно?! Я его люблю и хочу быть рядом с ним.

Когда мы снова увиделись, я упрекнула его за то, что он пропал и целую неделю глаз не казал. Я сказала:

— Хочу тебя видеть на этой неделе. Хочу, чтобы ты был дома один. Я люблю тебя.

Он притянул меня к себе, наши губы встретились, и мне показалось, что я от счастья лишусь чувств.

Только потом я сообразила, что Лоран может вернуться с минуты на минуту. Но теперь я была уверена: мы встретимся с Жаком вновь. После бури, от которой дрожали ставни на окнах и весь дом ходил ходуном, я провела чудесный день. Все во мне пело. Жизнь моя вдруг наполнилась смыслом и стала для меня дорога. Ложась спать, я воображала, что Жак рядом. Завтра в половине пятого я отправлюсь в его маленькую квартирку возле бульвара Батиньоль. Сумею ли дождаться и дотерпеть? Что открывает во мне эта внезапная и такая сильная любовь?

Стыдно сознаться, но я больше не люблю Жака. В среду, когда я пришла к нему, он приготовил мне угощение — всякие мои любимые сласти, поставил цветы в вазы.

---

[1] *Olivier*. Souvenirs Intimes, p. 121.

Но увы, радость, которую я предвкушала, улетучилась в тот самый роковой миг, к которому я все никак не могу привыкнуть.

Совершенно неожиданно я точно со стороны увидела себя в объятиях старика, а от бороды его несло застарелым табачным перегаром и пивом. И мне вдруг сделалось так противно, что я вскочила и поспешно оделась. Бедный Жак, держа меня за руку, говорил: «Я был уверен, что именно этим все и кончится. Мне уж приходилось видеть, как молоденькими женщинами овладевает внезапная страсть. Но ты уходишь, вселив в меня желание, о котором я вчера еще и не догадывался».

Что мне было ответить на это? Я сама больше ничего не понимаю, и меньше всего — что же это за безумие творилось со мной все эти дни? [1]

После истории с Жаком у Фернанды началась связь со студентом по имени Ролан. В ее поступках логики больше, чем ей самой кажется. Каждое ее приключение — словно подготовка к следующему, более серьезному и глубокому.

...он ждал меня, горя от нетерпения. Мне были приятны его поцелуи, и я, сама не знаю как, оказалась в постели раздетая. Я испытывала тихую, нежную радость от его ласк — они меня не разочаровывали. То, что последовало потом, не доставило мне никакого наслаждения, но, по крайней мере, не было и неприятно — я прошла через это, чтобы ему было хорошо, и была счастлива от его счастья. Мы оставались в постели целый день и ночь тоже провели вместе, тихо обнявшись. Пользуясь тем, что Лоран не слишком мне докучает, я и дальше буду ночевать у Ролана, когда захочется. Он просит меня совсем переехать к нему, но вот этого мне не надо. Сожительство, привыкание друг к другу способны все только испортить. А я хочу, чтобы любовь во мне не угасла[2].

Проходит еще год — 1904-й, тот, в котором ей суждено встретить Пикассо. Начинается их краткий роман, потом Фернанда теряет к нему интерес. Еще несколько месяцев — и настает зима. И вот мы уже вернулись, так сказать, в исходную точку нашего рассказа: март 1905-го, Фернанда, живущая под одной крышей с Канальсом и его женой Бенедеттой, пытается определить для себя, кого из двоих испанских художников — Пикассо или Суньера — выбрать ей себе «по-серьезному». Верх одерживает второй — тот, кто привлекательней внешне и живет за счет дам старше себя.

Я сошлась с Суньером. Мы живем в любви и согласии — именно в физическом и только физическом смысле. То, в чем мне постоянно отказывала природа, наконец произошло. Почему с этим мужчиной, а не с кем-либо еще? Трудно объяснить. Суньер едва ли нравится мне во всем, что выходит за пределы «этого». Мне даже не хочется ночевать у него дома, и я ухожу к себе. По всей видимости, любовь и наслаждение — далеко не одно и то же.

Суньер молод, всегда очень хорошо одет, у него отличная фигура, он неглуп, но души моей не трогает. В объятья к нему я упала чуть ли не случайно, и он открыл мне прежде неведомые стороны жизни. Это великолепно, это упоительно! Все чувства мои проснулись, а сердце молчит. Когда мы размыкаем объятия, я не испытываю никаких иных желаний, кроме одного — перебраться в собственную кровать и заснуть подальше от него. Но проснувшись, знаю, что наступит вечер, и я отправлюсь к нему, и нет такой силы, которая смогла бы удержать меня.

Бедный Пабло... Если бы я могла его любить... Вчера как бешеный ворвался Лоран, потащил меня к себе, заволок в постель. Я вынуждена была уступить. Он не был груб, но все же обращался со мной как с добычей. Низкорослый коренастый Лоран очень силен — у него такие массивные, тяжелые руки с могучими мышцами, разрабо-

---

[1] *Olivier*. Souvenirs Intimes, pp. 128—133.
[2] Там же, с. 142—143.

танными лепкой, формовкой, ваянием. Но это не оказывает на меня никакого действия. К его удивлению, я не сопротивлялась его натиску и не оставалась, как обычно, неподвижной и безучастной, но при всем при том он вызывал у меня отвращение. Его животная сила внушала мне страх, и я отказалась принять его во второй раз. Вечером пойду к Суньеру...

Суньер хочет, чтобы я жила у него, но я пока не решаюсь. В студии убого, денег нет, и потом, я его не люблю. Но ласки его доставляют мне бесконечное наслаждение. Отчего же это происходит? И эта «любовь» ничего мне не дает. Если бы я не зарабатывала сама, то умерла бы с голоду, ведь Суньера целый день нет дома. Вчера он пришел со свертком, где оказалось шелковое белье, рубашки и носки. Неужели правда, что у него есть какая-то старуха, которая дает ему все, что тот ни попросит, за исключением денег? Ха! Ну от меня он такого не дождется!

Я стараюсь избегать Пабло, но он не оставляет меня, а когда видит, глаза его наполняются слезами, и он со своим забавным акцентом говорит: «Вернись ко мне, живи со мной. Я люблю тебя. Я все для тебя сделаю. Ты и не представляешь, на что я способен ради тебя!» Я по-прежнему отвечаю «нет». А он не сводит с меня своих жаждущих, беспокойных, печальных, блестящих глаз. Да, он любит меня. Но я-то его не люблю. Быть может, потому, что чувство его слишком сильно? Не в том ведь дело, что Пикассо беден... Что-то внутри меня противится ему, не принимает его... Хотя от его любви мне становится теплее на душе. Быть может, если у него хватит терпения и желание быть со мной не ослабеет, мы когда-нибудь в будущем и окажемся вместе[1].

4

В мастерской Пикассо ширма отгораживала один из углов, образуя нечто вроде алькова. Вскоре после того жаркого августовского дня, когда он впервые обладал Фернандой, Пикассо воздвиг там в ее честь своеобразный алтарь; основой его служил деревянный ящик, над ним, как вспоминала она, висел ее «чудесный портрет тушью, и между двух великолепных лазурно-синих ваз эпохи Луи-Филиппа, в которых стояли букеты искусственных цветов во вкусе Сезанна, лежала тончайшая белая шелковая блузка»[2].

Фернанда, как видим, толкует это импровизированное святилище не столько в мистико-ностальгическом духе, сколько с насмешкой по отношению к самой себе. Очевидно, она своим чересчур здравым и трезвым «галльским умом» не сумела оценить первый элемент. Пикассо весьма интересовался магией, Макс Жакоб слыл адептом оккультизма, а их новый друг Аполлинер был изрядно начитан в подобных вопросах. Как же эта троица могла не смастерить капище, чтобы попробовать оказать на Фернанду тайное воздействие и заставить ее прийти?! А если этот отгороженный угол и назывался когда-то «девичьей» и «мертвецкой», поскольку прежде Пикассо там принимал своих мимолетных подружек, забегавших к нему на ночь или на часок поутру, — что ж, тем лучше. Отзвук былых соитий только усилит магическую силу.

«Женская голова». 1905.

В ожидании Фернанды он сделал ее портрет, но на этой гравюре она подозрительно напоминает Мадлен. Весна и лето 1905 года прошли в тоске и унынии — и неудивительно, если верить словам Фернанды о том, как он страдал без нее. Прежде всего ему не давало покоя уязвленное мужское са-

---

[1] *Olivier*. Souvenirs Intimes, pp. 178—180.
[2] *Olivier*. Picasso and His Friends., p. 48.

«Прекрасная голландка». 1905.

молюбие. Именно в это время ее плоть объявила наконец о том, что прекращает многолетнюю войну с актом физической любви. Фернанде открылось заключенное в нем наслаждение, и то, что эти новые, ни с чем не сравнимые ощущения даровал ей Суньер — земляк, сверстник, коллега по ремеслу и приятель, — мучило Пикассо сильней всего. Летом 1905 года, воспользовавшись приглашением журналиста Тома Скилпероорта, друга его голландских друзей, Пабло отправился в скромнейший заграничный вояж — в глухую деревушку Скоорль, стоявшую среди песчаных дюн на севере нидерландского побережья. Новый его знакомец, Скилпероорт-Скоорльский, приехавший туда незадолго до него с небольшими деньгами, обещал оказать ему гостеприимство. Пикассо надо было раскошелиться только на билет.

Там он написал «Прекрасную голландку» — первую из серии своих тяжелобедрых женщин. За нею в ближайшие двадцать лет его творчества, в самые разные периоды, последует множество иных. Замечание, которое он сделал по возвращении в Париж, позволяет предположить, что сильней всего Пикассо привлекали те, чьи габариты напоминали ему дородных женщин его детства — бабушку и теток. Так вот, своему другу Андре Сальмону он сказал: «Фернанда — девушка крупная, но эти голландки — просто огромны. В них можно потеряться».

Уместно добавить, что в это самое время Фернанда позирует голландскому художнику, его зовут Кеес Ван Донген, и он человек в «Бато-Лавуар» известный и заметный. Можно считать, что он сделал портрет Фернанды в отместку (или в благодарность) за «Прекрасную голландку».

Пикассо возвращается из Нидерландов в самый разгар лета. Его мастерскую без малейшей натяжки можно уподобить раскаленной жаровне, и потому он работает голым, в чем-то вроде набедренной повязки. Фернанда отмечает, что он гордился своей приземистой, но крепкой и соразмерной фигурой, а потому без стеснения принимал не только друзей, но и прочих посетителей именно в таком виде.

И в один из особенно знойных сентябрьских дней 1905 года их роман, который «тлел под углями», иногда ненадолго вспыхивая жарким пламенем, переходит в новую, более серьезную фазу. Не станем пренебрегать «отчетом» его героини:

Возвратясь в полдень из мастерской Кормана, я заглянула к Пикассо. У него сидел Гийом Аполлинер, и он представил мне этого рослого весельчака, который сразу показался довольно симпатичным. Я пообещала Пикассо зайти к нему после работы — часов в пять. А когда, выполняя обещание, открыла дверь в его мастерскую, то чуть не задохнулась от невообразимого букета: бензин, одеколон, жавелевая вода. Оказалось, что эта «газовая атака» предпринята в мою честь, чтобы мне было в мастерской уютней и приятней. Пикассо и Аполлинер целый день мыли и чистили ее щеткой, смоченной в бензине, потом опрыскали жавелевой водой, потом одеколоном. Пикассо так радовался, что я умилилась. Лорана нет, и потому я пообещала вечером прийти. Пикассо сказал мне, что все это время по вечерам курит опиум у кого-то из своих друзей, но сегодня трубку и прочие принадлежности принесет домой, чтобы дать мне попробовать. Я ошарашенно слушала его — это нечто новое, а значит, интересное для меня.

Пикассо купил все необходимое — маленький светильник странной формы, длин-

ную бамбуковую трубку с мундштуком из слоновой кости и восьмиугольной керамической чашечкой, куда закладывают пряное, резкое, будоражащее чувства снадобье, которое, когда куришь его, дает облака очень красивого золотисто-янтарно-коричневого дыма.

Устроившись, как на пуховой перине, на тощих циновках, покрывавших пол, мы приготовили трубку — на кончике иглы поднесли крошечный комочек снадобья к бесцветному пламени светильника, потом, поочередно зажимая в зубах мундштук, стали осторожно, понемножку, чтобы не закашляться, втягивать в легкие пахучий дым...

Несмотря на то что живот и голова болели наутро нестерпимо, так что я не могла подняться с постели, все мысли мои — лишь о том, как бы еще раз попробовать это утонченнейшее духовное развлечение, обостряющее любые чувства и ускоряющее работу мысли. Под воздействием опия все представляется каким-то особенно отчетливым, прекрасным и хорошим. Благодаря ему, кажется, сумела я постичь истинный смысл слова «любовь». И наконец-то я поняла Пабло!.. Он — именно тот, кого я ждала так долго.

Любовь вдруг проснулась во мне, распустилась, как бутон, стала расти. Пабло сделался частью моего существа, и «голова», поддерживая «сердце», требовала, чтобы новое чувство не покидало меня. Несомненно, это и было причиной моего столь неожиданного решения соединить наши жизни.

Я провела с Пабло три дня. Я люблю курить опиум. Я люблю Пабло: он так нежен, так мил и так сильно влюблен. Он делает все, чтобы мне было хорошо. Почему же я так долго была слепа? Как я могла не понимать, что счастье совсем рядом, только руку протянуть? Я и думать забыла о том, чтобы вечером пойти, как собиралась, к Суньеру, ибо ласки Пабло доставляют мне бесконечное наслаждение.

В его объятиях мне лучше, чем с Суньером. Я люблю Пабло и буду любить его еще сильней. Он настаивает, чтобы я перебралась к нему. Как быть? Я хотела выговорить себе неделю на размышления... Но Бенедетта советует мне не тянуть, а в ярких солнечных лучах старая обшарпанная площадь Равиньян кажется веселой и полной жизни. Она так раскаляется от летнего зноя, что краска плавится, булыжники сверкают, листья на деревьях сворачиваются, но старый «Бато-Лавуар» стоит на страже и защищает своих беспутных обитателей от вторжения посторонних, будто предупреждая: «Буржуа, люди процветающие и преуспевающие, не приближайтесь!.. Здесь еще живы надежда, любовь и мысль. И не лезьте со своей пошлой благопристойностью, здравым смыслом, осмотрительностью к тем, кто поселился здесь...»

И в одно жаркое воскресенье я со всем своим скарбом перебралась в «Бато-Лавуар», в студию Пабло. Много лет спустя я нашла у себя в дневнике такой вот довольно лирический пассаж:

«Пабло, сегодня очень жаркий воскресный день. Я всегда терпеть не могла скучно-чопорное воскресенье — ему присущ даже какой-то собственный тягостный запах. Я не выходила из дому. Жара такая, что пошевелиться невмоготу. Я лежу на кушетке с книгой в руках, но не читаю, а сонно размышляю. В пять часов я приняла решение отрезать все свое краткое и безрадостное прошлое и соединить мою жизнь с твоей... Я послала за тобой. Ты работал, но оставил холст, палитру, кисти и прибежал ко мне. Я взяла у тебя маленький черный деревянный сундучок, с которым ты приехал из Барселоны, пошвыряла туда всю свою одежду вперемешку с бельем. А ты стоял передо мной, словно не веря своим глазам. Я чуть-чуть подтолкнула тебя, и ты вихрем вылетел наружу, как пушинку подхватив тяжелую кладь» [1].

Когда читаешь эти строки, невольно кажется, что Пабло и Фернанда перевоплотились в героев тех нежных, пленительных и познавательных (не в литературном смысле слова) романов, которые, подобно каким-то диковинным цветам на хрупких длинных стеблях, расцветали в Америке 50-х и 60-х годов; героев, встре-

[1] *Olivier*. Souvenirs Intimes, pp. 184—188.

тившихся на одну ночь и под воздействием марихуаны принимающих внезапное решение не расставаться больше никогда. В таких отношениях всегда имелся элемент «третьего», привнесенный откуда-то извне, и любовники, которых бросила в объятия друг друга марихуана, никогда не могли полностью доверять своей любви. Они никогда не оставались наедине, с ними неизменно находился третий партнер — наркотик. Его исчезновение могло уничтожить и любовь.

Так вот, Пабло и Фернанда едва ли не самыми первыми испытали на себе эту «любовь втроем». Можно лишь гадать, началась бы их совместная жизнь или нет, если бы не опиум. Но пройдя некий рубеж, узнав, что в постели с Пикассо она испытает незабываемые ощущения, Фернанда осталась с ним, а потом уж союз их поддерживался разноплановой потребностью друг в друге и взаимными выгодами, порожденными этим союзом.

5

Непременно возникнут вопросы: можно ли доверять памяти Фернанды, насколько достоверна сама рукопись? И все же давайте послушаем в ее исполнении «песнь торжествующей любви».

Наконец-то я счастлива. А Пабло? По его словам, с той минуты как я согласилась жить с ним, он не смыкает глаз и ничем не в силах заняться — только ждет меня. Жизнь вновь стала ему мила. А я, в свою очередь, ощущаю давно забытое спокойствие, запершись в четырех стенах этой мастерской. Мне кажется, начинается моя истинная жизнь.

Пабло любит меня. Я сплю крепко и сладко. Не изменяя старой привычке отдыхать после долгого утомительного дня, я и здесь ложусь в девять. Пабло смотрит на меня, рисует меня, работает всю ночь напролет, как он любит, и засыпает лишь под утро — часов в шесть. Ночь — его любимое время: никто ему не мешает. Он меня бранит за то, что я все время сплю. Что ж, это верно. Но ведь я должна привыкнуть к другому ритму жизни, если хочу выжить рядом с бессонным, вечно бодрствующим Пикассо[1].

И вот возникают вопросы. Она писала это на восьмом десятке, пользуясь своими дневниками, которые вела якобы с пятнадцати лет. «Интимные воспоминания» написаны довольно бесхитростным, хотя вовсе не беспомощным в профессиональном отношении пером, и недюжинное мастерство чувствуется в том, как она ведет повествование, которое строится по законам любовного романа. Это отличный образец жанра. И все же никто никогда не узнает, что написано самой Фернандой Оливье, а что добавлено редактором. Сомнение вызывают и кое-какие факты в ее изложении. Ни словом не упоминает она о своей сводной сестре, которая, по другим свидетельствам (Андре Сальмона, например, хотя ему верить нельзя), жила со скульптором Ортоном Фритчем — он-то и познакомил Фернанду с теми художниками, кому она стала позировать. Разумеется, излагаемая ею версия (с Лораном Дебьеном) интригует сильней. Надо учитывать и то, что ее книга, как большинство воспоминаний, стремится выставить мемуариста в благоприятном свете. И тем не менее нам предлагается история девушки, чья сексуальная биография начинается если не с катастрофы, то с тяжкой моральной травмы, и которой все же спустя сколько-то лет удается, уйдя от фригидности и отвращения, обрести истинный вкус к плотскому наслаждению. И даже если это судьба многих женщин (да и мужчин тоже), то лишний раз доказывается, что достичь сексуальной гармонии можно, лишь пройдя через цепь подобных испытаний, а потому воспоминания Фернанды, если только они не сочинены от первого до последнего слова кем-то еще, представляют — при всех издержках — истинную ценность.

---

[1] *Olivier*. Souvenirs Intimes, p. 151.

Перед нами книга подлинного эгоцентрика, но, как это ни парадоксально, мы постоянно ощущаем — зримо и осязаемо — присутствие Пикассо. В сотнях биографий читали мы о перепадах настроения, которым он был подвержен, о ни с чем не сравнимой силе, которой обладал его взгляд, о женском изяществе его маленьких рук, о том, как соразмерно был вылеплен природой его торс, как спускалась черная челка на лоб, почти закрывая один глаз, какой животный магнетизм исходил от этого человека, стоявшего тогда в самом низу социальной лестницы («...он одевался и выглядел как чистильщик сапог», — свидетельствует Нелли Жако, приятельница Гертруды Стайн), — но все это лишь описания. А в рассказах Фернанды перед нами предстает скорее Пабло, чем Пикассо, причем присутствие его до такой степени реально, что мы ощущаем даже, как несет от него чесноком. Ему двадцать три года. Когда речь идет о чисто человеческих, «личностных» качествах, мы видим, что Фернанда, помимо красоты, наделена еще и типичным сознанием французской буржуазки, то есть в значительной мере ее душевный комфорт зависит от способности классифицировать, от умения определять всему цену и место. Это ей удается. Но когда речь заходит о живописи, она оказывается не тоньше и не проницательней многих своих современников и не всегда разбирается в том, о чем говорит. Это, впрочем, вовсе ей не мешает высказываться по тому или иному вопросу. Несколько позже мы еще порадуемся некоторым ее высказываниям. А пока ограничимся лишь тем, что заметим: в отличие от всех, писавших о Пикассо, себе она уделяет внимания не меньше, чем ему, а потому перед нами портрет, позволяющий задуматься о природе и художника, и этой женщины. Если не вгонять нарциссизм в рамки самовлюбленности или безмерного тщеславия, а видеть в нем нечто вроде темницы, куда человек добровольно запирает себя и где проявляются самые глубинные его отношения с самим собой, то, опираясь на ее повествование, можно сделать непреложный вывод: Фернанда — нарциссистка. И Пикассо, судя по тому, что мы о нем знаем, тоже.

Не совсем удобно ссылаться на самого себя, особенно в таком контексте, но все же позволю себе привести фрагмент из моей книги о Генри Миллере «Гений и похоть»:

Слишком примитивно было бы считать, что Нарцисс влюблен в себя. Человек может ненавидеть себя всей душой — и быть при этом Нарциссом. Нарциссизм определяется фундаментальным отношением человека к самому себе. То самое диалектическое сочетание любви и ненависти, которое партнеры испытывают друг к другу, здесь ограничено рамками одной души — собственной. Но ни на миг не прерывающийся внутренний диалог не может не влиять, своеобразно и пагубно, на душевное здоровье. Одна половина души постоянно и пристально всматривается в другую. А потому роман двух нарциссистов — полная противоположность обычному любовному союзу. Нарциссисты не столько соединяются, сколько приближаются друг к другу, как кристаллы, положенные рядом. Страсть в их отношениях не простирается дальше той степени, которая позволяет каждому из них «резонировать» полнее, чем наедине с самим собой... И потому это, пожалуй, не любовь, а подкручиванье «колков» души.

Но парадокс в том, что никакая любовь не может сравниться по своему напряжению и силе с любовью двух нарциссистов. Слишком многое зависит от нее. Каждый из партнеров способен даровать другому свободу. И когда любовь достигает такой степени, что инструменты настроены безупречно, нарциссисты начинают овладевать искусством входить в мир. (Ибо сердцевина нарциссизма — отнюдь не любовь к себе, но страх перед окружающим миром.) А потому дело может кончиться тем, что нарциссисты уже не в силах будут обойтись друг без друга. Может, но редко. Любовь нарциссистов всегда со стороны выглядит немного комично, поскольку глубина их страдания уравновешивается тем, с какой быстротой они от этого страдания излечиваются...

Ну а если недугом нарциссизма поражен человек одаренный, то ставки в игре

особенно высоки: жертвы в рамках общего сценария начинают играть собственную и значительную роль. И если только такому человеку удается вырваться из узилища самопогруженности, он — в сфере своего дарования — способен творить подлинные чудеса...[1]

Очевидно, что нарциссисты особенно часто встречаются среди натур художественно одаренных — писателей, актеров, художников. Исключения, конечно, бывают, но нечасто, и нет ничего уничижительного в термине «нарциссист», хотя это чувство замкнутости в себе вынести бывает почти невозможно. Нарциссизм может стать прислугой искусства, и порой требуется очень глубокое погружение в себя, чтобы произошло раскрепощение художника. Повторяю: порой. Могилы самоубийц напоминают нам, что к исключительному самовыражению ведут неторные пути.

Чтобы все, о чем говорилось выше, не показалось отклонением от темы, скажу, что скоро мы познакомимся с целой компанией нарциссистов. И замечательные образцы этой породы уже готовы выйти на сцену.

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

Аполлинер

1

Зимой 1904—1905 годов, покуда Пикассо все еще добивался благосклонности Фернанды, вошли в его жизнь новые люди. Дружба с Максом Жакобом была на самом пике, завязывались отношения с Гийомом Аполлинером, оказавшиеся столь плодотворными. Спустя несколько месяцев после того, как Фернанда переехала в его мастерскую, он познакомился с Лео и Гертрудой Стайн. Знакомство с ней перерастет в долгую дружбу, и, чтобы говорить об этом, нам потребуется мобилизовать все свои умственные ресурсы. Что касается нарциссизма, Гертруда ничем не уступала Екатерине Великой.

Будет проще и хронологически правильней рассказать сначала о Гийоме Аполлинере. Поскольку сама его личность была истинным и крупным явлением искусства, будем подступать к нему постепенно, и на первый случай нам придется снова воззвать к Фернанде. Она опишет нам Макса Жакоба, а тот, в свою очередь, поделится впечатлениями об Аполлинере.

Уже полгода, как я живу здесь, у Пабло. Когда я переехала к нему, стояла страшная жара. Сейчас — ужасающая стужа. Чтобы не превратиться в сосульку, я лежу в постели, укрывшись всем, чем только можно. Ни угля, ни огня, ни денег...

Как же я могла так долго сопротивляться Пабло? Я так люблю его. Вчера ему удалось продать несколько рисунков. Мы тут же позвали угольщика, и плита вскоре раскалилась докрасна. Нам было так хорошо, что мы даже решили не ходить обедать к «Вернену». Мы поели в компании Макса, сидя у огня...

Жакоб и Аполлинер бывают у нас ежедневно, и главный заводила всех наших развлечений — неистощимый на выдумки забавник Макс. Пикассо и Гийом могут хоть до утра потешаться над тем, что он выделывает со своим лицом, над каскадом его острот, экспромтов, песенок. Мастерская ходит ходуном от раскатов нашего смеха. Мы дурачимся как дети, подзуживаем друг друга, словно соревнуясь, кто выкинет самый нелепый фортель. Но за Максом угнаться трудно...[2]

---

[1] *Norman Mailer*. Jenius and Lust. New York, 1976, pp. 185, 188—190.
[2] *Olivier*. Souvenirs Intimes, pp. 192—193.

В 1953 году Пикассо, словно воскрешая в памяти эти вечера сорокапятилетней давности, нарисовал Макса Жакоба.

Надо напомнить, что это тот самый Жакоб, который однажды написал Пикассо: «Я люблю тебя больше всего на свете — после Бога и Его святых, которые, впрочем, причислили тебя к своему лику. Мир покуда еще не знает твоей доброты и твоих дарований — знаем только Господь да я». В другой раз вдохновение подвигло его назвать чувство, испытываемое к Пикассо, «восхищенной любовью, данью благодарности», которую он «платит Господу, произведшему на свет подобное чудо».

Любовь такого накала предусматривает, очевидно, и не меньшую ревность, но и следа ее нет в том, как Жакоб описывает вечер, когда Пикассо в английском баре «Остин» возле вокзала Сен-Лазар познакомил его с Аполлинером. Гийом устраивал там нечто вроде приема.

«Портрет Макса Жакоба», литография. 1953.

Аполлинер курил короткую трубку и разглагольствовал о Петронии и Нероне, обращаясь к каким-то людям весьма вульгарного вида, которых я принял за коммивояжеров или торговых агентов. На нем был светлый костюм, весь в пятнах, на самой макушке грушевидной головы сидела маленькая соломенная шляпа. Светло-карие глаза грозно сверкали, на лоб свешивался клок белобрысых волос, а рот напоминал тугой стручок перца. Он широкогруд и толстоног, по жилету вьется платиновая цепочка, а безымянный палец украшен рубином. Не прекращая своего монолога, он протянул над мрамором столешницы руку, подобную тигриной лапе... Потом мы втроем вышли оттуда — так начался наш «тройственный союз», который просуществовал до самого начала войны. И никогда ни один из нас не оставлял двух других без работы, без еды, без развлечений[1].

Пикассо, всегда очень чуткий к деталям и подробностям, помогающим постичь существо дела, много лет спустя говорил Элен Пармелен: «Представьте себе английский бар... Все там английское... Очень длинная стойка сделана из какого-то чудесного дерева — может быть, это красное дерево... Но только английское. И пиво тоже... И все прочие напитки там английские».

2

Это было вполне в духе Аполлинера — пить в английском баре. Корни его уходили не меньше чем в полдесятка стран. Он родился 26 августа 1880 года в Риме, мать его была полькой, а кто отец — неизвестно. По слухам, которые всегда тучей вились за ним, он был потомком Наполеона (и самая его фамилия — это анаграмма имени французского императора). Кое-кто утверждал, что он — сын высокопоставленного члена римской курии, и Пикассо на карикатуре изобразил друга в папской тиаре и с наручными часами.

Как и подобает незаконнорожденному отпрыску царского рода, он был наречен при крещении Вильгельмом (позднее он стал называть себя на французский манер Гийомом) Влодзимежем Александром Аполлинарием де Костровицким. Имен у него, как видим, значительно меньше, чем у Пабло Диего Хосе Франсиско де Паула Хуана Непомусено Марии де лос Ремедиос Криспина Криспиано де ла Сантисима

[1] *Francis Steegmuller.* Apollinaire: Poet Among the Painters. New York, 1963, p. 125.

«Портрет Аполлинера в образе Папы римского». 1905.

Тринидад Руиса-и-Пикассо, но зато какие это имена! Аполлинер, конечно, принадлежал к очень редкому подвиду человеческой фауны — люмпен-аристократии, а его мать Ольга, дочь титулованного польского полковника, служившего в папской гвардии, была просто обязана научиться жить за счет своих состоятельных друзей мужского пола. Аполлинер воспитывался в Монте-Карло, где Ольга (она же Анжелика) была traoneuse, то есть занималась исключительно тем, что проматывала деньги в казино, ресторанах и ночных клубах. Прошло немало лет, прежде чем ее деятельность была сочтена предосудительной до такой степени, что допуск в игорные заведения Спа и Остенде в Бельгии был ей закрыт, и тогда она устроила подпольное казино с очень высокими ставками на снятой ею вилле в часе езды от Парижа. Там она и жила со своим многолетним любовником-евреем, профессиональным игроком Жюлем Вейлем. И не случайно первая встреча Аполлинера с Пикассо и Максом Жакобом произошла в баре «Остин» у вокзала Сен-Лазар: именно оттуда поэт, служивший в банке, каждый день последним поездом возвращался домой. Ему двадцать четыре года, но он по-прежнему боится матери, под воздействием спиртного впадающей в буйную ярость. Ричардсон передает рассказ Андре Сальмона, который однажды приехал вместе с Аполлинером и был встречен у дверей виллы вопросом: «Кто кого совратил — ты его или он тебя?»

Со своим вполне взрослым «Вильгельмом», как называла она сына, Анжелика обращалась, словно тот был мальчишкой-сорванцом, и била его, как, впрочем, и своего любовника. Попадало и второму сыну, Альберу. Фрэнсис Стигмюллер пишет в своей биографии Аполлинера:

Мужчин в ее жизни было относительно немного — для куртизанки, разумеется, — а известно о них еще меньше. Живя в Монако, она иногда выезжала за пределы княжества со своими поклонниками, требуя, чтобы сыновья называли их «дядями». Один из них, крупный шелковый фабрикант, позволил привезти мальчиков в Лион, и в его доме Аполлинер, как он вспоминал позднее, обнаружил прекрасно подобранную библиотеку... Анжелика слыла большой оригиналкой: была красива, обладала бешеным темпераментом, жила всегда как-то наособицу и постоянно напоминала сыновьям о знатности их рода, уходящего в даль веков, — если те обзаводились неподобающими, по ее мнению, знакомствами [1].

Был период в отрочестве Аполлинера, когда мать и Жюль Вейль вынуждены были пуститься в бега, а его с братом Альбером

...отдали под видом «русских графов» в пансион в Ставло, в Арденнах. Шарм и учтивость открыли Гийому, у которого не было ни гроша, неограниченный кредит. Три месяца он разгуливал по торфяникам Фаня, ухаживал за местной девицей, общался с эльфами и исписывал целые тетрадки, излагая свои идеи... В Ставло он до безумия увлекся средневековыми легендами и магическими ритуалами, а вместо под-

[1] *Steegmuller,* op. cit., pp. 27—28.

писи ставил под стихами каббалистическую свастику. Самой большой драгоценностью была заплесневелая книга о демонологии, по которой он вслух читал заклинания[1].

В июле 1902 года Аполлинер описывал школьному приятелю еще один эпизод, произошедший уже после Арденн. Его стиль поразительно напоминает стиль, которым тридцать лет спустя был написан «Тропик Рака»:

Зимой в Париже нам пришлось солоно. Прямо хоть камни глодай. Я даже подрядился в какой-то конторе надписывать адреса на конвертах за четыре су в час — вместе с какими-то уголовниками, разорившимися нотариусами и неудачливыми золотоискателями. Большинство было бы радо отправиться в Трансвааль, если бы их только согласились принять. В конце месяца я получил заработанное — 23 франка, врученные мне владелицей этой компании... Она собственноручно раздает деньги всей этой несчастной швали, окуриваясь ароматической бумажкой, чтобы не вдыхать их смрад. Так низко я еще не опускался.

Брожу без работы. Встретил старого Эснара, которого знавал в Монако. Этому «ходатаю по делам богемы» «Матэн» заказал роман с продолжениями. Сам он писать ленив и слишком занят. Просит меня помочь. Я сочинил несколько глав, и газета печатает их из номера в номер под заголовком «Что делать?». Другие фельетонисты уже стали подражать моей манере, но живу я по-прежнему на одной селедке — Эснар забыл заплатить мне за эту ахинею. Ничего, зато я наставлю ему рога с его двадцатилетней любовницей[2].

Это неправда. Аполлинер все еще хранит невинность, да и дальнейшая его сексуальная жизнь будет отличаться крайней воздержанностью, чтобы не сказать скудостью. Письмо написано на вилле Хольтерхоф в прирейнском городке Хоннеф, где он учит французскому языку дочку графини де Мильгау — женщины поразительно безобразной и страдающей жестокой кожной болезнью. Поскольку она хочет, чтобы ее дочь Габриэль говорила еще и по-английски, приглашена юная Энни Плейден, которую воспитывала не иначе как сама королева Виктория. Аполлинер, не оставшись нечувствительным к магии рейнских вод, влюбляется в нее в лучших традициях германского романтизма XVIII века: хочет убить то ее, то себя, то ее и себя, то приносит обет целомудрия.

Описание этой любовной истории следует в том же письме: «А с той поры я увидел всю Германию и обольстил двадцатиоднолетнюю англичаночку-гувернантку с необыкновенными формами!»

Но мы можем быть совершенно уверены в том, что и это ложь, благо полвека спустя Энни Плейден (в замужестве Постингс) по просьбе Фрэнсиса Стигмюллера так описала свою дружбу с Аполлинером, которого она называет Костро:

Виновата, конечно: я поступила, должно быть, недостойно. Но что мне было делать? Объясниться со мной Костро не мог — французский я знала крайне слабо, по-английски он не мог связать двух слов, а по-немецки мы оба не говорили: потому нас графиня и наняла учить Габриэль языкам. Итак, говорить мы не могли, а пойти на что-то большее не позволяли мои принципы. По этому поводу мне перед отъездом в Германию прочитали наставление. Дома, в Клэпхеме, нас с сестрой воспитывали в строгости, наш отец так гордился своей твердокаменной моралью, что называл себя «архиепископом Кентерберийским». «Ни с кем не болтать, ни с кем не оставаться наедине» и все прочее в том же роде мне вдалбливали с самого детства. Меня и отпустили на континент потому лишь, что врач, пользовавший графиню, был другом моего отца и поклялся, что я попаду в приличный дом. Но, думаю, о том, что там

---

[1] *Richardson*, op. cit., p. 331.
[2] *Steegmuller*, op. cit., p. 58.

будет некий молодой человек, он упомянуть забыл. Костро был так настойчив! Я отказывалась оставаться с ним с глазу на глаз, но иногда графиня приказывала нам идти гулять вместе. Поступая так, она не ведала, что творила, думая, что Костро, как и все, влюблен в нее. Я была поражена его отношением ко мне. Он меня просто терроризировал: заводил в горы, на узкую тропку над ущельем и грозил столкнуть в пропасть, если я не выйду за него замуж. Он часто повторял: «Но убивают все любимых!»[1] *Если он замечал, что я вступила в самую незначительную и невинную беседу с кем бы то ни было, то впадал в настоящее неистовство и приказывал моему случайному собеседнику немедленно «оставить меня в покое», ибо я принадлежу только ему. Конечно, меня это бесило, и я не желала даже видеть его, не то что разговаривать*[2].

Возможно ли представить себе, что этот юноша, неотесанный, неповоротливый и неуклюжий, то жеманный, то безобразно грубый, доходящий до форменного бешенства от своей неспособности разговаривать, этот «Костро» совсем скоро станет Аполлинером, наделенным великим даром слова, что — при благоприятных обстоятельствах, разумеется, — тучный молокосос превратится в короля богемы. О нем, способном справиться без передышки с двумя обедами, скоро скажет Фрэнсис Карко: «Этот гурман, вида весьма объемистого, но радующего глаз, размалывал челюстями кости, обсасывал их, так что весь пропитывался жиром, а потом, завершая очередную историю, громко выпускал газы, нимало не заботясь о том, что о нем подумают. Да и что о нем могли подумать? Чего ему было бояться? Кого стесняться? Он был подобен какому-то ликующему языческому божку».

Так. Кто такой Аполлинер, мы, кажется, представление получили. Полнокровный обжора, не правда ли? Нет, этого мало. У себя дома он ведет себя с чопорной благопристойностью настоятельницы женского монастыря. Вот свидетельство Фернанды:

Когда заходишь к нему в спальню, избави бог что-нибудь сдвинуть с места — Гийом будет этим крайне недоволен. К постели запрещено даже прикасаться. Малейшая складка или ямка на покрывале будет замечена тотчас и вызовет сильнейшее раздражение и долгую хмурость. С его любовницей мы дружили, и она поведала мне, что любовные их забавы происходят только в кресле. Кровать — священна! Кровать неприкосновенна, пока не настанет час ложиться спать. Никому не дозволялось что-либо класть на нее, хотя в прихожей никогда не хватало места для всех наших многочисленных пальто...

К Аполлинеру каждый день приходили десятки людей. С одними он был прям и дружелюбен, по отношению к другим его бесцеремонность, пожалуй, переходила границы приличий. Подавали чай — мало и жидкий. Аполлинер был так по-детски, так бессознательно скуп, что это вызывало не досаду, а смех. Кое-кого из его друзей этот недостаток забавлял от души: Кремниц, к примеру, любил открывать шкафы на кухне и извлекать оттуда что-нибудь съедобное. Аполлинер в ярости бросался на него, пытаясь спасти свое достояние и воинственно отстаивая право собственности. Но его эгоизм неизменно вступал в конфликт с его же добрым сердцем, которое так легко было тронуть душевными драмами и никогда — финансовыми трудностями. Он умел сочувствовать, и его можно было растрогать до слез. Но я не помню случая, чтобы он согласился дать кому-нибудь взаймы, и не знаю никого из его друзей, кому бы он помог деньгами, — не в пример Максу, который всегда отдавал все, что у него было[3].

Если просьба одолжить денег напоминала Аполлинеру времена, когда он сам не вылезал из долгов и бегал из отеля в отель, спасаясь от счетов, то другими, нематериальными дарами он всегда делился щедро. Он буквально пожирал книги и всегда был готов подарить аналогию, свежий образ, незатрепанное сравнение, кото-

---

[1] Цитата из «Баллады Редингской тюрьмы» Оскара Уайльда.
[2] *Steegmuller*, op. cit., pp. 348—349.
[3] *Olivier*. Picasso and His Friends, pp. 63—64.

рые давали пищу если не телу, то душе. Он легко расставался с тем, что рождалось в нем внезапно, но не в силах был позволить, чтобы кто-то покушался на его еду, его деньги или его имя. В конце концов, он сделал себе имя сам, собственными усилиями, недаром же написал однажды: «Ton père fut un sphinx et ta mère une nuit»[1]. Да, все именно так и было. Он стал плодом одной ночи любви, и ему был присущ страх, знакомый всем незаконнорожденным, и поскольку сон священен для тех, кто живет над бездной, он оберегал свое ложе от возможных следов пребывания тех, кто присел бы на матрас. Как и многие, кто привык пускать ветры, он считал, что это пагубное обыкновение разделяют с ним и все остальные. Впрочем, имя свое он защищал еще более рьяно. Когда одна бульварная газета написала, что он, придя в кафе, велел принести минеральной воды «Аполлинарис», восклицая: «Это моя вода, это моя вода!», он потребовал опровержения, а не добившись его, вызвал журналиста на дуэль, до которой, впрочем, дело не дошло: оба противника по природной душевной вялости не жаждали крови.

Всю жизнь он с красноречивой таинственностью говорил о своем происхождении... «Я — потомок Рюрика, варяжского вождя, ставшего первым царем и законодателем Руси», — объявил он незадолго до смерти одному из друзей[2].

Правда, выглядел он как голландский бюргер.

Все это, впрочем, было не более чем вступление к главному делу его жизни, для которого он обладал уникальными данными. Он ездил по Европе гораздо больше, чем другие молодые литераторы его времени, и Роже Шаттюк с полным основанием мог назвать Аполлинера «первым после Гёте европейским поэтом, ибо в стихотворениях своих он никогда не ограничивался только Францией — его пророчества, заметки и описания касались всего континента».

Аполлинер впитал гласные и согласные французского языка, как до него не удавалось ни одному чужестранцу: в его стихе звучит сама благоуханная мелодика французской речи, и если этот образ кому-нибудь покажется чересчур цветистым и пышным — в самом деле, что это еще за «благоуханная мелодика»?! — вспомните, что люди, готовые уравнять удачу с merde, несомненно сохранили какую-то первобытно простую связь между работой кишечника и счастьем. В худшем случае Аполлинер писал в облаке едкого дыма, а в лучшем — не прятался в тонких ощущениях рассветных или вечерних сумерек. Его поэтическое «чувство чуда» полно — воспользуемся музыкальным термином — ошеломительных транспонировок, одновременно и властных и ребячливых. Чтобы убедиться в этом, довольно привести две строфы из его первого крупного стихотворения «Песнь несчастного в любви» (1903), где он все еще оплакивает так и не состоявшийся роман с Энни Плейден:

Мой чудесный корабль, о память,
По отравленным, горьким волнам
Не довольно ль с тобою нам плавать,
Не довольно ли в сумраке нам
Бред бессвязный и боль свою славить?

Так прощай, лже-любовь! И с тобой,
Уходящая в ночь из таверны,
Я прощаюсь. Прощаюсь и с той,
Что в Германии, в год этот скверный
Навсегда потеряна мной.

А вот строфа из «Утренней песни...»:

Возвратились Венера и Марс,
И безумные их поцелуи

---

[1] Твой отец — сфинкс, а мать — ночь (*франц.*).
[2] *Steegmuller*, op. cit., pp. 74—75.

Прозвучат на полянах не раз,
Там, где голые боги танцуют
Среди роз в упоительный час[1].

3

Пусть упоминание «роз в упоительный час» послужит вступлением к «розовому периоду». Впрочем, мы процитировали эти строки без всякой задней мысли — ради них самих, тем более что чуть ниже появятся

Рак протухший, Салоник отбросы,
скверный сон, что нельзя рассказать.

Такая способность совмещать в себе противоположности подтверждает: Аполлинер и Пикассо как художники обогащали друг друга. Первый, всегда готовый вызвать из небытия романтические чувства разлуки и утраты, был в равной степени наделен чутьем и на всякий распад, и на блистательное сверкание, что помогало ему «поставить глаз» второму. Роже Шаттюк, перечисляя роли, играемые Аполлинером, — клоун, ученый муж, пьяница, обжора, любовник, преступник, набожный католик, Вечный Жид, солдат и, наконец, примерный супруг, — добавляет:

В дерзости его поступков и дерзновенности стихов проявляется очевидное желание прикоснуться одновременно и к самому беспросветному отчаянию, и к самому безудержному веселью. Сейчас такая дерзость получила название «сюрреализм», а верней сказать, это название мы взяли у самого Аполлинера[2].

Именно поэт стал тем, кто повел Пикассо по пути, ведущему от «голубого периода» к «розовому». Разумеется, повлияли на это и другие люди, и другие факторы. Один из них — «покорение» Фернанды, другой — знакомство с Лео и Гертрудой Стайн, которые стали довольно регулярно покупать произведения Пикассо. Счастливая любовь и материальная независимость способствовали тому, что цвета его палитры сделались ярче и теплей. Сыграл свою роль и вспыхнувший интерес к цирку Медрано у подножия Монмартра. И все же смена колорита не могла диктоваться лишь переменами в «обстоятельствах личной жизни», нужен был импульс более могучий, чтобы вырвать Пикассо из «голубого периода», поскольку имелись силы, удерживающие художника в нем, и силы эти не сразу сложили оружие. Прежде всего —страх.

Безнадежно стараться постичь Пикассо, не приняв в расчет с самого начала, что он никого в целом мире и близко не подпускал к безмерности страха, жившего у него в душе. И один из главных подвигов его более чем девяностолетней жизни заключается в том, что он сумел если не окончательно обуздать этот ужас, то превратить в побудительный мотив творчества и работы. Кто еще работал так исступленно, как Пикассо?! Работой он спасался от страха, и мы имеем право расценить «голубой период» как некий вал, воздвигнутый для защиты от него. А на вопрос «Но чего же он боялся?» ответа мы не найдем. Страх алогичен и иррационален, указать на то, чем он порождается и куда направлен, нельзя. Мы знаем только, что нам страшно, мы просыпаемся с этим чувством, и оно живет в нас, подобно слабой душевной дурноте. Когда же страх нарастает, все вокруг приобретает особое, преувеличенное значение — и безумие таится в засаде совсем рядом с тем участком души, который мы «расчистили», словно очертив магическим кругом. А очерчивается этот круг, эта «зона душевного здоровья», напряжением воли, стремящейся укрепить последние рубежи, которые отделяют смятенного человека от взрывоопасных сил в его психике.

---

[1] Стихи Гийома Аполлинера здесь и далее цитируются в переводе Михаила Кудинова.
[2] *Roger Shattuck*. The Banquet Years. New York, 1968, p. 6.

В эти годы Пикассо видел синюю гамму как некую абстрактную силу, способную сдержать натиск сил зловредных и смертельно-разрушительных. Колористическое самоограничение способно было защитить Пабло от вторжения того, чему он сам не мог бы дать названия, но что было готово уничтожить его. И что же? Нам приходится рассматривать Пикассо 1904—1905 годов как абсолютно нормального, плодотворно и много работающего молодого художника, имеющего всего одну, впрочем полезную и уместную, «придурь» — глубокое убеждение в том, что, если он примется писать не в темно-синих, а, скажем, в ярко-зеленых или ярко-красных тонах, картины его продаваться не будут.

Шаманство? Может быть. Но где найти высокоодаренного художника, который хоть отчасти не разделял бы первобытно-суеверное представление о присутствии некой магии во всем его творчестве? Нетрудно увидеть в живописи элементы оккультизма: лист бумаги, кусок ткани или выбеленная стена обретают по его воле жизнеподобие. Если я актер и хочу изобразить человека или чувство, мне придется для этого соответствующим образом искривить губы, и наоборот: очертания моего рта изменятся соответственно тому эмоциональному состоянию, которое я намерен передать. Попросту говоря, актер — это человек, передразнивающий другого. А художник «передразнивает» объект своего изображения, то есть оставляет некий его след, переводит его в иное существование, имитирует линию и абрис, которые на холсте начинают жить отдельно. Довольно скоро художник приходит к убеждению, что запечатленная им форма иногда (и довольно часто) представляет собой больше, чем то, что послужило ему натурой. В цифре 7 всегда можно увидеть перевернутый человеческий нос.

Но давайте вернемся к депрессии, с которой Пикассо входил в «голубой период». Можно предположить, что он мучился от своих детских страхов. Куда бы ни падал его взгляд — на пятно на стене или на трещину в оконном стекле, Пикассо всюду находил доказательства присутствия художника «более божественного», чем он сам, видел творца, способного явить в раскрошившейся штукатурке лик химеры, а в очертаниях обвисшего флага — ненапряженный пенис. Нам трудно даже представить себе, до какой степени мощно воздействовали на него предметы: одни говорили о других — со схожей формой и совсем иным назначением (опять вспомним семерку и нос). Пикассо должен был поверить, что если он позволит себе отдаться этому зрительному возбуждению, то сойдет с ума. И он решил защититься, сузив возможности своей палитры, предельно обеднив ее и взявшись за изображение людей, скованных нищетой, голодом, трагическими воспоминаниями и страхом. Ни один старик не мог быть так стар, как этот юный испанец, который своим «голубым периодом» изгонял из себя бесов. Если найдется циник, готовый поверить, будто «голубой период» мог родиться лишь потому, что только берлинская лазурь и была по карману бедствовавшему тогда художнику, что ж... Ему я посоветую отложить эту книгу и дальше не читать.

Я глубоко убежден, что в депрессии он отыскал средство сохранить рассудок, и мрак, в который он был погружен, не позволял влажному холоду безумия перекинуться туда, где горел его творческий пламень. Глубокая подавленность казалась ему последним и самым верным способом борьбы с психозом, и Пикассо, движением руки оживляя холст или бумагу, должен был чувствовать себя не слишком уютно рядом с той всеобъемлющей силой, которая устроила землетрясение в Малаге и унесла его сестру в Ла-Корунье. Психоз заставляет человека ощущать, что он соприкасается с богами, даже когда не заслуживает или *не желает* этого. И именно тогда монохроматическая гамма помогает удерживать космические силы на привязи. Понимаем ли мы контекст поведения Пикассо в 1904—1905 годах, когда он добивался Фернанды и работал не смыкая глаз каждую ночь и всю ночь напролет, точно дозорный на крепостной стене? Андре Сальмон пишет, что он, «одетый в синее, в синюю рабочую блузу, пишет синим при свете свечи».

И вот в его жизни появляется Аполлинер, готовый провести его по дороге в безумие и показать «достопримечательности». Поскольку Пикассо какой-то частью

своего существа был непреложно уверен, что добиться известности можно лишь с помощью экстравагантности (ему казалось, будто устоявшиеся жанры — и натюрморты, и пейзажи, и прочее — это камеры в гигантской тюрьме общества, управляемого силами, чуждыми ему), то неудивительно, что он с такой охотой и готовностью поддался влиянию нового друга, познавшего в детстве и отрочестве и унижения, и бесприютность, и отсутствие корней, и двойственную природу всяких ценностей — и все это в еще большей степени, чем он сам. Пикассо не мог не восхищаться тем, как искусно использует поэт свою уникальную, почти барочную неустойчивость для создания эксцентрического образа жизни: Аполлинер являл собой не только поразительное отклонение от каких бы то ни было правил, но и истинное произведение искусства, причем материалом служили не мрамор и не глина, а собственные плоть и душа. Чтобы воспринимать Гийома Аполлинера, надо было смотреть на него одновременно со стольких углов, что этот человек становился настоящей духовной моделью еще не родившихся кубистов.

А кроме того, у них совпадали взгляды на буржуазное общество, которое оба считали про́клятым, обреченным и неуклонно движущимся к апокалипсической гибели. Бывает, что разбалансированность общества позволяет справиться с тревогой, снедающей собственную душу. (Ты, грубо говоря, не так «задолбан», как те, кто тебя «задолбали».) Последнее десятилетие XIX века и первые пять лет XX произвели на свет поколение богемы — символистов и еще не обозначенных этими терминами крипто-дадаистов и сюрреалистов, видевших единственное решение проблемы в том, чтобы взорвать мир в плане духовном, социальном, а если найдется динамит — то и в физическом. Они готовились к этому. Ричардсон сумел сформулировать это кратко и с исчерпывающей полнотой:

Пикассо и Аполлинер, чуя запах серы и видя отблески пламени, окружавшие обоих, стали истинными друзьями...

До самой своей смерти, последовавшей четырнадцать лет спустя, Аполлинер был для Пикассо и постоянным утешителем, и постоянным раздражителем. Он пришпоривал и подхлестывал его воображение, открывая ему принципиально новые и широчайшие горизонты, включавшие в себя и «черный юмор», и язычество, и секс без берегов и рамок. Аполлинеру, уже влюбленному в то время в творения маркиза де Сада («Никто и никогда не был наделен такой духовной свободой», — писал о нем Аполлинер), не составило труда привлечь к этому поклонению и своего нового друга. Речь идет не о самом де Саде, а о культе «Божественного Маркиза», определявшего искусство как «мину аморализма, подведенную под устои существующего порядка»[1].

Де Сад верил в абсолютную свободу и восставал против собственности, а поскольку собственность начинается с нашего тела, — недаром же сейчас в таком ходу обвинения в «сексуальных домогательствах»! — доказывал, что у всех мужчин и женщин имеются полные, хотя и временные права на плоть друг друга. В результате немедленно возникший вопрос о насилии перешел в иную плоскость и звучал так: «Что делать убийцам?» «Остерегаться друзей убитого», — был ответ де Сада. И если вследствие этого все разделятся на банды, которые в случае надобности будут играть роль мстителей, то высшим и совершенным выражением полученной пирамиды станет монархия. Когда речь заходит о воздаянии, кто может быть могущественнее короля?

Могла ли подобная философская система, в которой бок о бок уживались анархические и монархические идеи, не увлечь Аполлинера (и Пикассо)? Из праха поверженной логики прорастают волшебные миры.

Если уж мы упомянули волшебство, поговорим о нем чуть подробней. Давайте представим себе, что магические свойства присущи живописному полотну — особенно если это истинное произведение искусства и принадлежит вам, так что вы глядите на него постоянно, а не от случая к случаю, когда бываете в музее. И

---

[1] *Richardson,* op. cit., p. 333.

всякий раз, когда вы находите в композиции достоинства, которых не замечали раньше, полотно обретает толику дополнительной ценности. Значение его возрастает и выдвигается в центр, оно стимулирует появление новых идей и сообщает тому, кто смотрит на него, добавочную энергию, — иными словами, распространяет свои чары, которые, как известно, обладают бесценной энергией. Если это же самое можно сказать и в отношении памяти, спортивной победы, церемонии или ритуального действа, харизматической личности общественного деятеля, в отношении любовников, детей, друзей, то мы получаем формулу: «Все, что оказывает на нас постоянное и постоянно усиливающееся воздействие, обладает магическими свойствами».

Разумеется, это относится не ко всем картинам, которыми мы владеем, не к политикам, которые порой раздражают нас, не к надоевшим любовницам и наскучившим друзьям, не к ритуалам, утратившим значение, не к обесценившимся отношениям. Повторение умерщвляет душу, а обряд, личность, предмет обогащают ее лишь в том случае, когда их природа — их *художественная* суть — требует дальнейшего постижения или развития отношений, то есть когда она преступает пределы простого знакомства. Быть может, именно этим объясняется, почему магия хорошей поэзии несравнима с магией хорошей прозы — заключенная в поэзии «информация» неуловима, сжата и более отзывчива на чувственное постижение.

Чтобы Пикассо осмелился расстаться с «голубым периодом», нужны были могучие и новые чары. Они оказались подвластны Аполлинеру. Вот последний взгляд на этот переход:

...и где-то рядом с нищими слепцами и проститутками, присаживаясь в кафе за их столик, стал появляться новый персонаж. Он молод и одет в костюм для циркового представления, в котором, если судить по загнанному взгляду циркача, ему суждено быть всего лишь очередной жертвой, одним из труппы, что воплощает в себе понятие «изгои общества»[1].

Конечно, на этом групповом портрете можно узнать и Жермен Гаргалло, а значит — и Касагемаса. Необходимо сказать, что Пикассо еще и потому было так неимоверно трудно выходить из «голубого периода», что через ту же дверь он должен был вытащить Касагемаса.

...Есть картины 1904—1905 годов, при взгляде на которые невольно возникает вопрос: как сумел Пикассо достичь отстраненности кубизма и не повеситься? Одна из этих картин — большое полотно маслом: там изображены он сам и Жермен Пишо (в девичестве Гаргалло) в кафе «Лапэн ажиль», а на заднем плане играет на гитаре папаша Фреде (хозяин кабачка) в деревянных башмаках. Жермен в крикливой шляпке и в розовом платье хмуро сутулится над пустым бокалом, а Пикассо в обличье Арлекина — красные ромбы трико «спорят» с розовым цветом платья соседки — полуотвернулся от нее, и на его зеленовато-бледном лице застыло выражение скуки и отвращения[2].

Мы должны постоянно напоминать себе, что Пикассо иногда черпал вдохновение в традиционных источниках, и прежде всего у Сезанна. Помимо того, что картины последнего выставлялись на нескольких парижских выставках, на которых Пикассо, без сомнения, бывал, в запасниках галереи Амбруаза Воллара тоже хранилось множество его работ. И Пикассо, очевидно, имел возможность, оставаясь наедине с ними, изучать каждый мазок. И это было много больше, чем просто исключительно плодотворное ученичество: попадая в истинное царство новых художественных концепций и парадоксального постижения мира, Пикассо видел неуклюжие движения его кисти, так и просившие, чтобы их исправили.

---

[1] *Roland Penrose.* Picasso: His Life and Work. London, 1981, p. 107.
[2] *Patrick O'Brian.* Pablo Ruiz Picasso. New York,1976, p. 135.

«Лапэн ажиль» (другое название — «Арлекин с бокалом»). 1904—1905.

Кто может сказать, какой бодростью духа заряжался Пикассо от этих холстов, сознавая, что его Арлекин может быть написан лучше и интересней, чем сезанновский?

В начале 1905 года, когда он, не оставляя попыток покорить Фернанду, всерьез увлекся Мадлен, появилась переломная для его творчества работа. На холсте — четырнадцать конечностей, считая обезьяньи лапы, но лишь мать и дитя обнимают друг друга. Судя по тому, что «Семья акробатов с обезьяной» была написана вскоре после того, как Пикассо убедил Мадлен сделать аборт, в картине звучит горчайшая ирония. Материнство, словно говорит она, — это единственное по-настоящему трепетное и нежное чувство; все прочие чувства, живущие в душе человека, направлены лишь на него самого. Но каков Арлекин, какова обезьяна, каковы фигуры матери и ребенка!

Еще об одной работе, знаменующей переход Пикассо к другой стилевой и колористической манере, напоминает история, рассказанная Андре Сальмоном.

...Пикассо создал «из головы», то есть без натурщика, удивительно чистый и простой образ юного парижского рабочего — безбородого и одетого в синее. Он очень напоминает самого художника.

Однажды вечером, покинув друзей, увлеченных интеллектуальным спором, он вернулся домой, взял этот холст, к которому не притрагивался целый месяц, и при-

«Семья бродячих циркачей». 1905.

писал юному мастеровому венок из роз. Действуя словно по какому-то наитию, он превратил картину в шедевр[1].

Для самого Пикассо этот веночек из красных роз сыграл роль стенобитного тарана, проделавшего брешь в прежней и казавшейся нерушимой душевной структуре. Очень скоро в своих темах и в их колористическом решении он обратился к saltimbanques.

Это странствующие жонглеры и акробаты, бродячие циркачи, люди, уже почти покинувшие общество, но еще не ставшие дикарями. Нет нужды искать, кто повлиял на Пикассо, — влияний этих множество: он видел и бродячие труппы на дорогах Испании, и уличных артистов Парижа, а теперь, зимой, весной и летом 1904—1905 годов, постоянно ходит на представления цирка Медрано, стоявшего у подножия Монмартра. Там, по словам Патрика О'Брайана, он мог видеть выступления

...укротителей львов, наездниц на широкоспинных белых лошадях, воздушных гимнастов, жонглеров, акробатов, клоунов, представших на его полотнах в обличье арлекинов. Когда были деньги, Пикассо с друзьями ходил в цирк три и даже четыре раза в неделю. Он любил запах манежа, его привлекали цельность и профессионализм цир-

[1] *André Salmon.* La jeune peinture française. Paris, 1913, pp. 81—83.

качей, этот настоящий интернационал, образованный людьми и животными, — голландские клоуны, сербские акробаты-прыгуны, индийские слоны. Здесь понимали друг друга без слов. Это был особый, отдельный мир, где люди жили иногда впроголодь и были париями, на время представления вступавшими в контакт с обществом лишь благодаря своему искусству, доведенному бесконечными тренировками и репетициями до полного совершенства и зачастую смертельно опасному.

Кроме того, цирк связывал Пикассо с его прошлым... С детства он запомнил бродячих артистов, иногда водивших с собой обезьянку или ученого медведя... Важно отметить, что на работах этого цикла запечатлен не столько сам цирк, сколько запыленные странники в цирковых костюмах, идущие по пустынным и голым, лишенным примет какой бы то ни было страны местам [1].

Средоточие и нервный узел всех этих влияний — Аполлинер, который становится истинным вдохновителем «розового периода». Любопытно сравнить полотна Пикассо конца 1905 года со стихами Аполлинера, созданными в это же время. Они поразительно похожи: та же таинственная атмосфера, почти неуловимо пронизанная не то страхом, не то грустью, не то смутной тревогой, какая возникает в иные вечера, когда кажется, что вряд ли удастся пережить надвигающуюся ночь:

Мимо ворот постоялых дворов,
Мимо фруктовых садов
Идут акробаты дорогой своей
Через деревни, где нет церквей.

И детвора, сбежав со двора,
Их окружает уже с утра;
Покорно деревья им дарят плоды
В награду за их труды.

У них барабаны и обручи есть,
И коврик, и гири — всего не счесть.
Косолапый медведь, их испытанный друг,
Медяки собирая, обходит круг.

Или еще:

А любовь, как медведь, тяжела,
В пляс пускалась, где только случится,
И поэтому синяя птица
Свои перья спасти не смогла.

4

Он всегда обожал смешить людей и, если хотел, мог быть уморительно остроумным и забавным. Он пел и учил пению, играл на рояле, из него вышел бы первоклассный комик. Он был душой всех наших сборищ и вечеринок. Он любил импровизировать сценки, в которых всегда исполнял главную роль. Раз сто, наверно, я видела, как он «показывает» танцовщицу-босоножку, и мне никогда это не надоедало — наоборот. Он подворачивал штаны до колен, обнажая волосатые икры, закатывал рукава и расстегивал пуговицы сорочки, так что становилась видна покрытая густой черной шерстью грудь, и, лысый, в пенсне, начинал танцевать «на пуантах», изо всех сил стараясь быть грациозным, — мы падали со стульев от хохота. Сейчас я уже не могу восстановить в памяти все детали его «номеров», от которых мы смеялись так, что потом чувствовали себя физически измученными... Чего стоила, например, его пародия на «певицу»-педераста, когда он надевал дамскую шляпу с вуалью и звучным сопрано вел мелодию, причем нисколько не фальшивил. От этого все выглядело еще нелепей и смешней.

---

[1] *O'Brian*, op. cit., p. 134.

Он особенно любил петь «Langouste atmospherique» Оффенбаха и «Sur les rives de l'Adour», но были и десятки других арий и песенок, которыми он потешал нас каждый вечер. Мы готовы были слушать его до бесконечности[1].

Фернанда, разумеется, пишет о Максе Жакобе, а происходило все это, как правило, в «Бато-Лавуар», в мастерской Пикассо, когда гости рассаживались на чем попало или прямо на полу, усеянном полувыжатыми и пустыми тюбиками из-под красок и кучками собачьего дерьма цвета охры, «жженой умбры» и «кадмиевой желтой». Неизменно присутствовали Аполлинер, Андре Сальмон и скульптор Маноло — тот самый, что украл часы у отца-генерала. Бывал и Пако Дурио, который уже дал Пикассо первые уроки ваяния. Частыми гостями были и Канальсы, а вот о Суньере никто больше не вспоминал. Время от времени захаживали Ван Донген и Морис Прэнсе, математик-статистик, служивший в страховых компаниях. Скоро он познакомит эту публику с эйнштейновской теорией относительности в собственном популярном изложении.

Не забывайте, что всем им было по двадцать с небольшим. Помните о трубках с опиумом и о том, что наркотики войдут в обиход лишь спустя несколько поколений. И что ж тут поделаешь, если на иных вечеринках мрак, фигурально выражаясь, сгущался до такой степени, что лишь немногим удавалось отвлечься от изысканной чеканки образов, рождавшихся в собственном мозгу, и оценить глубину мысли соседа.

Песенки, которыми так любил потешать собравшихся Макс Жакоб, сильно проигрывают в переводе, не говоря уж о том, что большая часть тех, кто слушал и подхватывал, умерли задолго до нашего с вами рождения. И все же какой-то отзвук «блаженного бреда», царившего в эти вечера в «Бато-Лавуар», в них еще слышится.

Ах, прелестная Пандора,
Сердца моего синьора,
Если мнишь ты, что не скоро
Согласишься стать моей,
То учти, что я, ей-ей,
Все равно в конце недели
Окажусь в твоей постели.

На берегу Адура
Жил пастырь белокурый,
Безгрешен, беспорочен,
Любил он раков очень[2].

Появлявшиеся там время от времени Вламинк и Дерен сочиняли эротическую книжку «Из постели в постель», руководствуясь тем, что перо и чернила обходятся дешевле холстов и красок. Вламинк писал текст, Дерен делал иллюстрации. Когда же речь заходила о живописи, Вламинк так и сыпал афоризмами собственного изготовления: «Картины пишут не для денег, картины пишут, как спят с женщиной». «Чистый цвет» был его символом веры. «Накладывайте краску такой, как она выдавилась из тюбика... Музеи —кладбища... И близко к ним не подходите».

Эти забавы иногда принимали довольно рискованный оборот. Главной мишенью небезобидных шуток и злых острот становился Аполлинер. Макс Жакоб смирился с той ролью, которую Гийом играл в жизни Пикассо, и полагал, быть может, что присутствие крупного поэта только еще теснее свяжет его, Жакоба, с Пабло. Тем не менее он сильно ревновал. Пикассо, в свою очередь, слегка завидовал и образованности Аполлинера, и его знанию языков, и его поэтическому дару, и его знакомствам с людьми титулованными или богатыми, ибо можно презирать «сильных мира сего», но чувствовать себя среди них своим приятно.

---

[1] *Olivier*. Picasso and His Friends, pp. 59—60.
[2] Перевод И. Кузнецовой.

Кроме того, Аполлинер сам был до того эксцентричен и чудаковат, что искушение посмеяться над ним — не в глаза, так, по крайней мере, за его широкой спиной — оказывалось, надо думать, неодолимым. Например, он имел обыкновение добавлять в конце самого кратенького и незначительного письмеца витиеватую формулу: «С нежностью — руку приложил Гийом Аполлинер». Жакоб, разумеется, не мог упустить такую возможность, и Андре Сальмон, вернувшись как-то зимним вечером домой, обнаружил на дверной ручке набитую снегом перчатку и записку: «Снежную руку приложил Гийом Аполлинер».

Рассказ того же Сальмона о том, как своеобразно приветствовала его мать Аполлинера, осведомившись, кто кого совратил, подвигнул Жакоба на следующую импровизацию: «Гийом Аполлинер так боится порока, что не осмеливается поднять глаза на мать». За этим последовали стишки, где каламбурно обыгрывались одинаково звучащие «mère d'Apollinaire» (мать Аполлинера) и «merde d'Apollinaire» (Аполлинер — дерьмо).

В своих «Бесконечных воспоминаниях» Сальмон утверждает, что жертва не подозревала об этих забавах, но Пикассо рассказывал Франсуазе Жило, что Аполлинер, услышав эту песню, гонялся за Жакобом по всей мастерской. Лет двенадцать спустя, когда Аполлинер, тяжело раненный в голову на первой мировой войне, вернулся в Париж, он в «Сидящей женщине» сатирически описал Пикассо под видом некоего полуиспанца, полуалбанца, «родившегося в Малаге», по имени Пабло Канурис, который — чтобы уж ни у кого не оставалось сомнений в том, кто послужил ему прототипом, — «был художником, плененным небесно-голубым цветом». Канурис говорит с сильнейшим испанским акцентом и постоянно испытывает муки ревности, которые доставляет ему его неверная возлюбленная Эльвира. Эта дама — типичное порождение аполлинеровской фантазии — переживает цепь разнообразных любовных приключений то в штате Юта во время «золотой лихорадки», то с мексиканцами, то с неграми из штата Миссури, то с вождем индейского племени по имени Милопиц, то с десятками авантюристов из балканских и западноевропейских стран. А лежа в объятиях Пабло, она злобно ждет окончания процедуры и думает тем временем о своей подруге Мейвис и «об иных, бесконечно более утонченных ласках — лишь они способны заставить женское сердце биться чаще».

Пабло рыщет по улицам, отыскивая Эльвиру, настигает у дверей ее дома и пылко обнимает. Она не противится и, дождавшись, когда в порыве благодарности он бросится на колени, отпирает замок, проскальзывает к себе и захлопывает дверь у него перед носом. Всю ночь напролет слышит она, как Пабло колотит в закрытые ставни и, как истый испанец путая «б» с «в» и раскатывая «р», кричит: «Эльбир-р-ра, откр-р-рой, я любвлю тевя, я тевя овожаю, а не откр-р-р-оешь — застр-р-елю из ребольбер-р-а». Снова стук и снова крик. Это был увесистый камень в огород Пикассо, который, судя по всему, так и не научился правильно говорить по-французски и, как большинство экспатриантов, был особенно чувствителен к подобным намекам — по крайней мере, по убеждению самих французов.

Револьвер играет в сатире Аполлинера большую роль, и не случайно. Согласно легенде, а быть может и на самом деле, револьвер прислал Пикассо Альфред Жарри, хотя они ни разу не встречались лично.

По аргументированной версии Ричардсона, Аполлинер, Жакоб и Сальмон дружили с ним и испытывали его сильное влияние. А познакомились они на одном из вечеров, которые редакция журнала «Плюм» устраивала в кафе на площади Сен-Мишель.

Но к тому времени, когда Аполлинер подружился с Пикассо, Жарри был уже тяжело болен, и художнику оставалось довольствоваться красочными рассказами поэта. Особое впечатление произвело упоминание о том, что Жарри жил на «третьем с половиной» этаже! Домовладелец, желая извлечь из своей собственности наибольшую выгоду и считая, что потолки в доме слишком высокие, «втиснул» между перекрытиями еще по этажу. Вот как пишет об этом Аполлинер в своих «Колоритных современниках»:

— Мсье Альфред Жарри?

— Между вторым и третьим.

Я оторопел, услышав ответ консьержки, но, поднявшись, убедился: и впрямь это так. Дом был разделен владельцем на полуэтажи, так что являлся чем-то вроде уменьшенного небоскреба. В обиталище Жарри все было уменьшенное. Кровать была уменьшенной кроватью, скорей уж топчанчиком, поскольку, как сказал мне Жарри, низкие кровати в моде, письменный стол — уменьшенным письменным столом, поскольку Жарри писал лежа на животе на полу. Меблировка — уменьшенной меблировкой, так как состояла исключительно из кровати. На стене висела уменьшенная картина — портрет Жарри, значительная часть его была сожжена, так что осталась только голова, напоминающая голову Бальзака на одной известной мне литографии. Библиотека — уменьшенной библиотекой, впрочем, даже и это звучит слишком громко, так как состояла она исключительно из популярного издания Рабле и двух-трех томиков «Розовой библиотеки». На камине стоял большой каменный фаллос японской работы, подарок Фелисьена Ропса. Жарри держал его под колпаком фиолетового бархата, после того как этот экзотический монолит напугал одну литературную дамочку, сильно запыхавшуюся от восхождения на трехсполовинный этаж и встревоженную видом скупо меблированного интерьера.

— Это что, копия? — спросила дама.

— Да, — ответил Жарри. — Только уменьшенная» [1].

Ричардсон, подчеркивая, что легенду о том, будто Пикассо хорошо знал Жарри, пустил именно Макс Жакоб, ссылается в доказательство своей правоты на Элен Пармелен: «[Пикассо] часто сожалел, что ему не довелось узнать этого выдающегося человека поближе. Он однажды отправился к нему с Аполлинером, но Жарри не было дома, а вскоре все уже было кончено».

...Жарри с трудом дотянул до весны 1906 года, и его соборовали в тот самый день, когда Пикассо клал последние мазки «Авиньонских барышень». Прорыв, осуществленный этим полотном, надо рассматривать в свете прорыва, который за десять лет до того совершил Жарри, сокрушив грань между фантазией и реальностью и провозгласив появление новой пародийной науки «патафизики», которая смела все традиционные представления о красоте, хорошем вкусе и собственности[2].

Разумеется, Пикассо принял револьвер и, по усвоенным им законам новой логики Жарри, между ними возникла глубокая связь.

Пикассо уверял, что постоянно использует «патафизически» гордое оружие, чтобы отпугивать надоедливых ценителей и поклонников своего творчества. Однажды вечером в кабачке «Лапэн ажиль» он открыл стрельбу по троим юным и очень серьезным немцам, замучившим его вопросами о том, каких эстетических взглядов он придерживается. В «стиле Жарри» выступил он, когда вместе со скульптором Маноло оказался в фиакре, где сидел другой молодой немец, непременно желавший прочесть свои стихи. Они нагнали на Пикассо такую тоску, что он выстрелил вверх, пробил крышу экипажа и скрылся, вверив дальнейшую заботу о попутчике полиции[3].

Джимми Хоффе приписывают изречение «От ножа беги, а на ствол иди». Эта теория зиждется на убеждении, что человек с ножом достаточно хорошо владеет им, достаточно решителен, чтобы дать отпор, но, как правило, не так агрессивен, чтобы преследовать вас. А чтобы пустить в ход огнестрельное оружие, от его владельца, каким бы выродком тот ни был, требуются поиски некоего внутреннего

---

[1] Цит. по: *Юлия Хартвиг.* Аполлинер. Перевод Ю. Абызова и Б. Персова. М., 1971.
[2] *Richardson,* op. cit., pp. 362—363.
[3] Там же, с. 363—364.

оправдания своим действиям. И когда вы «идете на ствол», тот, кто держит его, должен решить для себя, есть ли у него право стрелять. В данном случае имеется в виду не оборонительный рефлекс, а моральный выбор. Можно, разумеется, выстрелить в воздух — как часто поступал Пикассо — и достичь нужного эффекта, не одерживая победы, не терпя поражения и не делая вовсе никакого выбора. Действие и результат этого действия — не одно и то же.

Ричардсон посвящает этому следующий пассаж:

Снова и снова (зачастую в одной и той же работе) один и тот же символ обозначает полярные принципы или идеи... «Единство противоположностей» — так объяснял этот феномен Жарри. «Не только плюс равен минусу, но и добро неотличимо от зла, тьма от света, Христос от Антихриста». Именно по данной теории жил и творил Пикассо. «Я помню, — сказал он отцу, — как ты повторял: «Правда есть ложь»[1].

И анархизм в глазах де Сада становится монархизмом, и двумя противоположными понятиями-символами выражается одно и то же. Тюремная камера может быть сырой, темной, смрадной или теплой, подобной материнскому лону и сулящей защиту. Пикассо, завязавший новые, ослепительные отношения с опиумом, прожил год в «розовом периоде» и оказался перед новым витком своего творчества: может быть, под воздействием наркотического опьянения он пресытился новой манерой именно в силу ее достоинств — ему наскучило это нежное, словно выплывающее из памяти или из снов, романтическое, с легким зловещим привкусом или отзвуком искусство. Он уже начал искать что-то более разрушительное.

Пытаясь постичь суть вещей, которые обсуждали в ту пору Аполлинер, Жакоб и Пикассо, мы должны будем признать, учитывая степень одаренности всех троих, что речь у них очень часто заходила о предметах весьма любопытных и/или таинственных. На переломе столетия произошло немало исключительных, казавшихся прежде невероятными событий. Маркони, например, без помощи проводов послал сообщение из Англии в Ньюфаундленд на расстояние в 2 232 мили. Для «банды Пикассо» это чудо имело и эстетическое значение: если информация может передаваться по воздуху, то, стало быть, душевное состояние человека вполне способно зависеть от электричества, вступать с ним в связь и взаимодействие! Это не могло не волновать поэтов и художников, ведь именно они инстинктивно чувствовали скрытый пока от других смысл технологической революции, далеко не ограничивавшейся техникой. Появление во второй половине XIX века паровоза и парохода позволило огромным массам людей передвигаться в пространстве со скоростью, несравнимой с лошадиным галопом, а теперь по дорогам помчались одиночки в своих невиданных аппаратах — автомобилях! И если пространство географическое больше не мерилось скоростью человеческого шага или конского аллюра, то и пространство художественное требовало иного подхода.

«Китти Хоук» поднял в воздух братьев Райт. И наши прежние представления о высоте изменились сразу и навсегда. Воздушный шар был точкой, медленно проплывающей в небесах, «летательный аппарат тяжелее воздуха» стал подобен стреле. Самые фантастические мечты сделались реальностью. В Нью-Йорке пустили подземку — и землю, которая была прежде лоном всего сущего или местом последнего упокоения, пронизала сеть дорог. Люди — и среди них, несомненно, Аполлинер — принялись грезить о подземных городах, о скрытом от глаз «желудочно-кишечном тракте».

В эти годы Фрейд уже предложил свое толкование снов, которое подвигло многих художников на постижение новой визуальной реальности. На какую-то — и значительную — часть бессознательного был «пролит свет». Везде шел распад, разлом, разрушение. В мир иной пришлось отправиться не только престарелой

---

[1] *Richardson,* op. cit., p. 366.

королеве Виктории — террористы убили президента США Мак-Кинли и брата российского императора Николая, великого князя Сергея Александровича. Вспыхнул мятеж на броненосце «Потемкин», в России по указу царя был создан парламент — Государственная дума. «Фовисты» доказывали, что цвет сам по себе, чистый цвет —достаточно мощная сила, чтобы подчинить себе и форму, и композицию. Молодые люди — Матисс, Дерен, Вламинк, Брак, Дюфи и Руо — осенью 1905 года устроили в Париже свою выставку. Макс Жакоб погрузился в изучение каббалистики. Аполлинер в мае 1905 года, спустя шесть месяцев после встречи с Пикассо, писал в журнале «Плюм»:

Слово сказано... Работы Пикассо демонстрируют преждевременную утрату всяких иллюзий. На мой взгляд, дело обстоит как раз наоборот. Все, что предстает его взору, очаровывает его, и мне кажется, он ставит свой неоспоримый дар на службу воображению, смешивающему ужас и восторг, нежность и унижение... Чувствуется, что его акробаты в своих лучезарных отрепьях — это истинные дети народа: они непостоянны, переменчивы, коварны, проворны, придавлены нищетой и лживы[1].

Все это было прекрасно, но сам Пикассо яснее и яснее сознавал, что «розовый период» — лишь привал перед долгим маршем. Глубинные инстинкты побуждали его к обретению иного — ужасающего — зрения. Он был на распутье. Его отец всем своим авторитетом непризнанного академиста с младенчества внушал сыну первый императив художников этого направления: «Работа должна приносить зрителю утонченное наслаждение и быть хорошо сделана». В «розовый период» Пикассо еще потрафлял родительским вкусам.

Но он, всегда видевший и жизнь вообще, и собственное бытие, и собственный талант как игралище непредсказуемых и разрушительных сил, теперь вплотную подошел к убеждению: он способен этим силам противостоять, он может не просто сопротивляться им, но и нападать первым, сражаясь с тем неодолимым коварством, которое всегда таится в Творении. По крайней мере, так подсказывал ему его опыт.

■

[1] *Apollinaire*. Les Jeunes: Picasso, Paintre. «La Plume», № 372, 1905, pp. 478—480.

АНТОНЕН АРТО

От составителя

Прошло уже сто лет со дня рождения Антонена Арто, скоро полвека, как его не стало. За подобный срок репутации обычно так или иначе утверждаются, а то, что можно впрямую и наскоро извлечь из наследия новорекрутированного классика на потребу дня, бывает извлечено. С Арто — по-другому, у него все опять «не как у людей». Да, сегодня его место в историях по меньшей мере литературы и театра вроде бы неоспоримо. Да, его издания, переводы и труды о нем день ото дня множатся. И тем не менее двумя вопросами, которые неотвязно сопровождали работу Арто на протяжении всей жизни — а отдыхавшим его, насколько могу судить, никто не видел, — снова и снова задаются и поныне. «Что же он, собственно, написал, сделал, оставил по себе?» — недоумевают одни. «В своем ли он был уме, не болезнь ли (или наркотические лекарства от той болезни) внушила, надиктовала ему все им созданное?»[1] — домогаются другие.

В свое время в ответ на сожаления благомыслов о попавшем под власть опиума Де Куинси, раздавленном-де недугами и помраченном кошмарами, Борхес напомнил, что сами эти недуги и кошмары стали известны миру лишь благодаря блистательной прозе их описавшего (или сочинившего), а «четырнадцать томов литературных, критических, автобиографических, эстетических и экономических сочинений» этого «сломленного» и «погибшего» больного не случайно и с толком для себя прочли Бодлер, Честертон и Джойс. Применительно к Арто пришлось бы разве что вычеркнуть слово «экономических» и «четырнадцать» поменять на «двадцать шесть», а перечень недаром его прочитавших будет намного длинней и по звучанию не слабее, так что включенные в настоящую подборку составят лишь малую, хоть и прославленную его часть.

И все-таки к Полному собранию сочинений, которое не умещается на одной полке, и даже к «блистательным удачам», к opus majus, вроде самой известной книги — сборника манифестов «Театр и его двойник» — значение Арто не сводится. Важнее, вероятно, другое (может быть, оно и вообще-то всего важней): факт его настоятельного и неустранимого присутствия. Уже и для наиболее сознательных современников Арто, тем более для его потомков из второй половины кончающегося века, работать в искусстве (в первую очередь искусстве словесном и сценическом), больше того — жить в искусстве и *жить искусством* так, как если бы Арто не было, попросту невозможно.

---

[1] В 1937 году Арто был принудительно помещен в психиатрическую клинику и почти десять лет (до 1946 года) безвыходно провел в психлечебницах, где в последние три года, в Родезе, многократно подвергался лечению электрошоком, был физически искалечен.

© Б.Дубин. Составление. Вступление. Перевод, 1997
© Е.Дюшен. С.Дубин. Перевод, 1997

Понятно, что смысл, нагрузка слова «искусство» тут в корне меняется (и роль Арто в подобном сдвиге едва ли не ключевая). Оно теперь — не столько искушенность, сколько искус, не что-то отдельное от «жизни» (и отделяющее от нее отступившего на безопасную дистанцию вуайера-художника), а «сама жизнь». Последнее словосочетание, понимаю, захватано донельзя, поэтому поясню: «сама» ровно в том простейшем и неотвратимом смысле, что никакой альтернативной, «внешней», всеобщей и ничейной точки зрения тут существовать не может и куда бы то ни было выхода (отвлечения, передышки, укрытия, бегства) для так разумеющего свое место художника тоже нет, поскольку он — и так на краю, он этот край и есть. Говоря пространственными метафорами, «дальше» кончается уже само «я», и не только лишь биографическое или другое индивидуальное эго, а сам принцип индивидуальности, как таковой. «Дальнейшее — молчанье» («смерть», «безумие», «иное», «ничто» — его, пугающее, но притягивающее и чуть ли не основополагающее, будут в XX веке называть разными безличными именами). И настолько далеко, с таким неотступным вниманием и до того беспощадно к себе, как творец сюрреалистских манифестов и воззваний к папе, далай-ламе и всем властителям и психиатрам мира, эссе о колдовстве у мексиканских индейцев, автор не умолкающих ни днем, ни ночью и переходящих уже в глоссолалию «Фрагментов из дневника в аду», монологов «Сообщники и заклинания» или тысяч и тысяч писем из психбольницы в Родезе, в эти области лимба не заходил, думаю, никто.

Арто был из тех людей, жизнь рядом с которыми невыносима, а память о которых тяготит виной (мучительное сплетение двух этих чувств на публикуемых ниже мемуарных страницах Батая и Массона, Адамова и Супо остро ощущаешь). И дело здесь не в быте и не в психологии, а в основах и ориентирах существования, в его градусе и мощи, наконец, в направленности этой нездешней и непомерной силы. Скажем, блестящий литературный стратег Бретон буквально в считанные месяцы понял, что никакое сплочение даже нонконформистской группы или школы вокруг таких «пределов», к которым призывал в своих листовках Арто (а он в 1925 году был чуть ли не главным рупором сюрреалистов), невозможно: крайности — в поведении ли, в слове — испытывают окружающих на излом, а потому работают только на развал всякого сообщества. И Арто со скандалом изгнали. Отодвинули в сторону и раз, и другой, как отлучали его вообще всю жизнь, последовательно загоняя в психбольницу (впрочем, и он от своих крайностей отказываться не собирался, находя вулканическую энергию и волю жить только в них).

Но, с другой стороны, не слишком ли просто будет в духе модной сегодня толерантности всего лишь «понять» и «принять» и непомерность, и неуместность, и крах Арто, сославшись на нерасчленимость текста и контекста в едином потоке своего — инсценируемого автором-постановщиком — существования? На стертость границ между бытом и искусством, да и вообще на относительность любой нормы? Вряд ли Арто принял бы такой политкорректный ход: всеядность и «тепловатость» его скорее отталкивали, он был для этого — смотри публикуемые ниже фрагменты эссе Сьюзен Сонтаг — слишком «фанатик» (и сам искал — он ли один? — ярости, пусть даже черной, огня, только бы жег). Невозможность примирить в себе жажду дойти до предела — и даже шагнуть за предел — со страстью охватить целое во всей полноте, в единстве жизни с мыслью, а мысли со словом тем не менее никогда, думаю, не толкнула бы Арто на добровольный отказ от подобного абсолютизма, не принудила сдаться, умерив гордыню. Не потому ли, что он — разрушитель почище Рембо — как раз и был законченным абсолютистом сознания, столпником совершенства под стать Малларме?

Да и нечего ему было разыгрывать. Что он мог показать окружающим? Только одно: говоря дантовскими словами, «рану судьбы». Кто же согласится тут на роль зрителя и как она в этих условиях возможна? Недаром неистовые лекции Арто, как правило, кончались припадками для него и неспособностью выносить видимое для шокированной, отводящей глаза аудитории. А чем другим она могла ответить, что еще (встанем на миг на другую сторону) есть у публики? Правильный ответ — «любовь», но тогда (смотри судьбу Поль Тевнен, о которой и эссе которой — ниже) она уже не «публика».

Преодолеть разделяющую его с миром черту Арто мечтал, хотя стереть ее он — и никто другой — не мог. А в ситуации (посмотрим на нее его глазами), когда любая граница, как может показаться сегодня, вроде бы упразднена, Арто опять-таки нет места: делать ему в ней нечего, и появиться здесь он по определению не смог бы. Так он и остается гением рубежа, образом того невозможного, без которого ни возможности, ни реальности — в искусстве в том числе — нет (музейной ценности искусству это, может быть, и не прибавляет, но чего бы иначе стоило все прочее?). Остается, если говорить на повседневном для Арто языке мучимого тела, болью. Болью, которая — на самом пределе — возвращает тебе, казалось, уже несбыточное, последнее (или первое?) ощущение тебя самого и отводит назад с черты обрыва, как бы подсказывая (но откуда?): дальше — нельзя. Не запрещено, а не по силам. И не тебе, а никому. Там — другое.

Благодарю Игоря Борисовича Дюшена за деятельную помощь в подготовке данной публикации. Посвящаю ее памяти Лени Губанова: в дни, когда я пишу эти слова, ему бы исполнилось пятьдесят невозможных лет.

БОРИС ДУБИН

АНТОНЕН АРТО

Два письма

Жаку Ривьеру [1]
6 июня 1924 г.

Уважаемый господин Ривьер,

.....

Вся жизнь моего ума пронизана жалкими сомнениями и непоколебимой уверенностью, которые силятся высказать себя в отчетливых и связных словах. Ткань моих слабостей совершенно ненадежна, сами они — в состоянии зачаточном и выражены хуже некуда. Корни у них живые, это корни тревоги и тоски, доходящие до самой сердцевины существования, но им не хватает жизненной сумятицы, они не чувствуют на себе вселенского дыхания потрясенной до основ души. Они принадлежат мысли, которая не в силах осознать свои слабости, пока не переведет их в ощутимые, действующие как удар слова. В том и загвоздка: нести в себе целый мир и чувство, до того физически ясное, что не высказать его невозможно, владеть богатейшими словами и послушными оборотами, готовыми закружиться в танце, пуститься в игру, и в ту самую минуту, когда душа, кажется, вот-вот развернет свои богатства, свои находки и откровения, в тот обморочный миг, когда задуманное вот-вот выплеснется, — какая-то высшая и злобная сила вдруг кислотой окатывает тебе всю душу, весь запас твоих слов и образов, весь запас чувств и опять оставляет бессильно содрогающимся комком на самом пороге жизни.

А теперь представьте, что я телом чувствую, как эта воля пронизывает меня насквозь, что она внезапно и неожиданно бьет в меня электрическим разрядом, снова и снова бьет электрическим током. Представьте, что в иные дни каждый мой мысленный миг до глубины сотрясают смерчи, хотя снаружи этого не видно. И теперь скажите: совместимы подобные состояния с каким бы то ни было литературным творчеством? Чей мозг тут устоит? Чья личность вынесет такое? Будь у меня силы, я бы, кажется, отдал иногда все на свете, лишь бы в мыслях подставить под эту неотступную, размалывающую боль чей-нибудь признанный ум, какого-нибудь опытного или начинающего автора, который что ни день создает новое и чья каждая мысль придает ему все больше веса, — и посмотреть, что от них останется. Не стоит слишком поспешно судить других, им нужно верить, верить до абсурда, до последнего. Все эти дерзкие сочинения, часто выглядящие для Вас плодом ума, который не владеет, а может быть, никогда и не овладеет собой, — кто знает, какой за ними скрывается ум, какая жизненная мощь, какой жар мысли, сведенной на нет лишь волей обстоятельств. Но хватит обо мне и о ненаписанном. Я прошу одного: почувствуйте, каково моему мозгу.

Антонен Арто

Анаис Нин [2]
Суббота, утро [апрель 1933 г.]

Дорогая моя,

несколько страничек «Гелиогабала»[3], которого я рассчитываю Вам прочесть в четверг и довел до конца этой ночью, с лихвой объяснят то *тяжелое*, что могло исхо-

---

[1] Жак Ривьер (1886—1925) — французский писатель, литературный критик, с 1912 г. — секретарь, с 1919 г. — главный редактор журнала «Нувель ревю франсез», корреспондент М.Пруста, П.Клоделя, А.Жида. В мае 1923 г. отказал Арто в публикации двух присланных им стихотворений, вместе с тем глубоко заинтересовавшись их автором; его переписка с Арто (см. о ней ниже в эссе М.Бланшо) опубликована в журнале в сентябре 1924 г., а в 1927 г. вышла отдельной книгой. (*Здесь и далее — прим. перев.*)

[2] Анаис Нин (1903—1977) — американская писательница, дочь испанского музыканта Хоакина Нина, с 1929 г. до второй мировой войны жила в Париже, была подругой Генри Миллера; познакомилась с Арто в марте 1933 г., оставила о нем записи в дневниках и мемуарную новеллу «Я из сюрреалистов — самый больной». Письмо Арто к ней — одно из одиннадцати, напечатанных в журнале «Тель Кель» («Tel Quel», 1965, № 20) — переведено по этому журналу.

[3] «Гелиогабал, или Венценосный анархист» («Heliogabal ou L'anarchiste couronnó», опубл. 1934) — пьеса Арто.

дить от меня вчера вечером. Вы, конечно, тоже знаете такие приступы, но Вы не могли переживать — и желаю Вам никогда не переживать их — эти чудовищные состояния физически стиснутого мозга, пустоты до того давящей, что и высокая работа мысли, и ее пытка проступают наружу только нескончаемой ложью. Ложью под разными личинами, самая явная — это особая манера себя вести: ледяная, застывшая, натянутая манера, когда за улыбкой на лице прячешь оцепенелую судорогу мысли. Понимаю, что не должен был бы, что и в самом деле *не нужно* Вам все это слишком долго объяснять: до того оно горячо. Легко представляю, как неубедительно звучат даже эти мои слова, и все же они — правда. Вам ли объяснять, что я не тот, каким был накануне, и не испытывал того, что изображал, а внешняя черствость в корне расходится с тем, кем я всегда хотел быть, кем я никак не могу быть, мысленно изводясь, но не умея ничего изменить снаружи. Уверен, Вы понимаете, но дайте мне объяснить Вам это как следует, вслух, в подробностях, которые писаному слову не по силам, которые оно, поверьте, не способно донести, уточнить, высветить, обрисовать. Мой внешний вид сложился помимо меня, мне наперекор. Но, бывает, я им, буквально на миг, даже *доволен:* при моем складе я и мечтать не мог о другом, не мог сложиться по-другому, а так лучшее во мне все-таки живо, хотя бы как недостижимая возможность. Извините за это внезапное, неожиданное письмо. Меня мучит совесть за вчерашнее.

Антонен Арто.

Нет, все-таки я должен объяснить Вам это письмо, *хотя бы вслух.*

Перевод с французского БОРИСА ДУБИНА

МОРИС БЛАНШО

Арто

Двадцатисемилетний Арто посылает несколько стихотворений для публикации в журнале. Главный редактор отвечает вежливым отказом. Тогда Арто пытается объяснить изъян своих стихов: он страдает таким упадком мысли, что не может пренебрегать даже несовершенными образцами, если их все же удалось вырвать у подавляющего всю его жизнь небытия. Стоит ли чего-нибудь отвоеванное такой ценой слово? Следует обмен письмами, и Жак Ривьер — а редактором журнала был он — предлагает Арто немедленно напечатать эти письма по поводу не пошедших в печать стихов (на сей раз часть из них публикуется на правах примеров и документов). Арто, при условии ничего не подтасовывать, соглашается. В свет выходит знаменитая переписка Антонена Арто с Жаком Ривьером, событие значимости неоценимой.

Сознает ли Жак Ривьер аномальность случившегося? Строки, которые он только что счел несовершенными и непригодными для печати, теряют эти свойства, как только стихи дополнены рассказом об опыте, стоящем за их несовершенством. Словно то, чего им не хватало, их изъян, после открытого признания этого недостатка и углубления в его неизбежность обернулся полнотой и завершенностью. И Жак Ривьер интересуется в первую очередь даже не самими стихами, а именно этим стоящим за стихами опытом, путем к ним и безымянным, темным отпечатком, который они на себе несут. Больше того, неудача, настолько же, что ни говори, непритягательная прежде, насколько она притягивает всех пишущих и читающих теперь, вообще становится воплощенным знаком центрального события в духовной жизни автора, и

МОРИС БЛАНШО (MAURICE BLANCHOT, род. в 1907 г.) — французский писатель, мыслитель-эссеист. Автор романов «Аминадав» («Aminadab», 1942), «Безумие дня» («La folie du jour», 1973), сб. эссе «Пространство литературы» («L'espace littéraire», 1955), «Бесконечный разговор» («L'entretien infini», 1969), «Письмена краха» («L'écriture du désastre», 1980). В «ИЛ» печатались повесть Бланшо «Отсроченный приговор» («L'arrêt de mort», 1948; рус.перевод — 1993, № 10, под заглавием «При смерти»), эссе о Борхесе (1995, № 1). Публикуемое эссе переведено по сборнику «Предстоящая книга» («Le livre à veni», 1959).

объяснения Арто бросают на эту ситуацию поразительный свет. Мы — у начал того феномена, с которым неразрывно связана новейшая литература и даже искусство в целом: стихи существуют лишь постольку, поскольку их скрытый или явный «сюжет» — создание самих стихов, а путь, которым созданное приходит на свет, может быть дорогой и победы, и краха.

Напомню написанное пятнадцатью годами раньше письмо Рильке: «Чем дальше, тем более личной и неповторимой становится жизнь. И произведение искусства — это вызванное глубочайшей необходимостью, непреложное, раз и навсегда окончательное выражение этой неповторимой яви... Отсюда — та необыкновенная сила, которую искусство дает человеку, вынужденному его создавать... Тогда становится понятен наш долг — отдавать себя любым, самым крайним испытаниям, но вместе с тем не проговариваться о них, прежде чем не углубились в работу, не мельчить их словами: потому что если единственный, никому другому не понятный и не могущий быть понятным род наших, одним нам свойственных заблуждений чего-то и стоит, то только когда он включен в работу и обнаруживает внутри нее собственный закон, свой изначальный строй, а его может сделать видимым лишь прозрачность искусства».

Рильке имеет в виду, что опыт, из которого в конце концов рождается созданное, никогда не передается напрямую: это предельное испытание значимо и правдиво, только если погружено в произведение, показываясь оттуда — то видимое, то невидимое — в отдаленных лучах искусства. Но всегда ли сам Рильке сохранял необходимую сдержанность? И не возвел ли он ее в ранг правила, чтобы тут же его нарушить, но всецело чтя и зная, что ни он, ни кто-либо другой не властен этой сдержанностью поступиться, а может лишь на шаг отступить от нее, сохраняя прежнюю связь? Род нам одним свойственных заблуждений...

Мысль как невозможность мысли

Открытость, внимательность, чуткость Жака Ривьера поразительны. И все-таки есть в их диалоге явное, хотя и трудноуловимое недоразумение. Арто, в ту пору еще державший себя в руках, это недоразумение постоянно чувствует. Он видит, как собеседник пытается его утешить, суля недостижимую для него сегодня связность мысли в будущем и убеждая, будто духу без слабости не обойтись. Но Арто утешения не просит. Нить от него протянулась к чему-то настолько серьезному, что ослабь ее — и он не выдержит. И еще одно он знает: между крахом мысли и стихами, которые ему, наперекор этому «настоящему спаду», удается написать, существует странная, почти неимоверная связь. С одной стороны, Ривьер не осознает необычности случившегося, с другой — не осознает исключительности этих плодов духа, выросших из духовного небытия.

Проявляя в переписке с Жаком Ривьером потрясающую ясность мысли, Арто полностью и без малейшего удивления распоряжается всем, что хочет сказать. И только в стихах он мучительно теряет главную нить, доходя до тоски, которую передает потом в самых пронзительных выражениях, например в такой форме: «Я говорю из глубин безо всякого просвета, из ледяной муки без единого образа, без единого чувства — это неописуемо, как спазм выкидыша». Тогда зачем он пишет стихи? Почему не остается обычным человеком, использующим язык для повседневных нужд? Судя по всему, поэзия, неотрывная для него «от глубочайшей и мгновенной эрозии мысли», а значит, в глубочайшей степени за эту главную потерю ответственная, вместе с тем дает ему уверенность в том, что другого способа выразить эту потерю, кроме нее, не существует, — более того, сама же сулит часть той потери вернуть, вернуть ему его мысль как потерю. Не отсюда ли нотка нетерпения и превосходства в его словах: «Я лучше любого чувствую ошеломляющий разлад своих слов и мыслей... И теряюсь в мыслях, как другие теряются во сне или вдруг нападают на прежнюю мысль. Я знаю самые глухие тайники потерь».

Ему абсолютно не важно «правильно думать, правильно видеть», иметь приведенные в порядок, хорошо усвоенные и точно выраженные мысли — все эти навыки, которыми — ему ли не знать! — он вполне владеет. Потому он и выходит из себя, слыша от друзей: но ведь ты же нормально думаешь, а нехватка слов — дело обыч-

ное. («Иные находят, что я слишком уж блестяще выражаю свои несовершенства, ту глубокую ущербность и немощность, в каких себя виню, и считают их выдумками, целиком высосанными из пальца».) Умудренный глубочайшим опытом боли, он-то знает, что думать — не значит просто-напросто иметь мысли и что нынешние мысли только предупреждают его: «думать он еще не начинал». В этом и состоит его повседневная, неизбывная пытка. Вопреки себе, в пронзительном непонимании, что опять причинит себе только боль, он оказывается в точке, где мысль всегда уже равносильна невозможности больше мыслить — «неспособности», как он выражается, составляющей суть мысли, но делающей ее изъяном непереносимым, немощью, которая тут же расходится из этого средоточья и, словно пожирая физическое вещество мыслимого, множится на каждом уровне сознания в виде бесчисленных мелких немощей.

Поэзия неотрывна от невозможности мысли, которая и составляет мысль. Вот правда, так и остающаяся скрытой, снова и снова ускользающая от него, всякий раз перемещая этот изъян на иной уровень, выше, чем он его действительно испытал. И это не только метафизическая трудность, это зачарованность болью. Поэзия и есть непрерывная боль, «тьма», «ночь души», «отсутствие голоса, чтобы крикнуть».

В письме, написанном через два десятка лет, пройдя через испытания, сделавшие его человеком тяжелым и вспыльчивым, он с предельной скромностью напишет: «Я начинал в литературе книгами, написанными лишь затем, чтобы объяснить, что совершенно не могу писать. И всякий раз думал только об одной вещи: о той, в которой мне наотрез отказано». И еще: «Я всю жизнь писал, чтобы сказать: я никогда и ничего не делал, не мог ничего делать, и, даже что-то делая, по сути не делал ничего. Все мной написанное построено на этом небытии и ни на чем больше...» Здравомыслящие тут же спросят: но если тебе нечего сказать, то, может быть, ничего и не говорить? Однако ограничиться тем, чтобы ничего не говорить, можно, только если за этим «ничто» нет почти ничего, но только — почти. А здесь, насколько можно понять, речь идет о небытии предельном, и оно самой безмерностью, о которой дает догадаться, самой опасностью, перед которой ставит лицом к лицу, и самим напряжением, которое не слабеет ни на секунду, требует, если хочешь от него освободиться, таких изначальных слов, что всем другим, то или иное говорящим, с ними явно не по пути. Как удержаться не знающему, что сказать, как ему не начать говорить, не попытаться выговориться? «Ну да, в этом и состоит моя слабость, моя *абсурдность*: я любой ценой хочу писать, хочу объясниться. Я из тех, кто немало страдал от ума и, думаю, заслужил этим *право* говорить».

Описания битвы

К небытию, которое его произведения — нечего и говорить, что никакие это не произведения[1], — собираются зажечь и разоблачить, пронзить и уберечь, которое они рвутся наполнить и которое вот-вот переполнит их само, Арто придет своим, особым путем. Сначала, оказавшись перед небытием, он еще пытается почерпнуть в нем некую полноту, в которой убежден и которая откроет ему доступ к его собственным нежданным запасам, такую цельность переживания и несравненную причастность к взаимосвязи всего со всем, что она уже одним этим кристаллизуется в нем стихами. Он чувствует — верит, что чувствует, — в себе эту «внутреннюю легкость» вместе с избытком образов и слов, чтобы ее выразить. Но «в ту самую минуту, когда душа, кажется, вот-вот развернет свои богатства, свои находки и откровения, в тот обморочный миг, когда задуманное вот-вот выплеснется, — какая-то высшая и злобная сила вдруг кислотой окатывает тебе всю душу, весь запас твоих слов и образов, весь запас чувств и опять оставляет бессильно содрогающимся комком на самом пороге жизни».

Разумеется, можно — и безо всякого труда — счесть Арто жертвой иллюзии непосредственного опыта. Но все дело в том, куда он уходит от этой непосредственности, именуемой «жизнью». А уходит он не в ностальгическое умопомрачение, не в бес-

[1] «И еще раз говорю: ни произведений, ни языка, ни слова, ни духа — ничего. Совсем ничего — один несравненный Нервометр». (*Прим.автора.*)

чувственное забытье сна, а, наоборот, идет на явный разрыв, укореняющий в самой сердцевине его «я» беспрерывный сбой, который отныне и становится его сутью, чудовищной неожиданностью подлинной его природы.

Неукоснительно и болезненно углубляясь в себя, он меняет местами конец и начало движения, кладя теперь в его основу обездоленность, а не ту «непосредственную целостность», лишение которой выглядело поначалу простой недостачей. В основе здесь — не полнота бытия, а именно раскол и расселина, эрозия и зияние, грызущая исподволь разорванность и обделенность. Бытие — это не бытие, а нехватка бытия, беспрестанная нехватка, которая делает жизнь ускользающей, недоступной и выразимой только одним: воплем жестоко обездоленного.

Вероятно, Арто, даже веря, будто у него в руках вся полнота «неделимой реальности», всегда имеет в виду лишь густоту тени, оставленной небытием у него за плечами. Ведь единственным свидетельством той всеобъемлющей полноты остается только поразительная и нацело перечеркивающая ее сила, беспредельное отрицание, которое ни на минуту не прерывается, снова и снова умножая и без того неисчерпаемое небытие. Чудовищный напор, который только и дает Арто возможность выразиться, вместе с тем требуя, чтобы он полностью пожертвовал собой, отдав себя его созиданию и выражению.

Но, переписываясь с Жаком Ривьером и продолжая писать стихи, он еще, судя по всему, надеется сохранить прежнее равенство себе — равенство, которое стихи должны воссоздать в тот самый миг, как они его рушат. Тогда у Арто и прорываются слова: «Я не ставлю себя ни в грош», «Я недостоин себя, знаю это и мучаюсь этим». И еще, позднее: «Именно противоречие между моей внутренней легкостью и внешней беспомощностью рождает на свет ту муку, которая меня гложет». Но если он в ту секунду о чем и беспокоится, в чем и чувствует себя виновным, то лишь в том, что мыслит ниже своих способностей мыслить, однако легко выбрасывает это из головы, уверенный в своей идеальной цельности, выразив которую, пусть даже единственным словом, он снова предстанет в истинном масштабе как абсолютный свидетель собственного существования. Мучит его то, что он никак не может расквитаться с мыслью: поэзия и теплится в нем надеждой погасить этот долг, который она тем не менее только наращивает, причем выходя из границ отпущенного ему существованием. Иногда даже кажется, что переписка с Жаком Ривьером, равнодушие его корреспондента к стихам и, напротив, интерес к той главной тревоге, которую Арто снова и снова старается передать, понемногу смещают направленность письма. Арто взялся писать, борясь с пустотой и пытаясь от нее освободиться. Теперь он пишет, излагая ее, ища возможности и средства ее выразить.

За этим (заметным по «Пуповине лимба» и «Нервометру») сдвигом центра тяжести — мучительная необходимость, постепенно заставляющая Арто, простившись с любыми иллюзиями, сосредоточиться на одной точке. «Точке небытия, опустошенности», вокруг которой он плутает сначала с какой-то желчной ясностью человека себе на уме, а потом — изводимого мукой, заставляющей его, как когда-то Сада, кричать от боли, но, вместе с Садом, так и не принужденного смириться, а сохраняющего прежнюю неукротимую силу, всегда равную обступающей его пустоте. «До чего же я хочу сдвинуться с точки небытия, точки опустошенности. Это топтание на месте изматывает, делает меня ничтожней всех и вся. Мне отказано в жизни, отказано в жизни! Вся эта буря у меня внутри совершенно мертва... Я так и не дохожу до *мысли*. Вы только почувствуйте эту брешь, эту плотную, неподатливую пустоту... Я не в силах сделать ни шага — ни вперед, ни назад. Я приморожен, пригвожден к одной и той же точке, о которой и говорю во всех своих книгах».

Не стоит впадать в ошибку и смотреть на оставленные им точные, надежные и подробнейшие описания как на анализ психологических состояний. Да, это описания, но описания битвы. Битвы, которую ему отчасти навязали. «Жизнь» для него — это жизнь «деятельная». Его «я не могу мыслить, я так и не дохожу до мысли» — призыв к мысли более глубокой, к непрестанному напряжению, к забытью, которое, мучась неспособностью забыться, требует забытья еще полнее. Мысль теперь постоянно отстает. А постоянно проигранный бой постоянно недотягивает до настоящего боя.

Неспособность для него недостаточно неспособна, невозможное — недостаточно невозможно. Вместе с тем Арто хочет снова и снова продолжать эту битву. Ведь только в ней он не порывает с так называемой «жизнью» (этим выплеском, этим ослепительным блеском), потерю которой не в силах переносить и которую стремится накрепко связать со своей мыслью, которую — в непомерном и чудовищном своем упорстве — не желает отличать от мысли, так что сама мысль становится лишь «эрозией» подобной жизни, «истощением» подобной жизни, таким глубочайшим переплетением разрыва и потери, что в нем уже нет ни жизни, ни мысли, а есть лишь нескончаемая пытка изначального изъяна, утверждающая необходимость в отрицании еще более безоглядном. И опять — в который раз — все начинается сызнова. Потому что Арто никогда не пойдет на сокрушительный раздел мысли и жизни, даже отдаваясь самому прямому, самому необузданному из возможных опытов и углубляясь этим в самую суть мысли как разделения, в ту беспомощность, которую она — себе наперекор — утверждает как границу собственной беспредельной мощи.

Страдать и мыслить

Соблазнительно сблизить слова Арто со словами Гёльдерлина или Малларме: вдохновение — это именно та чистая точка, где его нет. Но удержимся от соблазна излишних обобщений. Все поэты говорят одно, но мы чувствуем, что это — не то же самое, что для каждого оно — свое. У Арто — собственный удел. Сказанное им сказано с такой силой, которую вряд ли кто из нас способен перенести. Здесь говорит боль, отказавшаяся от всякой глубины, всякой иллюзии, всякой надежды, но этим своим отказом распахивающая перед мыслью «эфир небывалых пространств». Читая его страницы, понимаешь то, чего не достичь простым знанием: что мысль свидетельствует о себе одним-единственным — переворачивает все вверх дном; что предмет мысли и есть то, что от нее ускользает, что в ней истощается и никогда не истощится; что страдание и мысль втайне связаны, ведь если страдание, доходя до предела, отнимает саму способность страдать, всегда заранее, загодя уничтожая время, когда его можно ухватить и этим как страдание оборвать, то ведь ровно то же самое делает и мысль. Странная взаимосвязь. Или мысль и страдание открывают на последнем пределе один горизонт? А страдать, в конечном счете, и значит мыслить?

Перевод с французского БОРИСА ДУБИНА

АНДРЕ БРЕТОН

Говоря об Арто

Интервью для журнала «Огненная башня»

Жан Лоран. *Антонен Арто, по вашему мнению, «перешел на другую сторону». Можете ли вы уточнить вашу мысль?*

Андре Бретон. Вспомним сначала об аксиоме, что для поэзии, начиная с некоторого уровня, абсолютно несущественно душевное здоровье поэта. Поэзия обладает привилегией простирать свое царство далеко за узкие рамки рассудка. Для нее нет ничего хуже банальности и согласия всех со всеми. Со времен Рембо и Лотреамона мы знаем, что самые прекрасные песни — часто и самые запутанные. «Аврелия» Нерваля, поздние стихи Гёльдерлина, арльские полотна Ван Гога есть именно то, что

АНДРЕ БРЕТОН (ANDRÉ BRETON, 1896—1966) — французский писатель и художник, основоположник сюрреалистского движения и бессменный лидер группы сюрреалистов. Познакомился с Арто и вовлек его в деятельность группы в 1924 г., в конце 1926-го последовало отлучение, а хрупкий мир, наступивший в начале 28-го, уже в июне сменился новым разрывом; отношения восстановились лишь в 1936 г. и продолжились после выхода Арто из лечебницы в 1946г., хотя от предложения Бретона участвовать в выставке сюрреалистов 1947 г. в галерее Мэг Арто отказался.
Интервью взято у Бретона журналом «Огненная башня» («La tour de feu») в 1959 г.

мы более всего ценим в их творчестве. Эти произведения не остались в подсознании, «бред» освободил их, и, как бы подхваченные воздушным потоком, они достигли наших сердец.

Поэтому нелепо утверждать сегодня, что Арто не страдал ни малейшим помрачением рассудка и будто бы его несправедливо сочли сумасшедшим, лишили свободы и подвергли наихудшим мучениям под предлогом лечения. Попросту говоря, между человеком и обществом, в котором он живет, существует молчаливый договор, запрещающий некоторые формы поведения под страхом оказаться в стенах психиатрической больницы (или тюрьмы). Без сомнения, поведение Арто на борту парохода, на котором он в 1937 году возвращался из Ирландии, было именно из этого разряда. Это я и называю «оказаться с другой стороны», то есть, повинуясь неодолимой тяге, забыть о естественной осторожности и о санкциях, которые следуют за нарушением норм.

Ж.Л. *Когда вы встретились с Арто после Родеза, в каком он был состоянии? Он выздоровел?*

А.Б. Конечно, после Родеза на его благородном лице оставался явный след перенесенных страданий, и ничто так не переворачивало душу, как его измученный вид. В разговоре выяснилось, что он живет теми же интересами, что и в юности, и привносит в свои занятия столько же страсти. Его страстность, несмотря ни на что, умерялась веселостью (я еще слышу его не изменившийся за все это время смех). Прекрасные свойства его ума и сердца не потускнели. Но сказать, что он «выздоровел» в полном смысле слова, я не могу: скажем лучше, что бред, захлестнувший его несколькими годами ранее, был в 1946 году ограничен некими рамками. Он не рисковал выдать себя, если собеседник избегал определенных тем. Но достичь этого удавалось не всегда: так, он был убежден, что при его высадке в Гавре, по возвращении из Ирландии, произошел настоящий мятеж (с целью помешать ему выступить с некоторыми откровениями) и что я погиб при попытке прийти ему на помощь. Он часто упоминал об этом в письмах ко мне или в наших с ним разговорах. По одному этому можно заключить, что мир утратил для него свои обычные координаты. Я не рисковал возражать ему и поскорее переводил разговор на другое. Тем не менее пришел день — дело было утром, и мы вдвоем сидели на террасе кафе «Де маго», — когда он потребовал во имя всего, что нас объединяет, разубедить тех, кто отрицает истинность сего факта. И пришлось мне ему ответить (я старался найти обтекаемую формулировку), что в данном вопросе его воспоминания не подтверждаются моими. Он посмотрел на меня с отчаянием, и на его глаза навернулись слезы. Прошло несколько бесконечных секунд... Он сделал вывод, что оккультным силам, чей гнев он на себя навлек, удалось обмануть мою память. Потом мы не возвращались к этому разговору, но, по-моему, я несколько упал в его глазах.

Ж.Л. *Как бы то ни было, есть произведения Арто. Как он смог их создать? Принадлежат ли они душевнобольному или же человеку в здравом уме? Можете ли вы в нескольких словах определить их характер и значение?*

А.Б. Болезнь Антонена Арто была не из тех, которые, с точки зрения психиатрии, влекут за собой снижение интеллектуальных способностей. Существует распространенное заблуждение, что в подобном случае обязательно нарушается процесс образования понятий и связанные с ним функции. Однако не все так просто. Что касается Арто, то весьма существенные отклонения от нормы в суждениях о конечных целях и необузданная ярость, находящая выход в абсолютном словесном дебоше, свидетельствуют об острейшем внутреннем напряжении, которое, несмотря ни на что, еще долго будет нас волновать. При нынешнем состоянии наших знаний чересчур самонадеянной представляется попытка объяснить, путем каких заклинаний «перед зеркалом» Арто сумел незадолго до смерти написать такое *сверхпроницательное* сочинение, такой безусловный шедевр, как «Ван Гог». Крик Арто — подобно крику Эдварда Мунка — исходит «из пропастей души». И юность непременно признает своим это окаменевшее знамя.

Париж, 23 сентября 1959 г.

Перевод с французского ЕКАТЕРИНЫ ДЮШЕН

АНДРЕ МАССОН

Отблески воспоминаний

Думаю, Музиль проявил утонченное понимание человеческой души, сказав (я резюмирую), что безумны все; но есть тем не менее некоторая разница: нормальные люди страдают всеми видами психических расстройств, а так называемые сумасшедшие — лишь одним из них.

Нужно развить эту мысль по отношению не только к Арто, но и ко всем тем, для кого рамки современного «общества» оказались чересчур узки, кого оно, удалив от себя, отторгло.

Подспудно зреющий в душе, а затем разражающийся во всю силу гнев этих «нормальных сумасшедших» далеко не безоснователен.

Арто пророчествовал. Возможно, его гнев был вызван не столько тем, что он принадлежал этому миру, сколько тем, что он находился *внутри* него.

Мне кажется, я слышу его слова: «...то, во что они превратили жизнь» (они: благонамеренные, благопузые, благоразлегшиеся; но также и недалекие конформисты на ниве отрицания, все те, кто *совершает акт неповиновения только скопом*).

Надежда — это насмешка. И в особенности надежда Арто на сюрреализм. Столь быстро исчезнувшая надежда.

В его «примирении», наступившем после стольких мучительных испытаний, когда этот удивительно непокорный ум уже вступил на путь медленной агонии, я вижу скорее знак презрения. Либо проявление его юмора, столь специфического и, как ни парадоксально, мало кому известного.

Наша встреча в марсельском пригороде спустя некоторое время после его исключения[1]: «Вы не боитесь пожать руку зачумленному!» Так он приветствовал меня, когда я протянул ему руку.

Далее последовала беседа под сенью шелковиц, постоянно возвращавшаяся к теме социальной мерзости. В большом или в малом. Он говорил примерно следующее: все эти «малые сообщества» в конечном счете повторяют большое Общество: они немедленно порождают своих жандармов, своих судей, своих доносчиков.

Арто и театр. В первые дни нашей дружбы (приблизительно в 1922 году) он пришел на рассвете в мое ателье на улице Бломе (где было прекрасно работать, дверь не запиралась и войти мог каждый), встал рядом с моей постелью и начал выспрашивать: равно ли он интересен как писатель, актер, художник? (В художественном смысле, разумеется.)

Не забыть упомянуть об этом. Эта угасающая реальность заслуживает, чтобы ее *сыграли*. Во всяком случае, *первенство* должно остаться за ним.

Театр жестокий — клеймящий — украшенный фосфоресценцией преступления — совершенного или подавленного — и пробиваемый очистительной молнией.

Безумная, вычурная, скандальная мудрость Антонена Арто.

Перевод с французского ЕКАТЕРИНЫ ДЮШЕН

[1] Имеется в виду отлучение от группы сюрреалистов в конце 1926 г. после публикации манифеста «Театр Альфреда Жарри», созданного Арто, Р.Витраком и др. В Марселе Арто был в последних числах декабря 1926-го и первую неделю января 1927 г. (*Прим.сост.*)

АНДРЕ МАССОН (ANDRÉ MASSON, 1896—1987) — французский живописец, график, писатель, в 1924—1930 гг. близок к сюрреалистскому движению. Познакомился с Арто в конце 1922 г., постоянно виделся с ним в своей известной всему Парижу мастерской на улице Бломе, 45 (которую делил с Хуаном Миро), не раз его рисовал.

Заметки Массона об Арто публикуются по мемориальному номеру журнала «Огненная башня» (1977, № 136).

ЖОРЖ БАТАЙ

Сюрреализм день за днем

Антонен Арто

Вскоре я познакомился — *насколько это вообще возможно* — с Антоненом Арто. Это было в кафе на улице Пигаль, он сидел там вместе с Френкелем[1]: красавец, мрачный и поразительно худой, — денег у него, благодаря театру, хватало, но он все равно выглядел каким-то оголодавшим; ни разу не рассмеялся, не ребячился, как все мы, но — говорил он мало и неохотно — было в его чуть тягостном молчании донельзя раздраженного человека что-то необыкновенно красноречивое. Он был спокоен: в этой выразительной немоте не чувствовалось никакого надрыва — напротив, скорее налет какой-то грусти, подавленности, внутренней изведенности и муки. Он напоминал хищную птицу, попавшую в силок — запыленные, неухоженные перья, — уже приготовившуюся было взлететь, но застывшую на полуразмахе крыльев. Таким молчуном Арто и остался в моей памяти; добавлю еще, что менее словоохотливых людей, чем мы с Френкелем, не сыскать (а может, мы просто от него заразились) — так или иначе, говорить тогда не хотелось.

Арто что-то рассказывал Френкелю о своих бесконечных приступах, своей раздражительности; он был болен, принимал наркотики, и Френкель пытался как мог облегчить его существование. Они перебрасывались короткими репликами, общий разговор никак не клеился: так мы с Арто и познакомились, не проронив при этом ни слова.

Однажды вечером, уже лет десять спустя, я столкнулся с ним на углу улиц Мадам и Вожирар; отвечая на приветствие, он энергично сжал мою руку. В то время я пытался заниматься политикой, и он с ходу выпалил: «Мне говорили, вы затеяли много великолепного. Поверьте — мы просто обязаны сотворить здесь фашизм по-мексикански!» — и исчез, оборвав на полуслове.

Его слова напугали меня, но какое-то удивительное чувство согласия, причастности тому, что он сказал, стирало неприятный осадок от встречи.

Несколькими годами раньше мне случилось быть на лекции Арто в Сорбонне (в конце, правда, я к нему и не подошел). Он говорил о сценическом искусстве, и из того полусонного состояния, в котором я его слушал, меня вывело резкое движение — Арто вдруг встал. Я понял: он захотел передать нам все, что творится в душе Фиеста, когда тот осознает, что поглотил собственных детей. И вот, перед этими буржуа (в зале почти не было студентов), он ухватился обеими руками за живот и издал самый нечеловеческий крик, который только мог разъять губы человека: всем присутствующим стало не по себе, как если бы один из друзей враз обезумел у нас на глазах. Это было ужасно (и еще страшней становилось оттого, что вся сцена была лишь *разыграна*).

Позднее мне рассказывали, как закончилось его путешествие в Ирландию, как он попал затем в сумасшедший дом. Конечно, можно было сказать: он никогда не был мне близок... но я не мог отделаться от мысли, что давили и избивали меня самого, мою тень. Это было невыносимо; хотелось поскорее обо всем забыть.

В начале октября 43-го я получил странное письмо, сбивчивое и беспорядочное. Оно нашло меня в Везеле; та пора моей жизни была одновременно и прекрасной, и злополучной, сплетая в сегодняшнем воспоминании о том времени ощущение чуда и тревоги. В конце письма стояло имя Арто; я с ним, как уже говорилось, почти не был

---

[1] Теодор Френкель (1896—1964) — французский писатель-дадаист, примыкавший некоторое время к сюрреализму. (*Здесь и далее — прим.перев.*)

ЖОРЖ БАТАЙ (GEORGE BATAILLE, 1897—1962) — французский поэт, прозаик, разносторонний эссеист, во многом определивший пути развития французской мысли и словесности второй половины XX в. Автор романов «История ока» («Histoire de l'oeil», 1928), «Госпожа Эдварда» («Madame Edwarda», 1941), трактатов «Внутренний опыт» («L'expérience intérieure», 1943, рус.перев. фрагментов — 1994), «Литература и зло» («La littérature et le mal», 1957, рус.перев. — 1994) и др.

Две посвященные Арто главки из воспоминаний начала 50-х гг. о сюрреалистах переведены по Собранию сочинений Батая (Oeuvres complètes. V.8. P., 1976). © Gallimard , 1976.

знаком. Оно было послано из Родеза — именно там он прочел вышедший в начале года «Внутренний опыт»[1], — и в нем уже почти ничего не оставалось от разумного человека. Речь в письме шла о посохе и рукописи святого Патрика (предмете наваждений Арто по возврате из Ирландии), и якобы именно эта рукопись, которой суждено было перевернуть мир, исчезла. Однако написал он мне, разглядев вдруг между строк «Внутреннего опыта» мое истинное предназначение — уверовать, обратиться к Богу. Он не мог меня об этом не предупредить...

Жаль, но письма этого у меня больше нет. Кто-то, задумав издание писем Арто, спросил, нет ли чего-то и у меня. Я отдал письмо, хотя вряд ли тогда было время его публиковать... Я просто дал понять: это, несомненно, письмо безумца. Никак не могу точно припомнить, кто же у меня его попросил, — дело было давно, — а тот человек, у которого я справлялся, говорит, что ничего подобного от меня не получал. Так жалко, что письмо исчезло. Оно тронуло меня, а я, увы, не могу даже припомнить, о чем в нем точно шла речь. Действительно ли Арто писал мне что-то о святом Патрике, точно ли я передал этот эпизод? Вряд ли, конечно, я все уж совсем перепутал, однако память, хоть и держится цепко за то, что однажды потрясло ее, подвижна — она ускользает, стоит лишь поверить, что держишь ее в руках. И лишь эта мольба об обращении, эти будоражащие, жгучие слова ясно отпечатались в уме.

Предчувствие конца

После возвращения Арто из Родеза я видел его лишь мельком, на террасе кафе «Де маго». Он меня не узнал, да мне, честно говоря, того и не хотелось: выглядел он чудовищно разбитым; мне еще не доводилось встречать человека, постаревшего так резко и явно. Почти все, что он писал потом, нельзя было читать без щемящей боли; все, казалось бы, шло как надо, но не отпускало предчувствие чего-то ужасного, дикого — и неизбежного. Чуть раньше Анри Паризо показал мне пространную телеграмму, в которой доктор Фердьер, не пытаясь скрыть своего возмущения, возражал против опубликования писем, вышедших впоследствии под названием «Письма из Родеза». Паризо с трудом подыскивал эпитеты достаточно грязные, чтобы высказать все, что он думал по поводу главного врача Родезской психлечебницы. Я был на его стороне: мне тоже казалось, что книга должна выйти в свет, — к тому же такая публикация могла принести хоть немного денег, помочь бедняге свести концы с концами. С другой стороны, меня не оставляло беспокойство: Арто был не безнадежен, его еще можно было спасти, а после публикации этих вещей к нему окончательно прилепился бы ярлык сумасшедшего. Можно, разумеется, счесть Арто — особенно в данном случае — стоящим выше обыденных представлений о разуме и безумии, да и действительно ли эти понятия так уж разнятся? А может, наоборот, всеобщее забвение помогло бы Арто по-настоящему вылечиться, уже навсегда? Но, так или иначе, оскорбления, сыпавшиеся со всех сторон на доктора Фердьера, казались мне тогда невыносимыми. Такая несдержанность еще была как-то объяснима со стороны самого Арто: Фердьер использовал в лечении электрошок, а это, безусловно, не всегда находило понимание у пациента. Но друзья, должны ли они были так безоговорочно верить ему в столь чувствительном вопросе? Я знал Фердьера, и, по-моему, он мог вывести больного из себя, порою сам того не желая. Это был неплохой малый — что, впрочем, частый случай среди склонных к анархизму субъектов, — вязнущий, правда, в собственной высокомерной болтовне, этакий действующий на нервы пустомеля. Он, несомненно, сделал все, что в его силах, и, даже если в чем-то и был неловок (впрочем, этого мы уже никогда не узнаем — рассказать об этом может лишь сам Фердьер, и вряд ли он допустил какую-нибудь неосторожность сознательно), улучшением своего состояния Арто во многом обязан именно ему. Эти поразительные письма, последние закатные отблески развалин сюрреализма (на примере которых, однако, по-прежнему видишь, до чего изумительным и неповторимым было это дви-

[1] «Внутренний опыт» (1943) — трактат Ж.Батая.

жение), не будь Фердьера, наверное, так и не увидели бы света — даже несмотря на ту безрассудную телеграмму.

Книгам Арто по плечу то, на что не решаются другие: они способны сокрушить привычные границы и пределы, перешагивая через них одним резким шагом; их жестокая лирика плюет на собственные красоты, отказываясь терпеть даже те чувства, точнейшим образом которых она и является. Когда Морис Бланшо писал об Арто (1946), он привел следующие его слова: «Я начинал в литературе книгами, написанными лишь затем, чтобы объяснить, что совершенно не могу писать. И всякий раз я думал только об одной вещи: о той, в которой мне наотрез отказано. Мыслей у меня в голове не было никогда, и две мои тоненькие книжки, по семидесяти страниц каждая, держались как раз на этой бездонной пропасти — неисправимом, хроническом отсутствии каких бы то ни было мыслей...» После идет комментарий самого Бланшо: «К таким словам просто нечего добавить — их искренность подобна прямоте ножа; ясностью предвидения они превосходят все, что литераторам когда-либо случалось писать о самих себе, и блистательно показывают, до чего проницательным может стать разум, пройдя испытание Чудесным». На мой взгляд, в этой фразе подведен итог всей истории сюрреализма — с того самого дня, когда его устремления еще лишь робко вырисовывались. Мне кажется, Бланшо прав, указывая последними словами на сам принцип движения, которому так часто удавалось избежать подводных камней и того впечатляющего крушения, которое, как мы видим на примере последних лет Антонена Арто, граничит с настоящей катастрофой.

Собственно, на заре сюрреализма бешеная активность Арто была ничуть не менее значимой, чем в период, ставший, по-моему, закатом движения. Насколько я помню, именно он написал основную часть знаменитой декларации от 27 января 1925 года, которая, может быть, и не стала самым ярким выражением принципов зарождающегося сюрреализма, но до сих пор важна для меня как первый сюрреалистический текст, с которым я познакомился (через Лейриса[1], который передал мне его по возвращении с юга, о чем я уже рассказывал), и как залог того союза, который, казалось мне тогда, был честным и безусловным, а на деле оказался лишь недоразумением.

Полностью эта декларация опубликована Морисом Надо[2] в «Сюрреалистических документах»[3], я же приведу здесь лишь второй абзац:

«*Сюрреализм* — это не новый или более простой способ выражения, это даже не метафизика поэзии. Это средство полного освобождения духа и *всего, что на него похоже*».

И ниже:

«*Сюрреализм* — это вопль духа, который вечно обращается к самому себе и готов отчаянно крушить всякие преграды на этом пути».

Я прочел эту декларацию за столиком в кафе, смятенный и оцепеневший одновременно: в этом странном состоянии я тогда — с большим для себя трудом — *существовал*. И по сей день, когда я пробегаю глазами по этим строчкам, буквы сначала складываются в «...вопль духа, который вечно обращается *против* самого себя...» Даже зная правильный вариант, я все равно сбиваюсь, так сильна во мне ненависть к этому «духу» — и даже не столько к воплощению разума или образованности, но к Духу с большой буквы, высокомерно отделяющему свои «браки на небесах» от того, что творится обычно в грязи. И «освобождение духа» я точно так же воспринял как «вызволение ото зла»! Быть может, я не так уж и заблуждался — или был прав лишь наполовину, — и именно к разуму я обращаюсь сейчас с полным на то основанием, говоря об Арто, который, написав сказанное выше в 1925-м, в 46-м выпалил: «О дух, созерцает подливка тебя / взираешь и ты свысока на нея / А бесконечность — какая брехня!» Но это, в конце концов, уже совсем близко той открытости, той пустоте, что отличает шорох, неотвратимо тающий в воздухе, — и вот он уже не слышен.

Перевод с французского СЕРГЕЯ ДУБИНА

---

[1] Мишель Лейрис (1901—1990) — французский писатель, близкий к сюрреализму, этнолог-африканист.

[2] Морис Надо (р.1911) — французский литературный критик, автор первой «Истории сюрреализма» (1945), книгоиздатель.

[3] Второй том «Истории сюрреализма», изданный в 1948 г.

АРТЮР АДАМОВ

Высочайшая вершина бездны

Я буду говорить здесь о творчестве Антонена Арто, а не о «казусе Арто». Последнее не только гнусно, но и совершенно не подходит для Антонена Арто. Эти слова наводят на мысль о деградации и об отъединении, о чем-то таком, что, отделившись от целого, ускользает и теряется. Быть может, и во взглядах, и в жизни Арто происходили чудовищные изменения. Но эти изменения, сами по себе жестокие, испытали на излом весь его человеческий строй.

Антонен Арто, единственный из нашей эпохи, потому и открыл заново смысл театра — а это и поныне театр жестокости, — что в жизни он также был персонажем, испытывавшим ужас и приносимым в жертву. Жестокость есть место встречи человека с законами вселенной. Некоторые из людей — те, кого всегда называли поэтами или пророками, вечные недруги города и церкви — переживают личную драму, которая рождается там, где личность познает эти законы через страдание.

Такие вещи не принадлежат миру — тому миру, от которого Арто считал себя отрезанным. В эту глубокую и темную область нет доступа языку. И потому здесь я буду говорить только о том, о чем сказать было бы необходимо. Но одновременно я спрашиваю себя, есть ли у меня право об этом говорить. Когда Паскаль утверждал, что человеку не дано понимать крайности, он имел в виду пределы, выйти за рамки которых позволено лишь личному опыту; человеку дано испытать некоторые экстремальные состояния и, может быть, их описать. Но никто не способен выразить то, что в действительности запечатлелось в его душе.

Я хотел бы только сказать, что есть люди (и я из их числа), считающие Арто самым крупным из ныне живущих поэтов, поэтов нашей эпохи, которая, на что бы она ни претендовала, поражает отсутствием поэтов.

Глубокая оригинальность творчества Арто состоит в том, что оно представляет собой подробный и леденящий душу отчет о состояниях — состояниях сознания, психологических состояниях, ни в коей мере не выдуманных, но пережитых в действительности, — ведущийся почти до самого смертного часа.

Сегодня еще никто, кроме, быть может, другого абсолютно неизвестного великого поэта, Роже Жильбера-Леконта[1], не проник столь глубоко в сумерки всепоглощающей пучины. С душераздирающей силой, какой до него обладал лишь Лотреамон, Антонен Арто открывает нам в своей прозе бездны телесной и психической жизни, приникая таким образом к глубинному ужасу истоков.

«Будь благословенна, о плоть, ибо ты защищаешь нас от ужаса костей», — говорится в одном из текстов майя.

В наши дни, наверное, только Арто обладает силой, позволяющей снять с существования маску из плоти и добраться до чудовищного скелета вещей.

Я хотел бы также оспорить точку зрения, согласно которой Арто когда-то был большим поэтом, но в наши дни это уже не так. Эта мысль была бы чудовищна, не будь она смехотворна и не имей своим источником невежество. Говорили даже, что Антонен Арто умер. Настало время расквитаться с этими баснями.

---

[1] Роже Жильбер-Леконт (1907—1943) — французский поэт-метафизик, лидер группы «Большая игра», близкой к сюрреалистам (распалась в 1932 г.). *(Здесь и далее — прим.перев.)*

АРТЮР АДАМОВ (ARTHUR ADAMOV, 1908—1970) — французский драматург и прозаик, родился в России (с 1924 г. жил во Франции), один из основоположников — наряду с Ионеско и Беккетом — «театра абсурда» в конце 40-х — начале 50-х гг. Автор пьес «Маневры большие и малые» («La grande et la petite manoeuvre», 1950), «Пародия» (La parodie», 1950), «Паоло Паоли»(«Paolo Paoli», 1957), «Весна 71-го» («Printemps, 71», 1963, рус.перев. 1968) и др. Работал у Арто в «Театре Альфреда Жарри» на постановке «Игры снов» Стриндберга. Именно Адамов (и дружная с ним писательница, теоретик литературы, крупнейшая исследовательница творчества Кафки Марта Робер) добился от главного врача клиники в Родезе, д-ра Фердьера, согласия на выписку Арто; Адамов же взял на себя и хлопоты по сбору средств на дальнейшее существование писателя. Он не раз вспоминает Арто в своих мемуарах «Мужчина и ребенок» («L'homme et l'enfant», 1968).

Текст выступления Адамова 7 июня 1946 г. на вечере в театре Сары Бернар, где вернувшегося Арто приветствовала литературная общественность, начиная с А.Бретона, и где исполнялись его произведения, вышел через несколько дней в газете «Жуэн» («Juin», № 18, 18.06.1946).

Несмотря на все вполне реальные гонения, которые пришлось перенести Арто — и со стороны других людей, и со стороны безымянных сил, его преследовавших и травивших, — творчество Арто стало лишь более значительным, и вы сможете судить об этом сами, когда будете слушать его тексты.

Последние произведения Арто — «Милосердие для бедного Попакатепетля» («La charité pour le pauvre Popocatépetl esse vé épé»), «Сообщники и заклинания» («Suppots et suppliciations») — не обладают той безупречной архитектурой, как текст «Кто у груди» («Qui au sein») в книге «Искусство и смерть» («L'Art et la Mort»). Но искусство в привычном смысле отступает здесь на второй план для того, чтобы освободить место для чего-то более существенного. Сквозь разорванную структуру к нам проникает свет куда более редкий. Никогда еще творчество Антонена Арто не подходило столь близко к той смутно предвосхищаемой точке рассудка, место которой Андре Бретон полагает «поверх противоречий» и которую в заметках, недавно опубликованных в «Новом часе»[1], Роже Жильбер-Леконт называл «высочайшей вершиной бездны, центральной внутренней вершиной всего».

Я не думаю, что во всей современной литературе найдутся страницы, бередящие душу более, чем те, с которых начинаются «Новые откровения Бытия», где Арто утверждает, что нашего мира нет и в каком именно смысле его нет. Там же он говорит и о себе самом, не умершем, но отъединенном. Читая «Новые откровения Бытия», мы получаем доступ к сознанию пророка. Тревога и чистое сознание длительности становятся взглядом, направленным на созерцание бездонных пропастей будущего.

Но в свой черед преодолевается и пророчество. Теперь время уже не просто опрокидывается автором. Времени больше не существует.

«Я больше не буду произносить пророчеств, — писал Антонен Арто в письме несколько месяцев назад, — больше не будет ни гадания на картах таро, ни по-настоящему мятежных записок с протестом против всего, что ограничивает работу сознания, расставляя ему обветшалые препятствия. Недостаточно перекладывать все на комплексы...»

Последние произведения Арто приобретают временами свойства беспрецедентных видений. Процитирую несколько строк:

«Мертвая девочка говорит: я та, что хихикает от отвращения в легких у живой. Пусть меня уберут оттуда».

Но более всего поражает в этих текстах форма, полностью придуманная заново, словесные находки, некое фонетическое чудо, обновляющееся вновь и вновь. Фраза не только ломается пополам, как раньше, деконструируется, издает нечеловеческий скрежет, но поднимается до заклинания. <...>

В нашу эпоху дематериализации, когда большинство поэтов отказывается не только от стиха, но и от слова, изменяя традициям Рембо, когда Кафка, самый гениальный из всех, оставив всякие поиски формы, возвращается к великим молчащим образам в глубине коллективного бессознательного, — в наше сумеречное время, когда все валится в пропасть, творчество Антонена Арто представляется страстной провокацией, реваншем магических сил, слишком долго пребывавших под спудом и в немилости и теперь «выходящих на свет».

Тем не менее это творчество, поскольку оно выражает состояние человека, отъединенного от других, остается «абсолютно современным» в том смысле, какой придавал Рембо этому ныне абсолютно опошленному слову.

Это топтание, это нагромождение, эта постоянная возгонка звуков, слов, фраз — у Арто вовсе не пережитки символизма или романтизма, их истоки в другом.

Ожесточение языка в творчестве Антонена Арто является знаком, симптомом ожесточения страданий и признаком протеста. Это крик существа, мучимого небытием.

Я знаю, что некоторые из вас осудят меня за то, что я наслаждаюсь отчаянием и темнотой. Но можно ли ограничивать себя эстетическими рамками, когда речь идет о творчестве Антонена Арто, в котором поэзия, пребывающая в зачаточном состоя-

---

[1] «L'Heure Nouvelle» — газета, издававшаяся А.Адамовом.

нии, оказывается со всех сторон затопляема той самой стихией, которая дает ей жизнь и имя которой *безмерное страдание*? Хотя бы на мгновение потерять из виду этот центр существа означает предать Антонена Арто, который в «Театре и его двойнике» утверждал следующее:

«И если есть в наших временах нечто дьявольское и поистине проклятое, то это как раз художественная зацикленность на формах; между тем мы должны быть подобны претерпевающим казнь, которых сжигают, а они все продолжают подавать толпе знаки со своих костров»[1].

Перевод с французского ЕКАТЕРИНЫ ДЮШЕН

ПОЛЬ ТЕВНЕН

Автопортрет Арто

Глаза смотрят влево, за левый край бумаги. На самом деле они обращены вправо, на восток, на тот Восток, где завязалась драма, о которой взгляд свидетельствует. Не про этот ли рисунок Антонен Арто обмолвился, что изобразил себя на пути в Индию пять тысяч лет назад? Или он — из еще большего далека, к примеру из Монголии или того края у пределов Восточной Сибири, где, по словам Арто, «еще десять тысяч лет назад секта в тридцать тысяч человек поклонялась бычьему глазу в стене»? Может быть, он глядит в сторону Лхасы или хотел нарисовать склоны Гауришанкара? Лицо, которое он нам открыл, которое сам увидел, которое хотел увидеть в тот миг, как будто лишено собственной сути — это, скорее, говоря опять-таки его словами, «опустошенная сила, пространство смерти».

Как на всех его портретах, голова лишена тела. Шея вздымается из какой-то магмы, потрясенного мира нарождающихся форм. Но нигде, кроме этого беспримерного автопортрета, лицо с такой силой не выражает «извечный революционный протест формы, не желающей соответствовать никакому телу, явившейся вовсе не затем, чтобы снова быть телом».

Плоти на аскетическом, обращенном за пределы жизни лице нет: это кости, обтянутые бескровной кожей. Глаза, сказала я, смотрят вправо. Нет, не совсем. Правый действительно смотрит вправо. А взгляд левого раздваивается. Он как бы скользит вправо, но устремлен куда-то намного дальше, намного глубже, внутрь страницы.

Лоб огромный, с легкими залысинами, сквозь кожу проступают бугры лобной кости. Посередине, над самым основанием искривленного кахексией[1] носа, — треугольная выемка, нет, скорее паз, слуховое окошко, как бы обнажающее само вещество мозга, этого «органа, созданного на краткий срок и проклятого уже с рождения». Вещество мозга, злобное органическое его вещество и диктует взгляду, придает лицу этот взгляд, который через сорок лет после смерти — после того, хочу я сказать, как застыла в принудительной неподвижности рисовавшая его рука, — по-прежнему буравит едва ли не бесконечное пространство. «Доли мозга не бесконечны, но и вне их бесконечности нет: она открывается, когда мозг доходит до дна/ и задевает темную сторону жизни, /когда мозг, чтобы вместить реальность, воображает себя подземельем, вместилищем,/ это вместилище и создает бесконечность».

---

[1] Цит. по кн.: *А.Арто*. Театр и его двойник. М., 1993, с.12.
[2] Кахексия — крайняя стадия болезненного истощения. (*Здесь и далее — прим.перев.*)

ПОЛЬ ТЕВНЕН (PAULE THÉVENIN, 1918—1993) — медицинская сиделка и друг Арто последних лет, дешифровальщица его рукописей и бессменный редактор посмертных собраний сочинений, автор статей о его биографии, словесном и изобразительном творчестве, собранных в книге «С вами говорит безнадежный по имени Антонен Арто» («Antonin Artaud, ce Desésperé qui vous parle», 1993), по которой и сделаи данный перевод.
Родственники Арто не разрешили Тевнен привести описываемый здесь рисунок в ее книге. В примечании она отсылает французских читателей к репродукции в альбоме, подготовленном ею раньше вместе с Жаком Деррида (Artaud. Dessins et portraits. Paris, Gallimard, 1986).
© Editions de Seuil, 1993

Лицо совершенно неподвижно. Губы запечатаны последней тайной. Все, что должны были сказать, они сказали. Только правое ухо, слишком заметное, слишком прорисованное, еще открыто для жизни. Оно выглядывает из-под куда более приглаженных, более прибранных, чем на всегдашних автопортретах, волос и повернуто к неведомому звуку.

Под отсеченной шеей — какой-то цилиндрический предмет (кофеварка, подсказал Арто). Книзу он слегка заострен. С острого края свешивается нечто круглое: огромная капля, или «внутренний брелок», из материала более плотного, чем жидкость, — может быть, дерево, металл или плоть.

Если взглянуть на рисунок чуть издали, господствующее положение головы на листе, ее размеры создают впечатление поясного портрета. Тогда сдвинутый на рисунке вправо — а на самом деле влево — кофейник занимает место сердца во вскрытой грудной клетке. Чувствуешь энергию, которую ему необходимо распределить, его ведущую роль в необходимом восстановлении тела. Может быть, эта готовая вулканически закипеть механика и питает неподвижное лицо?

На уровне, условно говоря, правого плеча — еще одна голова. «Она меня душит», — объяснял Арто. На ней что-то надето, лицо полускрыто распущенными волосами. Напоминает Медузу до того, как Афина покарала ее за чрезмерную красоту, — Медузу опять-таки с отрубленной головой и склонившимся искаженным лицом утопленницы. Глаза у нее закрыты. Но, может быть, они всего лишь опущены и смотрят в землю? Давя человеку на грудь своим подбородком, она не дает дышать.

Основных составляющих, главных фигур на рисунке — как сторон света — четыре. Четвертая — это рука справа, которая завершает эмблему. Путаница линий, идущих от тяжелой склоненной головы, смыкается с чем-то вроде арки, расположенной в самом низу листа и замыкающей этот фантастический герб. Арка — в черных пятнах; может быть, это сучки дерева, из которого она изготовлена. Особенно заметны они на вертикальном стволе посредине, который отходит от нее вверх и затем обрывается. Но, может быть, это металл, и перед нами брошенный в морские глубины громадный якорь в пятнах ржавчины на лапах и веретене? Правая лапа якоря не дописана, отсечена краем листа, за который уходит. Но перед самым вторжением в другое пространство из этого обрубка недорисованной якорной лапы подымается что-то вроде наклонного ствола. На самом деле это запястье — запястье левой руки, которая видна сбоку и пальцы которой сжаты. Можно довольно хорошо разглядеть указательный и средний, приближенные к большому. В проем между ними просовывается запястье другой, более крупной на вид руки. Она без труда закрыла бы изможденное лицо, нависающее над этой разыгрывающейся у нас на глазах драмой. Она покоится, условно говоря, на левом предплечье, хотя Арто изобразил здесь правую руку. Правой рукой он выводит правую руку, и это — самая проработанная часть рисунка. Она же и самая живая. Я хочу сказать, эта рука — теплая и тяжелая, ее не назовешь бесплотной, она еще связана с землей, готова в ней рыться. Рука, рисующая сама себя, — бывают ли автопортреты достоверней и откровенней?

Указательный и мизинец подняты. Мизинец, сам по себе тоньше и хрупче, длиной не уступает указательному, который нацелен на губы, сжатые, чтобы, кажется, никогда не размыкаться. Мизинец же, совершенно вертикальный, направлен в небо. Средний и безымянный пальцы согнуты крючком. Большой, невероятно толстый и длинный, отведен в сторону от указательного. По форме он напоминает рыбину.

Что должна означать эта рука, что хочет сказать ее жест, геральдический и проклинающий разом? И тем не менее что-то в ней успокаивает, умеряет, затушевывает тревожную странность взгляда, бесстрастие словно бы уже ничего не ждущего лица. Она, я говорю, живая и еще может сжаться, коснуться, схватить, двинуться.

Две эти руки, одна на другой, занимают всю правую часть рисунка, этого щита, расположенного перед мужским торсом. Справа от верхней руки, у перехода ее в запястье, как бы подвешено гигантское ухо. Ухо или ручка? Арто говорил, что это скрытый чайник, чайник, которого на рисунке не видно.

Среди всех его рисунков этот для меня — один из самых загадочных, самых притягательных. В нем больше всего скрытого смысла, тайн, вырванных у смерти, той

смерти, за образом которой он не переставая гнался: «Образ вашего мертвого тела — вот за чем я гонюсь, а не за движениями того, кем вы хотите казаться./ Я живописец будущих трупов».

После этих смертных слов передо мной снова, уже в который раз, встает загадка даты, проставленной Арто внизу, посередине: «декабрь 1948». Опиской — на которую я указала ему сразу же, как только он это вывел, — всего не объяснишь. «Скончавшийся, чтобы больше уже не умирать, больше уже не повиноваться совершенно *необязательной* воле гроба», Антонен Арто стал свидетелем своего конца 4 марта 1948 года. Может быть, он хотел разом изобразить здесь, на пути в Индию, и смерть, и неподчинение смерти — то самое неподчинение, которое воплотил на бумаге в виде могучей руки с двумя победно поднятыми пальцами?

Я стремилась к одному: попытаться понять, чем этот рисунок так притягивает меня, чем он так будоражит, так трогает. Стараясь это осмыслить, я попробовала описать, пересказать его себе словами. Никакому языку эстетики или теории не передать неотвратимую силу пережитого чувства. Именно поэтому я удерживалась от любых отсылок к науке или красоте линий. Чего Арто никогда не искал, так это искусства: «Эти рисунки так и нужно воспринимать во всем варварстве и хаосе начертаний, забота которых — отнюдь не искусство, а откровенность и самопроизвольность каждой линии».

4 января 1986 г.

Перевод с французского БОРИСА ДУБИНА

СЬЮЗЕН СОНТАГ

На пути к Арто

...Любая написанная «вещь» двузначна. С одной стороны, она — неповторимый, особый и, так или иначе, уже сделанный литературный шаг. С другой — это надлитературное (часто резкое, порой ироничное) заявление о недостаточности литературы по меркам предельных понятий о мысли и об искусстве. Взятая как идеальный проект, мысль задает такой масштаб, что всякая готовая «вещь» обречена на ограниченность. По образу героической мысли, которая стремится как минимум к исчерпывающему самопониманию, литература тоже стремится к «исчерпывающей книге». Измеренное таким эталоном, практически все написанное оказывается отрывками. Обычный стандарт завязки, кульминации и развязки больше не работает. Незаконченность теперь — основной залог творчества и мышления, порождающих антижанры, сознательно фрагментарные или перечеркивающие себя произведения, самоуничтожающиеся мысли. Но даже успешное ниспровержение прежних клише все равно не заслоняет и не собирается заслонять крах подобного искусства. Говоря словами Кокто, «единственная победа написанного — это его провал».

Жизненный путь Антонена Арто, одного из последних великих представителей героического периода литературного модернизма, — явственный итог подобных переоценок. И в творчестве, и в жизни Арто потерпел крах. Его наследие включает лирику; стихотворения в прозе; киносценарии; статьи о кино, живописи и литературе; эссе, диатрибы и споры по поводу театра; несколько пьес и наброски бесчисленных

СЬЮЗЕН СОНТАГ (SUSAN SONTAG, род. в 1933 г.) — американская писательница, литературный и художественный критик, режиссер театра и кино. Автор нескольких романов (последний — «Страсть к вулканам», «The Volcano Lover», 1992), сборников новелл («Я и др.» — «I, Etcetera», 1978), книг эссе о современной культуре и художественном авангарде Европы и США «Против интерпретации» («Against Interpretation», 1966), «О фотографии» («On Photography», 1976), «СПИД и его метафоры» («AIDS and its Metaphors», 1989). Эссе Сонтаг в русских переводах печатались в «ИЛ» (1992, № 1; 1996, № 4) и другой периодике.

Два фрагмента из обширного предисловия Сонтаг к составленному ею для американского читателя «Избранному» Арто — во Франции оно вышло отдельной книгой — переведены здесь по этому изданию (N.Y., Farrar, Straus & Giroux, 1973).

сценических замыслов, в том числе оперы; исторический роман; четырехчастную монодраму для радио; очерки о культе пейотля у мексиканских индейцев тараумара; блестящие роли по крайней мере в двух выдающихся фильмах («Наполеоне» Абеля Ганса и дрейеровских «Страстях Жанны д'Арк») и множестве более мелких; наконец, сотни писем, наиболее законченного у него «драматического» жанра, — разрозненный, обезображенный свод созданного, гигантское скопище обрывков. Он оставил потомству не чеканные образцы искусства, а сам неповторимый факт своего существования, поэтику, эстетику своей мысли, теологию культуры и феноменологию муки.

А.Арто. Портрет Колетт Алленди. 25 августа 1947г.

Художник-пророк на первых порах кристаллизуется у Арто в образе художника как чистой жертвы собственной мысли. Предвидения Бодлера в его лирической прозе о сплине и отчет Рембо о лете в аду воплощаются у Арто в формулировку о беспрестанном, агонизирующем сознании несоответствия между мыслью и мыслящим — о мучительном чувстве непоправимой оторванности от собственного мышления. Мысль и речь обрекают на вечную Голгофу.

Согласно метафорам Арто, передающим его умственное бессилие, ум — либо собственность, которая никому не принадлежит целиком (или же право на нее потеряли), либо материальная, но неподатливая, мимолетная, ненадежная и до неприличия переменчивая субстанция. Уже в 1921 году, двадцатипятилетним юношей, он видит свою беду в неспособности овладеть собственной мыслью «во всей полноте». Через все двадцатые проходят жалобы на то, что мысли его «покинули», что он не в силах «найти в себе» ни единой мысли, что его собственный ум для него «недостижим», что он «потерял» смысл слов и «забыл», как думают. Прибегая к еще более наглядным метафорам, он обрушивается на хронический распад своего мышления, на то, что мысль рассыпается у него на глазах или просачивается сквозь пальцы. Он описывает, как его мозг разваливается, портится, застывает, разжижается, сворачивается, опустошается, каменеет в полной непроницаемости: кажется, здесь гниют уже сами слова. Арто изводит не сомнение, мыслит ли его «я», а убежденность в том, что он своей мысли не хозяин. Он не говорит, будто не способен мыслить, — он говорит, что не в силах собственной мыслью «владеть», а это для него стократ важней, чем иметь правильные мысли или оценки. «Владение мыслью» означает процесс, посредством которого мысль себя удерживает, открывает себя себе и откликается «на любые стечения чувств и обстоятельств». Это состояние мысли как объекта и вместе с тем субъекта себя самой Арто и имеет в виду, жалуясь, что им не «владеет». Арто показывает,

как гегельянский, режиссерский, самонаблюдающий разум может (вопреки невозмутимому и всеобъемлющему пониманию) прийти к полной отчужденности именно в силу того, что мышление для него — объект.

Сам употребляемый Арто язык глубоко противоречив. По складу воображения он — материалист (дух для него воплощен в вещах или объектах), но непомерные требования к духу подымают его до чистейшего философского идеализма. Сознание для него мыслимо только как процесс. Тем не менее именно процессуальность сознания — его неуловимость, текучесть — и превращается для Арто в сущий ад. «Настоящая мука, — говорит Арто, — чувствовать, как любая мысль сама по себе меняется». Cogito[1], чьему слишком очевидному существованию, казалось бы, нет нужды в доказательствах, пускается на отчаянные, безнадежные поиски ars cogitandi[2]. Мысль, с ужасом замечает Арто, это чистейшая случайность. В противоположность Декарту и Валери, повествующим в своих проникнутых оптимизмом эпических полотнах о пути к ясным и отчетливым идеям, этой Божественной Комедии разума, Арто сосредоточен на бесконечной нищете и тщете взыскующего себя сознания, на «драме интеллекта, в которой ты всегда и заранее побежден», на Божественной Трагедии разума. Он описывает себя как «неустанного охотника за собственным интеллектуальным «я».

Главное последствие приговора, вынесенного Арто самому себе, — а он убежден в хроническом отрыве от собственного сознания, — в том, что интеллектуальный дефицит явно или неявно становится преимущественным и неисчерпаемым предметом его сочинений. Иные отчеты Арто о крестной муке его ума почти невыносимо читать. На чувствах — панике, смятении, гневе, страхе — он задерживается редко. В чем он взаправду силен, так это не в психологическом проникновении (его он с излишним пристрастьем почитает банальностью), а в подходе куда более редком, в своего рода физиологической феноменологии бесконечной отчужденности. Заявляя в «Нервометре», что никто на свете не картографировал свои «сокровенные глубины» с такой скрупулезностью, Арто не преувеличивает. В истории всего написанного от первого лица еще и впрямь не было такого неутомимого и детального отчета о микроструктуре самих мучений мысли.

...Арто оставил после себя самое большое *количество* страданий в истории литературы. Дошедшие от него многочисленные картины мук настолько безжалостны и пронзительны, что ошеломленным читателям впору поддаться искушению и отстраниться от них, вспомнив, что Арто был сумасшедшим.

Как ни понимать сумасшествие, которым все кончилось для Арто, болен он был всю жизнь. История его изоляции в психбольницах коренится чуть ли не в отрочестве, задолго до приезда в Париж, куда он прибыл из Марселя в 1920 году, двадцатичетырехлетним, чтобы начать свой путь в искусстве, а пожизненная привязанность к опиатам, смягчавшим умственное расстройство, сложилась, по-видимому, и того раньше. Не обладая спасительным знанием, которое позволяет большинству людей здраво относиться к не очень значительной боли, — знанием, которое Ривьер назвал «бередящей непроницаемостью опыта» и «простодушием фактов», — Арто не изведал за всю жизнь ни минуты, совершенно свободной от вечно висящей над ним угрозы безумия. Но попросту счесть его безумцем, узаконив тем самым упростительскую мудрость психиатров, значит по сути перечеркнуть доводы Арто.

Для психиатрии между искусством («нормальным» психологическим феноменом, проявляющимся в объективных эстетических границах) и патосимптоматикой лежит четкий водораздел — тот самый водораздел, который отвергал Арто. В письмах 1923 года к Ривьеру Арто упорно поднимает вопрос об автономности своего искусства, о том, что, вопреки признанному умственному расстройству, вопреки «неустранимым изъянам» психической деятельности, отделяющим его от других людей, посланные им в журнал стихи — это тем не менее *стихи,* а не просто психологические свидетельства. В ответ Ривьер с нескрываемым сочувствием уверяет корреспондента, что тот,

---

[1] Мыслю (*лат.*); здесь — субъект мысли.
[2] Искусство мышления (*лат.*).

вопреки нынешнему умственному разладу, станет когда-нибудь настоящим поэтом. Теряющий терпение Арто, меняя исходный посыл, отвечает: он хотел бы засыпать ров между жизнью и искусством, молчаливо подразумевавшийся и в его собственном первоначальном вопросе, и в доброжелательном, но неуклюжем приободрении со стороны Ривьера. Он решает защищать свои стихи, какими бы они ни были, — за достоинства, которыми они обладают именно потому, что создавались, уж если быть совсем точным, не как искусство.

Задача читателя Арто — не принимать без оговорок точку зрения Ривьера, как будто безумие и здоровье могут объясняться друг с другом только на территории здоровья, на языке разума. Смысл душевного равновесия не есть нечто «вечное» или «естественное»; ровно так же не существует самоочевидного, общепризнанного понятия о сумасшествии. Представление о ненормальности того или иного разряда людей — это часть истории мысли и должно определяться исторически. Безумие означает отсутствие смысла — иными словами, то, что не стоит принимать всерьез. Но это целиком диктуется тем, как та или иная конкретная культура понимает смысл и серьезность, а определение подобных вещей на протяжении истории не раз и не два менялось. Так называемое сумасшествие обозначает то, о чем, по понятиям данного общества, не следует думать. Безумие — это понятие, закрепляющее границы: рубежи безумия отчеркивают «иное». Сумасшедшим признается тот, чей голос общество не желает слушать, чье поведение выходит за рамки, кто должен быть репрессирован. Разные общества по-разному определяют сумасшествие (или то, что лишено смысла). Похожи они в одном: ни одна из подобных дефиниций не универсальна. Грубейший отход от обычной практики в Советском Союзе, где политических оппозиционеров сажают в психушки, понимается у нас во многом неадекватно: в нем видят не просто зло (каковым оно и является!), но к тому же шулерскую подтасовку понятий душевного заболевания. Имеется в виду, что существует всеобщий, безукоризненный, научный стандарт душевного здоровья (применяемый в психиатрических службах таких стран, как, скажем, Соединенные Штаты, Великобритания или Швеция, а не таких, как, допустим, Марокко). Это попросту неправда. Определения здоровья и безумия в любом обществе — область произвола, а если говорить более широко, сфера политики.

Арто обостренно чувствовал репрессивный смысл понятий здоровья и безумия. Он видел в безумцах героев и мучеников мысли, вынесенных прибоем на особую точку предельного общественного (а не только психологического) отчуждения, своего рода добровольцев сумасшествия — тех, кто, руководствуясь высшим понятием о чести, предпочтет шагнуть в безумие, нежели поступиться обретенной ясностью, безоглядной страстью в отстаивании собственных убеждений. В письме Жаклине Бретон из виль-эврарской клиники в апреле тридцать девятого, через полтора года своего, оказавшегося девятилетним, заключения, он писал: «Я не сумасшедший, я фанатик». Но любой фанатизм, кроме группового, общество как раз и называет сумасшествием.

Сумасшествие есть логическое следствие приверженности индивидуальному, когда эта приверженность зашла достаточно далеко. Как бросил Арто в «Письме заведующим психиатрическими лечебницами», «все индивидуальное антиобщественно». Это малоаппетитная правда, но, даже если она плохо совместима с гуманистической идеологией буржуазных демократий, социалистической демократии и либерального социализма, Арто бьет в точку. Любое достаточно яркое проявление индивидуальности объективно обращается против общества и будет воспринято другими как сумасшествие. В этой точке все общества сходятся. Разнятся они только одним: на кого распространяется защита или (по соображениям экономических, социальных, половых либо культурных привилегий) частичное освобождение от приговора к принудительной изоляции, выносимого тем, чей глубоко антисоциальный поступок состоит в разрыве с общепринятым смыслом.

Фигура сумасшедшего у Арто двойственна: он и главная жертва, и носитель подрывного знания. В предисловии 1946 года к предполагавшемуся собранию его сочинений в издательстве «Галлимар» Арто описывает себя как одного из особо отмечен-

ных — группы, которая объединяет для него сумасшедших, потерявших память, забывших грамоту. В других сочинениях двух последних лет он опять-таки раз за разом причисляет себя к сообществу сверходаренных умственными способностями и впавших в безумие Гёльдерлина, Нерваля, Ницше, Ван Гога. В той мере, в какой гений есть попросту расширение или интенсификация индивидуальности, слова Арто о естественном сродстве между гением и безумием точней, чем у романтиков. Но, обвиняя общество в заточении сумасшедших и видя в безумии внешний знак глубочайшей духовной изоляции, он никогда не согласится с тем, что в утрате разума есть что-то освобождающее.

В иных сочинениях, особенно в ранних сюрреалистских текстах, Арто подходит к сумасшествию более позитивно. Скажем, в воззвании «Общественная безопасность: ликвидация опиума» он, кажется, защищает практику умышленного расстройства чувств и мыслей (как определял призвание поэта Артюр Рембо). Однако в письмах 1920—1930 годов Ривьеру, доктору Алленди и Жоржу Сулье де Морану, в письмах 1943—1945 годов из клиники в Родезе, в эссе 1947 года о Ван Гоге он не устает повторять, что сумасшествие ведет к изоляции, к саморазрушению. Безумцы могут владеть истиной — и истиной настолько глубокой, что общество мстит неудобным провидцам, объявляя их вне закона. Но безумие означает и бесконечную муку, состояние, которому хочешь положить конец, — и вот эту-то муку Арто выводит на свет, передавая ее своим читателям.

Чтение Арто — настоящая ордалия[1]. Читатели, понятно, стремятся защитить себя упрощениями и толкованиями написанного. Чтобы в точном смысле слова читать Арто, нужна особая выдержка, особый настрой чувств, особый такт. Вопрос не в его доступности (не надо мельчить!) и даже не в нейтральном «понимании» его самого и его места. О какой доступности речь? Какой еще доступ к идеям Арто может быть, кроме той дьявольской мышеловки, которая за ним защелкнулась? Такие идеи только и возникают, только и распространяются под невыносимым давлением жизненной ситуации. И не в том дело, что его позицию-де трудно принять, а в том, что это вообще никакая не «позиция».

Мысль Арто — неотрывная составная часть его уникального, одержимого, бесплодного и необузданного в своей остроте сознания. Арто — один из величайших, одареннейших топографов разума в его крайних состояниях. Чтобы в полном смысле слова его читать, не требуется даже веры в то, что *единственная* истина, которую может нести искусство, — это истина уникальная и удостоверенная предельным страданием. Об искусствах, воспроизводящих другие состояния сознания — не так болезненно своеобразные, не такие взвинченные, хотя, допускаю, и не менее глубокие, — можно сказать, что они вырабатывают общие истины. Но к исключительным случаям на пределе «письма» — скажем, к Саду или Арто — подход требуется иной. Наследие Арто — произведения, которые себя перечеркивают, мысли, которые превосходят мысль, советы, которым невозможно следовать. С чем же остается читатель? Один на один с набором текстов, хотя особенность сочинений Арто исключает возможность обращаться с ними как всего лишь с «литературой». Один на один с набором мыслей, хотя своеобразие его мысли исключает всяческую доступность — как его агрессивная, самоистребительная личность исключает любое отождествление. Арто шокирует и, в отличие от сюрреалистов, продолжает шокировать сегодня. (Далекий от подрыва, дух сюрреалистов в конце концов созидателен: он вполне укладывается в рамки гуманистической традиции, и их блестяще разыгранные нападки на буржуазную собственность не отнесешь к действительно опасным, по-настоящему антиобщественным поступкам. Поставьте рядом Арто, и впрямь невозможного в обществе!) Любым попыткам отделить его мысль как удобный товар интеллектуального потребления эта самая мысль со всей очевидностью противится. Она — событие, а не предмет.

Читателю, для которого исключены доступ, отождествление, присвоение и подражание, остается одно: вдохновение. «СУЩЕСТВУЕТ ТОЛЬКО ВДОХНОВЕНИЕ», — заглавными буквами написал Арто в «Нервометре». Арто может вдохновить. Может выжечь, перевернуть. Но использовать его нельзя.

---

[1] Мучительное, угрожающее гибелью испытание в практике средневекового суда.

Даже в театре, где живое присутствие Арто удается хоть как-то отцедить до состояния программы и теории, работа режиссеров, больше всего обязанных его идеям, доказывает, что способа использовать Арто и вместе с тем остаться ему верным не существует. Его, кстати, не нашел и сам Арто: по всем свидетельствам, его постановки явно недотягивали до уровня его идей. Для большинства же не связанных с театром — а особенно ценят Арто люди, как правило, анархистского толка — опыт его проживания остается делом глубоко личным. Арто — из тех, кто отправляется за нас в интеллектуальный поиск, он — шаман. И было бы чрезвычайно самонадеянно сводить географию его поиска к тому, что доступно колонизации. Его авторитет покоится на том, что не сулит читателю ничего, кроме крайних неудобств для воображения.

Конечно, никто не запретит приспосабливать созданное Арто для собственных надоб. Следует лишь помнить, что само созданное при этом улетучивается. А устав от подобного приспосабливания, всегда можно вернуться к написанному. «Вдохновение в каждой сцене, — напоминал Арто. — Иначе впадаешь в чрезмерную литературность».

Любое искусство, выплескивающее безоглядное недовольство и ставящее целью нарушить благодушие сопереживателей, рискует тем, что рано или поздно будет разоружено, обескровлено, лишено подрывной силы, став предметом поклонения, став (или по видимости став) слишком понятным, став общепризнанным. Большинство тем Арто, в свое время экзотических, за последние десять лет сделались едва ли не расхожими: почерпнутое в наркотиках знание (или его противоположность), восточные религии, магия, жизнь североамериканских индейцев, язык тела, путешествие в безумие; бунт против «литературы» и воинствующий престиж несловесных искусств; высокая оценка шизофрении; подход к искусству как агрессии против публики; потребность в непристойном. У Арто в двадцатые были примерно те же (за вычетом преклонения перед комиксами, научной фантастикой и марксизмом) вкусы, что победили потом в американской контркультуре шестидесятых, а круг его тогдашнего чтения — «Тибетская книга мертвых», книги по мистике, психиатрии, антропологии, символике таро, астрологии, йоге, акупунктуре — просто-таки провидческая антология всего, что всплыло недавно на поверхность в качестве популярного чтения «продвинутой» молодежи. Однако вполне возможно, что нынешняя общепризнанность Арто так же обманчива, как темнота, в которой пребывали его произведения до последнего времени.

Еще десять лет назад неизвестный за пределами узкого кружка почитателей, сегодня Арто — классик. Но классик непокладистый: это автор, которого культура пытается разжевать, но, по сути дела, никак не раскусит. Одна из тактик литературной респектабельности в наше время (и немалая доля того непростого успеха, который снискал в конечном счете литературный модернизм) состоит в том, чтобы приструнить выламывающегося из рамок, отталкивающего самой своей сутью автора, назначив его классиком за множество интересных вещей, сказанных о его сочинениях и, скорей всего, не передающих (а то и просто скрывающих) действительную природу этих сочинений, которые, кстати, вполне могут быть в высшей степени скучными, нравственно чудовищными или невыносимо болезненными для восприятия. Иных авторов сделали классиками именно за то, что они *не прочтены* и, в известном смысле слова, вообще нечитабельны. Сад, Арто и Вильгельм Райх — именно из такого разряда: это авторы, которых поместили или затолкали в психушку за то, что они вопиющие и необузданные, — неудобные, одержимые, навязчивые писатели, которые бесконечно повторяются, которых достаточно процитировать или прочесть один абзац, но которые подавляют и высасывают тебя, если читать их большими порциями.

Как Сад или Райх, Арто сегодня общепризнан и общепонятен, он — памятник культуры для каждого, кто ссылается на его идеи, не удосужась прочесть большей части им написанного. А для того, кто взялся читать его от корки до корки, он так и остается в гордой недостижимости — неукрощенный голос, неподатливая явь.

1973

Перевод с английского БОРИСА ДУБИНА

ФИЛИПП СУПО

Воспоминание об Антонене Арто

Когда я думаю об Арто, то дороже воспоминаний об актере и постановщике, мыслителе, отчаянном спорщике или авторе писем Жаку Ривьеру оказывается совсем иная память.

По-моему, прежде всего Арто был поэтом. Сегодня об этом как-то стали забывать.

Из всех моих знакомых стихотворцев вдохновение облюбовало одного Арто. Именно таких поэтов, на мой взгляд, Рембо и называл ясновидцами.

А.Арто. Автопортрет.

Крест этот он пронес сквозь всю свою жизнь: одна пора в аду сменялась для него другой. Когда же из цепкого ада удавалось вырваться, он вновь становился поэтом бессердечности: жалость к себе самому высыхала первой и без следа. Обычно это называют жестокостью — что ж, так говорил и он сам.

Арто показал мне — да нет! — он доказал всем нам, что настоящий поэт не станет опускаться до сделки; он никогда не «играет» с огнем — просто ступает в него, чтобы вспыхнуть и сгореть.

Таким пожаром и стала жизнь поэта Антонена Арто — пожаром, который никому, даже лучшим друзьям и самым верным подругам, оказалось не под силу потушить; с ним было не совладать — но и вытерпеть его тоже было невозможно.

Лишь чуточку узнав Арто, я тотчас понял, что он обречен на одиночество — мертвое безлюдье, во мраке которого не разглядеть протянутой руки. Единственным выходом оставался бунт: каждодневный, всеохватный, бесповоротный. Именно поэзия Арто подсказала нам этот выход; она опять зовет нас к бунту, сегодня.

И память о нем жжет — как прежде.

Перевод с французского СЕРГЕЯ ДУБИНА

ФИЛИПП СУПО (PHILIPPE SOUPAULT, 1897—1990) — французский поэт, прозаик, журналист, один из первых и наиболее активных единомышленников Бретона (их познакомил в 1917 г. Аполлинер), его соавтор по основополагающему образцу «автоматического письма» — книге «Магнитные поля» («Les champs magnétiques», 1920), по скандальным выступлениям еще вместе с группой «дада» и дебютным акциям уже собственно сюрреалистского периода; исключен из группы в том же 1926 г., что и Арто. Автор сб. стихов «Роза ветров» («Rose des vents», 1920), «Оды» («Odes», 1945), романов «Великий человек» («Le grand homme», 1929), «Смертники» («Les moribonds», 1934), мемуарной книги «Воспоминания о забвении» («Mémoires de l'oubli», 1981).

«Воспоминание об Антонене Арто» переведено по публикации в журнале «Эроп» («Europe», 1984, № 667/668).

У книжной витрины

ЛОИС ГОРДОН

Мир Сэмюэла Беккета: 1906—1946

Lois Gordon. The World of Samuel Beckett: 1906—1946

Yale University Press, 1996

Литературовед Лоис Гордон анализирует первые сорок лет жизни ирландского драматурга и писателя С.Беккета, оспаривая распространенное представление о нем как о психически неуравновешенном, погруженном в себя отшельнике. По отзывам критики, высоко оценившей книгу, с ее страниц встает образ «доброго, сердечного человека, который чутко отзывался на происходящее вокруг него». В работе Гордона подробно рассказывается о местах, событиях, людях, оказавших влияние на становление личности Беккета, в том числе о художнике Джеке Б.Йейтсе (младшем брате известного поэта) и авторе «Улисса» Джеймсе Джойсе.

ВИТТОРИЯ РОНЧИ

Бахчисарайский фонтан

Vittoria Ronchey. La fontana di Bachcisaray

Mondadori, 1995

Россия 90-х годов. Сюда после тридцатипятилетнего перерыва направляется героиня романа известной итальянской писательницы Виттории Рончи. Элиза — специалист в области славянских культур. Целью нынешней поездки стала работа в архивах. Вместе с главной героиней едет ее коллега, но их деловой союз распадается из-за расхождений во взглядах на новую российскую действительность. Впрочем, главное в романе — это встречи Элизы с прошлым. Перед ее мысленным взором встают картины 60-х, лица людей того поколения, тогдашние улицы Москвы, Киева, Ялты... Критики отмечают, что выбор темы для автора не случаен: В.Рончи долгое время жила в России, занимая должность советника по культуре итальянского посольства в Москве.

ПЕТЕР ХАНДКЕ

Зимнее путешествие к рекам Дунай, Сава, Морава и Дрина, или Справедливость к Сербии

Peter Handke. Eine winterliche Reise zu den Flüssen Donau, Save, Morawa und Drina oder Gerechtigkeit für Serbien

Suhrkamp, 1996

В ноябре 1995 года, незадолго до заключения мира на Балканах, известный австрийский писатель Петер Хандке провел несколько недель, путешествуя по Сербии. Его не удовлетворяли сообщения средств массовой информации о ходе военных действий, и он решил составить собственное мнение о ситуации в этой части бывшей Югославии. Результатом поездки явилась книга, в которой автор предпринимает попытку осмыслить свои впечатления и наблюдения, заставить читателя взглянуть на события в стране глазами сербов — тех, с кем он встречался и беседовал во время путешествия.

ФРИДРИХ ДЮРРЕНМАТТ

Собрание сочинений в семи томах

Friedrich Dürrenmatt. Gesammelte Werke in sieben Bänden

Diogenes, 1996

В год 70-летия со дня рождения Фридриха Дюрренматта, знаменитого швейцарского писателя, драматурга, «превосходного диалектика и необыкновенного эссеиста» (М.Райх-Райницки), «единственного немецкоязычного автора второй половины XX века, сравнимого с Джойсом и Беккетом» («Монд», Париж), издательство «Диогенес» выпустило собрание его сочинений в семи томах. В первые три тома вошли пьесы и радиопьесы, в четвертый — романы, в пятый — рассказы, шестой том содержит наброски и варианты, седьмой — эссе и избранные стихотворения, а также биографические материалы, комментарии и алфавитный указатель произведений Дюрренматта.

АВТОРЫ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ДИОГЕНЕС». АЛЬБОМ

Diogenes Autoren Album

Diogenes, 1996

Эта книга содержит фотографии, краткие биографии и библиографии, а также интересные факты из жизни 250 авторов издательства «Диогенес» — от Гомера и Данте, Готхельфа и Генриха Гейне до Патрика Зюскинда и Дорис Дёрри. Несмотря на то, что один из представленных авторов (Уильям Фолкнер) мечтал, чтобы вся его жизнь уместилась в одну фразу: «Писал книги и умер...», а другой (Фридрих Дюрренматт) утверждал, что у него вовсе нет биографии, у составителей книги (Дэниэл Кампа и Армин С.Кэлин) набралось почти на 400 страниц ценного материала о знаменитых и не очень, о давно забытых и ставших классиками писателях всего мира.

КРИСТОФ ВИЛЬГЕЛЬМИ

Объединения и группы в искусстве Германии, Австрии и Швейцарии с 1900 года

Christoph Wilhelmi. Künstlergruppen in Deutschland, Österreich und der Schweiz seit 1900

Dr. Ernst Hauswedell & Co, 1996

В этом справочнике собрана информация о 242 художественных и литературных объединениях и группах, существовавших с 1900 года в Германии, Австрии и Швейцарии. Помимо таких знаменитых течений и направлений, как экспрессионизм, абстракционизм, конструктивизм, дадаизм и т.д., в странах немецкого языка существовало и множество других, менее известных, но тоже сыгравших свою роль в культурной жизни. Новое издание является первым обширным систематическим исследованием на эту тему: в нем рассказывается история каждой группы, определяются ее основные цели и принципы, перечисляются имена постоянных членов и сочувствующих.

МАРТИН ВАЛЬЗЕР

Война Финка

Martin Walser. Finks Krieg

Suhrkamp, 1996

Новый роман известного немецкого писателя Мартина Вальзера (лауреата премии им. Г.Бюхнера, 1981 г.) рассказывает о том, как некий служащий по фамилии Финк (Зяблик) вступил в борьбу за свои права с политической машиной, партийным аппаратом и с самим собой, о том, как в конце концов ему удалось одержать победу. Это книга о нашем времени, об отношениях в современном немецком обществе, и книга, по мнению критиков, безусловно талантливая, удавшаяся — в отличие от большинства подобных романов. Газета «Франкфуртер альгемайне» считает, что «Война Финка» — «лучшее, что написано после «Теплицы» Кёппена о власти и безумии в современном мире».

КРИСТИНА КЛЕРК

Личный дневник Жака Ширака — 2

Christine Clerc. Journal intime de Jacques Chirac 2

Albin Michel, 1996

Не так давно Кристина Клерк, журналистка, корреспондент газеты «Фигаро», опубликовала первый том жизнеописания французского президента — «Личный дневник Жака Ширака». Теперь в том же издательстве «Альбен Мишель» увидел свет и второй том, где охватывается период с мая 1995 по май 1996 года. За эти двенадцать месяцев Жаку Шираку пришлось пережить немало трудных моментов: необходимость принимать срочные меры в связи с колебаниями курса франка, социальные конфликты, сложные переговоры с главами других государств, захват мусульманами в Боснии французских пилотов в качестве заложников... К.Клерк приводит слова президента, который так определяет свое нынешнее психологическое состояние: «Смесь мучительной тревоги и радостного возбуждения».

ЛУИС ГОЙТИСОЛО

Мзунго

Luis Goytisolo. Mzungo

Mondadori, 1996

Известный писатель, лауреат многих литературных премий, в том числе Национальной (1993), член Испанской академии Луис Гойтисоло выпустил в свет новый роман — «Мзунго» (так во многих землях Черной Африки называют людей белокожих). В книге переплетаются две сюжетные линии. Некий корабль идет вдоль восточного побережья Африки, у плывущих на нем европейцев есть основания ожидать нападения, они боятся оказаться заложниками и вообще испытывают страх перед неизвестным и непонятным им континентом. Все пассажиры ведут себя в экстремальной ситуации по-

разному, но вместе они представляют европейское общество в миниатюре — весьма узнаваемую модель. Параллельно идет рассказ об опасных похождениях в Африке трех европейцев-авантюристов. Это пародия на традиционное приключенческое повествование, причем Луис Гойтисоло расширяет границы романного мира: «подвиги» героев представлены и в виде электронных игр на прилагаемом к книге компакт-диске.

ФИЛИПП ХОР
Ноэл Кауард
Philip Hoare. Noel Coward
Simon & Schuster, 1996

600-страничное исследование Ф.Хора посвящено жизни и творчеству знаменитого английского драматурга и актера Ноэла Кауарда (1899—1973). Совсем юным он пришел на сцену, затем начал писать пьесы, которые пользовались ошеломляющим успехом (вошедшие в моду словечки из них стали называть «ноэлизмами»), пробовал себя в песенном жанре, в прозе, во время войны из патриотических побуждений поставил фильм о ВМФ и даже предлагал, хотя и тщетно, бесплатные услуги британской разведке. Большой талант и невероятное трудолюбие помогли Кауарду многого добиться, уже под конец жизни он испытал новую волну славы в Англии и США.

СТИВЕН КИНГ
Безумство
Stephen King. Desperation
Viking, 1996

Один из самых популярных современных американских писателей Стивен Кинг выпустил уже около сорока книг (романы, сборники рассказов и пьесы). Его новый роман — жуткая кровавая история, главным героем которой выступает странный «нехороший» полицейский, одержимый силами зла. Он практически единолично правит поселком, затерявшимся на просторах штата Невада, и правит весьма своеобразно, ибо постепенно уничтожает почти всех жителей. Спасается лишь одиннадцатилетний мальчик, которому Бог (он тоже является персонажем романа) поручает противостоять злу. Любопытно, что те же герои, но в другое время и в других обстоятельствах действуют в романе Ричарда Бахмана (псевдоним С.Кинга), опубликованном одновременно с «Безумством».

ЮЛИЯ КРИСТЕВА
Одержимость
Julia Kristeva. Possessions
Fayard, 1996

Известная французская писательница болгарского происхождения, ученый-филолог с мировым именем Юлия Кристева в новом романе разворачивает перед читателем криминально-психологическую драму: сотрудница одного парижского журнала пытается разобраться в обстоятельствах убийства богатой переводчицы. В зверском преступлении (жертве отрубили голову) подозреваются несколько человек; жизнь и личность каждого из них (а также погибшей) тщательно анализируются. Ни одна деталь не оставляется без внимания ведущей свое «метафизическое расследование» Ю.Кристевой, но главный объект описания — это, безусловно, обезумевший, потерявший ориентиры мир рубежа веков.

ЖАН-ПОЛЬ КЛЕБЕР
Словарь сюрреализма
Jean-Paul Clebért. Dictionaire du surréalisme
Seuil, 1996

По мнению критиков, эта книга стала лучшей и наиболее полной на сегодняшний день историей сюрреализма. В 600-страничном труде Клебера можно найти подробнейшие сведения не только о мэтрах этого движения и рядовых его участниках, но и о «симпатизировавших» ему, а также о «попутчиках» или о тех, кто тем или иным образом привлек к себе внимание сюрреалистов, — например о Л.Троцком (в 1938 году А.Бретон ездил в Мексику на встречу с ним). В книге тщательно описываются и анализируются произведения членов группы, их выставки, публичные акции, скандалы, поведенческие принципы. Объясняются сюрреалистические значения слов и выражений «революция», «случай», «объективная случайность», «внутренняя форма» и т.д.

■

АВТОРЫ ЭТОГО НОМЕРА

МИХАЛ ВИВЕГ (MICHAL VIEWEGH; род. в 1962 г.) — чешский писатель. Преподавал в средней школе, затем работал редактором в издательстве «Чески списовател». Автор книг «Взгляды на убийство» («Názory na vra du», 1990), «Идеи любезного читателя» («Nápady laskavého èteníze», 1993), «Воспитание девушек в Чехии» («Výchova dívek v Èechách», 1994).
Роман «Лучшие годы — псу под хвост» издан в Чехии в 1992 г. («Báječná léta pod psa». Praha, Èeský spisovatel; премия Иржи Ортена, 1993).

РАЙМОН КЕНО (RAYMOND QUENEAU; 1903—1976) — французский прозаик, поэт, лингвист, ученый-математик, член Гонкуровской академии. Автор романов «Помеха» («Le chiendent», 1933), «Одиль» («Odile», 1937), «Суровая зима» («Un rude hiver», 1939), «Пьеро, мой друг» («Pierrot, mon ami», 1942), «Зази в метро» («Zazie dans le metro», 1959; рус.перев. 1992; по роману снят фильм, 1961), «Голубые цветочки» («Les fleurs bleues», 1962; рус.перев. 1994); книг «Стилистические упражнения» («Exercices de style», 1947), «Сто тысяч миллиардов стихотворений» («Cent mille milliards de poèmes», 1961), сборника «Маленькая портативная космогония» («Petite cosmogonie portative», 1950); сборника стихов «Если ты думаешь» («Su tu t'imagines», 1952). Многие стихи Р. Кено положены на музыку и стали популярными песнями. В 50-е годы он руководил изданием энциклопедии «ПЛЕЯДЫ» в издательстве «Галлимар».
В «ИЛ» (1970, № 8) напечатана подборка стихов Р. Кено со вступительной статьей С. Великовского о творчестве поэта.
Роман «С ними по-хорошему нельзя» печатается по изданию 1971 года («On est toujours trop bon avec les femmes». Paris, Éditions Gallimard).

АНТОНЕН АРТО (ANTONIN ARTAUD; 1896—1948) — французский поэт, прозаик, драматург и сценарист, актер, новатор театрального языка. В 1924—1926 гг. активно сотрудничал в журнале «Сюрреалистическая революция». Выступал на сцене в постановках Ш. Дюллена, Л. Жуве, Ж. Питоева, снимался в фильмах К. Дрейера, Г. В. Пабста, А. Ганса, Ф. Ланга, основал собственный «Театр Альфреда Жарри» (1927—1930). Автор стихотворных книг «Неврометр» («Le pèse-nerfs», 1925) и «Пуповина лимба» («L'ombilic des limbes», 1925), сборника эссе и стихотворений в прозе «Искусство и смерть» («L'art et la mort», 1929), «Новые откровения бытия» («Les nouvelles révélations de l'être», 1937), «Театр и его двойник» («Le théâtre et son double», 1938; рус.перев. 1993), «В краю Тараумара» («Au pays de Tarahumaras», 1945), «Ван Гог, самоубийца руками общества» («Van Gogh, le suicidé de la societé», 1947), «Здесь покоится прах» («Ci-gît», 1948) и др.
На русском языке отдельные произведения Арто печатались в книгах «Западноевропейская поэзия» (М., 1977), «Восток — Запад» (М., 1985), «Из истории французской киномысли» (М., 1988), «Как всегда — об авангарде» (М., 1992); в журналах «Киноведческие записки», «Театр», «Московский наблюдатель», газете «Сегодня» и др.

ДУБИН БОРИС ВЛАДИМИРОВИЧ (род. в 1946 г.) — литературовед, переводчик, автор статей по социологии культуры. В его переводе публиковались произведения А. Мачадо, Х. Р. Хименеса, Ф. Гарсиа Лорки, Г. Аполлинера, Х. Л. Борхеса («ИЛ», 1984, № 3; 1990, № 12) и др. Автор публикаций «Антиэлегии середины века» («ИЛ», 1995, № 1); «Опыт-предел: случай Эмиля Чорана» («ИЛ», 1996, № 4); ведущий авторской рубрики «ИЛ» «Портрет в зеркалах» (1995, № 1, 12; 1996, № 8, № 12). Лауреат премии «ИЛ» (1992) и «ИЛлюминатор» (1994).

■Переводчики:

ШУЛЬГИНА НИНА МИХАЙЛОВНА — переводчик, критик. В ее переводе издавались многие произведения чешских и словацких писателей: «Ангел милосердия» В.Кёрнера, «Разум» Р. Слободы, «Ван Стипхоут» В. Фельдека и др. В «ИЛ» напечатаны переводы романа «Дички» Иржи Кршенека (1975, № 5, 6), первой книги трилогии «Мастера» Винцента Шикулы (1979, № 4, 5) и его повести «Солдат» (Библиотека «ИЛ», 1985); главы романа «Тысячелетняя пчела» Петера Яроша (1982, № 5, 6), роман «Конец игры» Душана Митаны (1987, № 5, 6), «Шутка» (1990, № 9, 10), «Невыносимая легкость бытия» (1992, № 5, 6) и «Бессмертие» (1994, № 10) Милана Кундеры. За переводческую деятельность Н.Шульгина удостоена литературной премии: «ИЛ» (1987) и словацкой премии имени П. Л. Гвездослава.

КИСЛОВ ВАЛЕРИЙ МИХАЙЛОВИЧ (род. в 1963 г.) — литературный критик, переводчик с французского. В его переводе издан роман Б. Виана «У всех мертвых кожа одинакова» и несколько рассказов этого писателя. Автор ряда статей по французской литературе.

ВЯЛЫХ АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ (БЕЛОВ; род. в 1964 г.) — переводчик с японского. Автор книги стихов «На разрыве аорты» (Владивосток, 1997).

ДЮШЕН ИГОРЬ БОРИСОВИЧ (род. в 1917 г.) — литературовед, кандидат филологических наук, автор книги «Жан-Кристоф» Ромена Роллана» (М., 1966), составитель, редактор, автор предисловий и комментариев к сборникам пьес «Театр парадокса» (М., «Искусство», 1991) и «Эжен Ионеско. Театр» (М., 1994). В «ИЛ» напечатано послесловие к публикации «Сэмюэл Беккет. Пьесы разных лет» (1996, № 6).

ДУБИН СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ (род. в 1972 г.) — литературный критик, переводчик с французского. Автор публикации «К 100-летию со дня рождения Андре Бретона» («ИЛ», 1996, № 8).

■

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Подписаться на журнал «*ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА*» можно в любом отделении связи по карточному каталогу «Роспечать» или (с доставкой журнала бандеролью на дом) адресному каталогу «Книга-сервис».

Подписные индексы:

«Роспечать» — 72174
«Книга-сервис» — 40650

Для тех, у кого оформлена подписка на I полугодие 1997 года, во II полугодии 1997 года *предусмотрены льготы*.

Индексы для льготной подписки:

«Роспечать» — 70394
«Книга-сервис» — 40651

А если вы имеете возможность ПОЛУЧАТЬ НОМЕРА В РЕДАКЦИИ, советуем подписаться ПРЯМО У НАС — это НАДЕЖНЕЕ и НАМНОГО ДЕШЕВЛЕ.

Подписка в редакции будет проводиться **с 1 апреля по 1 июня ежедневно с 12 до 18 часов, кроме пятницы и выходных**. *Адрес редакции*: Пятницкая улица, дом 41 (метро «Третьяковская»), *телефон* 233-5147.

Подписной талон см. на обороте.

Ф. СП-1

Министерство связи РФ

Роспечать

АБОНЕМЕНТ на ~~газету~~ журнал _____ (индекс издания)

"Иностранная литература"

(наименование издания) | Количество комплектов | |

на 19_97_ год по месяцам:

7	8	9	10	11	12

Куда _____ (почтовый индекс) _____ (адрес)

Кому

(фамилия, инициалы)

ПВ	место	лит-ера	

ДОСТАВОЧНАЯ КАРТОЧКА

на ~~газету~~ журнал _____ (индекс издания)

"Иностранная литература" (наименование издания)

Стоимость	подписки	_____руб_____коп	Количество комплектов	
	переадресовки	_____руб_____коп		

на 19_97_ год по месяцам:

7	8	9	10	11	12

Куда _____ (почтовый индекс) _____ (адрес)

Кому

(фамилия, инициалы)

ИНДЕКС 70394

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ "БРИТАННИКА" НА CD-ROM

B R I T A N N I C A - C D (B C D - 9 7)

Н о в е й ш а я в е р с и я 1 9 9 7 г.

На одном CD-ROM – полный текст последнего издания 32-томной "Британники" (44 млн.слов); 1 млн. гипертекстовых ссылок; 4,2 тыс. иллюстраций: фотографий, рисунков, карт, схем, таблиц; статистический справочник "Страны мира" по состоянию на 1996 г.; самый популярный в США толковый словарь "Merriam-Webster's Collegiate Dictionary" (160 тыс.слов) и словарь синонимов и антонимов английского языка.

BCD-97 содержит значительно больший объем информации, чем любая другая из существующих в мире электронных энциклопедий.

Главная особенность BCD-97 – уникальная информационно-поисковая система, позволяющая задавать вопросы в привычной форме, например: "How well can baby see?" Поиск информации превращается в увлекательную игру. Никаких специаль - ных навыков работы с компьютером не требуется.

При помощи BCD-97 можно мгновенно дать ответ на любой вопрос, например:

- Почему верблюды плюются?
- Как установить возраст Земли?
- Сколько человек зарезал Джек Потрошитель?
- Как составить балансовый отчет?
- Сколько автомобилей угнано в Тунисе?
- Какая взаимосвязь между Наполеоном Бонапартом и... сахарной свеклой?

BCD-97 работает как с MAC, так и с PC!

Минимальные технические требования:
для IBM – 386, 4 Mb RAM, 5 Mb hard drive space, CD-ROM drive, MS-DOS 5.0, Windows 3.1.
для MACINTOSH – LC II, 8 Mb RAM, 15 Mb hard drive space, System 7.1, CD-ROM double speed drive.

ООО "Мир Знаний"
Почтовый адрес: Россия, 107392, Москва, а/я 14
Тел.: (095) 962 1177, 962 0735; факс: (095) 962 0197
E-mail: mir@znanija.msk.su
WWW: http: // www.znanija.ru

ISSN 0130-6545 «Иностранная литература», 1997, №4, 1 — 256.